СЕМЕН БАБАЕВСКИЙ

СВЕТ НАД ЗЕМЛЕЙ

СЕМЕН БАБАЕВСКИЙ

СВЕТ НАД ЗЕМЛЕЙ

РОМАН

КНИГИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

Советский Писатель

МОСКВА · 1951

Б — 12

Постановлением Совета Министров Союза ССР
БАБАЕВСКОМУ Семену Петровичу
за роман „Свет над землей“ (книга первая)
присуждена Сталинская премия
первой степени за 1949 год

Постановлением Совета Министров Союза ССР
БАБАЕВСКОМУ Семену Петровичу
за роман „Свет над землей“ (книга вторая)
присуждена Сталинская премия
второй степени за 1950 год

ТАИСИИ ДЕМИНОЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Лето было сухое и знойное, и ледники в горах начали таять уже в первых числах июня. Из ледниковых расщелин, как из-под пресса, сочились холодные, стеклянно-чистые струи, билась по ущельям вода, плясали на каменистых выступах гребешки пены, и говорливые речонки, блестя и извиваясь, неслись в отлогую долину. А в долине текла Кубань, река быстрая и ненасытная,— никакие горные стоки не могли наполнить ее берега. Тогда, как бы на помощь ледникам, пришли грозы — каждый день темнело небо, и над горами высоким заслоном вставали синие-синие тучи. Ночью бушевали ливни с ветрами, долина наполнялась страшным клокочущим рокотом, и Кубань, почуяв силу, заиграла шумно и весело,— по всему верховью реки открылось половодье.

Только тот и сумеет представить себе это грозное и красивое зрелище, кому хотя бы один раз довелось с возвышенности наблюдать разлив Кубани... Что тут делается в такую пору! С чем сравнимо увиденное? Все, что угодно, может прийти на ум, но только никто не скажет, что перед ним течет река... Вырвавшись из ущелья, волна за волной с шумом, похожим на облегченный вздох, устремляются во все стороны — ищут берег, а берега уже давно нет, и тогда вода заливает все на своем пути. Там, где еще недавно зеленел остров и мирно маячил пышный ясень, стоит озеро, а от ясеня осталась одна лишь верхушка, торчащая шап-

кой, и сидит на ней орел, угрюмый и злой; там, где росли кустарники, оплетенные хмелем, всегда полные птичьих выводков, образовалась стоячая заводь: плавали по ней, как чашечки, крохотные гнезда, а на мелководье охотились за рыбой гордые цапли; там, где еще вчера размашистым крылом темнели камыши в пойме, сегодня уже нет ни поймы, ни камышей — все затоплено водой.

Лучше всего был виден разлив из Краснокаменской. Станица стояла на каменистом берегу, как на карнизе, и сюда рвались буро-серые гребни, силясь с разбегу выскочить на отвесную скалу и захлестнуть улицу. В этом месте река не шумела: она и яростно стонала и зло смеялась. Под ее ударами валились подточенные кручи,— казалось, вздрагивал и охал весь каменистый берег. Но как ни могуч был поток, а подняться на карниз не мог и только причинял вред щурам, заливая их норы,— тьма-тьмущая обескураженной птицы с писком и криком металась над рекой. А реке не было никакого дела до того, что плакали щуры, что падали кручи,— она легко и беспечно мчалась мимо станицы, унося все, что только попадалось ей под руку... Там на ее пути повстречалось бревно — давай сюда и бревно, и уже качается оно по быстрине серой лентой; там возница заехал в реку и собрался налить в бочку воды, но зазевался — и уже доски и солома, лежавшие на возу, а затем и бочка и даже кусок полсти побежали по Кубани наперегонки — только их возница и видел; там, как бы мимоходом, волна слизнула у берега лодку, подбросила, покружила, а потом рассердилась, опрокинула и закачала по бурунам; там, играя, вывернула из земли толстое дерево, и огромная зеленая куща то вставала над рекой, вскинув, как гриву, взлохмаченные ветки, то снова падала, а затем поднимала корневища — черные и длинные плети размашисто били по воде; там в страшном гневе оторвала кусок моста, и он летел по быстрине, покачиваясь и поднимая сваю, точно руку; там ни с того ни с сего затопила луг, легко и быстро подняла копну, да так легко и быстро, что какой-то нерасторопный заяц не успел даже проскочить на сушу,— плыла,

покачиваясь, копна, а на ее вершине, как бы на посмешище людям, сидел заяц: грустными, полными страха и отчаяния глазами смотрел, бедняжка, по сторонам, и его настороженно поднятые уши мелко-мелко вздрагивали... Бедный зверек, далека и нерадостна твоя дорога!

Увидев плывущего по реке зайца, краснокаменцы, собравшись толпой на берегу, встретили его насмешливыми возгласами:

— Тю-лю-лю!

— Ты погляди: косой путешествует!

— Ай-я-я-я!

— И занесла его туда нелегкая!

— Го-го-го!

— Сукин ты сын!

— Да он от перепугу уже не живой!

— А ты посиди на его месте!..

— Эге! Живой! Ушами еще прядет!

— Погибнет же, стервец!

— Невеселая житуха...

— Теперь-то хоть сблизи на людей насмотрится!

— От этого смотрения у него и душа в пятках.

— Ванька, Санька! Плывите да выручайте бедолагу!

— Да его уже не догонишь!

— Ну пусть себе марширует,— может, где и к берегу прибьется!

Тем временем копна и серый комочек на ней уплыли далеко и вскоре скрылись с глаз.

II

В этот день было воскресенье. Сергей и Ирина Тутариновы тоже смотрели разлив, вышли далеко за Рощенскую, спустились к берегу и решили искупаться. И только они разделись и сложили под кустом боярышника одежду, как вдали, за солнечным пояском, перекинутым с берега на берег, показалось что-то темное, похожее на войлочную шляпу с махорком. Когда же она проскочила искрившийся на воде поясок, то

оказалось, что это была вовсе не шляпа, а копна сена, а на ее шпиле серел не махорок, а заяц.

— Сережа! — крикнула Ирина.— Посмотри, какое чудо!

— И примостился, чертенок раскосый!

— Несчастный! — взволнованно сказала Ирина.— Сережа, давай его спасем!

— Да ты что? Как же мы...

— Плывем!

Ирина и строго и ласково взглянула на Сергея, темные ее глаза вдруг заблестели, и не успел Сергей сказать слова, как она уже смело пошла в реку, стройная, с высоко поднятыми руками, со смуглой полоской через всю спину.

— Куда ты, Ирина?

На крик Сергея Ирина даже не обернулась. Она грудью упала на воду и, резко взмахивая полными у плеч руками, поплыла, уносимая течением, и Сергей, уже не раздумывая, пустился за ней... «Ну и характер у моей женушки!» — добродушно подумал он, легко держась на воде и не выпуская из глаз жену,— ее черная маленькая головка с закрученной гнездом косой красиво покачивалась на волнах.

Сергей плыл размашисто и свободно, резко выбрасывая вперед сильные, до черноты загорелые руки, и почти по грудь вставал на воде, а Ирина убегала от него все дальше и дальше. Вот она очутилась на самой быстрине, и черная ее головка то подпрыгивала, как мяч, то скрывалась за высоким гребнем. Сергей сделал сильный взмах,— теперь казалось, что он уже не плыл, а прыгал,— и вскоре поровнялся с Ириной. Мокрое ее лицо с капельками и на бровях, и на ресницах, и на верхней губе было возбужденным и светилось радостью: она и смеялась, и хватала ртом воду, и вскидывала назад голову, желая лучше рассмотреть подплывавшую копну. Они стали плыть против течения, и хотя преодолеть быстрину было невозможно, но все же на несколько минут они сумели удержаться на одном месте, а копна тем временем поровнялась с ними. Заяц заметил людей и завертелся, точно под ним горело сено.

— Не бойся, дурной! — ласково сказала Ирина, грудью ложась на быстрину.— Не бойся, мы ж твои спасители!

— Эй! Спасительница! — крикнул Сергей. — Ты его руками не трогай — исцарапает!

— Да он же с перепугу стал ручным! — смеясь, отвечала Ирина.

— Не смей трогать руками! Погоним копну вон к тому островку.

Они схватились руками за мокрую и затвердевшую внизу траву, и на них вдруг повеяло запахом скошенного луга. Заяц не двигался и смотрел жалким и боязливым взглядом, скрестил уши и точно замер. Ирина, все время смотревшая на зверька, заметила в его слегка косивших, светлых, с желтыми крапинками глазах не то слезы, не то капельки речной воды.

— Толкнем еще раз! — командовал Сергей. — Ну давай — сильно!

Они барахтались в воде, изо всей силы упирались руками в пахучее сено, и копна, покачиваясь, поплыла по направлению к острову. Чем ближе к берегу, тем река становилась мельче, а течение спокойнее, и вскоре Сергей коснулся ногой дна. Ирина тоже встала на ноги, но она была ростом ниже Сергея, и вода поднялась выше ее приподнятого подбородка.

Теперь они шли по мягкому песку и легко увлекали свою добычу. И, как только копна начала причаливать к берегу, заяц закружился на месте. Когда же она, очевидно зацепившись за корягу, остановилась недалеко от берега, речной пленник, как пружина, взлетел вверх так высоко, что перепрыгнул прибрежный куст и ткнулся носом в траву. Потом он сел на задние лапки, повертел верхней, смешно разрезанной губой, точно улыбаясь своему счастью, и исчез в кустах.

— Смеялся, ей-богу, смеялся! — крикнула Ирина и, как ребенок, захлопала в ладоши.

— Ну вот, мы с тобой совсем нечаянно сделали доброе дело,— рассудительно заговорил Сергей, выходя на берег и подавая руку Ирине.— Был заяц в беде, и уже ни беды, ни зайца.

— То-то сколько радости у него! — мечтательно сказала Ирина, расплетая толстую, немного намокшую косу, а вода стекала и по плечам, и по смуглой спине с поперечной полоской загара, и по зеленым, сильно прилипшим к телу трусикам.— Сережа, я смотрела на него, и мне казалось, что он все, все понимает, а только сказать не может... И ты думаешь, отчего он остановился и так ласково посмотрел на нас, еще шевельнул губой, а только тогда уже убежал? Прощался и благодарил...

— Возможно,— сказал Сергей, толкая ногой копну.

— Сережа, давай сядем на копну и уплывем — далеко-далеко!

Сергей посмотрел на бушевавшую реку, погладил пальцами свои густые и еще мокрые брови, как бы раздумывая над тем, можно ли уплыть на копне.

— Уплыть бы и можно,— сказал он, весело глядя на стройное, еще мокрое и порозовевшее от холодной воды тело Ирины,— но боюсь: копна нас не удержит... Лучше мы посидим на этом горячем песочке, отогреемся и поплывем обратно. Смотри, где куст боярышника,— далеко нас унесла вода.

Они сели на мелкий, приятно обжигающий тело песок, а копна тихонько, как бы боясь, что ее остановят и снова посадят на нее зайца, отошла от берега, покружилась на месте и уплыла.

— Сережа,— заговорила Ирина, привычным движением пальцев перебирая косу и сплетая ее,— когда я увидела в его испуганных глазах слезы, то знаешь, о ком я подумала?

— Не знаю.

— О Соне.

— Странно. Почему же ты о ней подумала?

— Веришь, Сережа, она чем-то похожа на этого зайца.

Сергей рассмеялся. Ирина не взглянула на него. Она заплетала косу и смотрела куда-то вдаль.

— А ты не смейся,— сказала она, закручивая косу на голове и выгнув назад руки.— Соня несчастная, и мне ее жалко. Вчера она была у меня на дежурстве.

Грустная, а в глазах слезы. Сказала, что с Виктором Грачевым не поедет.

— Почему?

— Смеется он над ней,— Ирина пришпилила косу и стала чертить пальцем линию на песке.— Это же не любовь, а одна насмешка. То обещал жениться и увезти с собой, как порядочный, а теперь уже за другой бегает...

— Это в его манере,— сказал Сергей.

— Бедная Соня!..— Ирина загребла ладонью песок и тонкой струйкой рассыпала его по ноге, песчинки подпрыгивали и покрывали тело тонким серым слоем.— Сама мне рассказывает, а в глазах горе...

— А кого же Виктор завлекает? — участливо спросил Сергей.

— Нашел какую-то красавицу в Родниковской,— неохотно ответила Ирина, продолжая рассыпать песок.— Ты завтра поедешь в Родниковскую, вот и узнай, кто она такая... бессовестная.

— У меня там и без этого дела много,— склоняя голову, задумчиво сказал Сергей.

— Сережа, а ты поговори с Виктором,— доверчиво заглядывая Сергею в глаза, сказала Ирина.— Или как друг его, или, на крайность, как депутат... Куда ж это годится? Смеется, обманывает...

— Эх, Иринушка, что с ним говорить! — Теперь Сергей смотрел на реку и, очевидно, думал о чем-то своем.— Дружба у нас что-то не клеится: на разных языках говорим, а депутатство мое, как я понимаю, такому делу не поможет.

— Да хоть поругай, постыди,— Ирина сжала в кулаке песок.— И почему на таких законов нету?

— Законы-то есть...

— Да где ж они?.. Вот поедешь на сессию — добейся, чтобы такой закон...

— Ох, и характер же у тебя! — Сергей рассмеялся.

— А какой у меня характер? — живо спросила Ирина, играя озорными и смелыми глазами.— Говори: какой характер? Чего ж молчишь?

— В реку бросаешься без позволения,— видимо

желая пошутить, незлобно сказал Сергей.— Волей-неволей и мне пришлось плыть... Раньше, когда ты была девушкой, этого я за тобой не замечал.

— Так то же я была девушка! — шутя, в тон ему, ответила Ирина и рассмеялась.

— Я говорил, не плыви, а ты поплыла... Разве так жена поступает?

— Ой, Сережа, как тебе не стыдно! — Ирина жарко покраснела.— Это ж какой случай! — Тут она скривила в улыбке свои красивые губы и погрозила ему пальцем.— Если бы ты мне всерьез так сказал... А ты же шутишь? Да?

— Ну конечно, шучу,— Сергей положил руку на ее горячее от солнца плечо.— А вообще ты своенравная, и это мне по душе... Но суть не в этом. При случае скажи Соне, что мы ее в беде не оставим... А тебе пора подумать об отъезде. Вместе поедем: я — на сессию, а ты — со мной.

— Личным секретарем? — смеясь и рассыпая песок, сказала Ирина.

— Нет, личной женой... Москву посмотришь, и вообще вдвоем веселее. Попроси у Семена отпуск.

— Да это когда еще будет?

— Мы выедем раньше,— сказал Сергей.— Вот завтра проведу в Родниковской собрание — и все готово, можно ехать.

— А в крайисполком еще раз не поедешь? — спросила Ирина.

Сергей обнял свои голые колени, сгорбился и, глядя на быстрое течение реки, задумчиво проговорил:

— Я уже там был, докладывал, ознакомил... Хвалят, одобряют, но никто не наберется смелости сказать одно слово — действуй! Поглядывают на Москву... Беседовал я и с Бойченко — тоже обещал писать в Москву... А почему сами не можем решить?

— А как же ты хотел? — спросила Ирина.— Дело особое, важное...

— Да, и особое и важное,— все так же немного покачиваясь, говорил Сергей, и глаза его заблестели.— Преобразование природы, реконструкция станиц, электрификация — можно сказать, генеральный план раз-

работали. Степь решили украсить лесами, водоемами, станицы обновить!.. Да тут бы к такому нашему размаху пристегнуть еще два-три района, а потом и всю Кубань...— Сергей резко, с хрустом в коленях, поднялся, расправил мускулистые руки и мечтательно сказал: — Эх, какая жизнь встает перед нами, широкая, бурная и быстрая, как вот эта река! — Затем он посмотрел на Ирину и виновато, как-то по-ребячьи, улыбнулся: — Ну, поплывем, а то и курить хочется, да и поздно уже...

Вскоре они были на том берегу.

III

Еще засветло у станичного совета было людно и шумно: то подкатывал, весь в пыли, грузовик, и первыми из кузова выскакивали мужчины, а за ними, подбирая подолы юбок, со смехом и криком слезали женщины. «Подсобите, окаянные!» — «Эй, кум, дайте ж вашу руку!» — «Хоть сразу две!» — «А Глаша какая тяжелая!» — «Эй, ты, здоровило! Обниматься нельзя!» — «Держите меня!» — шутки и веселые возгласы долго разносились по площади; то подлетала к самому крыльцу тачанка, кучер осаживал горячих, в мыле, коней, и приезжие, важно сойдя на землю, отряхивали рубашки, картузы и направлялись в совет; то гремела по улице линейка и слышался хор высоких и дружных голосов,— очевидно, какая-то делегация нарочно въезжала на площадь с песней.

Гостей встречал председатель Родниковского стансовета Никита Никитич Андриянов, худощавый старик в сером костюме и при галстуке,— и костюм и галстук он купил еще в прошлом году и надевал их только в особенных случаях. Вид у него был важный, взгляд маленьких слезливых глаз озабоченно-ласковый. Стоял он у подъезда, его лысая голова была смазана каким-то жиром, от чего редкие волоски прилипли к темени и блестели. Поглаживая куце подрезанную бородку, Никита Никитич веселым хозяйским взглядом посматривал на приезжих, одинаково приветливо улыбался

и грузовику, и тачанке, и какому-нибудь верховому, незаметно подъехавшему к совету, как бы говоря этой улыбкой, что он, председатель стансовета, очень обрадован, и тут же, желая показать свое уменье встречать гостей, для всех находил самые вежливые слова.

Подъехали на грузовике беломечетенцы, и Никита Никитич уже поднял руку и крикнул:

— Здоровы булы, орлы Белой Мечети!

— Доброго здоровья, Никита Никитич! Мы не опоздали?

— В самый раз! Подходите, добрые люди, к столу, запишем мы вас по имени и отчеству.

— Это что же, к своей станице нас припишите?

— На время,— приятно посмеиваясь, отвечал Никита Никитич.— На один вечерок.

— На один — можно.

И тут Никита Никитич с какой-то особенно сладкой улыбкой пожимал руки тем, кто подходил к столу, говоря при этом: «Только на один вечерок». Если попадалась женская рука, Никита Никитич слегка наклонял седую голову и, блестя жирно смазанной лысиной, добавлял: «А вас, гражданочка, можно приписать и навсегда». Молодой статной казачке Никита Никитич хотел сказать еще что-то совсем уже ласковое, но тут появилась еще одна тачанка, и Никита Никитич оставил на время и молодую казачку и всю беломечетенскую делегацию. Подымая руку и этим показывая, что дальше ехать некуда, он сказал:

— Добро пожаловать, краснокаменцы!

— Спасибо за привет да за ласку!

— Никита Никитич все молодеет!

— Голова!

— Хоть и лысая, а голова бедовая!

— А сено у тебя есть для лошадей?

— Все найдется,— важно отвечал Никита Никитич.— Сперва идите к столу, произведем запись, узнаем, откуда прибыли и что вы есть за люди, а тогда и о фураже и о прочем поговорим...

— В клубе будем заседать?

— Если поместимся — можно и в клубе.

— А Сергей Тимофеевич прибыл?
— Поджидаем...
— А ну, какие он планы нам развернет?
— Пусть какие хочет, такие и разворачивает, а я с ним сегодня буду ругаться.
— Запишите Гордея Афанасьевича в прения!
— А я без прений... Мне самому кредиты нужны, а он у меня денег просит.
— Да не у тебя, а у колхоза.
— Все одно!
— Послушай, Никита Никитич, какой именно я выдвигаю тезис. Я не против садов, лесов, водопровода и там разного удобства. Но сперва надо меня снабдить грузовиками. Моему колхозу край нужны автомашины. Я не Гордей Афанасьевич — денег не пожалею! Но не так давно прихожу к Сергею Тимофеевичу и говорю: «Деньги мне не жалко, но как ты есть наш депутат, то обрати внимание...»
Тут к станичному совету подъехал еще один грузовик, и Никита Никитич пошел встречать гостей, так и не узнав, на что же Сергей должен был обратить внимание.
— Яман-Джагла прибыла! — крикнул он. — Соседи! Давненько я не видал вас в Родниковской!
— А ты у нас часто бываешь?
— Не с руки!
— Ну, что тут и как? Скоро начнем?
— Какой быстрый! Веди свою делегацию к столу!
— А зачем к столу? Возьми список и перепиши — всего двадцать четыре представителя. Мало?
Никита Никитич хотел еще что-то сказать, но в это время загремели две линейки и тачанка, показались всадники, и он, идя им навстречу и добродушно улыбаясь, проговорил:
— Хуторяне! Ишь какая шумная компания!
Покамест Никита Никитич занимался гостями, по улицам Родниковской скакали на конях посыльные и созывали на площадь людей. Когда же стемнело и на столбах, стоявших полукругом по всей площади, зажглись огни, народу собралось столько, что никакой клуб вместить их, конечно, не мог. Вскоре приехал

Сергей Тутаринов, и было решено открыть собрание здесь же, перед зданием станичного совета. Стол, покрытый красной материей с темными, застаревшими следами разлитых чернил, был установлен на крыльце, как на сцене, тут же поставлена высокая и узкая, похожая на ящик трибуна, появились стулья, графин с водой, чернильница, и, по просьбе Сергея, два подростка принесли из школы ученическую доску и поставили ее рядом с трибуной.

То, что образовалось на станичной площади, не имело ни малейшего сходства с обычным собранием, какие бывают в клубах или вообще в помещении,— по своему внешнему виду это был скорее всего летучий митинг. У здания станичного совета как попало стояли грузовики, тачанки, линейки, двухколесные шарабаны, и тут же, возле дышел, распряженные лошади в хомутах ели траву. С гор дул ветер, и было свежо, как в поле. Люди разместились где кто мог; тачанки и линейки были нагружены так, что рессоры сплющились и уже не качались; на грузовиках, как на галерке, тоже тесно: кто забрался в кузов, кто удобно примостился сверху кабины или на радиаторе, а кто занял место шофера. Иные же мужчины заняли «места» еще более удобные: залезли на лошадей и уселись не верхом, а боком, свесив обе ноги, как на скамейке. А некоторые, расстелив бурки, улеглись тут же, вблизи крылечка.

Когда был избран президиум и утверждена повестка дня, Никита Никитич, как хозяин станицы, занял место председателя и предоставил слово докладчику. Сергей, заметно волнуясь и приглаживая рукой смолисто-черный чуб, подошел к трибуне. Сразу стало так тихо, что было слышно, как похрустывала на зубах у лошадей сочная трава.

— Наш план преобразования природы, благоустройства наших земель и реконструкции станиц,— сказал Сергей негромким, но твердым голосом,— вырос из коллективного строительства Усть-Невинской гэс, чьим светом мы уже озаряем эту площадь,— и Сергей развел руками, показывая на сверкающую россыпь огней на столбах.— Зарождался этот план на

собраниях колхозов, в станичных советах, и вот наступило время вынести его на рассмотрение представителей родниковского куста... Для сведения собравшихся сообщаю: в усть-невинском кусте, куда приезжали делегации Рощенской, Хумаровской и шести хуторов, план уже был рассмотрен и принят.— Сергей посмотрел на живописный вид собрания и, невольно улыбаясь, сказал: — Теперь слово за вами!

— За нами, Тимофеич,— это да! А только сперва тебя послушаем!

— Давай запевку, а тогда мы уже все, хором!

Сергей пригладил спадавший на глаза чуб, по привычке тронул пальцем брови.

— То, о чем я буду вам рассказывать, есть пока что только наша мечта, но мечта такая, у которой уже выросли крылья! Взгляните хотя бы на Родниковскую: вот она, наша мечта, вся перед вами! — Сергей протянул руку, и все собрание, как бы по его воле, посмотрело на площадь, ярко освещенную огнями.— Вот оно, старинное казачье поселение, бывшее когда-то крепостью наших предков, лежит перед нами, и мы видим эту станицу и такой, какая она была, какая есть, и такой, какой еще будет... Как известно из истории, деды и прадеды наши поселялись в этих местах, где кто мог, строили курени, кому где вздумается,— тогда люди не знали, что такое план, а о красоте никто и не думал, оттого и достались нам в наследство эти кривые улочки и переулки, эти разбросанные дома. Теперь под руководством нашей родной коммунистической партии на Кубани выросли новые люди, они-то и хотят сделать свои станицы благоустроенными, красивыми. Сперва осветили улицы, площади, хаты. Но этого мало!.. Посмотрите, чего мы хотим!.. Нет, нет, вы не смотрите на площадь, а взгляните сюда: вот будущее Родниковской!

Сергей развернул белый плотный и очень большой лист бумаги и приколол его на доске,— тут все увидели чертеж Родниковской... Казалось бы, что могло быть такого особенного и в жирных линиях, и в черных квадратиках, и в треугольниках? Мало ли бывает

таких чертежей? Оказалось же, что именно этот чертеж был необычный, и по этой причине на него смотрели так, точно на ученической доске был приколот не лист белой бумаги, испещренный линиями, а развешан киноэкран и на нем живой картиной рисовалась знакомая и неузнаваемая Родниковская. Когда же Сергей попросил у сидевшего за столом какого-то коневода плетку с махорком и начал, как указкой, водить ею по карте и давать самые краткие пояснения (тут многословия не требовалось), то картина сделалась еще более яркой и красочной...

— Перед вами будущая Родниковская... Сады располагаются так...

Сергей обвел махорком плетки вокруг станицы, и люди вдруг увидели тенистые сады — зеленой шалью окутывали они Родниковскую со всех сторон, а от площади к садам, как лучи от солнца, протянулись ровные улицы с тротуарами и с деревьями в три ряда. Затем махорок плетки пробежал на площадь и замер на сером квадрате.

— Здесь вырастет станичный парк с театром и Домом культуры,— сказал Сергей, а махорок уже перебежал на другое место и остановился.— Против станичного парка намечено строительство районного Дома зооветеринарии.

Послышались голоса:

— А что это за Дом такой?

— Почему районный?

— Районный надо строить в Рощенской.

— Это Никита Никитич в свою пользу мудрует.

— Поясню,— сказал Сергей и слегка ударил плеткой о голенище сапога.— Тут, товарищи, расчет простой. Без науки мы жить не сможем — это теперь все знают. Вот мы и решили для наших ученых-практиков построить: в Родниковской, как она стоит в горах, близко к животноводству,— районный Дом зооветеринарии; в Рощенской, расположенной в центре зернового хозяйства,— Дом агротехники и семеноводства; в Белой Мечети, которая славится у нас садами,— Дом мичуринцев; в Усть-Невинской, являющейся нашим энергетическим центром,— Дом элек-

триков и механизаторов... Это будут наши будущие небольшие филиалы Академии сельскохозяйственных наук.

Снова голоса:

— Вот оно какая песня!

— Академия — дело стоящее.

— Академию построим, а где ж академики?

— Найдутся... А наш Андрей Васильевич Кнышев? Чем не академик?

— Тише, граждане! — властно крикнул Никита Никитич.— Прений я еще не открывал.

— Обратимся снова к Родниковской,— сказал Сергей, и махорок забегал по карте.— На этом месте вырастет двухэтажное здание школы, а в этом квадрате — универсальный магазин,— махорок пробежал по карте и остановился в том месте, где Кубань делала петлю, образуя остров.— На острове построим стадион, а через речной рукав перекинем пешеходный мост... Теперь снова обращаю ваше внимание к станице. В районе колхоза «Власть Советов», вот на этой возвышенности, будет стоять водонапорная башня, от нее, как корни от дерева, разойдутся — вот линии — железные трубы, и вода ручейками пойдет в каждый дом, а по улицам проложим канализацию — это позволит иметь в домах станичников ванну, умывальник, теплую уборную и вообще удобства.

Тишина, как натянутая нить, оборвалась:

— Культурно!

— А ты что ж, сват, удивляешься,— движение!

— Заманчивая жизнь...

— Имею вопрос: это только в Родниковской такое намечается?

— Не может того быть! Дело коллективное...

— Удобство — это да! — сказал мечтательно старик, сидевший на коне.— Чи тебе нужда искупаться — пожалуйста, чи детишек помыть — лезайте себе в ванну и купайтесь, чи бабам белье прополоскать — вода и все такое прочее под рукой...

— Куда там! Бабам ожидается райская жизнь!

— И за сарайчик в стужу не надо бегать!

— Оно-то так, вещь дюже подходящая, а какой

на нее капитал потребуется? Кто будет финансировать? Государство или бюджет местный?

— Гордей Афанасьевич, ради бога не плачь и о финансах прежде времени не тужи...

— По всему видно — это озеленение и обводнение нам в копеечку выльется!

— И этот туда же!

— А тут еще строительство...

— Граждане, спокойно! — призывал к порядку Никита Никитич.— О капитале и о прочем речь впереди!

Сергей тем временем приколол на доску новый лист, он был вдвое больше, и по контурам, по знакомой извилистой стежке Кубани нетрудно было узнать карту района.

— Как вы знаете,— сказал Сергей, помахивая плеткой,— дороги у нас никудышные, машины бьем нещадно, а в дождливую осень — хоть караул кричи! — Тут махорок заволновался и пробежал в длину всей карты.— Смотрите! Через весь район стрелой ляжет асфальтовое шоссе, а по бокам — фруктовый сад... В этом месте, как раз между Яман-Джалгой и Краснокаменкой, образуется проточное озеро, и вода из него будет орошать всю эту низменность. Далее, обратите внимание на поля: они исчерчены квадратиками. По этим квадратам нам предстоит в течение пяти лет посадить двадцать миллионов корней плодовых и лесных деревьев — барьеры против суховея. Причем полезащитные полосы пройдут согласно требованию севооборотов каждого колхоза... А вот наша гордость — Усть-Невинская гэс! — и махорок задержался на черном кружке.— В нынешнем году устанавливаем вторую турбину такой же мощности, это позволит нам не только полностью электрифицировать трудоемкие работы, но дать энергию соседям и создать на базе теперешних МТС электро-машинно-тракторные станции.

— Заманчиво, а где же все-таки взять такой капитал?

— Кто о чем, а Гордей Афанасьевич о капитале!

— Поезжай в комбанк да проверь свои счета...

— Сейчас я и перехожу к самому главному — финансовому обеспечению строительных работ.

Сергей отдал плетку коневоду, подошел к трибуне и с минуту молча смотрел на гудевшее собрание.

IV

В это самое время по лесистому ущелью, ведущему в Родниковскую, проезжали три всадника. Лошади у них приморились и шли неторопливым шагом; было видно, что путники возвращались из дальней поездки. Впереди на низкорослом коне, еще весело державшем голову и пугливо косившемся на кусты, ехал секретарь райкома Николай Кондратьев. Сидел он устало, несколько боком, как обычно сидят всадники отдыхая, и рука его, в которой держал поводья, опиралась на луку высокого казачьего седла.

Вторым всадником был редактор районной газеты «Власть Советов» Илья Стегачев, большеголовый и глазастый парень, с худым и горбоносым лицом, узкоплечий и такой же поджарый, как и его тонконогая, горской породы кобыла.

Следом за Стегачевым, немного приотстав, ехал Герой Труда, заведующий конефермой Андрей Васильевич Кнышев в кудлатой шапке и в бурке, такой длиннополой, что она спадала коню на хвост,— тот самый Кнышев, о котором на собрании было сказано: «А Андрей Васильевич Кнышев — чем не академик?» Андрей Васильевич был уже старик, но в седле держался браво и так стройно, как только могут это делать опытные конники, хорошо познавшие все нехитрые приемы верховой езды. Был он знаменит в районе тем, что вырастил новую породу горской лошади, дав ей имя «кнышевский скакун», за что и удостоен звания Героя Социалистического Труда. Его конь шел мелкой иноходью, и Андрей Васильевич, в косматой шапке и в бурке с острыми плечами, чуть-чуть покачивается в седле, красиво рисуясь на фоне темного леса.

Между тем дорога спускалась в ложбину, под ко-

пытами затрещали мелкие камни, и Кондратьев, короче подобрав поводья, легонько подбодрил каблуками своего коня. Кондратьев был доволен поездкой в горы к животноводам, хотя от непривычки долго сидеть в седле у него болело и в пояснице и в коленях. На пастбищах, переезжая из стоянки в стоянку, он пробыл неделю. В этом «царстве трав и цветов», как говорил Кнышев, находились стада коров, табуны лошадей, отары овец сорока четырех колхозов, жившие здесь все лето, как на курорте. Повсюду маячили шалаши, стояли брички, дымились по вечерам костры, слышались песни, собачий лай, мычание скота, ржание лошадей,— обширная долина среди гор жила своей обычной жизнью. И Кондратьеву приятно было и слышать эти звуки, и сидеть у огня, ощущая вкусный запах баранины, и просыпаться под мокрой от росы буркой, и умываться на берегу каменистого и быстрого ручья. Проект районного плана преобразования природы и реконструкции станиц животноводы обсуждали активно, с деловой строгостью, и это было Кондратьеву по душе. Одно только не нравилось ему — жизнь пастухов была оторвана от станиц. Газеты сюда попадали редко, не было ни кинокартин, ни радио, и часто самые живые новости в жизни страны доходили к животноводам с опозданием на две, а то и на три недели. «Газеты нужно доставлять ежедневно,— думал он, покачиваясь в седле и ощущая боль во всем теле.— Завтра же договорюсь с почтой... В крайнем случае можно выделить верховых лошадей. Радиоузел там бы установить... Еще нужно послать туда лектора. А кого послать? Куницына или Сагайдачного? Лучше Куницына: молодой, энергичный, там такой и нужен». Он стал вспоминать встречи, разговоры, свои обещания прислать кинопередвижку, походную библиотеку; подбирал по памяти людей, которых можно было бы послать культурными работниками; подумал о том, чтобы порадовать животноводов приездом артистов. Там, на пастбищах, животноводы настоятельно требовали провести к пастушьим шалашам и кошарам электролинию,— это предложение было записано как дополнение в план, и теперь Кон-

дратьев думал о том, как бы быстрее и легче осуществить эту задачу. Ему казалось, что лучше всего поручить строительство линии родниковцам: народ боевой, горячий,— а в помощь им выделить людей из соседних станиц. «Запевалой в этом деле будет «Красный кавалерист», надо только подзадорить Хворостянкина»,— думал Кондратьев. И тут он невольно вспомнил, что в этом крупном колхозе давно бы следовало заменить секретаря партийной организации.

— Надо подобрать человека,—негромко проговорил Кондратьев и стал припоминать, кого из хорошо известных ему коммунистов можно было бы рекомендовать общему собранию.

В это время Илью Стегачева занимали совсем иные мысли. В нагрудном кармане его гимнастерки лежала исписанная книжка, и там хранилось столько интересных записей о поездке в горы, что их хватило бы не на одну газетную полосу. Илья припоминал эти записи, а вместе с ними и тех людей, с которыми встречался и беседовал, и ему, как редактору газеты, хотелось дать не только мелкие заметки, но и написать очерк. Он обдумывал план будущего очерка, и все, что он видел в горах, вставало перед ним красочной картиной. И еще ему хотелось многое из того, что видел и записал, использовать в повести, которую он писал вот уже более года со сладостной надеждой когда-нибудь подарить свою книгу Татьяне Нецветовой. Тут голова его низко склонилась на грудь, и он уже видел милое лицо, то веселое, то строгое, видел и тот смешной завиток ее русых волос, который почему-то всегда выбивался из-под косынки и спадал между бровей.

Были свои думки и у Андрея Васильевича Кнышева. Он опустил правую руку и легонько помахивал плеткой, а сам размышлял над тем, что кони приморились, а ехать еще не только в Родниковскую, которая уже была близко, а и в Рощенскую, к самому дому секретаря райкома. Хорошо было бы, как считал Кнышев, если бы Кондратьев заночевал в Родниковской. «Он бы себе выспался, передохнул, а я бы за это время коней покормил, копыта им просмотрел...

А то придется просить у Хворостянкина других лошадей, только где ж в такую пору отыскать Хворостянкина?» Старик так задумался, что не заметил, как въехал в станицу.

Родниковская, растянувшись по балке, светилась огнями, и когда всадники проезжали по улице мимо столба, на котором сияла лампочка так ярко, что заблестела медь на уздечках и возле потников забелели дорожки засохшей пены, Кнышев, молодцевато привстав на стременах, догнал Кондратьева.

— Николай Петрович! Кони совсем подбились,— сказал он, похлопав своего коня по курчавой, влажной шее.— Передохнуть бы нужно...

Кондратьев промолчал, понимая, почему Кнышев заговорил об этом. Тем временем они подъехали к высокому двухэтажному зданию, стоявшему на краю станицы, тоже освещенному со столбов так, что блестели темные окна и был хорошо виден балкон, затененный высокими тополями. Лошади, почуяв запах конюшни и травы, потянули поводья, пошли веселее и сами завернули во двор. Навстречу им шел конюх.

— Как оно ездилось, Андрей Васильевич? — спросил он, беря коня за повод и залезая рукой под потник.— Жарко ехали!

— Ты про нашу поездку не спрашивай,— строго сказал Кнышев,— а лучше скажи, где зараз Хворостянкин.

— Они все на митинге,— сказал конюх, поглаживая коня.

— Какой же там у вас митинг? — спросил Кондратьев.

— Приехал Тутаринов,— отвечал конюх, уже отпуская подпруги.— Там, на площади, три станицы в сборе.

— Илья, это же Сергей с планом! — обрадованно сказал Кондратьев, обращаясь к Стегачеву.— Ну, вот с ним и уедем. Андрей Васильевич, ставьте коней на отдых, больше они нам не потребуются.

Кондратьев тяжело слез с седла, отдал повод Кнышеву, потянулся, потом прошелся по двору, смешно

раскорячив ноги и прихрамывая. Стегачев спрыгнул на землю и тут же стал притоптывать ногами.

— Николай Петрович, а у меня ноги еще действуют! — весело сказал он, танцуя и широко улыбаясь.

— Молодой, что тебе,— сказал Кондратьев, держась рукой за поясницу.— Вот что, Илья. Ты оставайся в «Красном кавалеристе». Поможешь подготовить отчетно-выборное собрание и присмотрись к местным коммунистам, нет ли подходящей кандидатуры на секретаря партбюро. Если я не увижу Хворостянкина, скажи ему, чтобы завтра приехал в райком,— есть разговор и, передай, очень важный.

Илья был рад такому нежданному поручению. Ему давно хотелось остаться хоть на день в Родниковской, чтобы повидаться с Татьяной, и вот его желание сбылось. Но, боясь, что Кондратьев заметит его радость, он потоптался на месте и сказал:

— У меня же столько записано... В газету нужно...

— Самое важное передай по телефону,— посоветовал Кондратьев.

Илья утвердительно кивнул головой и решил тут же пойти к Татьяне на дом. «Если она на собрании,— я поиграю с Мишуткой»,— думал Стегачев. Распрощавшись с Кондратьевым, он торопливо завернул за угол и вскоре вышел на знакомую улицу. А Кондратьев, все еще прихрамывая и широко расставляя отекшие ноги, вялой походкой шел на площадь.

V

Шло обсуждение доклада, и по оживленному шуму и выкрикам: «Закругляйся!», «Не словом, а делом докажешь!», «Женщинам дайте слово!» — Кондратьев понял, что собрание подходило к концу. Он не пошел к столу президиума, а остановился возле молодежи, сидевшей гурьбой на дрючьях,— ему хотелось послушать выступления издали. Здесь было темно. Какой-то чубатый парубок, похожий на драчливого петуха, обнимал девушку и мешал ей слушать.

— Андрюша, не балуйся! — шептала девушка.— Ой, какой же ты несознательный! Слушай, что дядько Хворостянкин насчет лесополос говорит...

Кондратьев улыбнулся и подумал: «Так, так его — бей на сознательность». Затем он подошел к изгороди, расстелил пиджак и, с трудом сгибая колени, сел, чувствуя тупую боль в суставах. В соседстве с ним, по-горски поджав ноги, сидели два старых казака, в бешметах и в кудлатых шапках.

— Петро Спиридонович,— сказал один,— а какой тебе год?

— От рождества пошел седьмой десяток,— неохотно ответил сосед.

— Многовато.

— Это ты насчет чего?

— Не доживем мы до той жизни...

Старики помолчали. Петро Спиридонович, приложив ладонь к густым и жестким бровям, смотрел на оратора и качал головой.

— Хворостянкин руками машет,— сказал он задумчиво.— И до чего ж мастак языком молоть!

— Все себя возвеличивает, рази его душу,— буркнул сосед.

— Либо и тебе высказаться?

Сосед не ответил. Он склонил голову так, что кудлатая шапка легла между ног, и не то дремал, не то о чем-то своем думал. А Хворостянкин, навалившись широкой грудью на трибуну, как бы силясь раздавить ее тяжестью своего тела, взмахивал сильными руками, и его крупное, с шишковатым носом лицо побагровело, а пучкастые усы распушились.

— Закругляюсь, граждане! — кричал он зычным басом.— И напоследок скажу: во всяком деле заглавная вещь — руководитель! По себе могу судить: ежели моя идейность позволяет вести массы вперед, то я и веду, и любые трудности мне нипочем! Все!

Он старательно вытер платком лоб, шею, низко остриженную голову, постоял, подождал аплодисментов,— но их не было, и он твердым шагом сошел вниз. «И откуда у него эта ложная гордость и это никчем-

ное самомнение? — думал Кондратьев. — «Моя идейность позволяет...» И надо же такое придумать! Нет, рядом с этим усатым верзилой должен стоять опытный партийный работник, иначе будет беда...» Кондратьев снова стал по памяти перебирать, кого бы из коммунистов можно было рекомендовать секретарем партийной организации в «Красный кавалерист», а на трибуне уже стояла Глаша Несмашная — председатель колхоза «Светлый путь». Она была молодая, статная, с тем насмешливо-гордым и красивым лицом, которое можно встретить только у женщин верховья Кубани. Поправляя выбившиеся из-под косынки удивительно светлые волосы, она смело смотрела на людей, и ее живые, быстрые глаза светились тем задорным блеском, который как бы говорил: «Эй, мужчины! Вы думаете, если я молодая и собой красивая, то и речь сказать не смогу? А я скажу!..»

— Мы живем на хуторе,— сказала она звонким голосом,— и хоть нам такой жизни, как станичникам, по плану не предполагается по причине небольшого населения, а мы не плачем, как тут некоторые... Бедначками прикидываются! Тот же Гордей Афанасьевич... Ему капиталу жалко! А мы, что ж, на ветер его пускать собираемся? Разве ты, Гордей Афанасьевич, не слышал, что говорил Тутаринов: деньги сторицей окупятся! Ты, Гордей Афанасьевич, лучше спросил бы своих колхозников: для какой цели они наживали капитал? Да именно для той цели, чтобы богатство свое повернуть на строительство красивой жизни, потому что это богатство не у капиталистов, а у нас!

— Верно, Глаша!

— Ай, молодец баба!

— В такую и влюбиться не грех!

— Насчет нашего решения скажи!

— А решение «Светлого пути» — вот!

И Глаша положила на стол лист бумаги. Сергей развернул его и стал читать.

— Читай, читай,— играя блестящими глазами, сказала Глаша, покосившись на Сергея.— Мы просим одного — распределить задание и начать всем в один день, как, помните, гэс строили... А о капита-

ле, Гордей Афанасьевич, плакать нечего: не он нас наживал, а мы его! Вот и вся моя речь!

Зашумели аплодисменты.

— Баба, а отрубила, как топором,— сказал Петро Спиридонович, опираясь на палку и вставая.

Старик постоял, посмотрел на своего соседа, который сидел, все так же угрюмо склонивши голову. Опираясь на палку, старик пошел к президиуму. «Есть в этой Глаше,— думал Кондратьев,— что-то похожее на огонек... вот что радует...»

— Граждане, я имею слово о хлеборобстве!

На трибуну взошел Иван Кузьмич Головачев — председатель хуторского колхоза «Дружба земледельца». Это был мужчина коренастый, полнолицый, с мягкими светлыми усами. Обычно он выступал редко, а если и случалось ему выйти на трибуну, то всегда речь его текла плавно, а голос был ласковый. При этом в больших серых глазах его таилась какая-то невысказанная мысль,— казалось, что говорил он совсем не то, что думал.

— Ну, кто о чем, а Головачев о хлеборобстве,— тихонько сказал Кондратьев и прислушался.

Собрание недовольно шумело:

— Ты о строительстве говори!

— Расскажи, как ты тракторы обратно в МТС отправил!

— Живете в своей «Дружбе» волками!

— Тише, товарищи! — крикнул Никита Никитич.— Дайте ж человеку сполна высказаться!

Головачев говорил спокойно, не отвечая на реплики. Сергей, поглядывая на оратора, что-то записывал. «Записывай, записывай,— думал Кондратьев.— Этот земледелец наговорит — только слушай».

— Тут все выступавшие,— продолжал Головачев,— призывали быстрее иттить в коммунизм. А чего нас еще призывать? Мы, слава богу, торопимся так, что за всеми делами и поспеть не можем... А все получается через то, что планы, сказать, и по зерну, и по мясу, и по молоку, и по другим прочим поставкам большие, а мы хлеборобское занятие забываем, а рвемся к строительству...

— Запела «Дружба»!

— Ты по существу!

— Довольно прений!

— Дайте слово Петру Спиридоновичу!

— На закуску!

— Да я не против стройки! — еще более ласковым голосом сказал Головачев.— Строить надо, а только уборка на носу, об ней тоже надо подумать... Почему нет совещаний по хлебоуборке? Ведь мы в первую голову не строители, а хлеборобы...

Ему не дали говорить, и он, виновато улыбаясь и скрывая в глазах все ту же невысказанную мысль, сел на свое место. Головачева сменил Петро Спиридонович. Старик снял шапку и, держа ее на груди, поклонился собранию и сказал с упреком:

— И чего вы галдеж подняли? Нужно дело вершить, будет человеку из этого выгода — вершите, а опосля соберемся и начнем хоть до утра гульбище устраивать.— Старик помял в кулаке куцую и совершенно белую бороду.— Где эта самая красивая жизнь? Ее еще и не видно, а спорщиков собралась полная площадь... Тут не спорить надобно, а за дело приниматься... Слов нет, молодежь нынче горячая, поговорить умеет, ей не терпится, да и сам голова района еще молодой и дюже щирый... Так вы эту молодежь не приучайте к балачкам, а приноравливайте ее к делу, чтобы горячность за-зря не пропадала... Ежели конь горячится, ему попускают вожжу.— Старик усмехнулся.— Вот и наш Хворостянкин, уже и немолодой, а тоже горячая голова, только, как я на него посмотрю, горячится он не в ту сторону... Более действует словами, мастак прихвастнуть, себя подхвалить, чтоб все одного его примечали. А ты, Игнат Савельевич, и так великан, и завсегда у всех в глазах столбом маячишь...

По собранию прокатился смех.

— Ты мою личность не трогай,— отозвался Хворостянкин.

Старик сжимал в кулаке бородку и, щуря глаза под косматыми бровями, продолжал:

— На мое мнение, граждане, грошей мы дадим,

за этим дело не станет, а только одними грошами ничего не сделаешь. Про людей подумайте. Тут требуется всех людей, от стара до мала, подбодрить хорошенько да сгуртовать до кучи. Допустим, на чем бочка держится? На обручах. Сними обручи — и клепка рассыплется. Вот так и в любом деле — крепость важнее всего... Тут Хворостянкин не велел касаться личности, а я коснусь. Ты, Игнат Савельевич, говорил, будто у тебя чересчур много идейности, а ты ее, эту идейность, людям передай, чтобы они за колхоз болели. А то что ж получается в нашем «Красном кавалеристе»?

— Петро Спиридонович,— снова не удержался Хворостянкин,— о своем колхозе мы поговорим на правлении... Вы по докладу...

— А я и так по докладу,— усмехаясь, ответил старик.— Мы тут решаем насчет коммунизма, а у тебя в колхозе самого простого порядка нету. Те самые обручи никуда не годятся... Это и есть по докладу. Людям мы намечаем богатую да удобную жизнь, а ты, Игнат Савельевич, присмотрись: может, кто еще непригожий к той жизни — вот оно и получится аккурат по докладу. Есть же у нас, чума их побери, такие граждане, какие числятся в колхозе, справки и там еще что ты им подписываешь, а они торговлей живут... Это же не колхозники, а какие-то спекулянты. Об этом предмете и подумать надо. А то построим там всякие научные дома, дороги, леса разведем, водой снабдим, купальня в доме и все такое прочее — вещь сто́ящая. А только и людей к этому надоть подстраивать, сказать — подлаживать, особливо тех, кто еще виляет хвостом — и нашим и вашим... Про это я и хотел высказать.

Старик снова поклонился, надел шапку и, выждав, пока стихнут аплодисменты, не сошел вниз, а подсел к Сергею и что-то стал ему говорить.

Затем выступал бригадир тракторной бригады, молодой, высокий и худой парень. Говорил он горячо, блестя молодыми, жаркими глазами. Во время его выступления Кондратьев взошел на крыльцо, поздоровался с членами президиума и отозвал в сторону Сергея.

— Сколько выступило?

— Это шестнадцатый... Ты будешь выступать?

— Заключай сам. Я с животноводами вдоволь наговорился.— Кондратьев наклонился и шепотом проговорил: — Старика поддержи: толковый казачина...

Время уже было позднее, когда собрание закрылось и станичная площадь опустела. Кондратьев и Сергей немного задержались в станичном совете, поговорили о всяких текущих делах с председателями колхозов и тоже уехали.

За станицей, как только минули мосток через речонку Родники, открывалась холмистая степь, и машина, рассекая огнями фар темноту, освещала то цветущий, выраставший стеной подсолнух, то серебристо-желтые колосья ячменя, то низкое и густое, как щетка, просо. В приспущенные стекла со свистом бился ветер,— пахло свежестью трав и зреющих хлебов. Кондратьев сидел несколько боком, наклонясь к Сергею, и держался рукой за поясницу.

— Да, плохой из меня кавалерист,— сказал он.— Разбился в седле.

— Это пройдет,— сказал Сергей.— Ну как там поживают наши «курортники»? Как отнеслись к плану?

— Все приняли и кое-что подсказали... Просят электричества.

— Дело нужное... А еще что?

— Культбазу надо строить.

— Это ты им подсказал? — с улыбкой спросил Сергей.

— Да не в том суть, кто подсказал: важно то, чтобы построить на пастбищах такое здание, где бы можно было сосредоточить всю культурную работу: радио, кино, клуб, читальню.

Кондратьев закурил и угостил Сергея. Прикуривая от спички, он спросил:

— А о чем говорил Гордей Афанасьевич? Я его выступление не застал.

— Все о деньгах,— со вздохом сказал Сергей.

— Ты не вздыхай... Это, Сергей, весьма суще-

ственный вопрос,— Кондратьев раскурил папиросу.— Будешь в Москве, поговори в Совете по делам колхозов, а вернешься — все обсудим детально, и не вдвоем, а с руководителями колхозов. Тут нужны бережливость и большая осторожность.

— Я это понимаю.

— А старик... как его фамилия? — оживленно заговорил Кондратьев,— да, Петр Спиридонович Чикальдин интересную мысль высказал. Он, кажется, плотник?

— Бондарь,— сказал Сергей,— и идейный противник Хворостянкина.

— Значит, не случайно упомянул о бочке.— Кондратьев некоторое время курил молча, о чем-то думая.— Да, старик прав... Людские души тоже нужно и строить и обновлять — вот к чему призывал этот бондарь, и очень кстати призывал.

Сергей не знал, что ответить, и они ехали молча, смотрели на темные дали степи, каждый размышляя о своем.

— Бедны мы еще хорошими работниками, вот в чем беда! — сказал Кондратьев.— Простой пример: в «Красный кавалерист» нужен партийный руководитель — и такой, который бы стоял на две головы выше Хворостянкина, и вот я не могу подобрать такого человека.

— А если найти на месте? — посоветовал Сергей.

— Назови: кого?

— Есть там агроном Нецветова.

Кондратьев не ответил. В это время машина спустилась с горы и осветила мост, широкий разлив Кубани, темные кущи садов по ту сторону берега.

— Вот и Рощенская! — весело сказал Кондратьев.— Быстро мы приехали...

VI

Днем стояла жара, а ночью над горами веяло свежестью. От реки тянуло сыростью, из ущелья дул прохладный ветер, принося слабые запахи скошенных трав и цветов. Тишина и полуночный покой царили вокруг.

— Эх, и что за ночка! — задумчиво проговорил Илья.— Танюша, тебе не холодно?

Татьяна не ответила. Они шли рядом, и говорить им было не о чем. Улица тянулась по ложбине. Дома прятались в садах,— ночью это были не сады, а густой лес с тревожным шелестом листьев. Ветви затеняли улицу, кое-где горели фонари на столбах, и от этого небо казалось необыкновенно темным и звездным. Илья вел на поводу коня, тишину нарушал мягкий топот копыт. Конь переступал осторожно и, не рассчитав шаг, часто толкал мордой в спину своего хозяина,— тогда скрипело седло и звякало кольцо на уздечке.

— Илюша, ехал бы ты домой.

— А ты как же?

— Что ж я? Тут уже близко.

— Одной же страшно?

— Отчего ж страшно? Я не из пугливых...

— Это верно.

— Тебе еще столько ехать. И к утру не приедешь.

— А мне хотелось до утра побыть с тобой.

— Вот ты какой! — Татьяна остановилась, тяжело вздохнула.— Этого нельзя...

— Вот горе! Но почему же нельзя, Танюша?

Татьяна промолчала. И опять они шли молча, каждый думая о своем. На краю улицы, в кущах деревьев, показались плетень, хворостяные ворота и калитка. Здесь жила Татьяна. Илья привязал к изгороди повод и попросил Татьяну посидеть на скамеечке. Татьяна села неохотно, стала не спеша поправлять косу и повязывать косынку. Илья закурил, осветив спичкой свое смуглое до черноты лицо, сухое, с горбатым носом.

— Думалось мне,— со вздохом сказал Илья,— что ты пригласишь меня в дом...

— В такую пору? — Татьяна горестно рассмеялась.— Это зачем же тебя приглашать?

— Смеешься? Посидели, поговорили бы... Сынишку твоего я посмотрел бы.

— Сынишка спит, да и все в доме давно спят.

Илья склонил голову и молча курил. Татьяна выдернула из плетня хворостинку, поломала ее и сказала:

— Илюша, зачем ты на заседании партбюро завел этот разговор?

Илья молчал, еще ниже наклонив голову.

— Все равно из этого ничего не выйдет,— продолжала Татьяна.— Только Хворостянкина разозлил...

— Я сказал о тебе правду, сказал то, что нужно было сказать, и бояться тебе нечего... А что касается Хворостянкина, то пусть себе злится...

— А что скажет Кондратьев? — грустно проговорила Татьяна.

— Вот этого я еще не знаю.— Илья посмотрел Татьяне в глаза.— Но думаю, что Кондратьев поддержит... Вот поеду и доложу обо всем...

— Не успеешь,— Татьяна отвернулась и стала срывать листья хмеля на плетне.— Раньше тебя там будет Хворостянкин. Он же грозился ехать к Кондратьеву прямо с заседания...

— Это не страшно.

— Да ты герой! — Татьяна встала.— А все-таки тебе нужно ехать.

— Гонишь? — Илья тоже поднялся.— Ну что ж, поеду. Только на прощание скажи: настроение у тебя плохое?

— Да, радоваться нечему.— Татьяна отвязала повод и перекинула его на гриву коня.— Езжай, скоро рассвет.

Илья подтянул подпруги, отвязал приторочённую к седлу бурку, накинул ее на плечи, затем подержал в руке стремя, но в седло не садился.

— Танюша, не печалься. Это же не только мое желание! Слыхала, что члены партбюро говорили... Ну, ты не грусти... Мы поможем... Я помогу! Веришь?

— Хорошо, хорошо,— Татьяна подошла к нему.— И верю и печалиться не буду... Ну, что же тебе еще нужно?

Илья выпрямился, взмахнул, как крылом, полой бурки и укрыл Татьяну.

— Не балуйся, Илья!

Она хотела вырваться, но Илья удержал ее за руки:

— Веришь, Танюша, ничего мне не нужно! Понимаешь, ничего! А только уезжать от тебя не хочется...

— Смешной, ой, какой смешной!

Илье стало грустно, и он отпустил ее руки. Татьяна постояла с минуту, потом тихонько откинула полу бурки и отошла к калитке. Илья подошел к ней, молча посмотрел на ее грустное лицо, на чуть приметный в темноте завиток волос между бровями, а потом птицей взлетел в седло и с места погнал коня в галоп. Стук копыт постепенно смолк, только тревожно и глухо шумели верхушки деревьев. Татьяна прислонилась к калитке и еще долго смотрела в темноту грустными глазами. Затем она немного пошатнулась вперед и, как бы уже не в силах устоять, пошла быстрыми шагами по улице. Вокруг было тихо, лишь надоедливо звенели кузнечики за плетнем и слабо шептались верхушки деревьев. Татьяна свернула за угол и, осторожно прячась за ветками, вошла в соседний двор. Против хаты стоял навес под камышом. Из-под навеса вышла собака, подошла к Татьяне, потерлась у ног, зевнула и ушла в глубь двора. Татьяна смотрела на темную пасть навеса и не могла сойти с места. Преодолевая какую-то вязкую тяжесть в ногах, она пошла, прижалась к углу и сказала совсем тихо:

— Гриша... Это я пришла...

Никто не отозвался. «Наверное, спит»,— подумала Татьяна, чувствуя, как лицо ее горит жаром. Сбив рукой косынку на плечи, она наклонилась и отшатнулась. Кровать, пристроенная к стене в виде лавки, была пуста. Рядно, прикрывавшее сено, пушисто намощенное по кровати, свисало на землю.

— Вот оно как... нету,— сказала она сама себе и испугалась своих слов.— Или со степи не приходил, или, может...

Она не договорила и осторожно, точно боясь споткнуться, вышла со двора.

А Илья в это время спускался по узкой, густо затененной улочке к речке Родники. У берега попоил

коня, затем переехал вброд по мелкому перекату и свернул на дорогу, уходившую по ложбине. Конь всхрапывал и косился на кусты, шапками торчавшие по обеим сторонам дороги. Илья покороче подобрал поводья и поехал рысью, а Татьяна не выходила у него из головы. «Эх, Татьяна, Татьяна, и радость ты моя и горе ты мое... Сколько стерпел обид! А за что? Чем же я виноват перед тобой? Не знаю... Разве тем, что полюбил?..» Илья задумался, и опять, как уже много раз, перед ним живая стояла Татьяна, все такая же молчаливая, с завитком на лбу и с лукавым блеском серых глаз.

VII

Еще и восток не пылал багрянцем, и купол неба не окрасился в светлосерые тона; еще по-ночному гуляли звезды и на землю сизым туманом ложилась роса — трава, листья лопуха, кустарники при дороге не отливали блеском, а были матово-темные; еще только-только разыгралась крикливая спевка зоревых петухов; еще редко в какой хате дымилась труба и хлопотала у печи хозяйка,— словом, день еле-еле нарождался, а по улице Рощенской уже разудало гремела тачанка.

И хотя бы это была какая-нибудь особенная тачанка, а то совсем обычная, каких на Кубани не счесть: и тот же веселый говор колес, и тот же воркующий цокот ступиц, и те же мягкие и уже старенькие рессоры, укрученные, очевидно для прочности, тонкой проволокой, и те же гордо поднятые козырьки из жести, местами согнутые и забрызганные грязью, и тот же высокий ящик с травой, ярко зеленеющей из-под серой полсти... Только тем, пожалуй, и отличалась тачанка, что у нее на тыльной стороне заднего сиденья какой-то мастер кисти изобразил довольно-таки красивую лужайку с замысловатым изгибом Кубани и с двумя деревцами на берегу, а поверх картины размашисто надписал: «Красный кавалерист».

Вот этот замысловатый пейзаж и эти два слова, так и бросавшиеся всем в глаза, и выделяли тачанку,

проезжавшую на заре по Рощенской, среди ее прочих многочисленных сестер. Появись она не только в Рощенской, а на улице, скажем, самого людного города, и уже ее заметят, и всякий человек, невольно провожая ее глазами, скажет: «Красный кавалерист» появился»,— и тут же, заметив в тачанке грузного и солидного на вид мужчину, добавит: «Эге! Хворостянкин уже куда-то скачет!»

Да, тут ошибиться было невозможно! Та самая тачанка, что с таким шумом и лихостью катилась на площадь Рощенской, принадлежала именно колхозу «Красный кавалерист», а мужчина пожилых лет, с молодцевато закрученными усами какого-то желтовато-бурого цвета, сидевший на сочной траве, покрытой полстью, был не кто иной, как Игнат Савельевич Хворостянкин. Пожалуй, никто из председателей во всей Кубани не мог так, как Хворостянкин, сидеть на тачанке: голова чуть приподнята, спина прямая, осанка гордая,— казалось, он был готов всякую минуту соскочить на землю и пойти своим деловым и широким шагом. И внешним видом Игнат Савельевич как-то заметно выделялся среди других председателей колхозов: на нем были хромовые сапоги со сморщенными на икрах голенищами, суконные, изрядно потертые галифе с широченными, до колен, леями, из белого полотна гимнастерка с нашивными карманами, вечно вздутыми, набитыми какой-то бумагой, записными книжками и карандашами, а на плечах и спине — застаревшая пыль, пропитанная пòтом. Рядом с Хворостянкиным его кучер Никита — щуплый, согнувшийся старик, с огрубелым на ветру и жаре лицом, заросшим давней колкой щетиной,— напоминал подростка.

— Игнат Савельевич, завернем в райком? — осведомился Никита, когда тачанка выкатилась на площадь.

— Это за каким дьяволом мы будем заворачивать в райком? — пробасил Хворостянкин.— Кто там есть в такую рань? Говорил тебе — не гони коней, не показывай им кнута, так нет же, летел, как на крыльях! А теперь будем тут петушиную музыку слушать...

— Чего ж бунтуешь? — смело возразил кучер.— Сам же приказал с ветерком...

— Ну, вот что: не рассуждай, а гони в райисполком.

— Да и там же, как я понимаю, никого не будет, разве что сторож...

— А ты не дакай. Сказано: гони — и гони.

И Никита погнал, круто завернув за угол. А Хворостянкин, сидя все так же браво, смотрел в спину кучеру и на минуту задумался:

«В самом деле, Никита прав: и в райисполкоме, должно быть, никого еще нет — рано! Куда ж ехать? К Кондратьеву на дом? Боязно: все-таки неудобно подымать человека с постели... А куда ж ехать? А что, ежели я явлюсь к Тутаринову? Этот молодой, спать ему долго вредно, и ничего, ежели подыму от молодой жены... Да оно и лучше сперва поговорить с Тутариновым, заручиться поддержкой, а тогда уже...»

— Прр! — крикнул Хворостянкин.— Куда летишь? Заворачивай! Знаешь, где живет председатель райисполкома? Гони туда. Да не пускай вскачь! Не на пожар едем! Шагом, шагом, кому сказано! Кнут спрячь... Ах ты, горе!

Кучер не послушался, поехал быстрой рысью и у низеньких из досок ворот с узкой калиткой осадил коней. Хворостянкин на ходу соскочил с тачанки, коленкой распахнул калитку и торопливым шагом направился не к дверям, а к раскрытому окну, смотревшему в сад.

— А где тут хозяева? — сказал он басом, приподымая занавеску и заслоняя плечами всю раму.

Ирина проснулась и толкнула Сергея. Сергей тоже услыхал чей-то знакомый голос, но вставать ему не хотелось. «И кого это нелегкая принесла в такую пору?» — подумал он.

— Долго, долго зорюешь, Сергей Тимофеевич,— бубнил Хворостянкин.— Это, наверное, молодая жена виновата...

— А! Вот оно кто буйствует,— сказал Сергей и с трудом оторвал голову от мягкой и теплой подушки.— Медведь! Чего не даешь людям спать?

— Да разве тут можно спокойно спать? Дело есть срочное...

— Ну, заходи.

— Сережа,— зашептала Ирина,— ты его задержи в сенцах, пока я оденусь.

Когда Ирина согрела чай и накрыла стол, станица уже давно жила и привычным мычанием идущих в стадо коров, и разноголосым пением петухов, и звоном ведер у колодца, и цокотом на улицах колес, и скрипом калиток, и отдаленным говором людей — летнее утро вступило в свои права.

— Сергей Тимофеевич, ты бы лучше водочку поставил взамен этой жидкости,— сказал Хворостянкин, принимая из рук Ирины стакан с чаем.

— Не пью...

— Это я знаю,— Хворостянкин тяжело откинулся на спинку стула и хрипло рассмеялся: — Сам не пьешь, так ты бы не для себя, а для гостя.

Сергей и Ирина смущенно переглянулись. Они сидели рядом, смуглолицые, с черными, четко обозначенными бровями,— лица их имели такое ясное, уловимое сходство, что всякий, впервые увидев их, подумал бы: «Да ведь это же брат и сестра».

— Гляжу я на вас и думаю,— рассудительно заговорил Хворостянкин: — до чего ж природа разумно парует людей! На вас радостно посмотреть: как родные... И это я не только на вас замечаю: моя жена на меня похожа. Только характером ворчливая, никак не может допонять моей роли в «Красном кавалеристе». Бабский ее ум не может того понять, что ежели б не было в «Красном кавалеристе» Хворостянкина, то ничего того не было бы, что есть там зараз.

— А может, ваша жена в чем и права? — спросила Ирина, искоса взглянув на Сергея.

— О! Погляди ты на нее! — Хворостянкин развел руками и обратился к Сергею: — У тебя женушка хоть еще и молодая, а тоже, видать, смелая.

— Да, она у меня такая,— сочувственно улыбаясь, проговорил Сергей.

Хворостянкин отпил глоток чая, пригладил ладонью

усы, и мясистое его лицо сделалось строгим, даже торжественным.

— Как я смотрю сам на себя и вообще на всякое руководство...— важно начал он.— Помнишь, на родниковском собрании я уже высказывал ту мысль, что главное среди людей — руководитель. Почему? А потому, что он же обо всех печалится, можно сказать, недосыпает и недоедает, да все думает, как бы народ свой возвысить. Допустим, у меня в колхозе есть знатные люди: там и орденоносцы, и Герои, тот же Андрей Васильевич Кнышев. А почему у них такое достижение? Руководство есть правильное! Вот оно, откуда нужно танцевать.

— Игнат Савельевич,— сказал Сергей,— а мне думается, что руководитель, допустим, председатель колхоза, сам, без людей, ничего сделать не может.

— Да тут не в том дело, сможет или не сможет! — Хворостянкин даже встал, потом снова сел и отодвинул стакан на середину стола.— Вот тебе свежий пример. Был у нас глава района Хохлаков, на вид человек как человек, а дела-то у него были плохие. Теперь Хохлакова нет, люди в районе остались те же, а что у нас вокруг делается! Подумать только: по пятилетнему плану идем впереди всех, станицы в электрическом огне, всюду веселье и радость! А теперь еще выше замахнулись — за природу беремся обеими руками! А отчего такое случилось? А! Улыбаешься! Ты тут, Сергей Тимофеевич, главная скрипка! Руководство имеется правильное. А что? Скажешь, нет? Так, именно так.

Сергею показалось, что Хворостянкин сказал о нем лишнее, что такая похвала ни к чему, а возразить не смог. Даже нужные слова подобрались, так и хотелось их высказать и поспорить с Хворостянкиным, а вот почему-то промолчал. «Конечно, Игнат Савельевич — человек простой и рассуждает по-своему, но все-таки он правильно понимает»,— подумал Сергей, и после этого к сердцу прильнула такая теплая радость, стало так приятно на душе, что все: и это солнечное утро, и блеск листьев над окном, и стол под

белой скатертью, и Ирина с пышным гнездом волос на голове, и даже сам Хворостянкин с его шишковатым носом показались ему необыкновенно хорошими.

Что тут скажешь — лесть! И кто может устоять перед ее лукавой угодливостью? И чье самолюбие не смягчит она лаской и лукавством? И на каком суровом лице не вызовет она умиленную улыбку? Особенно же лесть бывает падкая на людей, не твердых духом, не знающих себе настоящей цены и любящих, как малые дети сказку, слушать о себе похвальные слова. Для них решительно все едино: будет ли о них сказано что-нибудь приятное на собрании, или на семейном вечере, или по радио, или в личной беседе, или в служебном кабинете — в такую минуту они подымаются на седьмое небо, и в голове у них происходит сладкое кружение... Какой-нибудь Матвей Кириллович до крайности запустил свои дела по службе, обычно сидит в своем кабинете хмурый и злой — весь свет ему не мил, и уже, кажется, никакими усилиями нельзя вызвать на его суровом лице улыбку. Но вот входит секретарь, тяжело вздыхает и говорит удивительно трогательным голосом:

— Матвей Кириллович, отчего вы сегодня так опечалены?

— Думаю... От этих мыслей голова напополам разваливается.

— Эх, Матвей Кириллович, жалко мне вас! И зачем вы себя так мучаете? Головная боль — это очень нехорошо. Ведь вы так, чего доброго, и слечь можете. А вам надо себя беречь! Сколько я работаю с вами, и вот так прихожу в ваш кабинет, смотрю на вас и вижу — убей меня бог, вижу: человек вы необыкновенный, талант у вас большой, с вами работать и так легко и так приятно, что этого уже никакими словами не выразить... И, верите, Матвей Кириллович, я даже и не знаю, как бы мы все тут без вас жили... если бы, не дай бог, что случилось?..

— А что ж такого — я? — спрашивает Матвей Кириллович, а суровость с лица точно кто рукой снял.— Незаменимых людей у нас нет...

— Это все говорят, а вам судить так о себе нельзя. Вы человек особенный и, я бы сказал, незаменимый.— Секретарь ласково смотрит в глаза Матвею Кирилловичу, и ему радостно оттого, что тот уже улыбнулся.— Я понимаю, вы человек скромный, даже слишком скромный, а только для нас вы все одно что матка для улья: убери ее — и пчелы погибнут.

— Слова ты говоришь того... кхе... ценные, и ежели в них вдуматься, то и правда... И хотя я, может быть, и не стою того...

Видно, видно, что Матвей Кириллович крепится, хочет показать, что ему как-то неловко, но куда там ему, бедняжке: глаза уже заволокла мутная поволока, мир наполняется и радостными красками и торжественными звуками, а тело тяжелеет, руки опускаются, и ему уже хочется, чтобы все на него смотрели и восторгались,— весь он во власти лести...

— Ну, Игнат Савельевич,— строго сказал Сергей,— ты меня не расхваливай, а говори: какое там у тебя дело ко мне?

— Пойдем в садок,— предложил Хворостянкин,— там и поговорим... на воздухе.

Они взяли стулья, вышли из комнаты и уселись в тени, под яблоней.

— Сергей Тимофеевич,— начал Хворостянкин, покручивая правый ус,— скажи по совести: можешь ты согласиться с тем, что во всем намеченном плане «Красный кавалерист» обязан занять ведущее место? Тут и наша мощность, и вообще я, как руководитель, не привык плестись в хвосте.

— Не только соглашаюсь,— с улыбкой ответил Сергей,— но буду на этом настаивать.

— Ага! Так,— Хворостянкин оставил ус и сделал рукой сильный жест.— В таком разе где должно быть мое место? Впереди?

— Безусловно.

— И еще скажем: трудно будет председателю в данном случае, как вожаку масс?

— Да, не легко,— согласился Сергей, еще не

понимая, к чему Хворостянкин затеял этот разговор.

— Ага! Так, так! Поддерживаешь, и ты того мнения, что не легко,— горячась, говорил Хворостянкин.— А ежели так, то мне нужен бедовый секретарь партбюро, такой веский товарищ, чтобы я мог на него смело опереться... Скажи: нужен мне такой помощник?

— Да в чем же суть?

— А в том, дорогой Сергей Тимофеевич,— горестно заговорил Хворостянкин,— что в эти помощники мне сватают Татьяну Нецветову... Слыхал?

— Агронома?

— Ее, ее,— Хворостянкин беспомощно развел руками.— И кто сватает, кто идею такую подает? Стегачев, районный редактор, а ее амур, черти б его побрали! Слов нет, женщина она свежая и собой смазливая, она-то ему по душе, в любовницы сгодится, будем говорить правду,— но, а я-то что с ней буду делать? В мои лета и опять же имея ответственность, мне не красотой ее надобно любоваться, а политические вопросы решать... Сергей Тимофеевич, посоветуй, что тут делать...

— Право, я и не знаю,— Сергей смущенно пожал плечами.— Мне думается, что Нецветова в помощники годится... Грамотная, агроном — в поле она у тебя порядок навела.

— Так это ж в поле, и то под моим руководством! — взволнованно возразил Хворостянкин.— А тут требуется не пшеницу подкармливать, а политика, идейность, стойкость! А с женщины что возьмешь? — он махнул рукой.— Эх, знаем мы этот нежный пол...

— Тогда поговори с Кондратьевым,— сказал Сергей,— тут его решающее слово...

— Значит, не поддерживаешь?

— Пусть решит Кондратьев.

— Ну, тогда я поеду в райком,— грустно проговорил Хворостянкин, пожимая Сергею руку.— Эх, горе на мою голову!

Он твердым, решительным шагом направился к воротам.

VIII

В доме Кондратьевых постоянно было так тихо и спокойно, как бывает только осенью в уже опустевшем саду, когда ни птица не ударит крылом о ветку, ни лист не упадет на землю. Да и кто мог шуметь? Малых детей здесь не было, а два сына Кондратьевых, оба женатые, давно уехали от родителей: старший — инженер — работал в Донбассе, на заводе, а младший находился в армии. Наталья Павловна, жена Кондратьева, женщина немолодая, полная, с лицом постоянно ласковым и добродушным, служила в районной библиотеке и с Николаем Петровичем видалась редко: то она была на работе, то он либо находился в отъезде, либо задерживался на заседании.

Наталья Павловна побывала с Кондратьевым не в одном сельском районе, привыкла к такому частому одиночеству и считала, что именно так и живут все жены секретарей райкомов. Всем она была довольна, и хотя частенько грустила, скучала по детям и по внукам,— у старшего, Андрюши, было трое детей,— а поздно ночью, поджидая домой Николая Петровича, вспоминала молодость, тайком от мужа иногда и слезу вытирала платочком, но Николая Петровича всегда встречала ласковой улыбкой и добрым приветом.

И в эту ночь Николай Петрович пришел поздно, а Наталья Павловна еще не спала, и все у нее было и приготовлено и припасено: постель разобрана, ужин подан на стол.

— Опять было заседание? — спросила она.

— Нет, на этот раз задержался с Сергеем... В Москву ему скоро ехать... Вместе готовились...

Николай Петрович снял рубашку и долго полоскался у рукомойника, распустив жесткий и седой чуб, а Наталья Павловна держала в руке полотенце и то подавала мыло, то подливала воды.

— Наташа, и чего ты прислуживаешь мне, как малому ребенку? — сказал Кондратьев, вытираясь полотенцем.

— А кому ж еще и послужить! — отвечала она

ласково.— Николенька,— сказала Наталья Павловна, когда Кондратьев стоял у зеркала и расчесывал волосы,— а ко мне на службу сегодня звонила Ирина Тутаринова. Рассказывала, как они с Сережкой зайца выловили на Кубани... Так забавно рассказывала.

— Это они что ж, охотой занялись? — с хитрецой в глазах спросил Кондратьев.

— Да нет, просто так случилось,— Наталья Павловна подала мужу рубашку.— И еще знаешь о чем мы говорили? Я пригласила Сережку и Ирину к нам в гости.

— А мы с Сергеем и так каждый день вместе.

— Ну, то вы на заседаниях, а тут в домашней обстановке. Посидим за столом, поговорим так, запросто, по-семейному.

— Ну что ж,— сказал Кондратьев, садясь за стол,— дело хорошее. Мне тоже хочется поговорить с Сергеем именно в домашней обстановке. В какой же день придут гости?

— День еще не назначен.

— Спешных дел много, Наташа,— сказал Кондратьев таким голосом, точно извинялся перед женой.— Придется отложить до возвращения Сергея из Москвы... Тогда и посидим и поговорим.

— А зачем же откладывать? — возразила Наталья Павловна, придвигая к мужу тарелку с салатом из свежих огурцов.— Вот перед отъездом и поговорить надо... Дело у него ответственное. Может, что подсказать, посоветовать...

— Да, это, пожалуй, правильно,— согласился Кондратьев.

Рано утром, когда только-только начинало рассветать, скрипнула калитка, и в дверь постучали. Наталья Павловна по голосу узнала Илью Стегачева, торопливо оделась, вышла в коридор и отодвинула засов.

— Илюша, и чего ты так рано? — шепотом спросила она.— Почему не спишь сам и другим не даешь?

— Наталья Павловна, дело у меня неотложное. Я только сейчас из «Красного кавалериста», мне очень нужен Николай Петрович.

— И не спал всю ночь?

— Да не это меня волнует,— сказал Илья и хотел пройти в другую комнату.— Пустите к Николаю Петровичу...

— Не пущу, хоть что хошь,— Наталья Павловна загородила собой дорогу.— Или тебе дня не будет? Ведь он же под угро заявился домой, а ты уже будить.

— Наталья Павловна, у меня такое дело! — взмолился Илья.— Понимаете, не могу я ждать...

— Ну, ты присядь,— и Наталья Павловна побежала на кухню и загремела посудой.— Я тебя сейчас чаем попою,— сказала она, неся стаканы и блюдца.— Садись к столу.

Илья неохотно сел, поглядывая на дверь, ведущую в спальню.

— А плохо тебе, Илюша, работать редактором? — ласково, как мать сына, спросила Наталья Павловна.

— Это почему же плохо? — удивился Илья.

— Да потому, что власть у тебя маленькая,— Наталья Павловна улыбнулась своей приятной улыбкой.— Не можешь ты сам ничего решать. Вот и сейчас прибежал к Николаю Петровичу. А почему бы самому не решить все так, как нужно?

— Не могу, Наталья Павловна, уж очень это дело серьезное!

— Так ты мне скажи, может, я в чем окажу помощь.

— И вам сказать не могу...

— А как у тебя с книгой? — участливо спросила Наталья Павловна.— Пишешь?

— Пишу,— неохотно ответил Илья.

— Повесть или роман?

— Назвал повестью...

— И любовь опишешь?

— Еще не знаю...

— Без любви, Илюша, не пиши... Какая это повесть,

если любви не будет!.. Ты у Тургенева учись, хорошо писал...

— Наталья Павловна,— взмолился Илья,— разбудите Николая Петровича...

— Нет, нет, чайку попьешь, а тогда и поговорите,— стояла на своем Наталья Павловна.

Волей-неволей Илье пришлось пить чай, а тем временем рассвело, и Кондратьев сам вышел в столовую. Он молча протянул Илье руку и, заметив в его глазах недобрый блеск, строго сказал:

— Стегачев! Ты из Родниковской?

— Да... Николай Петрович, Хворостянкин у вас был?

— Не был... А что случилось? Ты чего встревожен?

— Нет, я совсем спокоен,— сказал Илья, сжимая пальцами спинку стула.— Есть кандидатура, вот я и приехал... Я вам все расскажу... Мы на партбюро говори и; все за, а Хворостянкин против... Грозился к вам чуть свет приехать.

— А ты его опередил? — скупо улыбаясь, сказал Кондратьев.— Ну, говори, что там за кандидатура?

— Нецветова Татьяна,— сказал Илья и покраснел.

— Агроном колхоза?

— Да, она...

— Илюша, это не та Татьяна, с которой ты меня знакомил в магазине? — с чисто женским участием спросила Наталья Павловна.

Илья промолчал и, боясь взглянуть на Кондратьева, низко опустил голову и сидел молча. Молчал и Кондратьев, о чем-то думая.

— Николенька, а женщина она славная,— сказала Наталья Павловна, чтобы как-нибудь нарушить неловкое молчание.— Вот ты поговоришь с ней и увидишь — она умница...

— Да,— не слушая жену, проговорил Кондратьев.— Агроном Татьяна Нецветова? Сколько лет в партии?

— С сорок третьего.

Кондратьев встал, прошелся по комнате.

— Поедем в «Красный кавалерист».

— Может быть, вы один? — несмело сказал Илья.

— Нет, именно вдвоем.

— Да вы хоть закусите,— сказала Наталья Павловна и заспешила накрывать стол.

IX

Из крайней от реки улицы сквозь кущи верб и белолисток хорошо был виден разлив Кубани; была видна высокая, омытая водой насыпь, а дальше — мост на горбатых каменных сводах; был виден серый, упруго скачущий поток: со стоном, в каком-то неистовом бешенстве, день и ночь он падал на водорезы и, пенясь и бурля, уносился по широкому простору реки.

— Да, разгулялась Кубань...— задумчиво проговорил Кондратьев, когда машина въехала на мост.

— Говорят, что такой разлив к урожаю,— сказал Илья, наклоняясь с заднего сиденья к Кондратьеву.

— Это кто ж тебе сказал? Не Нецветова, как агроном?..

— Нет, не она,— смутился Илья.— Так просто... старые люди говорят.

Дорога выскочила на взгорье и надвое рассекла зеленую до матовой черноты стену кукурузы, следом за машиной волочился пышный и длинный хвост пыли.

— Илья, как ты думаешь,— заговорил Кондратьев,— хватит у нее сил, уменья и вообще?.. Ты с ней говорил?

— Да, разговаривал,— сказал Илья, стараясь быть спокойным.— Николай Петрович, Нецветова очень умная, выдержанная и, я бы сказал, женщина волевая.

— Ты мне ее не очень расхваливай,— Кондратьев усмехнулся и посмотрел на редактора.— Знаю: любимая всегда кажется особенной, необыкновенной...

— Нет, уж тут моя любовь ни при чем,— смело сказал Илья.

Кондратьев перекинул руку через спинку сиденья и сказал:

— Тогда скажи мне, как редактор и как будущий писатель: есть ли у нее для этой работы достаточная подготовка? Ведь ей же придется иметь дело с Хворостянкиным, а это такой человек, что его постоянно нужно держать в руках. Вот что меня интересует.

— Я ей верю,— ответил Илья.— Первое время, конечно, нужно будет помочь. Нецветова грамотная, начитанная, а главное — есть у нее что-то такое, что все к ней питают особое уважение.

— Все?

— Да! И вы бы послушали, как о ней говорили коммунисты!

Дорога спускалась в ложбину, в самой низине стеклом блестела речонка Родники, к ней спускался табун коней — табунщик далеко отстал от них. Кондратьев любовался зеленым пологом пастбища и молчал. Илья тоже смотрел на открывавшуюся, давно ему знакомую низину, по которой он ехал этой ночью, но не видел ни табунов, ни блеска речонки, ни стожков свежесложенного сена,— перед ним стояла Татьяна.

X

Эту ночь не спалось Татьяне; много и с тревогой думала она о вчерашнем разговоре с Ильей, и о своем вдовьем горе, и о Григории, который должен был прийти в эту ночь со степи и почему-то не пришел... Уснула она только на заре. Проснулась от песни, которую не пел, а мурлыкал в палисаднике под окном ее сын. Голос мальчика был еще так нежен, и в нем слышалось столько детской радости и беспечности, что Татьяна уже не могла и минуты лежать в постели. В одной нижней рубашке, с голыми до плеч руками, с косами цвета овсяной соломы, спадавшими ей на грудь и на спину, она перегнулась через подоконник, подняла мальчика и начала с ненасытной жадностью целовать и его щеки, и нос, и глаза. Мишутка был не

рад такой ласке,— отнятый от увлекательного занятия, он дулся на мать, отбивался руками, а Татьяна приподняла его и вдруг впервые увидела в рассерженном, надутом лице сына знакомые черты: именно сейчас, в это утро, Мишутка был так похож на отца, что Татьяна даже рассмеялась: «Как же я этого раньше не замечала? Ну, копия, весь в Андрея! И серые, большие глаза с чуть заметным налетом голубизны, и ровный нос с резким вырезом ноздрей, и вихорок в чубе, и даже ямка на подбородке, округлые мочки маленьких твердых ушей — все, все как у Андрея!»

— Михаил Андреевич,— с напускной серьезностью заговорила Татьяна,— ты чего сегодня такой серьезный?

— Мамка, а ты меня не трогай,— взбираясь на подоконник, сказал Мишутка.— Погляди за окно: что там у меня делается? Дом построил, самый наисправдишний...

Мишутка выпрыгнул за окно, а Татьяна тяжело вздохнула и села на кровать.

«Боже мой,— подумала она, с грустью глядя в сад, на позолоченные солнцем листья,— да у него и голос как у Андрея!.. Андрюша, Андрюша, вот какой у тебя сын растет...»

Руки сами потянулись к косе, пальцы привычно перебирали толстые локоны, сплетая их, а в памяти сами по себе воскресали далекие и уже, казалось, давно забытые картины... Помнится, и хорошо помнится, та светлая ночь июля. Вот так же настежь было распахнуто окно и листья на деревьях дрожали и поблескивали, только не солнце, а луна тогда смотрела в палисадник. Татьяна была на гулянье, и ей так хотелось остаться вдвоем с Андреем, которого она любила той благословенной и чистой любовью, какой может любить только девушка, когда ей исполнилось восемнадцать лет. А ее любил Илья Стегачев и всегда неотступно следовал за ней. И как ни старались Татьяна и Андрей избавиться от неприятного соседства, как ни прятались и как ни изловчались, а Илья не отходил от них. Тогда Татьяна одними глазами сказала Андрею все, что только может сказать лукавый деви-

чий взгляд, а вслух стала жаловаться на усталость, на боль головы, попрощалась с обоими за руку и не ушла, а убежала домой. Не раздеваясь и с трудом переводя дыхание, она упала на кровать, чувствуя, как жаром охватило ее щеки. Вошла мать в белой ночной сорочке, постояла, как привидение, у кровати, тихонько спросила: «Танюша, ты одна?» — и, не дождавшись ответа, ушла. Татьяну и душил смех, и к горлу подкатывалось что-то горькое и обидное, и сердце билось так часто и сильно, что отстуки его она слышала в висках и в прожилках шеи... Долго лежала она и прислушивалась, а Андрей все не приходил.

Где-то скрипела калитка,— очевидно, телок чесал спину; в саду билась крыльями о листья сова или какая другая птица. Издалека долетала песня,— видимо, девушки ушли в конец улицы, на берег речки. Одиноко, звенящим голоском залаяла собака. Затем стало совсем тихо и послышались у двора шаги. Татьяна подбежала к окну и замерла: мимо двора проходили Андрей и Илья, и Татьяна, затаив дыхание, слышала их разговор:

— Ну, Илюша, до свидания.

— Может, и мы пойдем к реке?

— Что-то неохота... Лучше спать!

— Кого ты обманываешь, Андрей? Знаю, что пойдешь к ней.

— Да ты что?

— Ну иди, шут с тобой.

Они разошлись в разные стороны, и опять послышались неторопливые шаги... «Неужели не придет?» Она сжала на груди руки и отошла от окна, и вдруг ее сердце замерло: резко и сильно треснул плетень, точно на него наехало колесо, зашевелился бурьян в саду, и в окне появилась голова Андрея:

— Танюша, где ты?

Не видя ничего перед собой, она протянула к нему руки и, как слепая, подошла к окну; он поднял ее легко, как пушинку, и унес в сад... Это было в последние каникулы, а осенью они уехали в Ставрополь оканчивать агрономический институт, попросив на всякий

случай у родителей благословения. С ними уехал и Илья, молчаливый и злой,— он учился в том же городе, только не в институте, а в партийной школе. Он и после этого часто встречался с Татьяной, смотрел на нее тем же влюбленным, ласковым взглядом и как-то раз, на вечере в клубе, сказал: «Что бы ты ни делала со мной, а выбросить тебя из сердца я не могу и никого, кроме тебя, любить не буду». Татьяна смеялась и не верила этим словам. Да и зачем ей нужно было верить? Она уже считалась женой Андрея Нецветова и была счастлива. Но не долго длилось это счастье. Зимой они начали работать в совхозе, весной родился у Татьяны сын, а вслед за этой радостью пришло и горе: в июне Андрей ушел на войну. Татьяна приехала с ребенком к родным, стала работать в колхозе, вступила в партию и тут, вот в этой комнате и на этой кровати, выплакала все слезы по мужу и впервые в жизни испытала страшное вдовье горе... Илья тоже был на фронте и, узнав о гибели Андрея Нецветова, писал Татьяне часто и помногу, но она не читала его писем, складывая неразорванные конверты в печурку.

— Маманя! — что есть силы закричал Мишутка, взбираясь на подоконник.— Ой, маманя, кажись, папка приехал на лехковике!

Татьяна вздрогнула — так неожиданна была радость мальчика; она еще мысленно находилась с мужем, и в эту секунду ей почудилось, что Андрей и в самом деле приехал,— все вокруг нее точно пошатнулось, а потом снова стало на место. Мишутка побежал на улицу и у калитки остановился.

— Это не папка, а дядя Илюша,— сказал он невесело.

У ворот всхрапнул и умолк мотор, послышались мужские голоса.

Пока приезжие разговаривали с Мишуткой, Татьяна наскоро оделась, кое-как закрутила на голове косу, сполоснула лицо, уже отчего-то горевшее румянцем, мимоходом взглянула в зеркальце и пошла встречать гостей.

XI

Настроение у Ильи было не то чтобы неважное, а просто плохое, какое бывает только у человека, чувствующего, но не понимающего своей вины. «Тьфу, чертовщина какая: в чем же я, в самом деле, виноват?» — задавал он себе вопрос и не находил ответа, а сердце болело; нет, не болело, а как-то неприятно ныло. Кондратьев хорошо знал его отношение к Татьяне, и поэтому Илье не хотелось принимать участие в предстоящем разговоре, но как от этого уйти, не мог придумать. Чтобы хоть как-нибудь скрыть свое волнение и в глазах Татьяны показаться веселым, Илья еще за воротами схватил подвернувшегося под руку Мишутку и понес во двор. Он и смеялся и готов был расцеловать оторопевшего мальчугана, делая при этом вид, что вовсе не замечает стоявшую на крылечке Татьяну.

Между тем Кондратьев оправлял под поясом рубашку и входил в калитку так запросто, как входят в свой двор хозяева,— даже взглянул на небогатое подворье, как бы желая убедиться, все ли на месте. Затем, уже вблизи крылечка, он как-то так изучающе-строго посмотрел на хозяйку дома, точно говорил: «Ах, вот ты какая, Татьяна Нецветова! Ничего собой: и статная и красивая,— ну-ка, подойди поближе, дай я на тебя хорошенько посмотрю».

— Здравствуй, Татьяна,— сказал он, протягивая руку.— Принимай гостей.

— Милости прошу, заходите в хату,— любезно проговорила Татьяна.

— Зачем же в хату? — возразил Кондратьев, поглядывая на палисадник.— Какие у вас славные вишни! Вот и посидим в холодке.

— А все же чайку я согрею,— сказала Татьяна.— Николай Петрович, вы любите чай с вишнями?

— Люблю и с вишнями и без вишен.

После этих слов Кондратьев снова посмотрел на Татьяну с таким очевидным пристрастием, что в прищуренных глазах его можно было читать: «Так, так,

вижу, что хозяйка ты хорошая, и ласковая и гостеприимная, а вот какие у тебя есть другие способности — еще ничего мне не видно». Татьяна поймала его взгляд и, усмехнувшись, подумала: «И чего он на меня так смотрит?»

— Николай Петрович,— сказала она тем же приветливым голосом,— посидите покамест в холодочке, а я поставлю чайник и соберу сынишку в детский сад.

— Николай Петрович,— заговорил Илья,— разрешите мне отвести мальчика в детский сад.

— А сумеешь?— Кондратьев рассмеялся.— Не меня спрашивай, а мать. Дозволь ему, Татьяна.

Татьяна кивнула головой, даже не взглянув на Илью, и ушла в дом. Она уже догадывалась, зачем пожаловал к ней Кондратьев, и была рада, что Ильи не будет при разговоре, который вот-вот должен начаться.

Солнце только-только поднялось над крышами, светило ярко, но грело слабо, и в палисаднике от сырой земли веяло ночной прохладой. Кондратьев присел на лавочку, над его головой раскинулись еще мокрые от обилия росы листья, а между ними серьгами краснели и желтели вишни. Поджидая Татьяну, Кондратьев сорвал одну ягодку, положил ее в рот и скривился, как от зубной боли. «Что-то мне в ней не нравится, а вот что именно, понять не могу,— думал он, пробуя зубами косточку.— Молодо-зелено — это, пожалуй, как раз к ней и подходит...» Он вынул изо рта мокрую косточку, положил ее на ладонь и задумался. В эту минуту его беспокоили чисто практические соображения: какой завести разговор с Татьяной, чтобы тут же решить, будет ли из нее толк или не будет? Если бы можно было безошибочно знать, что Татьяна Нецветова сумеет стать хорошим партийным работником, то избрание ее нужно было всячески приветствовать: и женщина и агроном,— чего еще нужно! А что она еще молодая — этого бояться нечего... Будет, конечно, влюбляться, один поклонник сердца уже налицо, а там, гляди, и замуж выйдет — век вдовой не останется... Это обстоятельство

тоже можно не принимать в расчет. Существенно другое: что́ у нее в душе, как она смотрит на жизнь и есть ли у нее политическое чутье и та острота и твердость, которые так необходимы будут в работе; умна ли, начитана ли, сумеет ли увидеть то, что другим не видно, сможет ли поговорить с человеком так, чтобы он открыл ей душу,— да мало ли какими качествами обязан обладать первый коммунист в колхозе! Вот это и беспокоило Кондратьева. И еще важно было знать: найдет ли нужный язык не только с людьми, но и с Хворостянкиным,— с этим человеком в самые ближайшие дни потребуется сразиться и выдержать бой...

Неслышно подошла Татьяна. На ней были новенькие сандалеты, светлокоричневые, под цвет чулок, новое платье с поперечными синими полосками на спине и на груди, лицо веселое и слегка припудренное, отчего оно стало таким свежим, что даже ее светлые брови четко выделялись на нем. «Преобразилась... Быстро! Вот она — вся тут»,— с горестным чувством подумал Кондратьев, заметив в Татьяне какую-то неприятную для него перемену.

— Странно,— сказала она, тихонько смеясь и нагибая ветку,— вчера Хворостянкин собирался ехать к вам, а сегодня вы сами приехали к нам...

— А ты знаешь, по какому делу я приехал?

— Догадываюсь.

— Вот и хорошо... Как думаешь, если тебя изберут секретарем партбюро, сумеешь возглавить партийную работу?

— А я еще об этом не думала.

— Почему?

— А что ж тут думать? С Хворостянкиным все одно не уживусь.— Она встала, сдвинула брови, очевидно, так, как это делает Хворостянкин, и басом сказала: — «Ты у меня есть парторг, и твое дело — газету по степу разносить»,— и тут же звонко, почти по-детски рассмеялась.— А я не смогу быть разносчицей.

— Газеты разносить — тоже дело важное,— заметил Кондратьев и умолк, выжидая, что скажет Татьяна.

— Не в одних газетах дело.

Татьяна сорвала две вишни со сросшимися хвостиками и приколола их себе на левой стороне груди.

— Понимаете, мы с Хворостянкиным разные люди!

— Так, так. Это интересно.

— Не очень.

Татьяна закусила нижнюю губу и задумалась.

— Это не Хворостянкин, а личность, ей-богу! Да разве вы его еще не изучили? Он и спит, а во сне видит одного себя и свою славу. Ему и секретарь партбюро нужен под одну с ним масть,— она посмотрела на Кондратьева честными и удивительно светлыми глазами.— Мы с ним будем жить как кошка с собакой, заранее знайте.

— Что же, по-твоему, нужно сделать? Заменить? — спросил Кондратьев и так посмотрел на собеседницу, как будто он знал, что и как нужно сделать, но нарочно умолчал.

— Зачем же? — Татьяна насторожилась.— Заменять не нужно, а только надо ему указать его место... Ведь он же считает, что колхоз — это он один, а чувствует он себя не председателем, а эдаким князьком...

— Так, так,— задумчиво проговорил Кондратьев.— А еще что ты скажешь?

— А еще,— Татьяна встала,— а еще... пойдемте чай пить... Там и доскажу. А то чайник давно вскипел.

XII

Электрический чайник, стоявший в углу, с длинным, тянувшимся по стене проводом,— шарчонок на цепи да и только! — и в самом деле давно гневался на забывчивую хозяйку, пуская струйки пара — крышечка подпрыгивала и звенела, как живая. Татьяна подлила воды, и чайник успокоился и запел тихо и жалобно.

«Все ее мысли вертятся около Хворостянкина — такую парочку, безусловно, не соединишь,— думал Кондратьев, входя в комнату.— А вот и домашняя биб-

лиотека... Очевидно, ее... Посмотрим, чем она богата...»

И все время, пока Татьяна готовила на стол, Кондратьев стоял у полки и рассматривал книги,— здесь им было очень тесно: пухлые тома в потертых переплетах, точно в поношенных пиджаках, немилосердно сжимали своими боками тоненькие брошюры; рядом с дорогим и еще новым изданием, одетым в цветной супер, соседствовали до крайности пожелтевшие и разлохмаченные листы; кое-где ясным солнышком блестело золотое тиснение, а над ним, образуя козырек, лежали толстые журналы разных лет; библиотечка «Огонька» почему-то была расставлена сверху полки, так что на Кондратьева смотрели разом все современные литераторы. Кондратьев даже улыбнулся, встретившись с глазу на глаз с «инженерами человеческих душ», одному из них, самому молодому и гордому своим видом, даже подмигнул, как бы говоря: «А! Вот где мы встретились!»

Нужно заметить, что Кондратьева, как страстного любителя печатного слова, заинтересовали не эти портреты и не теснота на полках, а тот уж слишком пестрый подбор книг, которого он никак не ждал увидеть в этом доме. Он начал перечитывать названия и удивился еще больше: тут были и «Диалектика природы» Энгельса, и «Мцыри» Лермонтова, и «Основы земледелия» Вильямса, и выступление Жданова по книге Александрова, и «Развитие сельского хозяйства в послевоенный период» Бенедиктова, и «Беседы о природе и человеке», и томики Чехова, и «Пушкин в изгнании», и новеллы Мериме, и щуплая и изрядно потертая книжка «Язык агитатора», и даже «История древней Греции». Книги Ленина и Сталина стояли особняком, а рядом с ними внимание Кондратьева привлек темносиний том в отличном переплете, на котором золотом отсвечивались слова: «И. М. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения».

Как-то уж очень осторожно и даже боязливо он открыл эту книгу и под портретом незнакомого ему человека прочитал написанное чернилами: «Ругаю себя за то, что раньше, когда еще училась, не прочитала

эту умную книгу». Кондратьев перелистывал страницы, и ему было как-то неловко оттого, что он не только не читал Сеченова, но еще и не держал эту книгу в руках. «Мне бы тоже следовало себя поругать»,— думал он, и ему казалось, что Татьяна в эту минуту смотрит на него и смеется одними глазами.

Кондратьев часто встречал в домах колхозников небольшие библиотеки, и всегда это его радовало, и он заводил разговор с хозяевами о литературе, о писателях. Поэтому и здесь, когда он еще только подошел к полке, ему захотелось потом, за чаем, именно с книги начать разговор; сперва поговорить с Татьяной о библиотеке вообще и о том, какие авторы ей больше всего нравятся, расспросить, что она читает и как читает: записывает ли конспекты или делает пометки на полях,— словом, поговорить так, как обычно говорил он с людьми, желая привить им вкус к чтению, а потом уже перейти к главному. И он бы так и сделал, но в руки попалась эта незнакомая книга, и он почему-то уже не так, как прежде, посмотрел на Татьяну... «Она тоже... книга мне незнакомая»,— с улыбкой подумал он и, поставив Сеченова на полку, подошел к столу.

— Интересуетесь библиотекой? — спросила Татьяна, нарезая на тарелку огурцы.

— Так, взглянул...

— Бедно у нас с книгами... Новинок мало. Больше всего то, что осталось еще с института, тут и мое и Андрея.— Она придвинула стул.— Садитесь. Завтрак на быструю руку.

А через час, когда пришел Илья, они уже не ели и не пили чай, а говорили о чем-то таком значительном, что даже не заметили появления Стегачева на пороге. Татьяна поставила локти на стол и оперлась щеками на ладони — в таком положении и ее лицо, и глаза с чуть приметной поволокой, и завиток волос между бровями, и вся она, сосредоточенно-строгая, была для Ильи и милее и красивее; она смотрела на Кондратьева тем добрым и внимательным взглядом, каким

смотрит только дочь на отца, стараясь уловить каждое его слово.

— А! Стегачев! — добродушно-ласково сказал Кондратьев.— Вот что, дорогой... Я сейчас уеду, а ты оставайся, помоги товарищам подготовить собрание, а заодно приготовь на Татьяну Николаевну письменное представление на бюро.

Татьяна улыбнулась Илье, но не весело, а так, как когда-то, еще девушкой, улыбалась, желая показать, что она его только уважает, но не любит; в глазах ее он заметил скрытую, но хорошо ему знакомую усмешку. «Ну, что теперь скажешь? Доволен?» — говорили и ее улыбка и насмешливо-лукавый взгляд.

Илья стоял у порога и еще ничего толком не мог понять.

XIII

В июне, перед началом косовицы, на полях бывает короткая пора затишья и покоя. И хотя внешне все кажется обычным: и дни стоят безоблачные и жаркие; и горячий воздух с самого утра полон птичьего песнопения; и дали широки и по-летнему укрыты пряжей тончайшего марева; и колышутся, плывут бог знает куда дальние холмы и курганы; и вырастают над горизонтом еле-еле приметные бригадные постройки или вагончик трактористов; и встает по дорогам пыль — серый заслон тянется на километры; и гудит неведомо где мотор,— тягучий его звук хорошо слышен, когда приложишь ухо к земле; и разносится по простору частая дробь копыт,— чубатая голова всадника, как шар, прокатится над зеленой листвой кукурузы и скроется,— словом, все, все обыденно, все точно так, как и во всякое лето, а только в такие дни настороженный слух хлебороба улавливает и нечто другое — наступление летней страды.

Проезжая проселочной дорогой, Кондратьев тоже и слышал и видел то, чем жила в эти дни степь. Может быть, ему и не были известны все те звуки и краски, которые так милы сердцу опытного земледельца, но зато острый глаз его повсюду замечал какие-либо нов-

шества и перемены. Еще вчера, например, пшеничное поле — добрые сто гектаров в квадрате — было лишь слегка тронуто белизной, точно художник на зеленом холсте невзначай положил белила,— а сегодня вся его гладь отливала на солнце светлой бронзой; обычно проселки были пусты, редко какой объездчик проедет по ним на своей ленивой кобыле да под вечер пройдут в стан полольщики,— теперь же тут появились и водовозы, и чаны с водой, и пожарник в начищенной каске, и вышка с гнездом для наблюдателя, и бычьи упряжки, везущие железные бочки с горючим, и комбайны, заслонившие собой весь проезд, и косилки, стоящие сбочь дороги, и белые полосы обкосов. Еще вчера вечером вагончик стоял возле подсолнухов, дымилась печка, играла гармонь в паре с балалайкой,— казалось, трактористы так обжились на этом месте и так привыкли к подсолнечникам, что уже до самой осени отсюда никуда и не уедут,— теперь же смотрит Кондратьев и видит лишь пустое место, следы от печки, темные пятна от пролитого керосина: ночью, точно боясь, чтобы кто-нибудь не увидел, трактористы переехали поближе к пшенице. Изменили свои маршруты и бригадиры-полеводы; седлая коней, они обычно ехали к пропашным и там, среди полольщиков, оставались на весь день; теперь Кондратьев повстречал не одного всадника, и все они ехали все туда же, к пшенице. А во дворах бригадных станов расчищались и укатывались тока, поливались водой и утрамбовывались деревянными колотушками, а по вечерам молодежь использовала ток под танцевальную площадку,— земля так утаптывалась, что под каблуками уже не гудела, а звенела.

Кто-кто, а Кондратьев хорошо знал, что такое в этих местах июнь с его зноем и синим небом: именно в июне сама природа заставляет людей торопиться и жить напряженным ожиданием большого события — сбора урожая. И хотя Кондратьев не первый год наблюдал то заметное оживление, которое царило в эту пору не вообще на полях, а главным образом вблизи пшеницы,— казалось, за много лет можно было ко всему привыкнуть и не волноваться,— а вот нет! Ему

было и радостно и грустно, а сердце наполнялось той волнующей тревогой, которая была так знакома, пожалуй, каждому секретарю сельского райкома. Радостно ему было оттого, что вот и в этом году скоро-скоро разноголосо загудит и запоет степь, а по этим дорогам, как по водным путям, пойдет на элеваторы хлеб, потянутся обозы, тяжко выстукивая колесами, побегут грузовики, в кузовах которых будет желтеть зерно, слегка припудренное пылью; а грустно и немного тревожно было ему оттого, что в эти дни всегда время почему-то бежало стремительно и угнаться за ним было трудно: в том колхозе не успевали с подготовкой токов, в другом — затянулся ремонт зернохранилищ, в третьем — не был подготовлен гужевой транспорт. Машинное хозяйство МТС тоже не успевало за временем и напоминало собой нестройную и плохо организованную колонну: иные комбайны, жатки, косарки вырвались вперед и уже стояли возле дозревающей пшеницы, а иные находились в усадьбе МТС со снятыми моторами и с вынутыми внутренностями; одни молотильные агрегаты ползли по дорогам, направлялись к токам, другие еще только подвозились к мастерским.

Особенно Кондратьева беспокоила Усть-Невинская гэс: энергии было много, а практической пользы от нее пока что мало. Случилось так, что пуск турбины вызвал всеобщее ликование: радовались победе не только в колхозах, но и в районе. А время не стояло на месте, и покамест проходили торжественные собрания и говорились восторженные речи, покамест устраивались обеды с выпивкой и чествованием строителей, электричество озаряло улицы, дома, дворы, но дальше станиц так и не пошло. Только один Стефан Петрович Рагулин и успел подвести к току высоковольтную линию и построить трансформаторную колонку, а в других колхозах об этом даже и не помышляли... А тут к тому же началась подготовка к составлению нового плана, а время бежало, и недели через две должна начаться косовица. Кондратьев думал и не мог понять, как мог он, уже немолодой, привыкший за многие годы не переоценивать свои успехи, совершить такую

непоправимую ошибку. «Упустил золотое время,— думал он, глядя на дорогу.— Ну, пусть восторгались и ничего не делали председатели колхозов, а мы-то где были?.. Ну, пусть Сергей дал промах, парень он и горячий и в житейских делах еще не опытен,— а я, я что думал?.. Кому-кому, а мне это простить нельзя...» И он задумался над тем, как бы успеть в эти полторы-две недели наверстать упущенное...

— Николай Петрович,— сказал шофер,— кажись, Хворостянкин скачет.

На повороте, недалеко от реки, покачивалась на мягких рессорах знакомая нам тачанка, а на ней виднелась фигура грузного мужчины.

— Остановишься,— сказал Кондратьев.

В самом деле, это был Хворостянкин. Издали заметив Кондратьева, он встал и, размахивая руками, что-то кричал. Когда же тачанка поровнялась с машиной, Хворостянкин молодцевато соскочил на землю и крикнул:

— Ага! Споймал! Так вот ты где мотаешься, а я тебя в райкоме подкарауливал.

— А что случилось? — спросил Кондратьев, выходя из машины.

— Ого! Тут такое заварилось...— Хворостянкин не досказал и строго покосился на своего кучера, а потом и на шофера.— Зараз я тебе открою всю картину, только отойдем в сторонку, пусть нам никто не мешает.

Шли вдоль берега — в этом месте Кубань разлилась по трем рукавам, рыла песчаные отмели, кружилась и петляла, образовав круглые и продолговатые островки с кущами бузины и терна. Затем остановились, молча закурили и сели на траву вблизи отвесной кручи,— там, внизу, шумно плескалась вода.

— Николай Петрович,— начал Хворостянкин, пуская в усы дым,— скажи мне по совести: что это за чертовщина творится в нашей райпарторганизации?

— Это ты о чем?

— Да как же так, Николай Петрович? И ты еще меня спрашиваешь, о чем!..— Мясистое лицо Хворостянкина раскраснелось, он даже поднялся на колени

и всем корпусом наклонился к Кондратьеву.— Что ж это получается? Рядовые коммунисты начинают диктовать райкому — куда ж это годится! Вчера у меня на партбюро был разговор...

— Почему — у тебя? — насмешливо перебил Кондратьев.

— Ну, это к слову...— продолжал Хворостянкин.— Какая ж тут к чертовой матери партийная дисциплина! Низы должны исполнять то, что им указывают сверху. Где ж тут наша монолитность? Где ж тут... как его? Тьфу, забыл! И все время держал в голове, а тут, как на грех, забыл...— он тер лоб, хмурился, силясь что-то вспомнить.— Ну вот то, что в уставе партии... Тьфу ты, запамятовал... Изучал, а забыл... Да припомни, Николай Петрович!

— Демократический централизм — это ты хотел сказать?

— Вот-вот! Где он есть, этот централизм? Райком должен подобрать человека, осмотреть его со всех сторон и дать рекомендацию... А у нас что получилось? — он еще сильнее наклонился к Кондратьеву.— Нецветову хотят избрать секретарем партбюро... И кто подал эту затею? Твой же редактор! Этот ее любовник речугу закатил, набаламутил, а потом сел на коня да и уехал. А мне с кем работать? На кого я буду каждодневно опираться? На эту Татьяну, что ли? С ней под ручку ходить — это да! А как же я с ней буду решать государственные дела? — Хворостянкин хлопнул ладонью по голенищу.— Нет, Николай Петрович, тут дело нужно ломать и крепко ломать.

— Все? — спросил Кондратьев, бросил окурок и затоптал его каблуком.

— Да тут не говорить нужно, а действовать! Поедем ко мне! Разберемся на месте.

— Я только что оттуда.

— Ну и что? — Хворостянкин помрачнел.— Вправил мозги кому следует?

— Вот что, Игнат Савельевич,— уже строго сказал Кондратьев.— По правилу, тебе нужно было бы давно уже вправить мозги, говоря твоими же словами,

и это сделать придется, если ты сам не возьмешь себя в руки. Пойми, Игнат Савельевич, что у ваших коммунистов очень верное чутье... А демократический централизм, который, кстати сказать, ты плохо знаешь, тут ни к чему,— Кондратьев помолчал, молчал и дулся Хворостянкин.— Что же касается Нецветовой, то именно ее райком рекомендует общему собранию... Езжай, и готовьте собрание. От райкома приеду я сам.

Хворостянкин молча встал и, не говоря ни слова, направился к тачанке.

«Знать, так,— думал он,— все на мой авторитет наваливаются... А я устою, устою...»

Он тяжело опустился на сиденье и, склонив голову, чего с ним еще никогда не было, крикнул кучеру:

— Гони в Родниковскую!

XIV

Мимо станиц и хуторов, как поезда мимо станций и полустанков, неудержимо катилась река, и только вблизи Усть-Невинской бег ее несколько замедлялся. Вольная и непокорная, она бросалась на плотину, лизала волной цемент, искала хоть малую щель, злилась, пенилась и, обессилев, отступала. И только в одном месте, у поднятой лебедки головного шлюза, она находила отверстие и, радуясь этому, упругим потоком падала на каменный настил и уже спокойно текла по каналу к домику, стоящему под кручей.

Домик под кручей всем своим видом, а особенно высокими белыми стенами, цинковой крышей, так и горевшей на солнце, широкими окнами напоминал довольно-таки уютную дачу; и если бы не убегали от него в степь столбы, отсвечивая блеском проводов, да не вздрагивали мелко-мелко стекла окон, и не взлетали вспененные брызги у его основания, то ни за что нельзя было бы и подумать, что внутри его день и ночь вращается мощная турбина.

Еще в первые дни, когда Семен Гончаренко только принял станцию, ему тоже казалось, будто домик под цинковой крышей и в самом деле был какой-то осо-

бенный и поставлен он у реки лишь затем, чтобы люди, проезжая по тракту, любовались его красивым видом. Теперь же Семен очень мало обращал внимания на то, как выглядит домик,— для него он был не просто красивый домик, а гидротехническое сооружение, которое требует и постоянного ухода и неустанных забот. Много хлопот вызвали потребители энергии. Пока что электричество проникло только в станичные хаты,— вечером и ночью всюду пылали зарева, а в середине дня, когда люди находились в поле, турбина вращалась почти вхолостую — это и причиняло Семену немало горя. «Что ж это у нас получается? — размышлял он.— Турбине днем нечего делать... А надо ее загрузить. Хлеб молотить, пахать — вот это была бы работа... Нужно поговорить с Сергеем...»

Семен поехал в Рощенскую, жаловался Сергею, просил заслушать его отчет на исполкоме и принять решение.

— Не печалься, мой боевой друг,— успокаивал его Сергей.— Решение принять можно, но не все делается сразу.

— Обидно же, Сережа. Ночью еще ничего, нагрузка есть, а в середине дня беда: вхолостую работаем! Хоть останавливай турбину!

— Что же, по-твоему, нужно? — спросил Сергей.— Остановить машину — и все?

— Зачем же? Надо моторы подключать. Нам бы сейчас электротракторы.

— Все сделаем, Семен, но не вдруг. Вот скоро начнем обмолот — жарко тебе будет.

— Сережа! Какой же обмолот, когда еще и столбы не поставили!

— Поставим.

— Да хотя бы провести линии в мастерские МТС... Пусть бы токарные станки работали на электричестве.

— Проведем. Все сделаем, но не в один день.

— А я не согласен. Можно убыстрить.

Уехал Семен еще более расстроенным. А дни шли, и станция попрежнему работала на половинную мощь. «А что, если и в самом деле остановить турбину? — подумал Семен.— Хоть на час. Может, после этого в

станицах зашевелятся...» Семен посоветовался с Ириной и в середине дня пустил воду на сброс и остановил турбину. Не успел Семен войти в свою конторку, маленькую, с одним окном комнатушку, как зазвонил телефон.

— Алло, алло! — пищал в трубке нежный девичий голос.— Это дирекция гэс? Кто у телефона? Товарищ Гончаренко! Будете говорить с Родниковской...

— Слышишь, Ирина,— сказал Семен,— уже в Родниковской забеспокоились...

И вот Семен уже слышит голос Никиты Никитича Андриянова:

— Эй, Семен Афанасьевич, дружище! Ты чего там остановился? Или тебе воды мало? Не может того быть! Или ты только нашу станицу отключил? Это же безобразие. Почему безобразие? Да как же так, ты же наших хозяек обидел! У них же зараз сковородки шкворчали и там разное другое на плитах... Да ты и меня никак не можешь понять! Я же, как предстансовета, не могу краснеть перед местным населением! А ты меня на это вынуждаешь... Да что же я скажу женщинам? Они уже заявились до меня... Эх, беда с тобой! Буду звонить Сергею Тимофеевичу...

Следом за Андрияновым звонил Хворостянкин:

— Эй, дорогой товарищ начальник! — услышал Семен знакомый бас.— Ты чего не светишь? Да ты ж своим самовольством меня совсем из колеи выбил! Из какой? А из такой, что у меня вся связь на электричестве держится, а теперь я как без рук! Мне нужно вызвать завхоза, а ни один звонок не действует — все оглохло! Да не я оглох, а звонки из кабинета выключились!.. Зажигай свет, богом тебя прошу...

Семен тяжело вздохнул и положил трубку. Телефон звенел, надрывался, но Семен уже к нему не прикасался. Ему было грустно, и он пошел в машинное отделение. А вскоре приехал Сергей.

— Семен, почему стоишь? — строго спросил он, входя в машинное отделение.— Поломка?

— С горя да со злости остановил,— спокойно отвечал Семен.— Так работать нет никакого расчету. Это же, Сережа, не работа, а горе!

— Не самовольничай, Семен,— Сергей грустно усмехнулся:— На фронте, помню, ты не злился, не огорчался и был настоящим моим другом.

— Сережа, а ты на Семена не кричи,— вмешалась в разговор подошедшая Ирина,— Семен и есть твой друг.

— Защищай своего начальника, а то он, бедняжка, сам себя не сможет защитить! — Сергей подошел к Семену.— Вот что, Семен, не для того мы строили станцию, чтобы она у нас стояла... Иди и подымай лебедку.

Семен молча взошел по лестнице на шлюз, мысленно ругая себя за то, что не послушался жены и согласился стать начальником гидростанции. В эту минуту его охватило неприятное, даже горькое чувство, было обидно, что из-за гидростанции, которую он с такой любовью строил, приходится ссориться — и с кем? С Сергеем, с человеком, с которым прошел войну, жил в одном танке, а когда приехал на Кубань, то женился на его сестре и стал уже не просто другом, а родичем.

Он остановился у барьера лебедки и задумался. Почему-то вспомнилась Анфиса,— только вчера привез ее из родильного дома. Он смотрел на тихо кружившуюся под ногами воду, а видел Анфису, ее усталое, но ласковое лицо, виноватую улыбку на сухих искусанных губах, ее глаза, добрые и приветливые; видел в ее руках аккуратно свернутое одеяло, а в этом свертке крохотное личико ребенка с пушком на щечках. Тогда и Сергей был обрадован, пожалуй, не меньше, чем Семен. Он приехал в родильный дом с Ириной, привез Анфисе цветы, черешни в кульке, шутил, смеялся, брал на руки племянницу. «Ну, Семен, радуйся послевоенной победе! Вся в тебя,— говорил он.— Да ты погляди на ее бровки! Белесые и совсем незаметные — точь-в-точь, как у тебя! Нет, нет, это не наша порода!» Сам предложил отпраздновать крестины, обещал привезти хорошего вина и баяниста, а когда прощался, то наказывал Ванюше-шоферу как можно осторожнее везти Анфису в Усть-Невинскую... «А теперь обиделся,— с горечью думал Семен.— Поссорились... И из-за чего? Теперь, чего доброго, и не приедет на гулянье».

— Подымай, подымай, чего опечалился?

Сергей стоял рядом, и на его смуглом, чисто выбритом лице как-то уж очень отчетливо выделялись густые и широкие брови. Семен резко повернул колесо, звякнули цепи, и вода с сердитым ворчанием хлынула в ненасытную горловину трубы. В окно было видно, как темным диском рассекал воздух маховик и у Ирины над головой вспыхнула контрольная лампочка. Сергей и Семен молчали и еще долго смотрели вниз, точно прислушиваясь к тягучему шуму падающей воды.

— Сережа,— заговорил Семен,— приедешь же на крестины?

— А как же! — Сергей с добродушной хитринкой посмотрел на друга.— Ты думаешь, я уже и забыл? Нет, нет, такое не забудешь! У меня все готово... А как здоровье Анфисы?

— Она молодец!

— А дочка?

— Очень славная, а только спать не дает.

— Привыкай,— нарочито серьезно сказал Сергей.— Отцом, Семен, быть не легко, пожалуй, труднее, чем радистом-пулеметчиком.

— Я бы этого не сказал... Сережа, да тебе тоже, как я думаю, придется быть папашей... и даже в скором времени.

— Семен, друже мой! — Сергей обнял Семена за плечи и сильно прижал.— Обо мне ты не печалься!

Они разговаривали весело и беззаботно, и горе отлегло у Семена от сердца.

XV

В субботний день в доме Тутариновых готовились к встрече гостей. Во дворе собрались соседки: одни помогали Ниловне управляться у печки, другие разговаривали с молодой матерью, расспрашивали ее с чисто женским участием и с таким любопытством, точно Анфиса побывала не в родильном доме, а на каком-ни-

будь необитаемом острове. Особенно падки до расспросов были подруги Анфисы; они поглядывали на свою ровесницу и ласково, и с затаенной завистью, и с той гордой улыбкой на лицах, которая говорила: «Ничего, ничего, ты, Анфиса, не очень гордись собой: мы тоже и побываем в этом доме и все это увидим и испытаем!»

К тому времени виновница этих разговоров, спавшая в зыбке, подвешенной к потолку, была уже наречена Василисой — именем бабушки,— и это имя, за последние годы так редко встречающееся в станице, понравилось не только молодым отцу и матери, но и родичам и даже соседям. Все радовались тому, что на свет появилась не какая-нибудь Клава, Лера или Людмила, а Васютка. Особенно же это имя пришлось по сердцу Василисе Ниловне. Старуха почти ни на минуту не отходила от внучки, и тем, кто наклонялся над занавеской, желая хоть одним глазом взглянуть на новорожденную, Ниловна говорила своим тихим голосом:

— А глаз у тебя не сглазливый?

Затем строго и пристально смотрела гостю в глаза, как бы что-то в них читая.

— Поплюй на землю, а тогда и смотри,— говорила она и тут же счастливым голосом добавляла:— Такую славную внучку дождалась — вся в меня и такая ж тихая.

— Не зря же ей и ваше имя дали!

— То Семен так пожелал, а я не стала противиться,— говорила Ниловна, не в силах сдержать улыбку на своем маленьком и морщинистом лице.— А она и взаправду дюже на меня скидается.

И хотя трудно было заметить хоть каплю сходства, но гости не смели огорчать старуху, и все, видя сонное личико девочки, приходили к тому, что ребенок и в самом деле вылитая копия Василисы Ниловны.

Один лишь Алексей Артамашов огорчил Ниловну, да и то совсем случайно. Приглашенный Семеном, он пришел под вечер немного уже выпивши, распевая песню, неся в кошелке четверть с вином. Все такой же

стройный, живой в движениях, с молодцевато поднятой головой, он снял кубанку и поздоровался.

— Ну как, Алексей, в твоем звене с урожаем? — осведомился Тимофей Ильич, любезно протягивая гостю руку.— На медаль целишься или еще и повыше?

— На медаль, только на золотую, на которой изображен «Серп и молот»,— уверенно заявил Артамашов.— Должен же я победить Рагулина!.. А как же! Не я буду Артамашовым, ежели не возвышусь до Героя.

— Да ты хвастать мастак!..

— Э! Папаша, папаша! — Артамашов сокрушенно покачал головой.— Плохо вы знаете мой характер.— Он быстрым шагом направился в хату.— А где тут царствует преподобная Василиса Семеновна?

— И ты сюда? — удивилась Ниловна.— Тебе не дозволю. У тебя глаза как у коршуна — тебе нельзя на младенца глядеть.

Артамашов стал уговаривать, божился и говорил, что глаза у него добрые, и Ниловна разрешила ему взглянуть в узкую щелочку.

— Добрая гражданочка на свет народилась,— сказал он,— и имя ей дали хорошее... Очень значительное имя.. Теперь вам, Василиса Ниловна, можно и к господу богу собираться.

— Сатанюка, бесстыжая твоя морда! — разгневалась Ниловна.— Это ты чего меня к святым отправляешь? Мне зараз только и жить!..

— И живите, бог с вами,— смущенно проговорил Артамашов.— Это я к тому, что зараз у вас, можно сказать, имеется заместительница. Была старая Василиса, а теперь явилась новая Василиса: молодое нарождается, а старое уступает дорогу — закон!

— Я тебе такой закон покажу! — и Ниловна погрозила своим сухим кулачком.— Иди из хаты, законник!

Пришла мать Ирины Марфа Игнатьевна Любашева, женщина немолодая, но еще высоко державшая свою седую и гордую голову. С тех пор, как ее дочь Ирина вышла замуж за Сергея, Марфа Игнатьевна

часто навещала сватов и считалась своей в доме Тутариновых. Поэтому она подошла к Анфисе, как к родственнице, справилась о ее здоровье, а когда целовала в щеку, шепнула на ухо так, как могут это делать только пожившие и много испытавшие женщины:

— Груди не болят? Молоко не затвердело? Ну, и слава богу...

Затем она вошла в хату и с Ниловной тоже расцеловалась.

— Сваха, а чего ты меня никогда не поцелуешь? — в шутку спросил Тимофей Ильич, поглаживая желтые от дыма усы.

— У тебя, сват, усы чересчур колючие, уколют,— в тон ему ответила Марфа Игнатьевна.

Затем она, как опытная мать, взглянула на новорожденную и сказала:

— Свеженькая, и волосики серебрятся... У меня Ирина, верите, когда только родилась, тоже была беляненькая, а потом чего-сь почернела.

Ниловна кивала в знак согласия головой. После этого свахи сели на лавку и разговорились,— недостатка в темах для разговора у них никогда не было.

— Свашенька,— сказала Марфа Игнатьевна,— я же вам новость принесла.

— Какую? — и Ниловна насторожилась.

— Позавчера я была у Сережи... Скучно мне одной на птичнике, вот и не стерпела и пошла навестить.

— Ну, как там они живут? — робко спросила Ниловна.— По-нашему или по-городскому?

— Живут, конечно, полюбовно, славно живут. Сережа собой веселый, а Ирина возле него как все одно голубка,— Марфа Игнатьевна вытерла платочком губы.— Теперь им квартиру дали новую, казенную. Есть и садок, и палисадник, небольшой дворик. Водопровод у самого порога.

Ниловна не выказывала особой радости, услышав от свахи и о новой, казенной квартире, и о садочке, и о водопроводе у самого порога; очевидно, старуху беспокоили другие мысли, и она, наклонившись к Марфе Игнатьевне, тихонько спросила:

— Сваха, а ты не заметила: спать они ложатся вместе или врозь?

— Все видела,— Марфа Игнатьевна еще раз вытерла платком губы.— Есть у них такая спальня, сказать, комната общая, а кровать у каждого своя, стоят они рядышком.

— Это почему ж так? — с обидой в голосе спросила Ниловна.— Или стеснительно спать вдвоем на одной кровати?

— Бог же их знает, не допытывалась.

Ниловна наклонилась к свахе и совсем шепотом спросила:

— А с женским как у дочки, хвалилась матери?

— Очень она стеснительная, но матери созналась... Уже второй месяц пошел.

В это время у Марфы Игнатьевны в глазах показались счастливые искорки, и она зашептала свахе на ухо что-то такое важное, радостное и значительное, от чего обе они заулыбались, а Ниловна облегченно вздохнула и даже перекрестилась.

— Ну, и слава богу,— сказала она своим тихим и приятным голосом.— Теперь бы еще дождаться Сережкиных наследников...

— Дождетесь, об этом и печалиться нечего,— уверенно сказала Марфа Игнатьевна.— Я и Сереже говорила...

Тут беседа приняла живой и совсем уже таинственный характер и затянулась. И покамест Марфа Игнатьевна поведала Ниловне о том, что и как она говорила Сергею и Ирине, покамест свахи вволю наговорились, гости тем временем все прибывали и прибывали.

Тимофей Ильич, исполняя обязанности гостеприимного хозяина, стоял у ворот. Он уже встретил Савву Остроухова, приехавшего на стансоветской тачанке с женой и детьми.

— Всем своим колхозом еду! — весело сказал он, здороваясь с Тимофеем Ильичем.

— Славные у тебя мальчуганы,— говорил Тимофей Ильич, провожая гостя во двор.

Затем явился Никита Мальцев со своей Варей, и

тут все заметили, что жена председателя колхоза наглядно пополнела. «Скоро и у Мальцевых будут крестины»,— сказала какая-то женщина. О самом Никите было сказано, что с тех пор, как он принял председательскую должность, внешне он изменился: одни говорили, что постарел, другие — возмужал.

Вслед за Мальцевым пришел Стефан Петрович Рагулин со своей Никитишной. Старик был одет в праздничный костюм, в петлице которого навечно были приколоты орден Ленина и медаль «Серп и молот». Поздоровавшись с Тимофеем Ильичем, Стефан Петрович передал хозяину какой-то сверток: подарок новорожденной.

— Поглядите, Стефан Петрович расщедрился! — сказал Артамашов нарочно так громко, чтобы услышал Рагулин.

— А я скупой только на колхозное,— сказал Рагулин, даже не взглянув на Артамашова.— А подарок Анфисе от себя... Вот!

— Стефан Петрович, чего ж вы пешком? — спросил Мальцев.— Где же ваша москвичка-легковичка?

— Она у меня дюже быстроходная,— улыбаясь в бороду, сказал Рагулин.— Бегает, как скаковая лошадь.

Его окружили и стали расспрашивать о машине. Стефан Петрович несколько дней тому назад получил в подарок от министра сельского хозяйства легковую машину «москвич», и это было немалым событием в Усть-Невинской.

Вскоре во дворе появились старики Семененковы — Прасковья Ивановна и Евсей Афанасьевич, те самые старики, которым после ливня Семен исправил погребок. Приходили и еще гости, и читатель может сказать: а где же усть-невинский электрик Прохор Афанасьевич Ненашев? Почему же он не идет? Разве может без него обойтись такое значительное событие?.. О Прохоре Ненашеве мы умолчали потому, что он давно был здесь — еще с утра; как главный станичный электрик, он устраивал электропроводку в сад, где уже были расставлены столы. Старик был молчалив, весь погрузился в дело, и только один раз, когда

Семен принес ему в сад стакан вина и кусок колбасы, сказал:

— Семен Афанасьевич, всю эту зелень люминирую,— пусть дите знает, в какую пору оно появилось на божий свет.

Затем выпил, закусил и снова принялся за работу.

Позже всех и совсем нежданным гостем — его никто не приглашал — заявился Лев Ильич Рубцов-Емницкий на своем до крайности истрепанном, но удивительно живучем «газике». Сойдя с машины и желая показать, что приехал не кто другой, а руководитель райпотребсоюза, Рубцов-Емницкий достал из машины отрез шелка, какие-то кульки, очевидно с конфетами, соску, погремушки из цветного целлулоида и все это с необычно торжественным видом преподнес смутившейся и покрасневшей Анфисе.

Тем временем солнце клонилось к закату, пора бы начинать гулянье, а Сергей с Ириной не приезжали. Семен волновался и не находил себе места. Тимофей Ильич, заметно опечаленный, несколько раз выходил на улицу, смотрел в ту сторону, откуда должен был появиться сын, а его все не было и не было.

XVI

Сергей собирался ехать к родным с Ириной, но как раз случилось так, что в этот вечер Ирина дежурила на электростанции и подменить ее было некому. Планы Сергея расстроились... Ехать на крестины одному не хотелось, и Сергей решил пригласить Кондратьева, а потому и задержался еще в Рощенской. Долго пришлось ждать Кондратьева: он вернулся домой только во второй половине дня. Ехать с Сергеем отказался, сославшись на занятость неотложными делами, но просидели они вдвоем часа три: Кондратьев рассказывал о поездке в «Красный кавалерист», о Татьяне Нецветовой, о предстоящем совещании актива. После этого он попросил Сергея повстречаться в Усть-Невинской с Виктором Грачевым и предложить ему остаться в районе.

— Без инженера-электрика нам теперь не обойтись,— говорил Кондратьев.— Обещай ему хорошие условия, квартиру,— словом, скажи, что жить ему у нас будет хорошо.

— Я уже с ним имел беседу на эту тему,— и разговаривать не желает.

— Значит, плохо беседовал,— Кондратьев потрогал пальцем седой висок, как бы силясь что-то вспомнить.— Пойми, Сергей, что нам потребуются и мелиораторы, и лесоводы, и архитекторы, и инженеры: без специалистов, людей образованных, нам трудно будет осуществить намеченные планы... А особенно нужен нам такой человек, как Виктор Грачев...

— Я понимаю,— сказал Сергей, усмехаясь.— Но не придумаю, как его задержать.

— Поговори по душам, он же твой друг детства, к тому же и вырос в Усть-Невинской. Кубанец!

— Поговорю,— сказал Сергей, собираясь уходить,— но беда, что кубанцы бывают разные.

По этой причине Сергей не стал заезжать к отцу, где его давно поджидали собравшиеся гости, а завернул на край станицы и остановился у домика вдовы Грачихи. Виктора он застал лежащим под яблоней на раскинутой бурке в одних трусах и с книгой в руке.

— «Здорово, парнище!» — выкрикнул Сергей стихотворную строку.

— «Ступай себе мимо!»,— в тон ему ответил Виктор.

— «Уж больно ты грозен, как я погляжу!..» Виктор, и чего ты лежишь голый, как запорожец за Дунаем?

Они рассмеялись, и Сергей, удобно примостившись на бурке, заговорил о всяких пустяках, вроде того, что хорошо вот так, голышом, лежать в тени, а еще лучше — на берегу Кубани. Виктор тоже отвечал шуткой, сказав, что купаться приятно не одному, а с друзьями, а книгу читать можно и одному.

— Это что ж ты читаешь? Роман?

— Не роман, но книга увлекательная,— сказал Виктор, загибая уголок на листке.— Знакомлюсь с новыми методами монтажа крупных гидростанций.

— А я думал, что любовью интересуешься.

— Почему ты так думал?

— Да ты же охотник по этой части! — Сергей рассмеялся и ударил Виктора кулаком по голой спине.— То полюбишь, то разлюбишь!

— Знаю, о ком говоришь,— угрюмо проговорил Виктор, перелистывая книгу,— но только ее я никогда не любил... Вот в чем горе.

— Тогда зачем же ты хотел ее увезти с собой?

Виктор погладил ладонью спадавшие на лоб белые и мягкие волосы.

— Да, хотел,— он задумался.— Хотел потому, что встречаться с Соней мне было приятно. Мы часто вспоминали детство, те далекие и глупые годы, когда мы ничего, кроме Усть-Невинской, не знали... И все. А в сердце, Сережа, поверь, у меня ничего не было и нет,— Виктор тяжело вздохнул и лег на живот.— И мы бы уехали вдвоем, а вот теперь...— Он не досказал и начал щипать жесткую шерсть бурки.

— Что ж теперь? Разве что случилось?

— Так... Ничего особенного, а только уезжать мне не хочется.

— Вот и прекрасно! — обрадованно воскликнул Сергей.— И не уезжай! Дорогой мой, оставайся у нас, это же просто здорово! Да и куда уезжать? Ты посмотри, Виктор, какие тут дела разворачиваются! Ты видишь, какое зарево, какой свет встает над нашей землей!

— Что-то я ничего не вижу,— с грустной улыбкой проговорил Виктор.

— Нет, ты без шуток... Мы начинаем переделывать природу, понимаешь, самое природу! Да знаешь ли, что это такое? Значит, наша жизнь выходит на самый широкий простор! А если к этому присоединить наш размах электрификации, механизацию, так ведь это же совсем новая Кубань! — Сергей обнял друга, посмотрел ему в глаза так тепло, так ласково, будто хотел поведать ему самое сокровенное, и спросил: — Виктор, скажи, ты веришь в то, что коммунизм уже виден, осязаем — вот он, перед нами?!

— Сознаюсь: и не вижу и не осязаю.

— Да как же этого не видеть! — Сергей широко

развел руками.— А посмотри на наше верховье Кубани! Тут мы с тобой родились и выросли, и надо быть слепым, чтобы не видеть, в какую жизнь мы вступили. Еще не так давно именно здесь, в Усть-Невинской, не только деды, но и отцы наши жили в темноте и невежестве; в этой же Усть-Невинской веками интересы людей были прикованы к своему двору, к своей изгороди; здесь, возле хат наших отцов, извечно жил звериный закон — властвуй, разоряй, уничтожай слабого и обогащайся... А что ты видишь ныне? Усть-Невинская идет в ногу с самыми передовыми городами,— да кто мог об этом и подумать? А люди ее стали и сильнее и красивее... Человек стал умнее, благороднее! Разве это не то, о чем я тебя спрашивал?

— Сказано очень пышно,— проговорил Виктор,— а только меня это волнует мало; ты знаешь, по природе я не романтик.

— Ну и шут с тобой,— Сергей огорченно махнул рукой.— Только обидно: ну пусть бы старики так рассуждали...

Виктор молчал. Сергей с грустью посмотрел на него и сказал:

— Виктор, оставайся, как друга прошу. Станешь руководить электрическим хозяйством всего района. На твоих глазах такое будет делаться — радоваться этому надо, Витя! А условия для тебя создадим такие, какие захочешь. Дадим тебе не квартиру, а целый дом с садом! Будешь иметь дачу... Чего тебе еще?! А станицы какие! Это же не станицы, а курортные места!

— Сережа, а из тебя получился бы неплохой сват,— с заметной иронией сказал Виктор,— уж очень умеешь расхваливать. Не жизнь ты мне обещаешь, а рай земной.

— Да так оно и будет! Да если жить, скажем, в Усть-Невинской...

— Ты думаешь, что все люди на земле,— перебил Виктор,— влюблены в твою Усть-Невинскую... А мне здесь скучно, вот в чем беда!

— Уверяю тебя,— горячо доказывал Сергей,— скучать не будешь. Мы тут такое завернем, что вся страна нас узнает!

— Гоняться за славой,— Виктор горестно усмехнулся,— не мое призвание.

— Да не в славе дело! — Сергей наклонился к другу, потрепал его волосы.— Электричество — вот где сейчас нужна твоя голова...

— Электричество есть не только в Усть-Невинской.

— Знаю. Но то электричество не такое, как у нас.

— У тебя все особенное!

— Не особенное, но миссия его здесь совсем другая, вот в чем суть!

Виктор встал, согнул сильные, с резко очерченными мускулами руки, потянулся. Поднялся и Сергей.

— Вот что, Сергей,— сказал Виктор серьезно: — если ты мне настоящий друг, дай свою машину.

— Зачем?

— Я поеду в Родниковскую.

— А что там у тебя?

— Дай машину и ни о чем не спрашивай.

— Согласен, но только с одним условием.

— Нет, без условий... По-дружески.

— По-дружески и все-таки с условием.

— Какое условие?

— Ты остаешься у нас.

— Хорошо,— Виктор задумался.— Я подумаю...

— Ну, тогда поезжай, а я побуду у Семена: дочка у него...

За Усть-Невинской уже пылал закат, и с гор тянулись мягкие тени. Быстро вечерело, и когда Сергей входил во двор отца, в саду ярким костром горели лампочки и гости уже сидели за столами.

— А! Сергей Тимофеевич! — закричал Рубцов-Емницкий.— Наконец-таки! А чего ж без машины, для ясности?!

Навстречу Сергею шел Семен и счастливо улыбался своим белесым и добрым лицом. Сергея посадили на почетное место, в середине, между Семеном и Анфисой,— и гулянье началось.

А в это время Виктор уже подъезжал к Родниковской и с волнением смотрел на силуэт станицы, выступавшей между гор в зареве электрических огней.

Чувство страха и горькой обиды охватило его. Он уже въезжал в окраинную улицу и не знал, куда ему ехать. Ванюша-шофер изредка посматривал на своего нового пассажира, как бы спрашивая, куда надо заворачивать, а Виктор молчал; куда ехать, он не мог бы сказать, ибо никогда здесь не был и не знал, где живет та женщина, которую звать Татьяной,— больше о ней ему ничего не было известно.

— Останови,— сказал Виктор, когда они подъехали под развесистую кущу деревьев.— Я здесь пойду пешком, а ты возвращайся и скажи Тутаринову... Скажи, что я ему очень благодарен.

И Виктор пошел по незнакомой и густо затененной деревьями улице.

XVII

Сергей и сам не мог понять, почему при встрече с жителями станиц, особенно с усть-невинцами, его охватывало знакомое и очень приятное чувство радости — такое сладкое ощущение разливалось по всему телу, что он уже не смел никому сказать даже обидного слова. Помнится, в те дни, когда он вернулся из армии и в районе началось строительство гидростанции, ему приходилось и злиться и часто ссориться не только с Саввой Остроуховым, но даже с отцом, с Семеном, приходилось ругаться с Рубцовым-Емницким, с Артамашовым, с председателями станичных советов, и тогда он с первого взгляда узнавал в людях хорошее и плохое. Теперь же видел в них одно только хорошее, и от этого на сердце у него постоянно было тепло и покойно; всюду, где он ни был, хотелось говорить только приятное, и часто у него являлось желание широко расправить свои молодые и сильные руки и обнять ими всех своих близких и знакомых.

Однажды Сергей поделился этими мыслями с Кондратьевым. Тот выслушал молча, долго хмурился и что-то чертил на листе бумаги; по лицу было видно — не одобряет.

— Любить, уважать людей — качество весьма

ценное,— сказал Кондратьев, продолжая водить карандашом по бумаге,— но мне думается, что чрезмерные радости тебя ослепляют. Вот в чем беда!

— Беды не вижу,— с обидой в голосе возразил Сергей.— Золотой же у нас народ, Николай Петрович! Как же тут не радоваться!

— И народ у нас золотой, и радоваться можно, да только не следует терять головы.

— Тебя понять невозможно. Ну, почему ты такой?..— Сергей смущенно склонил голову и умолк.

— Какой? Ну, досказывай!

— Почему ты такой... черствый? Кругом столько радостного...

— Покамест не вижу причин для излишнего восторга,— с чуть приметной улыбкой на губах сказал Кондратьев.

— Да ты же сам писал в ЦК, помнишь, еще в прошлом году! — волнуясь, говорил Сергей.— Как ты тогда красиво описал и Рагулина, и Несмашную, и Коломейцеву!

— Безусловно, люди у нас хорошие,— Кондратьев приветливо и строго, как отец на любимого, но непокорного сына, посмотрел на Сергея.— Только о каждом человеке нужно иметь свое мнение, необходимо видеть его не в общей массе, и чем строже будет о нем суждение, тем большую пользу оно ему принесет. Тут, Сережа, нельзя валить всех в одну кучу: легко впасть в ошибку.

Разговор кончился ничем, и Сергей ушел, так и не поняв Кондратьева... И вот в освещенном саду, когда его посадили за стол и подали полный стакан вина, когда на него смотрели радостные лица отца и матери, когда во взглядах знакомых ему усть-невинцев он читал уважение к себе, на ум вдруг пришли слова: «Тут, Сережа, нельзя валить всех в одну кучу: легко впасть в ошибку». А его уже обнимал Артамашов и говорил:

— Пей до дна, пей, боевая ты наша гордость!

Сергей держал в руке стакан с вином, снова то же знакомое чувство охватило его, и ему захотелось произнести речь.

— Дорогие мои соотечественники! — начал он торжественно.— Знаете ли вы, что такое радость жизни?

— Браво, Сережа! Браво! — кричал Рубцов-Емницкий.— Именно, для ясности, радость жизни!

— Тише! Не перебивай! — строго сказал Артамашов.— Дайте высказаться нашему уважаемому Сергею Тимофеевичу.

Все умолкли, и только одна Васютка, лежавшая в одеяле у Анфисы на руках, нарушала тишину своим звонким голоском. Вскоре и она утихла, как бы прислушиваясь к тому, что там о ней скажет ее дядюшка. А Сергей и в самом деле начал с того, что поздравил сестру с новорожденной, похвалил племянницу, сказал, что Васютку ожидает большая и интересная жизнь, а затем обратился к гостям. Речь его была необычайно красочна, слова сами по себе подбирались простые и доходчивые, и ему казалось, что еще никогда его мысли не текли так свободно и легко. Он говорил не столько о настоящем, сколько о будущем верховья Кубани, и перед гостями открывалась заманчивая даль; где-то там, по отлогой ложбине, в новом очертании рисовались поля и станицы, а в центре их Усть-Невинская, с ее садами и высокими домами, с широкими улицами и тротуарами в буйной зелени; где-то там, на берегах реки, угадывались контуры новой жизни, неизведанной и манящей.

— И в эту жизнь,— в заключение сказал Сергей,— мы войдем не как гости, а как ее создатели и законные хозяева. Выпьем же за радость нашей жизни, настоящей и будущей!

Все выпили, и баянист заиграл туш.

— Хорошая жизнь — оно само собой,— ни к кому не обращаясь, проговорил дед Евсей.— Оно ежели и нам с Параськой поселиться в коммунизме...

— Молчи, старый,— перебила бабка Параська,— все одно мы с тобой не доживем.

— Сергей Тимофеевич,— отозвался Рагулин,— на словах картина получается дюже радостная... Но только все это в будущем, к тому идем. А вот в настоящем чем мы будем хлеб убирать? Чем станем

молотилки крутить? Вот меня какая более всего жизня беспокоит.

— Электричеством,— ответил за Сергея Савва Остроухов.

— А где же оно, твое электричество?

— Та над вашей головой!

— Или вы, Стефан Петрович, ослепли? — спросил Прохор.

— Сад осветить и дурак сможет,— сердито сказал Рагулин, покосясь на Прохора.— А в степи что делается?

— Стефан Петрович,— заговорил Сергей,— чего вы так волнуетесь? Вы на свои тока подвели линию?

— Подвел, а какой из этого будет толк — неизвестно... В МТС просил локомобиль подбросить на всякий случай, а мне его не дали... Директор за, а главный механик против... «Действуй,— говорит,— электричеством». А что может получиться: электричество застопорит, не потянет,— это тебе не в саду зарево делать! Нужно локомотив держать наготове, а его нету... А у соседей какая картина? Нету ни линии, ни локомотивов,— Рагулин горестно усмехнулся.— Как я вижу, в настоящем дюже веселая ожидается жизнь!

Рагулин даже встал, очевидно, хотел еще что-то сказать, но ему не дали и слова вымолвить. Поднялся галдеж, недовольные возгласы. Подошел Артамашов, уже здорово подвыпивший, с веселыми, блестевшими глазами.

— Стефан Петрович, чертяка старый! — обнимая Рагулина, воскликнул он ласково.— И чего ты завсегда бунтуешь? Или ты находишься на заседании правления? Пей и гуляй! Сергей Тимофеевич правильно говорит: к коммунизму нужно итти с веселой душой.

— Гляди, Алексей, как бы плакать тебе не пришлось,— сказал Рагулин, резко отстраняя руки Артамашова.— Тебя только допусти в коммунизм — в один миг все размотаешь... Эх, ты, веселая душа!

— Я-то всюду проживу! — со смехом отвечал Артамашов.— А вот тебе, Стефан Петрович, со своей

жадностью да с ворчливостью в коммунизме совсем делать нечего.

Артамашов быстрым шагом пошел к гармонисту, а за столом заговорили все сразу. Рубцов-Емницкий, наклонясь к Тимофею Ильичу, сказал:

— Тимофей Ильич, люблю вашего сына! И до чего ж умную речь сказал! Верите, Тимофей Ильич, я уже весь в той жизни!

— Эх, Лев Ильич,— угрюмо проговорил старик,— горько там тебе придется!

— Почему вы такого мнения?

— Торговать там не сможешь... Честности нехватит.

— Смогу,— уверенно заявил Рубцов-Емницкий.

— Говорят, что горбатого могила исправит...

— Так я же, для ясности, быстро перестроюсь,— с умиленной улыбкой на пухлом лице проговорил Рубцов-Емницкий.

— Перестройка, как я понимаю, не поможет...

Тем временем Артамашов увел гармониста за ворота, куда ушла молодежь, быстро образовав круг,— начались танцы. Анфиса отнесла в хату Васютку, позвала Семена, и они ушли к хороводу. Рагулин, все время сидевший молча, сухо попрощался и ушел с женой домой. Постепенно столы пустели. Сергей сидел один, о чем-то думая. К нему подошла Ниловна.

— Сыночек, у нас заночуешь? — спросила она ласково.

— Нет, мамо, поеду к Ирине на гидростанцию, а тогда домой.

— Ну, поезжай, поезжай,— согласилась Ниловна, глядя на сына влажными глазами.— Поезжай, а то мы веселимся, а она, бедняжка, там одна...

— Ты хоть с батькой побалакай, посоветуйся,— сказал Тимофей Ильич.— Или уже так подрос, что и батько не нужен?

— А вы, батя, все такой же,— сказал Сергей, вставая.— Ну, пойдемте к хате, посидим.

Они сели на лавку, на том самом месте, где они не раз беседовали. Тимофей Ильич вынул кисет, предложил сыну. Сергей отказался и угостил отца папи-

росой. Тимофей Ильич прикурил, пустил в нос дым и сказал:

— Трава, а не табак.

Они курили молча, и это молчание для обоих было тягостным.

— Оно ты правду сказал,— заговорил Тимофей Ильич,— я какой был, такой уже и до смерти останусь... А тебя, сынок, я что-то не узнаю... Переменился.

— Редко мы, батя, видимся.

— Не то, сынок, не то.

— А что же?

— Какой-ся ты стал дюже радостный да говорливый, а мне это не по душе,— сказал Тимофей Ильич, беря сына за руку.— Только ты меня не перебивай... Не люблю, когда ты меня не слушаешь... Смотрю я на тебя и не могу понять: чего ты завсегда такой веселый? Или ты своей молодой женой не можешь нарадоваться? Так ты ею радуйся ночью, а днем дело знай, да и с людьми обходись построже...

— Вы это о чем, батя?

— А о том самом... Слыхал, что тебе сказал Рагулин? Природу вздумал изменить, людям о коммунизме говоришь, райскую жизнь обещаешь,— складно это у тебя получается... А хлеб убирать чем будешь? На кого надеешься? На тот домик, что стоит возле Кубани? Ни к чертовой матери не годится твой домик! Строили, строили, капиталы вкладывали, думали — облегчение придет, а что получилось? Семен сказывает, днем та машина впустую гудит, а ночью, вишь, Прохор понацеплял по веткам лампочек. Красиво и светло,— комар летит, и ему видно, кого сподручнее укусить... А мы что же, для этих комаров трудились, сил не жалели, капитал вкладывали! На столбах тоже лампочки горят, улицы сияют — вид веселый, и парубкам светло девок обнимать... А в поле что делается? Один Рагулин провода протянул, а в других колхозах сало жарят на плитках да курей обсмаливают — выгода бабам большая... Эх, ты, управитель района! Тут не радоваться нужно, а плакать!.. А ты подпрыгиваешь да сладкими речами людей кормишь. Самому надо рукава засучивать да и станичников к тому

звать,— тут старик даже усмехнулся.— А то что же это получается? Речи твои дюже по вкусу и Артамашову и Рубцову-Емницкому. Ишь, какие быстрые! Уже собрались в коммунизм, как до тещи в гости, на легкую жизнь!

Сергей низко склонил голову, жадно курил и молчал.

— Не в этом суть,— тихо проговорил он, не подымая голову.

— А в чем же? Поясняй...

— В том, батя, что жизнь наша идет широкой дорогой... вот что главное.

— Вижу, дорога просторная,— сказал старик,— веди людей по этой дороге, а только и по сторонам посматривай... Да не прыгай от радости.

— И чего вы уже спорите? — спросила подошедшая Ниловна.— Как сойдутся, так и поссорятся...— Старуха обратилась к Сергею: — Сережа, может, тебе принести молочка или сметанки?

— Ничего мне не нужно,— грустно проговорил Сергей.— Я сейчас уеду.

— Так ты хоть Ирине повези,— Ниловна побежала в хату и уже на пороге сказала: — Зараз я ей приготовлю.

Сергей попрощался с отцом и молча пошел к машине.

XVIII

В доме Тутариновых не могли понять, почему Тимофей Ильич был так опечален. Еще утром настроение у него было хорошее. Он разговаривал с Семеном и с Анфисой, даже взял на руки внучку и, смешно чмокая губами, пугал ее своими желтыми усами. Затем ко двору подкатил на тачанке Никита Мальцев, и Тимофей Ильич уехал с ним осматривать хлеба. Домой вернулся поздно, молчаливый, со зло насупленными бровями. Ужинал неохотно и, ни с кем не разговаривая, лег в постель, но уснуть не мог. Ниловна слыхала, как Тимофей Ильич то что-то бурчал, то тяжко вздыхал.

— Тимофей Ильич, может, ты заболел? — тихонько спросила Ниловна.

— Какая там еще болезнь! — сердито ответил Тимофей Ильич.— Спи и не допытывайся...

В самом деле, старик был здоров, а причиной его душевного расстройства послужил совсем, казалось бы, незначительный случай... Никита Мальцев и Тимофей Ильич побывали на всех участках зерновых, определили примерные сроки начала косовицы ячменя и пшеницы. После этого они возвращались в Усть-Невинскую, проезжали дорогой, которая лежала на меже с колхозом имени Буденного, и тут им пришлось совсем неожиданно побывать у буденновцев. Сами они туда ни за что бы не поехали, но по дороге им встретились Стефан Петрович Рагулин и Прохор Ненашев, и они упросили соседей осмотреть электромолотилку.

— На ток подвели ток! — гордо заявил Прохор.— Складные слова? А дела еще складнее...

Тимофей Ильич увидел обыкновенный ток — большую квадратную площадку, а к этой площадке широким шагом идущие столбы с толстой алюминиевой проволокой; два столба, обнявшись и раскорячившись, остановились возле будки, сложенной из кирпича и похожей на сарайчик. Что в этом сарайчике, старик не знал, а спрашивать стыдился, но зоркий его глаз заметил: от сарайчика к молотилке тянулись три резиновых каната. Обычная, восьми сил, молотилка, старенькая, очевидно видавшая на своем веку всякие двигатели, была уже спарована с маленьким моторчиком, который почему-то примостился у нее на полке, как раз рядом со шкивом барабана. От этого моторчика тянулся ремень к главному шкиву...

«И какая чертовщина!— подумал Тимофей Ильич, осматривая молотилку.— Там того двигателя с кулак... Какая ж может быть в нем сила?»

— Прохор, ты тут главарь? — спросил Тимофей Ильич.— И как ты думаешь: эта штуковина потянет?

— Еще как! — отвечал Прохор.— Тут же сила!

— И без огня и без дыма?

— Без всего.

— Одними проводами?

— Не проводами, Тимофей Ильич, а током.

— А какая выгода?

— Всякая,— Прохор стал загибать пальцы, густо измазанные машинным маслом.— Первое — не надо солому жечь... Знаете, сколько локомобиль пожирает этой соломы? Второе — не требуется горючее, вся сила идет из Кубани. Третье — молотить можно и днем и ночью; разницы никакой, потому как имеется свое освещение. Четвертое — на этом же ходу будут вращаться сортировки; считай, пятьдесят человек заменим!

— Так, так,— говорил Тимофей Ильич, а сердце уже болело.— И вправду, на словах дюже выгодная картина...

— А можно и на деле,— Прохор мигнул глазами на Рагулина,— Стефан Петрович, показать?

Стефан Петрович кивнул головой и важно отошел в сторонку.

Прохор подозвал ближе к молотилке Тимофея Ильича и Никиту Мальцева и тут же, ничего не говоря, включил рубильник. Мотор вздрогнул и запел тихо и протяжно, а молотилка уже гудела, чуть покачивалась; стучали пустые соломотрясы, гремели сита, и уже казалось — на полки барабана валились снопы и над током стояла белая пыль, говор людей, цобкание погонычей.

— Да, горячая штука,— мечтательно сказал Тимофей Ильич и, комкая куцую бородку, пошел от молотилки.

Усевшись на тачанку, Тимофей Ильич всю дорогу до Усть-Невинской бурчал и поругивал Никиту Мальцева.

— Видел, Никита, какое чудо Рагулин понастроил?

— Дело новое,— неохотно отвечал Никита.

— Что ж, что оно новое? А ты чего не ставишь столбы?

— Нет же из района указаний.

— Дирехтиву ждешь? А рази Рагулин ее имеет?

— И чего вы меня завсегда Рагулиным упрекаете?

— А того, что ты не идешь его дорогой... Молодой же! Опережать должон...

Теперь, когда Тимофей Ильич лежал в кровати, весь этот разговор снова лез в голову, и старик мысленно то осматривал молотилку, то расспрашивал Прохора, то ругал Никиту, и от этого никак не мог уснуть. «Рагулин все сам вершит, а другим няньки нужны... Эх, был бы я над всеми главный...» Старик тяжело вздохнул и закрыл слезившиеся от усталости глаза.

Поднялся Тимофей Ильич раньше обычного,— в окна еще только-только начал просачиваться рассвет. Еще больше разгневанный, с воспаленно-красными глазами, он потребовал у Ниловны новую рубашку, суконные шаровары на очкуре, надел босовики, заправил в шерстяные носки узкие снизу штанины, подпоясался тонким ремешком. Все это он делал молча, сопел и ни на кого не смотрел.

— Тимофей, аль куда пойдешь? — робко спросила Ниловна.

— Схожу по делам.

— Может, ты к Сережке?

— Не допытывайся,— буркнул Тимофей Ильич.— Заверни мне в дорогу харчей. Вернусь поздно.

День выдался сухой и жаркий. Тимофей Ильич приморился, босовики и края штанин покрылись пылью. В Рощенскую он пришел в самый зной, постоял на площади в тени под деревом, хотел зайти к сыну, но раздумал и направился в райком. В коридоре, пустом и прохладном, присел на скамейку, осмотрелся, затем нашел нужную дверь и, не постучавшись, открыл... Кондратьев сидел за столом, а против него — директор Усть-Невинской МТС Чурилов, мужчина грузный, с большой, низко остриженной головой.

— А! Тимофей Ильич! — приветливо сказал Кондратьев, вставая.— Заходите, милости прошу.

— Чего теперь меня просить, без просьбы пришел!

После этих слов Тимофей Ильич примостил гнездом шапку на свою толстую палку, поставил это гнездо в угол, а сверху положил сумочку с хлебом. Затем с достоинством подошел к столу и подал руку сначала Кондратьеву, потом Чурилову.

— Какими судьбами к нам? — спросил Кондратьев, предлагая стул.

— Пришел на заседание,— смеясь одними глазами, но вполне серьезно сказал Тимофей Ильич.

— Это как же вас понимать? — поинтересовался Чурилов.

— А так и понимай... Соскучился я по заседаниям,— все тем же серьезным тоном продолжал Тимофей Ильич.— Вы тут заседаете, а мне, старику, скучно... Вот я тоже пожаловал в общую компанию.

— Ну что ж,— сказал Кондратьев, понимающе взглянув на гостя,— давайте заседать втроем.

— Нет, Николай Петрович,— возразил старик,— я хочу с тобой, один на один... чтоб меньше промеж нас прений было.

— А! Вот как! — весело сказал Кондратьев.— Согласен... Только я сейчас кончу с директором,— и Кондратьев обратился к Чурилову: — Никаких локомобилей к Рагулину не тащи, не позорься...

— А я потащу и не опозорюсь,— смело возразил Чурилов.— За обмолот в первую голову отвечаю я, а не Прохор Ненашев. Меня станешь слушать на бюро.

— Да ведь люди-то смеяться будут!

— Что мне люди? — Чурилов встал, прошелся по кабинету.— Да меня сам же Рагулин просил... Он тоже в душе не уверен — и правильно. Тут, Николай Петрович, нужна осторожность, и все требуется заранее предусмотреть... А если сорвется вся эта музыка? Застопорит, не потянет, а у нас под рукою нет локомобиля? Трактор я там держать не буду, а локомобиль поставлю...

— Хорошо, ставь,— сказал Кондратьев,— только обратно тащить будешь на себе...

— Не боюсь, ибо знаю, что без локомобиля Рагулину не обойтись... Ты, Николай Петрович, положись на мое чутье...

Чурилов пожал руку Кондратьеву, потом Тимофею Ильичу и вышел.

— Тоже сумнение имеет? — спросил Тимофей Ильич, кивнув на дверь.

— Ни к чему эта затея,— Кондратьев положил

ближе к гостю коробку папирос.— Курите... У сына гостили?

Тимофей Ильич взял папиросу, помял ее в пальцах, посмотрел на мундштук, как бы отыскивая ответ, но так ничего и не сказал. Молча прикурил и придвинул стул ближе к столу.

— А что тут сын? — сказал он.— Сперва до тебя пришел.— Тимофей Ильич пригладил усы, и сухое, костлявое его лицо сделалось суровым.— Николай Петрович, насчет заседаний я, конечно, пошутил.

— Тимофей Ильич, а в этой шутке есть доля горькой правды,— сказал Кондратьев.— Надо сознаться, заседаем мы часто и помногу.

— Могло быть,— согласился Тимофей Ильич.— Делов же у вас разных много... А только зараз у меня разговор о другом.

— О чем же? — спросил Кондратьев.

— Насчет электричества. Скажи мне по совести, как ты есть первый секретарь: через какую причину дело стоит? Получается какой-то шиворот-навыворот,— Тимофей Ильич затушил папиросу и развел руками.— Электричество с каким трудом добывали, а толку в нем до сей поры не вижу. Мой сын — тоже хорош вояка! Взбудоражил людей на электричество, до ума не довел, а теперь за какую-то природу берется... Куда это годится? Да и ты должон все усматривать правильно. Почему один Рагулин мастерит всякие приспособления, а в других колхозах ничего этого нет? Не по-моему вы тут районом управляете... Почему нашему Мальцеву дирехтиву не даете? Или трудно такую бумагу написать, чтоб всем народом разом взяться — и готово дело...

— Жаль, что вы у сына не были,— проговорил Кондратьев, глядя в окно и о чем-то думая.

— Да что мне зараз сын? Ты тут старше его и по годам и дажеть вообще, как ты поставлен партией... А сын что? Ежели неправильно действует, поругай его хорошенько.

— Критику вашу, Тимофей Ильич, принимаю,— сказал Кондратьев, ближе подсаживаясь к старику.— А с Сергеем у меня предвидится серьезный разговор.

— Ты с ним построже,— советовал Тимофей Ильич.— Вот генерал у него был, тот, как рассказывал Сергей, дюже собой строгий, завсегда держал его на вожжах... И спасибо ему за это!

— Я, разумеется, не генерал,— Кондратьев задумался и по привычке пригладил седой и жесткий чуб.— Да, с электромолотьбой у нас плохие дела...

— Чем же следует подсобить?

— Беда в том, что мы упустили дорогое время.

— Кто ж в том повинен?

— По всему видно — я, — и Кондратьев смущенно улыбнулся.

— А мой сын?

— И он тоже...

— Так, так... Знать, вместе... А что ж вы теперь решаете?

— Придется в этом году вести обмолот электричеством только у Рагулина... Создадим, так сказать, опытный электроток... Обидно, но что поделаешь. И не в том, Тимофей Ильич, беда, что мы не успели провести линии к токам, а в том, что не подготовили людей...

Тимофей Ильич удивленно сдвинул клочковатые брови, козырьком спадавшие на глаза, потом тяжело поднялся и, прихрамывая, пошел в угол, к своей палке. Надевая на голову шапку, он покосился на Кондратьева с таким огорчением, точно неожиданно увидел за столом совсем другого человека.

— Так вот вы чего тут с сыном решаете! — сказал он, направляясь к дверям.— Знать, Рагулин поспел, а ты с моим Сергеем не поспел... Порадовали старика... Зараз пойду к Сергею, я с ним по-свойски побалакаю...

Кондратьев пытался задержать старика, просил посидеть, рассказать, что видел он у Рагулина, скоро ли в Усть-Невинской начнется косовица и какие виды на урожай, даже спросил о здоровье Василисы Ниловны, но Тимофей Ильич только косился злыми глазами, не сказал ни слова и вышел из кабинета.

— Обиделся...

Кондратьев остановился у окна, выходившего на

площадь, задумчиво смотрел куда-то вдаль, но не видел ни зеленых деревьев, ни улиц, ни домов, ни площади...

А утром рано он выехал в Усть-Невинскую, навестил Тимофея Ильича, грустного и молчаливого, побывал на усть-невинских полях и заехал на ток к Рагулину. Электромолотилку окружили колхозники, пришедшие сюда с соседней бригады. Угрюмо и молча они смотрели на Прохора Ненашева, который сидел на полке барабана и отвинчивал болты, прикреплявшие электромотор. Стефан Петрович Рагулин стоял в стороне, и вид у него был удручающе-скучен, поросшее седой щетиной лицо землисто-черное, а в глазах теплились и злоба и тоска.

— Что случилось? — спросил Кондратьев.

Стефан Петрович горестно махнул рукой.

— Допрактиковался, сучий сын,— зло сказал он, не поворачиваясь к Кондратьеву и продолжая смотреть на Прохора.— Спалил мотор, чертов техник-механик! Еще не молотили, а уже стоим. Говорил ему: «Полегче испытуй, не хвастай перед людьми...» Так нет же! Мастер... Ах ты, горе!

Кондратьев не стал расспрашивать, ибо и без расспросов все было ясно: случилось именно то, чего он так боялся. Посоветовал Рагулину отвезти мотор в ремонт на завод «Сельэлектро», побеседовал с людьми и уехал. Садясь в машину, он услышал глухой ропот среди собравшихся и чей-то голос:

— Из этого рая, как я вижу, не выйдет...

«Нет, выйдет,— думал Кондратьев,— только нужно как можно быстрее приобщить людей к технике...»

XIX

Вблизи Рощенской пряталась в лесистых зарослях неглубокая протока, и на ней стояла мельница с плотиной и с колесом, черным и поросшим скользким водяным лишаем. Мельница была старая, и с годами мучная пыль так въелась и в кирпичные стены и в черепичную крышу, что издали казалось, будто все

здание было охвачено изморозью. Колесо захлебывалось водой, вращалось нехотя, и сонно-тягучий, мучительно однотонный шум неумолчно разливался по низине.

От плотины узенькая из досок лесенка спускалась во двор, опоясанный невысокой каменной изгородью. Во дворе плеск воды смешивался с глухим, точно идущим из земли стуком — это вращались жернова; они как бы выговаривали: «А-а, на-а-м ма-а-ло, а н-а-ам ма-а-ло...» Из широкой, настежь распахнутой двери тянуло теплым запахом размолотого зерна. Посреди двора стояли две арбы, и возле ярм лежали, изнывая от жары, быки серой масти; мухи, голодные и злые, не давали им покоя, лезли в мокрые ноздри и липли серым шнурком вокруг слезившихся глаз...

Рядом с мельницей находилась пристройка, в виде сарайчика, только с окнами — контора из двух комнат: в одной сидел директор мельницы Федор Лукич Хохлаков, а в другой — счетовод, худой старик, с большой головой, в очках, спадавших на кончик носа.

— Викентий Аверьянович,— сказал Федор Лукич, выходя к счетоводу,— я пойду к воде, а ежели приедет «Дружба», то вы меня кликните.

Викентий Аверьянович кивнул головой, так что очки сползли еще ниже, и продолжал заниматься своим делом. А Федор Лукич, опираясь на толстую суковатую палку, вышел из конторки и направился к берегу протоки.

День выдался безоблачный, душный, и Федору Лукичу трудно было сидеть в такую жару в своем тесном кабинете. Был Федор Лукич уже стар, тучен телом, страдал одышкой и поэтому на день раза два или три выходил посидеть к речке. Тут у него давно уже было облюбовано довольно-таки красивое местечко: отлогий берег, густая и мягкая, как войлок, трава, а у самой воды склонилась тенистая верба. Федор Лукич тяжело опустился на траву, как раз под этой вербой, снял рубашку, сапоги и опустил в протоку ноги,— пальцы в воде казались длинными и сплющенными. Затем почесал мягкую волосатую грудь,— было приятно ощущать и свежесть реки, и дыхание теплого ветерка

в спину, и тень от веток. «Вот так и просижу до самой смерти,— с горестью думал Федор Лукич, трогая пальцем на верхней толстой губе родинку, твердую, похожую на серого жучка.— Просижу... и никому я теперь не нужен...» Он бесцельно смотрел на тихое течение речонки, и почему-то ему казалось, что вот так же медленно движется и его жизнь. «Вода хоть и тихо течет,— рассуждал он,— но все же таки не без пользы... А я живу...» Тут он низко склонил голову и прижал ладони к помокревшим глазам. «Жизнь вас, Федор Лукич, опередила, вот в чем ваше горе»,— это ему как-то сказал Сергей. Ну и что же, что сказал? Но почему же эти слова так болезненно вошли в сознание и почему о них нельзя было не думать? «Врешь, сукин ты сын, не жизнь меня обогнала, а ты обскакал и теперь радуешься»,— зло думал Федор Лукич, потирая пальцем родинку.

После того как Федора Лукича на посту председателя райисполкома заменил Сергей Тутаринов, старик особо не выказывал обиды: тогда он еще носил звание депутата, числился членом исполкома, оставался также и членом бюро райкома и мог на заседании поругать Сергея и тем самым показать, что он, старый районный работник, знает больше, чем молодежь. Теперь же его не избрали ни депутатом райсовета, ни членом пленума райкома, и он был глубоко убежден, что это случилось по вине Тутаринова, оттого до слез болело сердце, а в груди давило, как камнем:

«Карьеру строишь, геройствуешь на чужом горе! — Федор Лукич снова посмотрел на тихое течение и тяжело вздохнул.— Прыгаешь, кидаешься во все стороны... Одну затею не довел до ума, а уже за другую уцепился... Природу вздумал переделывать — и надо ж такое придумать! А для чего ее переделывать?.. Еще не известно, что из этой новой затеи получится, а крику хоть отбавляй... С электричеством, можно сказать, завалился: планировал, намечал черт знает чего, а на деле ничего не видно... Да лучше б те деньги, что туда вогнали, роздал бы колхозникам, пусть бы люди обживались... Так нет же, ему и этих затрат мало,— давай средства на переделку природы. А из чьего кар-

мана деньги? Из колхозного... Гони, действуй, колхозы выдержат... Строитель какой нашелся, черти бы тебя побрали!.. И Кондратьев, будто и умный и немолодой, а тоже потворствует...»

Тут Федор Лукич взмахнул рукой, точно рубанул саблей, и начал поливать воду на свою бритую голову.

— Доброго здоровья, Федор Лукич!.. Водичкой балуешься?

Голос был мягкий, вкрадчиво-ласковый и такой знакомый, что Федор Лукич невольно подумал: «Неужели Евсей? Откуда его дьявол принес?» И Федор Лукич нарочно медленно и как-то нехотя повернул мокрую голову, с капельками воды на бровях и на волосах, торчавших из ушей. Перед ним и в самом деле стоял тот самый Евсей Нарыжный, которого Тутаринов снял с поста председателя колхоза «Светлый путь» за воровство зерна. Был он все в том же легком пиджаке, в поношенных и сильно запыленных сапогах, в серых матерчатых брюках, такой же сухой и поджарый, каким знал его Хохлаков уже много лет. Гладко выбритое его лицо с куце остриженными усами, худое и жилистое, тоже ничуть не изменилось, и так же, как и прежде, в масляных, всегда прищуренных глазах бегали какие-то пугливые чертики.

— Из тюрьмы? — в упор спросил Федор Лукич.

— Зачем же из тюрьмы? — с улыбкой ответил Нарыжный, присаживаясь на траву.— Из домзака...

— Один черт, что в лоб, что по лбу,— буркнул Федор Лукич.— Вырвался?

— Сами с богом отпустили.

— Значит, не засудили?

— Статьи такой не нашлось.

— Жаль,— Федор Лукич незлобно усмехнулся.— Надо было бы засудить.

— Это почему же ты, Федор Лукич, такого намерения? — спросил Нарыжный, и чертики в его глазах куда-то спрятались.

— Чтоб наперед умнее был,— Федор Лукич потер ногу о ногу, помутил воду.— Сколько я тебя, дурака, учил — не играйся с огнем...

— Так я ж и не игрался, а потому и чист, как

вода! — смело ответил Нарыжный.— Хлеб же я раздавал по распискам, вот эти расписки и выручили.

— «Выручили»! — передразнил Федор Лукич.— Ну, покажи документ...

— Документ имеется.

Нарыжный порылся во внутреннем кармане пиджака, достал сложенную вчетверо бумажку и передал Федору Лукичу. Тот повертел ее в руках и стал читать.

— А куда ж теперь? Опять в колхоз?

— Что-то нет у меня охоты туда возвращаться,— чистосердечно признался Нарыжный.— Теперь там меня одна преподобная Глаша живьем съест.

— А как же думаешь жить?

— Хочу пристроиться... в рабочие.

Федор Лукич подавил пальцем родинку, и мясистое его лицо скривилось, как от боли.

— Иди к Тутаринову,— может, даст работу. Он же новую стройку затеял... Слыхал? Самой природе не дает покою... Вот и поторопись к нему в рабочие... Он же тебя места лишил...

— Бог с ним, с Тутариновым,— грустно проговорил Нарыжный.— Мне бы где потише...

— А! Потише? Сторожем?

— Хоть бы какое дело! — Нарыжный наклонил голову и стал рвать траву, жадно, со злостью.— Может, у тебя, Федор Лукич, есть место?

— У меня? — Федор Лукич задумался.— А что ж у меня? Мирошником тебя взять не могу: к зерну тебя, как того хлебного жучка, допускать опасно.— Федор Лукич рассмеялся.— Конюхом сможешь?

— А почему же не смогу? Я вырос с лошадьми, дело привычное.

— А как оно, того... не стыдно будет? — с упреком в голосе сказал Федор Лукич.— То был председателем колхоза, руководящий кадр, почет и уважение, а теперь конюхом? Соображаешь?

— Тот почет дала мне советская власть, она же его и отобрала, вот мы теперь и квиты,— Нарыжный с хитринкой в глазах усмехнулся.— А оно, Федор Лукич, и твое нынешнее положение...— Нарыжный

не договорил, тяжело вздохнул.— Эх, судьба-злодейка!..

— Ты моего положения не касайся,— пробасил Федор Лукич, глядя в землю.— Вот что, Евсей... Я не Тутаринов и обижать людей не могу... Завтра поговорю о тебе с прокурором, чтоб злые языки не трепались... А ты дня через два наведайся ко мне за результатом. С семьей виделся?

— Да какая там семья? Одна жена...

— Все одно... Иди, иди... Небось, там исплакалась...

На плотине показался Викентий Аверьянович.

— Федор Лукич! — кричал он, размахивая длинными руками.— Идите, «Дружба» заявилась!

— Ну, ступай, ступай,— сказал Федор Лукич Нарыжному,— отдохни дома, очухайся...

Нарыжный молча пожал Хохлакову руку и ушел к мосту, напрямик через огороды и сады. А Федор Лукич надел рубашку и, опираясь на палку, захромал к мельнице. «Надо поддержать человека,— думал он о Нарыжном.— Как это он сказал? Судьба-злодейка... Да...» После этого он забыл о Нарыжном и стал думать о предстоящем разговоре с Головачевым. «Придется и этому подсобить»,— решил он, выходя на плотину.

Во двор уже заехал обоз — шесть подвод и все доверху нагружены чувалами с зерном. На вислозадой, невзрачной кобыленке, с полстенкой вместо седла, приехал Иван Кузьмич Головачев. Он тяжело слез на землю и, бросив повод сидевшему на возу мальчугану, важно, вразвалку направился к Хохлакову.

— Вот это подвоз! — весело сказал Федор Лукич, пожимая Головачеву руку.— Сразу видно — хозяин приехал! Небось, перед новым урожаем все под метелку забрал?

— Все или не все, а мельницу загружу,— с хитрой усмешкой ответил Головачев.— Скоро страда, тут потребуются и мука и отруби для лошадей. Мы же всю уборку лошадьми возьмем.

— Так без комбайнов и живешь?

— Обхожусь... Хлопотов меньше.

— Тутаринов у тебя частенько бывает?

— Бывает,— о чем-то думая и покручивая пушистый ус, проговорил Головачев.

— Не гоняет тебя? — Федор Лукич усмехнулся и подумал: «Крути, крути ус, знаю, чего ты его закручиваешь...»

— А чего ему меня гонять? — сказал Головачев, и его большие серые глаза смеялись, как бы говоря: «Меня-то он не гоняет, а вот тебя уже погонял, и добре...» — Район нас уважает. Все планы поставок «Дружба земледельца» выполняет наперед всех, а это же нынче главное... Ну, Федор Лукич, можно сгружать?

Возчики начали сносить чувалы и складывать клеткой на весы. Возле весов бегал мирошник, весь белый, с густо запудренным лицом. Федор Лукич и Головачев сидели в холодке на лавочке.

— Комбайн — это что? — сказал Головачев.— За них натуроплата не велика, а вот если бы от твоих, Федор Лукич, налогов избавиться...

Федор Лукич усмехнулся и подумал: «Ишь как, издалека заходит... Ну, и говорил бы напрямик...»

— Да,— о чем-то думая, сказал Головачев,— а как ты, старина, тут поживаешь? Не тянет на старое местечко?

«Насмешечки строит, чертов усач! — зло подумал Федор Лукич.— Нет, этому сероглазому дьяволу нечего подсоблять... Хитрун...»

Федор Лукич тяжело вздохнул, вытер хусткой вспотевшую бритую голову и сказал:

— Года уже не те... Пусть управляют молодые...

— Молодые-то молодые,— сказал Головачев, и в глазах его засветилась какая-то другая, невысказанная мысль.— Но с тобой, Федор Лукич, жилось спокойнее... И планы выполняли, и не было этой суматохи.

«Хитрый, хитрый, а не дурак... Придется подсобить... Мою доброту помнит, не позабыл, как другие»,— подумал Федор Лукич и, сдерживая улыбку, сказал:

— Говоришь, спокойнее? Зато славы такой, как ныне, не было... Теперь шуму, гаму сколько!

— А что из того толку? — Головачев наклонился и стал чертить коротким огрубелым пальцем линии на земле.— Надо колхозников обеспечить — вот это наша слава... А где лежит эта обеспеченность? В хлеборобстве... А мы хлеборобство забыли, а кинулись в строительство.

— Не мне, а Тутаринову об этом скажи,— смеясь, проговорил Федор Лукич.

Наступило молчание. Головачев поднялся, посмотрел на солнце, оглядел двор, мельницу.

— Федор Лукич,— сказал он,— пойдем протоку посмотрим.

«Ага, решил-таки заговорить»,— подумал Федор Лукич и, вставая, сказал:

— Хочешь искупаться?.. Можно.

Они пошли берегом протоки и остановились далеко от мельницы, в холодке, между верб. Головачев бросил в воду хворостинку и долго молча провожал ее задумчивым взглядом.

— Кхм! — насильно кашлянул он.— Как же насчет того дела, Федор Лукич? — а глаза все смотрели на уплывавшую хворостинку.

Федор Лукич молчал.

— Тут такая, Федор Лукич, наступает горячая пора,— продолжал Головачев,— люди нужны, чтобы все разом поднять, скосить, смолотить и первыми свезти хлеб государству... И если бы у меня было лишних пудиков двадцать муки, то тут, Федор Лукич, и люди нашлись бы... Выручи по-дружески... За весь гарнцевый сбор деньгами возьми... Наличными заплачу... Не для себя прошу, а для общего успеха...

«Ишь куда тянет, черт лупоглазый! — подумал Федор Лукич.— И как это тебя Тутаринов еще не раскусил...» Затем, постояв еще несколько минут, помял пальцем родинку на губе и сказал:

— Ладно, Иван Кузьмич... Только из уважения к старой нашей дружбе...

Они возвращались на мельницу молча.

XX

Однажды перед вечером, в тот самый час, когда раскаленный за день воздух начинал остывать, а от домов и деревьев через всю улицу тянулись тени, Федор Лукич, опираясь на палку и слегка похрамывая, возвращался в станицу. По обыкновению, был он мрачен, по сторонам не смотрел: не хотелось встречаться с людьми. Но, выйдя на площадь, он невольно поднял голову и совсем неожиданно увидел знакомую кубанку, так молодцевато сдвинутую на лоб, что красный ее верх так и пламенел у Федора Лукича перед глазами. Вот эта кубанка, да еще и горские сапожки без каблуков и с ремешками ниже колен, и синие галифе, и длинная рубашка, подхваченная пояском, богато украшенным серебряным набором, и весь мужчина, упруго-стройный, чернолицый, заставили Федора Лукича не только остановиться и поднять голову, но и воскликнуть:

— Ба! Алексей Степанович! Ай, приметный же ты человек!

Алексей Степанович Артамашов подошел к Хохлакову живой, мягкой и почти неслышной походкой, усмехнулся и так блеснул мелкими красивыми зубами, точно говорил: «На то я и Алексей Артамашов, чтобы быть приметным...» После этого старые друзья с каким-то особенным удовольствием пожали друг другу руки.

— Ты все такой же ухарь! — отечески-ласково сказал Федор Лукич.

— А что ж! Живу — не тужу,— все так же усмехаясь, ответил Артамашов.

— Звеном управляешь? — поинтересовался Федор Лукич, и в голосе его прозвучала нотка сожаления.

— Еще как управляю! — прихвастнул Артамашов, гордо выпрямившись.

— Какими судьбами к нам залетел?

— Сергей вызывал.

— Да ну! — Федор Лукич даже причмокнул языком.— Это зачем же ты ему понадобился? Небось, опять для нагоняя?

— Эге! — Артамашов от души рассмеялся.— Тут, Федор Лукич, пахнет уже не нагоняем! Такое заварилось, что и разобрать трудно.— Артамашов еще сильнее сбил кубанку на лоб, так что теперь она держалась на его жестких и бугрястых бровях.— Сергей интересуется моим урожаем, вот оно что! Теперь же всему району видно, что я Рагулина опережаю, можно сказать — кладу этого скрягу на обе лопатки, и тут я так думаю про себя: боится Сергей за авторитет Рагулина... Неудобно ему сообщать в край и в Москву такие данные, что у бывшего председателя-расточителя урожай выше, чем у хваленого Героя Рагулина... Вот оно, Федор Лукич, какая была у Сергея цель!

— Так, так,— задумчиво проговорил Федор Лукич. Это дюже интересно... Мысль у тебя весьма правильная... А зараз же ты куда?

— К себе, в Усть-Невинскую.

— Да ты что? Поздно... Куда в ночь?

— А у меня есть конь.

— Все одно,— Федор Лукич взял Артамашова за рукав.— Идем ко мне. Бери и коня, у меня есть ему место... Переночуешь, поговорим. Видимся-то мы не часто... А утречком и поедешь... Не! Не! Не! Ни за что не отпущу.

Они прошли через площадь, и как только свернули на неширокую, поросшую травой улицу, у Артамашова заныло сердце, а отчего, он и сам не знал. Может быть, оттого, что уже издали он увидел хорошо ему знакомые вишневые ветки, упавшие на дощатую изгородь, и опрятный домик под белой черепицей, и два окна в зеленых ставнях, как в рамах, смотревшие на улицу все так же весело, и палисадник, и деревянную скамейку. А может, и оттого стало на сердце тяжко, что вспомнилось то время, когда он был председателем колхоза, и часто, бывало, под вечер вот по этой улице гремела его тачанка, и вон у той калитки кучер осаживал горячих коней. Артамашов соскакивал на ходу и, открывая ворота, как у себя дома, пропускал тачанку, и во дворе вместе с женой Хохлакова Марфой Семеновной и кучером сносил в сенцы корзинки,

сверху зашитые марлей, мешок с мукой, какие-то кульки и бидончики. После этого молодцеватым шагом он шел в дом, а Федор Лукич уже стоял на пороге и приветствовал хриповатым басом: «А! Алексей Степанович! Гордость района!..»

Теперь же все было булнично-скучно, и они шли молча, понуря головы. «И за каким чертом я сюда плетусь? — со злостью думал Артамашов.— Недавняя рана и так не зарубцевалась, а я ее еще солью...» Он хотел остановиться и крикнуть: «Не пойду! Были денечки — на тачанке ездил, а пешком ходить сюда я не привык!» Но Федор Лукич уже открыл калитку и пропустил гостя вперед.

Во дворе дымилась обычная, какая бывает у казаков, летняя печка, и тут же, присев на корточки, Евсей Нарыжный ощипывал петуха, придерживая рукой окровавленную шею. «Это еще что за беркут?» — подумал Артамашов, покосившись на Нарыжного.

— А вот нам и жарковье готовится! — сказал Федор Лукич.

— Марфе Семеновне подсобляю,— проговорил Нарыжный, вставая и отряхивая с колен прилипшие перья.— Она ушла к соседке за перцем, а я общипываю,— и в сощуренных его глазах забегали чертики.

— Ты брось это бабское занятие,— строго приказал Федор Лукич и обратился к Артамашову: — Алексей, где твой конь? Пусть Евсей сбегает и приведет... В стансоветской конюшне? Напиши конюху записку.— И снова к Нарыжному: — Да ты хоть руки помой, а то на разбойника похож...

Артамашов прислонился к подоконнику и стал писать на листке из блокнота. Федор Лукич опустился на разостланную под стеной полсть и хотел разуваться, но тут подбежал Нарыжный и, опустясь на колени, стал снимать с его ног сапоги.

— Ты! Ты! Здоровило! — простонал Федор Лукич.— Легче тяни, а то ногу оторвешь!

«Или холуя нажил при старости лет?» — подумал Артамашов.

Нарыжный взял записку и ушел. Федор Лукич сидел, опершись спиной о стену и вытянув ноги.

— Эх, ходули, брат, плохо держат! — сказал он, похлопав ладонью ноги.— Болят... Садись, Алексей, отдохнем, старое вспомним, а тем временем нам петуха зажарят... По рюмочке тоже найдется ради такого случая. Я хотя сам и не пью по причине сердечных перебоев,— он глубоко вздохнул и положил ладонь на грудь,— а для гостей завсегда держу...

— А что это у тебя за птица? — спросил Артамашов, кивнув на ворота, куда ушел Нарыжный.

— Да разве ты его не знаешь? Евсей Нарыжный, бывший председатель «Светлого пути»,— Федор Лукич сердито пощипал родинку на губе и задумался.— Да, Алексей, бывший... У тебя с ним одинаковая участь: оба в одно время попали на зубы Тутаринову... и теперь оказались бывшие.

— Это тот, что с хлебом мудрил? — спросил Артамашов.— Так его должны были судить?..

— А за что? — Федор Лукич усмехнулся.— Улик не оказалось. Тутаринов же в суде власти не имеет, приказать не может, а суд невинного человека наказывать не решился...

— А чего он у тебя? В ординарцах?

— Конюхом взял,— со вздохом сказал Федор Лукич.— Ну, а по старой дружбе у меня бывает, проведывает... На ночь он уйдет к лошадям. Мы их ночью на выпасе держим.

— Глаза у него какие-то чертячьи,— как бы про себя сказал Артамашов.— Что-то в них так и блестит... Противно!

— Это, Алексей, блестит живая мысль! — и Федор Лукич хрипло рассмеялся.— Мужик он башковитый, я его знаю. Приставь его к любому делу — и поведет, еще как! А вот Тутаринов искалечил человека, и если разобраться — ни за что, ни про что...

В это время пришла Марфа Семеновна, держа в пальцах, как огонек, красный стручок перца. Пожилая и такая же, как и муж, рыхлая, она еще молодилась и была, не в пример Федору Лукичу, при здоровье. Артамашову она улыбнулась еще у калитки, поздо-

ровалась с ним как с родичем, даже прикоснулась своими мягкими и мокрыми губами к его щеке и, вытирая платочком опухшие глаза, сказала печальным голосом:

— Эх, Алеша, Алеша! Никак я не могу поверить, что ты уже не тот, кем был...

— А тебя, Марфуша, и верить никто не принуждает,— сказал Федор Лукич.

Артамашов промолчал, и его сухое, загорелое лицо помрачнело. «Ох, и не люблю, когда баба жалеет,— думал он, чувствуя ноющую боль сердца.— Все ж таки за-зря я сюда пришел, только растравлю себя...»

XXI

Такое тягостное настроение не покидало Артамашова и позже, когда уже совсем стемнело и Нарыжный привел коня, а Марфа Семеновна накрыла в комнате стол и пригласила ужинать,— во всем теле ощущалась гнетущая тяжесть. Есть ему не хотелось, хотя от курятины, зажаренной с картошкой и приправленной лавровым листом и перцем, исходил приятный запах. Не помогла и рюмка водки, которую Артамашов выпил, не закусывая,— попрежнему ныло сердце, и было так тоскливо, что ни о чем не хотелось не только говорить, но и думать, и ему теперь казалось, что причиной этому было то, что у Хохлакова находился этот Евсей Нарыжный с какими-то неприятными глазами... А Евсей Нарыжный, быстро захмелев, подбавлял себе в тарелку картошки, зацепив при этом куриную ножку, горячо доказывал, что с Федором Лукичом даже в трудное военное время работать было легко; глаза его все время ласково жмурились. «Ну, затянул шарманку и щурится, как кот на сало»,— со злобой подумал Артамашов, нехотя обгрызая досуха зажаренное крылышко. А Федор Лукич, в нательной рубашке, важно откинулся на спинку стула и, слушая Нарыжного, ухмылялся, и нельзя было понять: одобряет или порицает он своего словоохотливого друга.

— Как было допрежь? — говорил Нарыжный, разливая в стаканы водку.— Сказал Федор Лукич — и в одну мгновению любое задание исполнено! А почему? Да потому, что допрежь дружба была... Раньше как бывало...

— Погоди, Евсей Гордеич,— перебил Федор Лукич,— ты прежние времена выбрось из головы и забудь, того уже не воротишь. О настоящем надобно думать, да еще как думать! Правду я говорю, Алексей? И чего ты ныне такой квелый? Ты ли это, разудалая душа?!

— Должно быть, мало выпил,— грустно проговорил Артамашов, и сухое его лицо скривилось горько и болезненно.

— А пить будем! — выкрикивал Нарыжный.— Кто нам запретит? У меня был начальником и остался один Федор Лукич... Во всем свете я никого не признаю, а его уважаю...

— Помолчи, Евсей,— сказал Федор Лукич.— Не в выпивке зараз дело... Да и пьют много только дураки,— он сокрушенно покачал головой.— Да, так вот, я хочу сказать о тебе, Алексей Степанович, и о тебе, Евсей Гордеич,— тут Федор Лукич в горестной улыбке скривил губы.— Эх, хлопцы, хлопцы, гляжу я на вас, и жалость меня разбирает... Были оба председателями, ты, Евсей, верно подметил: бывало, дашь вам задание — и уже спокоен: потому — орлы! А теперь кто вы? Одного Тутаринов из партии вышиб, звеньевым, как на посмешище, сделал, а другого судить собрался, и теперь он конюхом на мельнице... А дальше что?

— Спайку, спайку нам нужно,— сладко жмурясь, вставил Нарыжный, и в щелках его глаз с какой-то особой проворностью засуетились чертики.— Без спайки жить нельзя!

— Чертовщину городишь! — сказал Артамашов и поднялся так быстро, что опрокинул стул.— Какая тебе нужна спайка?

— А такая... своя,— Нарыжный придвинул тарелку и принялся за курятину.

— Алексей, сядь,— Федор Лукич посадил Артамашова рядом с собой.— Ты, Алексей, его не слушай... Вот послушай то, что я скажу...

— Федор, и к чему завели такой скучный разговор? — вмешалась Марфа Семеновна.— Поговорили бы о чем-нибудь веселом...

— Марфуша,— ласково сказал Федор Лукич,— ты в мужские дела не вмешивайся... Да, так вот что же, Алексей, дальше?

— А почем я знаю? — буркнул Артамашов и покосился на Нарыжного.

Федор Лукич снова покачал головой и тяжело вздохнул.

— В районе творятся такие безобразия, что тут надо,— Федор Лукич положил кулак на стол, помолчал,— тут надо, пока не поздно, обращаться в высшую власть, чтоб комиссию для проверки выслали...

— И спайку, спайку,— проговорил Нарыжный, обсасывая косточку.

— Почему в районе идет такое самочинство? — продолжал Федор Лукич, не слушая Нарыжного.— Думал ты об этом, Алексей? Да потому, что там, на верхах, истинного положения дел не знают. Тутаринов своей Золотой Звездой всем глаза затмил, Кондратьев — и тот уже ничего не видит... А мы видим!

— Что ж мы видим? — настороженно спросил Артамашов и, склоняя голову, усмехнулся.

— А то мы видим,— отвечал Федор Лукич, вытирая лоб полотенцем,— то мы видим, что уборка на носу, момент политический, страна ждет хлеба, а руководство района задумало природу переделать да станицы обновлять. Да тут ежели умным людям разобраться во всей этой затее, то кое-кому не поздоровится, и дюже не поздоровится. Ишь ты, природу решили переделывать — это же смех и горе! Веками люди жили — и ничего, нравилась природа... А Тутаринову она не по душе! — Федор Лукич горестно усмехнулся.— Сидит себе в кабинете, любуется своей Золотой Звездой и думает, какую бы еще идею изобрести. Да так можно черт его знает до чего дойти, и

тут, Алексей, нужна сила такая, чтоб смогла она остановить этого идейщика...

Артамашов наклонил голову и молчал, и теперь уже не тоска, а зло распирало ему грудь, но он только сжимал под столом кулаки и крепился. «Дурак старый,— думал он, сжимая в кулаке конец скатерти.— Нашел место для разговора!..»

— А я об чем? — отозвался Нарыжный.— Спайку, спайку нужно...

— А конюху, как я понимаю, пора и к лошади,— со злой усмешкой сказал Артамашов, не поднимая головы.

— Верно, верно,— подтвердил Федор Лукич.— Иди себе, Евсей, время позднее...

Нарыжный, не сказав ни слова, покорно встал, распрощался и вышел. Марфа Семеновна пошла его проводить. Оставшись вдвоем, Артамашов и Хохлаков долго сидели молча. Федор Лукич ел картошку, а Артамашов все так же низко склонил голову и, казалось, дремал. Потом он резко встал и, заложив руки за спину, неслышно прошелся по комнате.

— Федор Лукич,— сказал он, остановившись у окна,— ты или уже с ума выжил, или черт тебя знает!

— Это ты о чем? — встревожился Федор Лукич.

— О чем? А о том самом,— раздраженно сказал Артамашов.— К чему ты завел этот разговор в присутствии Нарыжного? Кто он такой, этот твой Нарыжный? Сегодня он тебе сапоги снимает, подхалимничает, а завтра продаст тебя за грош... А жена?

— Алексей, так это же люди свои,— виновато улыбаясь, проговорил Федор Лукич.— И Нарыжный и Марфушка... Да и ничего я такого не говорил... Нам надо собраться и написать в Москву, а разве кто запрещает писать? Я и Кондратьеву скажу, что буду писать жалобу. Ведь это же, Алексей, в районе намечается не переделка природы, а настоящее разорение! Леса посадить, пруды построить, станицы по-новому распланировать — да тут потребуются миллионы рублей!.. А откуда их брать? С колхозов. И то, что следовало бы раздать на трудодни, уплывает черт знает

куда... А Москва этого не знает, вот и надо нам собраться и написать...

— Кто соберется? Кто напишет? — резко спросил Артамашов.— Ты, Нарыжный и еще такие ж, как вы? А кто вам поверит? Спросят: кто такой Нарыжный?

— Что ж по-твоему? — спросил Федор Лукич.

— Если писать, то не Нарыжные, а настоящие люди должны написать такое письмо,— задумчиво проговорил Артамашов.— На кого опирается Тутаринов? В чем его сила? — Артамашов подошел к столу.— Нужно, чтобы написали Рагулин, Прохор Ненашев, Несмашная, Савва Остроухов... Или Хворостянкин — тоже человек с весом. Да еще бы десятка два колхозников — из тех, что самые передовые... Вот это сила, а не этот твой дурак с кошачьими глазами.

— Трудное дело,— как бы про себя сказал Федор Лукич.— Те люди, как я понимаю, нас забыли.

— А! Забыли! Так какого ж черта языком треплешь! — Артамашов прошелся к окну и обратно.

Вошла Марфа Семеновна. Артамашов, улыбаясь хозяйке, сказал:

— Ну, Марфа Семеновна, спасибо вам за курятину. Еду в станицу.

— В ночь? — удивилась Марфа Семеновна.— Да оставайся, Алексей, до утра. Я уже и постель приготовила...

— Нет, нет, мне надо ехать...

Федор Лукич молчал, точно и не слышал этого разговора. Артамашов попрощался, а когда сел в седло, сказал Хохлакову:

— Федор Лукич, ежели ты мыслишь все иначе, то лучше прикуси язык.

За мостом, свернув на дорогу, ведущую в Усть-Невинскую, Артамашов пришпорил коня и понесся по степи галопом.

«Обида... Злобствует, бесится старик, а ума нету,— думал он.— Нет, таким надо умирать,— пень сгнивший и только. И этот туда же — «спайку, спайку»... Эх ты, сатана бесхвостая!..»

Степь под звездным небом, прохлада, идущая от реки, дробый стук копыт, свежий ветер, лезущий под

рубашку,— все это было так привычно и мило сердцу, что Артамашов сразу повеселел и, пуская коня на шаг, негромко запел: «По яру да по глубокому...»

Вскоре по берегу, на черном фоне Верблюд-горы, показались частые огни Усть-Невинской.

XXII

— Иринушка, входи, дорогая! Дай я тебя поцелую! Эх, смотрю я на тебя и вижу свою молодость. Хоть и давненько это было, а не забывается... Не-ет, не забывается...

Так говорила Наталья Павловна Кондратьева, приглашая в дом Ирину Тутаринову. Она взяла гостью под руку и повела в небольшую комнату с одним окном, которое выходило в палисадник и было снизу доверху оплетено хмелем. Зной сюда не проникал, и от этого в комнате всегда было прохладно, пахло свежестью листьев и мятой, росшей за окном.

Наталья Павловна усадила Ирину на диван, а сама села на стул. Они смотрели друг на друга ласковыми глазами и улыбались той особенной улыбкой, которая как бы говорила: «Вот так мы и будем сидеть, и мы счастливы, и ничего нам не нужно...» Лица их выражали и волнение и радость. Посмотришь на них со стороны и невольно скажешь: да ведь это же мать и дочь встретились после долгой разлуки!.. Такое сходство замечалось во всем: и в том, что обе они были невысокого роста; и в том, что Наталья Павловна по своим летам и в самом деле годилась в матери Ирине,— даже младший ее сын, тот, что служит в армии, и то на три года старше Ирины; и в том, что косы у них были черные, только у одной по цвету походили на воронье крыло, а у другой — такое же воронье крыло, но уже густо посыпано серебром седины; и в том, что и лицо Ирины с приятными чертами и ласковые ее глаза чем-то неуловимым напоминали лицо и глаза Натальи Павловны, какими они были в молодости; и, наконец, в самом характере этих двух женщин было много общего: и эта чисто женская

приветливость, и эта сердечная бескорыстность, и это открытое всем добродушие... Может быть, такое сходство они и сами замечали, а поэтому, улыбаясь, думали каждая о своем: Наталья Павловна о том, что когда-то и она вот была такая же красивая и цветущая, как Ирина; вот так и ей любое платье шло к лицу, вот так и у нее блестели молодые карие глаза... А Ирина думала о том, что придет время, и она станет такой, как Наталья Павловна; о том, что у нее со временем округлятся в оборке морщинок глаза; о том, что и у нее с годами седина вплетется в косу... Да мало ли еще о чем думали молодая и пожилая женщины, глядя одна на другую и радуясь встрече!

— Иринушка, угощу тебя чаем с вареньем,— сказала Наталья Павловна своим мягким, грудным голосом.— И еще ватрушками с творогом... Такие вышли славные ватрушки!

— Тетя Наташа, не нужно беспокоиться...

— Отчего же не нужно? Так я рада, так рада...

— Я к вам на одну минутку.

— А я тебя так сразу не отпущу... Варенья непременно отведай.

— Я и так знаю, что варенье у вас хорошее.

— Нет, ты еще ничего не знаешь... Это у меня уже новое, клубничное... И ватрушек ты таких еще не ела.

Ирина смущенно смотрела на хозяйку дома и отказывалась от угощения, но Наталья Павловна даже не стала ее слушать. Она вышла из комнаты, а через некоторое время на столике появились и ваза с вареньем и тарелка с белыми и удивительно пышными ватрушками. Наталья Павловна сама наложила на ватрушку клубничных ягод, сваренных так осторожно, что казалось они были только что сорваны с куста, твердые, темнокоричневые, точно пропитанные медом.

И в самом деле, варенье оказалось каким-то особенным: и очень душистым и таким приятным на вкус, что Ирина стала охотно пробовать его и уже не с ватрушкой, а прямо ложечкой. Тем временем Наталья Павловна принесла чайник, чашки, блюдца и, разли-

вая чай, расспрашивала Ирину, не скучно ли ей в Рощенской, часто ли бывает она у матери, не утомляют ли ночные дежурства на гидростанции. В свою очередь, Ирина отвечала, что в Рощенской ей жить хорошо — эту станицу она знает давно, что и сама бывает у матери, да и мать навещает ее частенько.

— И работа у меня не тяжелая,— говорила Ирина.— Только очень она неудобная для личной жизни.

— Далеко от дому?

Ирина тяжело вздохнула:

— Редко приходится быть вместе с Сережей — вот беда! То он в отъездах или на заседаниях, то я на дежурстве...

— А хочется быть вместе? — участливо и ласково спросила Наталья Павловна.

— Еще как хочется! — созналась Ирина и покраснела.

— Эх, Иринушка, Иринушка! — с чуть приметной грустью в глазах сказала Наталья Павловна.— Привыкай, моя детка, привыкай... Я вот со своим Николенькой уже тридцать лет... Сколько было разлук и встреч.

— Тетя Наташа,— промолвила Ирина и так быстро опустила голову, что завиток волос упал на лоб,— привыкнуть бы и можно, а только я боюсь... Эти частые разлуки... Все может случиться... Знаете, какая-нибудь завлечет...

— Разве что замечаешь? — участливо спросила Наталья Павловна.— Да ты не стесняйся, со мной говори обо всем...

— Нет, тетя Наташа, ничего я плохого не замечаю,— Ирина еще ниже наклонила голову.— Я Сереже верю, но если, не дай бог, что случится...

— А ты об этом не думай понапрасну, не расстраивайся...

— Хотелось бы и не думать и не расстраиваться...— Ирина горестно посмотрела на Наталью Павловну.— Я бы и не заговорила с вами, если бы мое сердце не болело.

— Отчего же оно болит?

— Никому еще не говорила, а вам скажу,— Ирина

опять наклонила голову.— Наталья Павловна, я получила письмо... без подписи... Гадкое, противное письмо.— Ирина протянула Наталье Павловне старенький, потертый конверт.— Почитайте.

На клочке плотной бумаги было написано:

«Ирина жалко мине тебя тихо и умно прозследи засвоим муженком он тебя обманывает ты думаеш чиво он такое часто ездить в Родниковскую там у нево ест уфажорка она вся ученая партейная и агрономша они смеются над тобой что ты баба дура, муж твой делает все очен хитро все как будто они товарищи поработе наблюдай за ними тихо и ты все увидеш сама».

— Безграмотная дура и завистница,— сказала Наталья Павловна, отдавая письмо.— Твоему счастью завидует... Видно, своего не имеет, вот и бесится... Сергею читала это письмо?

— Что вы, Наталья Павловна! — испуганно ответила Ирина.— Разве я могу ему это показать?..

— А почему же не можешь? От мужа ничего не скрывай. Непременно прочитай, посмеетесь вместе — вот и все!

— А если правда? — сказала Ирина и побледнела.

— Никому не верь. Твой Сережка не такой.— Наталья Павловна на секунду задумалась, а потом посмотрела на Ирину своими добрыми, матерински-ласковыми глазами и сказала: — Иринушка, а ты знаешь, что значит в жизни настоящая жена?

Такой неожиданный и прямой вопрос несколько смутил Ирину, и она, не зная, что и как ответить, некоторое время сидела молча, старательно поправляя прическу.

— Ну, быть верной, любить,— волнуясь и краснея, сказала она.— И вообще чтобы все между нами было по-хорошему,— она внезапно рассмеялась и закрыла пылающее лицо руками.

— Любить и быть верной,— задумчиво проговорила Наталья Павловна,— тоже, конечно, важно, а только этого еще мало. Ты только вступила в обязанности жены, и хорошо то, что и разлука с Сергеем и это глупое письмо тебя уже волнуют, что сердечко твое тревожится, побаливает. Хуже, если оно и не болит и

молчит.— Наталья Павловна прижала к губам платок, помолчала, как бы собираясь с мыслями.— Да и что такое и эти короткие разлуки и эти анонимки? Они — как тучки на небе: пронесутся — и нет их, и уже снова наступит ясный день... В замужней жизни, Иринушка, доведется всего испытать: и радости, и горя, и печали. Вот к этому ты себя и готовь, заранее сил набирайся, чтобы смогла ты со своим Сергеем пройти жизнь, как равная с равным, и чтобы была ты ему и женой, и матерью детей, и другом самым близким, и помощницей... По себе сужу,— Наталья Павловна тяжело вздохнула, видимо что-то вспомнила, и глаза ее затуманились.— Как мы жили? Сперва мы были на заводе... Время было горячее, предприятие росло, расширялось, пришли новые люди,— были такие случаи, когда Николай Петрович и по двое суток не заявлялся на квартиру. Был он и тогда на партийной работе. Бывало, придет усталый, невеселый, а я его и накормлю, и приготовлю искупаться, и развеселю его, и поговорю с ним ласково, и посоветую, если что нужно... Я и там в библиотеке служила,— книжку ему нужно или статью в газете, может, какой журнал,— у меня все это припасено для него. Случалось, что он за всеми журналами уследить не мог, так я ему всегда помогала. Все, все я сделаю для него, потому что иного интереса, кроме того, каким жил он, у меня не было, а теперь уже и не будет... А утром он идет на работу и веселый и бодрый — и мне на сердце приятно.— Наталья Павловна тяжело вздохнула.— Потом поехал учиться в Ленинград, и я там жила с детьми и все ему помогала. Вот тут ему книг требовалось много, и я все доставала, находила... А из Ленинграда мы попали прямо на Кубань, назначили Николая Петровича начальником политотдела. Вот с тех пор мы так и кочуем по станицам. Сперва жили в Отрадненской МТС, тут близко, на Урупе. Не знаешь? Большая станица, куда больше Рощенской! Местность новая, люди незнакомые, и ты думаешь, я жаловалась, что увез он меня и детей из большого города в станицу? Тебе одной сознаюсь: душа болела, тут дети подросли, учиться надо, а все ж таки Ленин-

град и Отрадная — нельзя сравнить, да только все мои переживания наружу никогда не выходили. Я так рассудила: послала его партия строить колхозы — значит, и меня она послала, и мне такое же задание дала, и одна была и есть у меня забота — все делить пополам... А в станице, сама, небось, знаешь, какие тогда шли дела,— новая жизнь только-только нарождалась. Николай Петрович день и ночь в поле: там с косовицей неуправка, там тракторы остановились, там с обмолотом не ладится, там кулаки хлеб подожгли — всякое было. А я и его жду, и душою болею, и за детьми смотрю, а еще и помогаю ему. Помню, библиотеку собрала: часть книг в магазине купила, часть своих принесла, а то и по хатам ходила, литературу собирала, и не одна ходила, с женщинами. Там я с ними и подружилась. Обо всем мы говорили, и то, о чем они не могли сказать Николаю Петровичу, рассказывали мне, и ему через это легче было работать.

Наталья Павловна с грустью посмотрела в окно, и по лицу ее, ставшему строгим, было видно, что воспоминания унесли ее в то, теперь уже далекое, но еще памятное время. А Ирина не сводила глаз со своей собеседницы и слушала с таким вниманием, точно сама когда-то все это пережила.

— Не знаю, может быть, у вас жизнь будет иная,— продолжала Наталья Павловна,— только все равно, как бы вы ни жили, а мужу ты постоянно помогай... Ты не смотри на то, что он на такой ответственной должности, что есть там у него и секретари и помощники,— то все по службе. Самым первым секретарем ему — ты, жена. Помимо службы, есть у него жизнь личная, так сказать, домашняя, и тут ты ему во всем опора. Радостный он — узнай причину, да и сама с ним порадуйся. Опечален, горе у него — и ты проникнись этим горем, да и приласкай, поговори, развесели, советом помоги. Отдохнуть ему нужно — создай уют, сделай все так, чтобы всегда он уходил на службу в хорошем настроении... И еще — будут у вас дети... Ты не красней, не красней, без детей какая жизнь! Воспитывай их умело, води чисто,— дети,

они тоже, как цветы, украшают нашу жизнь,— Наталья Павловна приложила к глазам платок, помолчала.— Хотя и горько бывает потом, когда они разлетятся во все стороны, как оперившиеся птенцы из гнезда, да только что ж тут поделаешь!.. И еще важно, Иринушка: ни в чем не отставай от мужа. Он учится — и ты учись, он прочитает книгу, а ты ухитрись и прочитай две, и хорошо будет, если ты в чем его и обгонишь, а потом и подскажешь, посоветуешь... Правда, Сергей Тимофеевич — парень грамотный, к тому же в молодости довелось ему испытать суровую жизнь, но в теперешней его жизни, Иринушка, все может быть. Может случиться, что и споткнется, и кто ему первый руку подаст, кто поддержит? Жена!

— Спасибо вам, Наталья Павловна,— сказала Ирина.— Такое я впервые услышала от вас.

— Ну, милая, за что же благодарить! — Наталья Павловна начала наливать уже остывший чай.— Нам с тобой обо всем говорить следует: одного мы поля ягоды... А письмо не скрывай от мужа...

Они пили чай и вели такой задушевный разговор, какой могут вести разве только близкие подруги.

XXIII

Домой Кондратьев вернулся к полудню. Он прошел в кабинет, постоял у окна, которое тоже было заплетено хмелем, затем осторожно сорвал листок хмеля, смял его в пальцах и понюхал. После этого подошел к столу и развернул газету. Пришла Наталья Павловна и понимающе улыбнулась: и по тому, как он вошел в дом, как смотрел в окно и сорвал лист, и еще по каким-то одной только ей известным приметам она уже знала, что Николай Петрович был не в настроении.

— Николенька,— сказала она, как всегда, участливо,— хорошо, что не задержался. Скоро Сергей и Ирина придут.

— Я и поспешил поэтому.

— А отчего ты грустный?

— Был у Рагулина на электромолотилке... Не ладится,— Кондратьѐв посмотрел на жену: — Наташа, Тутаринов часто бывает у тебя в библиотеке?

— Не часто, но бывает.

— Мне необходимо знать, сколько книг и какие именно он прочитал, ну, скажем, месяца за три. Помоги...

— А зачем это тебе?

— Нужно, и очень.

— А ты у него спроси.

— К чему же спрашивать... Ты, пожалуйста, приготовь к завтрашнему дню такой список...

— Может, тебе такой список сейчас нужен?

— Да где ж его взять?

— В ящике твоего стола лежит... Я сегодня туда положила...

— Наташа! — удивился Кондратьев.— Да ты, кажется, уже научилась читать мои мысли!

— А это и не трудно.

Они рассмеялись тем негромким и приятным смехом, от которого на сердце становится и тепло и радостно. Затем Кондратьев уселся на диван, развернул лист бумаги, исписанный крупным, знакомым ему почерком, и стал молча читать. Наталья Павловна тоже смотрела на бумагу и так внимательно, точно она ее впервые увидела.

— Так, так,— о чем-то думая, сказал Кондратьев.— Не очень много.

— Что ты, Николенька! — возразила Наталья Павловна.— Против других Сережа просто молодец... Ты посмотри, сколько он прочитал книг, и какие книги! Тут разные... А вот заведующий райфинотделом только один раз и зашел и то спросил «Справочник по налогам». Или Ярощенко, заведующий отделом сельского хозяйства. Как-то взял «Ветер с юга» да вот уже с месяц не возвращает.

— Пример неудачный,— сказал Кондратьев, не отрывая взгляда от листа.— Что ж тут у него из политической литературы? «Вопросы ленинизма» — это хорошо... Так. Еще что? Ленин «О государстве», «До-

кументы и материалы кануна второй мировой войны». Оба томика?

Наталья Павловна утвердительно кивнула головой.

— Дальше,— продолжал Кондратьев.— «Что делать?» Наташа, тут не сказано, Ленина или Чернышевского?

— Это моя помощница в карточку автора не записала.

— Выясни после... Еще — «Психология».— Кондратьев посмотрел на жену: — Учебник?

— Он у нас один на всю библиотеку.

— Сам попросил или порекомендовала?

— Увидел на полке и взял... Ему это нужно знать.

— Почему?

— А как же! И молодой, и постоянно с людьми.

— Да, конечно,— согласился Кондратьев.— Ну, а дальше почти все беллетристика... Ах, вот и еще. «В. В. Докучаев. Наши степи прежде и теперь». Где вы раздобыли эту книгу?

— Старое издание... На базаре как-то купила.

— Ну хорошо, я сохраню этот список у себя,— Кондратьев аккуратно сложил листок и сунул его в нагрудный карман.— Ну, как у тебя дела дома? Все ли готово к приходу гостей?

— Об этом не беспокойся.

— И по рюмке найдется?

— Поищу, может и найдется.

Наталья Павловна слегка закусила нижнюю губу, что она делала всякий раз, когда что-то не досказывала.

XXIV

День угасал, и на приутихшую станицу опускался безоблачный вечер. Из окна была видна улица, выходившая к реке, и там, далеко в степи, заревом пылал закат. На землю ложились густые тени, и деревья на фоне багрово-красного неба были темнорозовые и казались выше и пышнее... Когда совсем смерклось и в окна повеяло степной прохладой, пришли Сергей и Ирина, одетые по-праздничному: на Ирине белое, из

тонкого полотна платье с ярким узором на рукавах и на груди,— цвет этого платья, как заметила Наталья Павловна, очень удачно сочетался со смуглым лицом Ирины и с ее черной косой, заплетенной и замысловато, в виде гнезда, сложенной на голове; Сергей в белых, военного образца, брюках, только вместо кителя он надел украинскую сорочку с расстегнутым воротом, по которому до пояса сбегала вышивка шириной в две ладони, а рядом с этой вышивкой как-то уж очень красиво блестела Золотая Звезда.

За столом было весело, и обычный разговор, какой всегда возникает в таких случаях, казался всем и важным и значительным. Ирина, блестя карими глазами, рассказывала, как они с Сергеем читали анонимное письмо и как сожгли его в печке, и этот рассказ вызвал смех...

— И хоть бы грамотно написано, а то одни закорюки,— сказал Сергей.

— Значит, сочинительница без образования? — спросил Кондратьев и рассмеялся.

Наталья Павловна ухаживала за гостями так любезно, как только она это умела делать, часто обменивалась с Ириной тем доверчивым взглядом, который вызывал улыбку и говорил, что хоть они и не безучастны к разговору мужей, но у них есть и свои, одним им известные интересы. Кондратьев тоже был в хорошем настроении, шутил и смеялся; его худощавое, обветренное и опаленное солнцем лицо никогда еще не было таким веселым и добродушным. Когда Сергей, вспоминая свой приезд из армии в Усть-Невинскую, заговорил о том, как строилась гидростанция, Кондратьев положил руку ему на плечо и сказал:

— За Усть-Невинскую гэс хвалю. Молодцом! Уверенно шел, и мне приятно было видеть тебя именно таким.

— А жена у него какая! — вмешалась в разговор Наталья Павловна.— Разве это не достижение?

Ирина покраснела и, блеснув глазами, с обидой посмотрела на хозяйку дома.

— То достижение иного порядка,— за Кондратьева ответил Сергей.— Мы вот с Ириной поедем в Мо-

скву, и я ей уже говорил, какую речь произнесу на сессии.

— О чем же речь? — спросил Кондратьев.

— Как тебе сказать? О человеческой радости! — мечтательно проговорил Сергей.— Николай Петрович, замечаешь ли ты, как поднялось настроение у наших людей, сколько радости, настоящей, хорошей радости, в станицах,— и все это благодаря тому домику, что построили мы под кручей, вблизи Усть-Невинской... Едешь ночью по горе, а внизу что ни станица или хутор, то и зарево огней. Сердце радуется! А вот если мы новый наш план осуществим, сколько тогда будет радости!

— Все это правильно,— заметил Кондратьев.— В зареве огней над нашими станицами видны крылатые слова Ленина: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Не только освещение хат и дворов, а электрификация! Понимаешь, электрификация, и тут одними лампочками нам не обойтись. Поэтому мне понятно, почему твой отец не очень радуется... В субботу был он у меня.

— Николай Петрович, я ленинские слова всегда помню,— сказал Сергей.— А отцу моему все одно не угодишь... От тебя он пришел ко мне... Был серьезный разговор.

— Ой, и ругал же батя Сережку! — шепнула Ирина на ухо Наталье Павловне.

— Обидно ему, что сын его радуется... Да, видно, что старику никогда этих чувств уже не понять.— Сергей взял вилкой кусочек пирога.— И я его тоже не пойму.

— А я понимаю и Тимофея Ильича и тебя,— сказал Кондратьев,— и в душе у меня, веришь, Сережа, не звенят песни.

— Значит, и вы уже старый,— со смехом сказала Ирина и смутилась.

— Возможно,— согласился Кондратьев и по привычке погладил белый висок.— Но мне кажется: тут есть и другая причина.

— Николенька,— сказала Наталья Павловна,— ты все шутишь...

— Нет, друзья мои, говорю серьезно... И настолько серьезно, что об этой самой радости мне хочется поговорить именно здесь, так сказать — в узком семейном кругу, поговорить и запросто и по-дружески: может быть, мои мысли пригодятся тебе, Сергей, для речи на сессии.

— Согласен,— сказал Сергей.— Тебе даем первое слово.

— Первое — так первое.

Кондратьев отодвинул тарелку и положил на ее место коробку папирос.

— Николенька, это ты задымишь, как у себя на заседании бюро,— ласково глядя на мужа, проговорила Наталья Павловна.

— Ты нас извини, привычка,— ответил Кондратьев, закуривая и угощая Сергея.— Так я хотел сказать вот о чем. Радость, пусть даже самая маленькая, не бывает без причин: всегда она обусловлена победой или успехом. И радоваться своему успеху не только не грешно, а даже похвально, ибо в этом чувстве как раз и есть то хорошее, что окрыляет человека и прибавляет ему сил, энергии... Но жизнь нас учит: радоваться можно, а только при этом не следует забывать, что всякая чрезмерная радость имеет свойство опьянять людей, и часто от этого хмельного состояния у некоторых товарищей начинает кружиться голова — вещь весьма неприятная... и даже опасная.

— Это ты о ком? — настороженно спросил Сергей, сурово сдвинув брови.

— Так, только теоретически,— ответил Кондратьев и продолжал: — И еще жизнь учит нас: тот, кто переоценивает себя, непременно покрывается скорлупой зазнайства и становится не руководителем, а обывателем, а это к добру не ведет.

— Николенька, может, переменил бы тему разговора,— сказала Наталья Павловна,— а то Ирина смотрит на тебя, и ей скучно...

— Что вы, Наталья Павловна! — поспешно ответила Ирина.— Я слушаю... Это интересно...

— Как хотите,— сказал Кондратьев, раскуривая папироску.— Можно и оставить...

— Нет, нет,— возразил Сергей,— будем говорить... По-твоему, Николай Петрович, получается так: те, кто своими усилиями добился успеха, должны на все закрыть глаза и ничему не радоваться... Я не согласен. На фронте как было? Даже маленькой победе мы радовались, и она воодушевляла нас на новые подвиги. А как же?

— Правильно,— согласился Кондратьев,— но разве не было и на фронте случаев, когда успехи кружили командирам головы и во втором бою эти командиры проигрывали сражение? Почему? Переоценили свои силы... Вот этого и нам надо бояться.

— Ну, Николенька, к чему ты все это говоришь?.. Налей лучше вина...

— Нет, погодите, Наталья Павловна,— возразил Сергей,— вина мы еще выпьем, оно от нас не уйдет, но меня тут уже забирает за живое... Я начинаю догадываться... Николай Петрович, это надо понимать так: мы с тобой опьянены успехом? Так, что ли?

— Зачем же так сразу конкретизировать?— с улыбкой говорил Кондратьев.— Я об этом ничего не сказал... Но если ссылаться на какие-то свежие примеры, то мы тут не безгрешны.

— А точнее, ты хотел сказать,— проговорил Сергей, ни на кого не глядя,— хотел сказать, что грешен я...

— Нет, я этого не хотел сказать, но подумать и тебе об этом стоит.

Наступило неприятное молчание. Кондратьев прикуривал погасшую папиросу и искоса посматривал на Сергея, который низко склонил голову, сидел молча, и уши его горели. Ирина не могла понять, что случилось, и то виновато улыбалась, то с горестным видом смотрела на Наталью Павловну.

— И еще беды большой нет в том,— продолжал Кондратьев, когда неловкое молчание слишком затянулось,— если руководитель, возможно по своей молодости или неопытности, лишнее подумал о себе, ошибся, переоценил свои силы. Беда случается тогда, когда такой товарищ не имеет мужества признать свои ошибки, когда он не принимает во внимание критику

и боится открыто сказать о себе и о своих слабостях. Такой человек отстанет от народа и как руководитель неминуемо сходит со сцены...

— Ну, хватит вам тут заседание устраивать,— сердито сказала Наталья Павловна и налила в рюмки вино.— Давайте выпьем и за будущие успехи и за будущую радость.

Выпили молча и начали разговаривать о разливе Кубани, о видах на урожай. Кондратьев стал рассказывать о том, как он ездил в «Красный кавалерист» и битый час выслушивал жалобы Хворостянкина на Татьяну Нецветову. Все хотели казаться веселыми, но разговор не клеился, а веселость была поддельная. Наталья Павловна подала чай, угощала Сергея вареньем, сказала, что именно это варенье нравится Ирине. Сергей и пил чай и ел варенье, но неохотно, с каким-то беспокойством и грустью на лице.

Вскоре гости попрощались и ушли, и в доме стало так тихо, что отчетливо слышались чьи-то шаги за окном.

— Николенька, ну зачем ты его так? — сказала Наталья Павловна и закусила свою маленькую нижнюю губу.— Ведь он все понял...

— Вот и хорошо, если понял.

— Обидел же ты Сережку. А за что?

— За то, Наташа, что люблю его, как сына,— негромко проговорил Кондратьев.— Со многими председателями мне приходилось работать, но ни к одному я не питал такого уважения, как к этому бровастому парню... Но я боюсь, как бы не сошел он с правильного пути... Молод, горяч, самолюбив... А я за него в ответе перед народом... И веришь, Наташа, если бы я его не любил, я бы с ним поговорил и не так и не здесь.

— Да он же всю ночь не будет спать!.. Ведь у него внутри все закипело! Разве ты его не видел?..

— Видел, и этого я хотел.

Кондратьев подошел к раскрытому окну, приподнял занавеску и долго, о чем-то думая, смотрел на видневшийся сквозь листья яблони лоскуток неба, густо усыпанного звездами.

XXV

На площади и по улицам Рощенской горели огни, и хотя накал лампочек был обычным и зарево так же, как и во всякую ночь, освещало дома, сады, изгороди, а только Сергею казалось, что именно в этот час свет над уснувшей станицей разливался слишком тускло; и еще казалось ему, что фонари и на столбах и у входа зданий как-то нерадостно смотрели на него и как бы с усмешкой подмигивали. От этого еще больше болело сердце, и огни станицы, которые еще вчера были так милы его взгляду, теперь вызывали грустное чувство, точно он смотрел на них другими глазами. Сильнее прижимая локтем руку Ирины, он старался итти спокойно, но не мог и невольно ускорял шаги.

— Сережа, куда ты спешишь? — спросила Ирина.

— Я и не спешу... Иду, как всегда.— Сергей обнял ее и, прижимая к себе, спросил: — Слышала, что Кондратьев говорил?

— Слышала.

— И что ты на это скажешь?

— Скажу то, что Николай Петрович не прав...

— А почему же он не прав?

Они остановились под деревом,— в листьях испуганно захлопала крыльями птичка и улетела. Когда стало снова тихо, Ирина посмотрела Сергею в глаза так пристально и ласково, точно хотела, чтобы он понял ее без слов. А Сергей ничего понять не мог и только удивленно сдвинул брови:

— Ну, чего так смотришь?

— Хочу, чтобы ты меня понял...

— Я уже начинаю понимать,— сказал Сергей и отломил веточку.— Я знаю Кондратьева лучше тебя... Ему не слова нужны, а дело... Завтра же поеду в район, поверну все по-своему, а тогда можно будет и разговаривать...

Ирина только улыбнулась, и взгляд ее говорил, что она согласна с Сергеем. Домой они шли молча, и хотя им хотелось сказать друг другу что-то ласковое, но никто не решался начинать этот разговор.

Так же молча Ирина готовила постель, а Сергей

стоял у окна и смотрел на ее проворные руки. Затем он разделся, вышел из комнаты и под краном умылся до пояса,— это он делал каждый раз перед сном. Когда он вернулся, Ирина уже лежала на кровати, повернувшись лицом к стене. «Ну что ж, помолчим до утра»,— подумал Сергей и тоже лег, ощутив на влажном теле сухую и прохладную простыню.

В комнате было темно. Сергей лежал на спине с открытыми глазами, а в голову с такой настойчивостью лезли разные мысли, обрывки чьих-то фраз, что отбиться от них и ни о чем не думать было невозможно. То ему вспоминался нежданный приход отца, и Сергей снова спорил с ним, доказывал; то видел молчаливое и грустное лицо Тимофея Ильича, седые клочья его бровей, закопченные усы; то вдруг лицо старика постепенно менялось, молодело,— вот уже исчезли усы, и перед ним стоял Кондратьев; то никого не было, виднелись лишь окна, а в ушах звучал знакомый голос: «И... если ссылаться на какие-то свежие примеры, то мы тут не безгрешны... Но подумать тебе об этом стоит...» Сергей закрыл глаза. «Почему он сказал «мы», а не «ты»?.. «Мы не безгрешны»...»

Ирина тоже не спала и слышала, как Сергей то тяжело вздыхал, то ворочался. Потом он встал, закурил, подошел к окну и, не докурив папиросу, снова улегся, сердито взбив кулаками подушку.

— Сережа, что ты там с подушкой воюешь? — спросила она со смехом.

— От жары не могу уснуть,— буркнул Сергей.— И что за ночь выдалась такая душная!..

— А мне холодно.

И она подошла к нему с распущенной косой, которая спадала и на спину и на плечи, резко оттеняясь на белой ночной сорочке. Она взобралась с ногами на кровать, примостилась возле него и стала приглаживать жесткий и взлохмаченный чуб, ощутив на лбу испарину.

— Эх, ты! — сказала она с ласковым упреком.— Вздыхатель... Знаю, знаю, не жара тут виновата, а Кондратьев.— Она наклонилась к нему.— Да ты хоть со мной поговори... Ну, чем ты так обеспокоен?

— Так, и сам не знаю...— Сергей задумался.— Если бы он прямо сказал... Пусть бы даже поругал, и я бы подчинился, к этому я привык еще на войне... А вот самому себя заставить...

— Ну что ж самому? — Она обняла его шею голыми и мягкими руками.— Сережа, а Николай Петрович говорил вообще, и это правильно, но тебя все это вовсе не касается...

— О! Как ты быстро решила! — Сергей приподнялся на локте.

— Да ты подумай хорошенько!.. Ну разве это тебя должно волновать? Пусть бы все так старались, как ты... Подумай!

— Что ж тут еще думать... От этих думок у меня голова трещит.

— А ты спокойно думай.

— Не могу я спокойно... Вот услышал я от него — и не могу... Понимаешь, не могу! Сил у меня нет быть спокойным!

Он соскочил с кровати, схватил сильными и твердыми руками Ирину и закружился с ней по комнате.

— Ой, что ты делаешь! — говорила Ирина.— Сумасшедший!.. Упустишь...

— Не могу я быть спокойным! — сказал Сергей, осторожно положив Ирину на кровать.— Я бы сейчас черт знает что сделал, и ты меня не уговаривай, а главное — не жалей, я к этому не привык...

— Ну хорошо,— сказала Ирина,— не буду... А только ты полежи со мной и успокойся...

И хотя на сердце у Сергея после разговора с Ириной стало спокойнее, но спал он плохо и мало. А поднялся рано, и Ирина не могла его узнать. Она проснулась, когда Сергей упражнялся на турнике,— железный лом, укрепленный между двумя стволами акаций, издавал жалобный писк. А когда Сергей распахнул дверь, то в комнату точно ворвался ветер. Бодрый, с улыбающимся лицом, с горящими глазами, он расхаживал по комнате и то широко расправлял руки, то брал стулья и подымал их на вытянутой руке. И умывался он как-то особенно, шумно и быстро.

— Ну, Иринушка, давай мне побыстрее закусить,— сказал он, надевая рубашку.

— Едешь в район?

— Да!

Ирина молча начала готовить на стол. Сергей наскоро закусил и уехал.

XXVI

Не знаю, случалось ли вам когда-нибудь наблюдать лунную ночь в горах. Когда из-за скалы только что прорежется красный диск и по всему ущелью побегут тени и блики, а над рекой разольется жиденький туман, сквозь который слабо угадываются каменистые берега и чуть-чуть виден тусклый огонек чабанского костра,— в такую минуту все предстает перед вами картиной заманчивой и новой... Какая-нибудь паршивая, до крайности облысевшая круча, на которую при дневном свете и смотреть не хочется, теперь выглядит скалой, такой великолепной и гордой, что нельзя к ней и приступиться; невысокий кустарник, такой, что днем, проезжая мимо, никто на него не поведет и глазом, в лунном же сиянии сделался таким нарядным, закурчавился так пышно, что уже напоминает собой виноградник где-нибудь на берегу Черного моря; сосновый лес на горе темнеет грозной тучей, а поверх этой тучи переливается горячая бронза; пастушья кошара у скалы, самая простая кошара, каких здесь немало, кажется не иначе, как сказочным теремом, приютившимся на красивом взгорье... Но вот наступает утро, на синем-синем небе играет солнце — и обман вмиг исчезает. Нет ни тумана над рекой, ни розовых бликов — все под ярким светом обрело и обычную форму и должную окраску; и желтые, опаленные зноем скалы, и небольшая глиняная круча, изрытая, как оспой, щуровыми гнездами, и тощий кустарник, и река в глубоких берегах, и серые стволы сосен, и темная, обмазанная кизяком кошара — все, все просто и обыденно.

Нечто подобное случилось и с Сергеем. Вся разница состояла лишь в том, что причиной исчезновения

зрительного обмана был, разумеется, не дневной свет, а тот памятный разговор с Кондратьевым. Именно этот разговор и заставил Сергея посмотреть на жизнь другими глазами. Проезжая по станицам и хуторам, встречаясь и разговаривая с людьми, Сергей стал замечать странную перемену: все то, что еще вчера было окрашено в розовые тона, теперь предстало перед ним совсем в ином освещении. Он увидел картину покоя: с того самого дня, когда люди навеселе вернулись с торжественного собрания по случаю пуска Усть-Невинской гэс и увидели в своих хатах электрический свет, в станицах царили радость и веселье; завезенные столбы для полевых электролиний были сложены на площади и по вечерам уже служили довольно-таки удобным местом для гулянок молодежи,— развозить эти столбы по степи никто не собирался; во дворах ферм, в полевых станах были еще в мае приготовлены кирпич, глина и песок для сооружения трансформаторных колонок, но так все это и лежало, зарастая бурьяном; электрические моторы, проволока, изоляторы как были сложены на временное хранение в кладовые, так и остались там, уже покрывшись пылью... Словом, что только успели сделать до пуска гидростанции, то и было сделано, а после этого никто, кроме Рагулина, не сдвинулся с места.

«Эге, вот оно, на что намекал Николай Петрович,— думал Сергей, въезжая под вечер в Родниковскую.— Непрошенно и негаданно образовалось опасное перемирие... Надо кончать эту мирную жизнь и как можно быстрее...»

Никита Никитич Андриянов встретил Сергея на освещенном крылечке станичного совета, обрадованно пожал руку и пригласил к себе в дом. Жил Никита Никитич недалеко от станичного совета. Приземистая, под камышом хатенка стояла в глубине двора. У входа в сенцы горела стосвечовая лампа,— весь небольшой двор вместе с деревьями, курятником, сажком и сарайчиком был озарен необычайно сильным сиянием. Много было света и в комнатах, куда вошел Сергей, здороваясь с хозяйкой, пожилой и дородной женщиной.

— А погляди, Сергей Тимофеевич, как мы живем

да поживаем! — весело сказал Никита Никитич.— Кругом светло, как днем! Не жизнь, а сплошное удовольствие... А ну, Настенька,— обратился он к жене,— включи плитку да сготовь нам ужин с чаем. Теперь все это в один миг! — и Никита Никитич подмигнул Сергею, сощурив влажные, подслеповатые глаза.— Действуй, Настенька!

— Да я лучше затоплю печку,— сказала Настенька.

— Никаких печек! Режь сало, жарь яичницу, да чтоб все мигом сычало и шкварчало и чтоб никакого дыма!

И Никита Никитич, очевидно желая показать Сергею, как все это просто делается, сам включил токсель. Плитка зарумянилась и быстро накалилась добела.

— Сергей Тимофеевич, вот она, роскошь! — восторгался Никита Никитич.— И ты знаешь, не верится, хоть убей, не верится, что где-то там в Усть-Невинской крутится колесо, а у меня в доме происходит такое чудо!.. Помню, когда мы рыли канал, было дюже холодно, а теперь ишь какой жар!

Тут Никита Никитич приблизил руки к плитке, пошевелил пальцами и от удовольствия рассмеялся.

— Удобно! — воскликнул он.— Зимой и руки буду греть... А ты бы посмотрел, что делается в нашей станице! Утром, веришь, ни один дымарь не дымит, а зайди тем часом в любую хату — на столе и вареники, и картошка жареная, и горячее молоко... Бабы уже так наловчились включать штепселя — истинные электромонтеры! А жена Хворостянкина где-то раздобыла утюг... И что за канальская бабочка! Так ты веришь, эта машина ходит теперь из хаты в хату — белье бабы разглаживают по очереди. До моей Настеньки никак та очередь не дойдет...

— Ну, хватит тебе хвастаться,— сердито сказала Настенька, ставя сковородку.— Идите в горницу...

Пока готовился ужин, Сергей и Никита Никитич сидели у стола и разговаривали.

— Все это, конечно, приятно,— сказал Сергей.—

И свет в доме, и плитки, и утюги — дело хорошее и нужное. Но меня, Никита Никитич, другое беспокоит...

— Какое ж то беспокойство? — участливо спросил Никита Никитич.

— Проехал я по станицам и вижу: веселимся, радуемся, а дело стоит... А через это не туда идет даровая энергия, вот в чем горе,— Сергей задумчиво посмотрел на абажур, висевший над столом.— Какое главное значение нашей гидростанции? Облегчить труд людей. А мы чем увлеклись?

— Да ты об этом особо не журись,— приглаживая бородку, сказал Никита Никитич.— Облегчение уже пришло, и люди уже довольны... Главное — чертовски культурно! Газетку можно вечерком почитать, радиоприемники позавелись чуть не в каждой хате, да и вообще по-домашнему там всякое приготовление... Или же станицу взять. Теперь у нас почти до утра песни поют. А почему? Веселая стала наша станица. Опять же почему она стала веселая? По причине электричества... А ты бы поглядел, что выстраивает наш Хворостянкин! В кабинете понаделал разных кнопок, нажмет нужную штучку — заиграет звоночек, и перед Хворостянкиным уже стоит тот, кто ему нужен... Механизация, что тут скажешь?

— Плохая механизация.

— А у себя дома Хворостянкин, веришь,— продолжал Никита Никитич,— спит, чертяка его побери, а над головой всю ночь зарево сияет!

— Это зачем же? — Сергей горестно усмехнулся.

— «Наслаждаюсь», говорит... Он же весь день раскатывается на тачанке, тут еще у него теперь новый секретарь партбюро — Татьяна Нецветова. Вот она его подстегивает. Бедному Хворостянкину приходится на одной ноге поворачиваться. Вот он только перед сном и вникает в газету, да так и засыпает при полном освещении. Жена ругается, а он ни за что не велит гасить свет... А заведующий птицефермой в его колхозе провел электричество в курятник,— где-то он услыхал, что от электрического освещения куры яиц больше будут нести... Ну, от этого новшества петухам одно горе: не могут, бедняги, распознать, ко-

гда полночь, а когда рассвет. Горланят, бисовы души, всю ночь и от натуги даже поохрипли... Как-то раз мы с Хворостянкиным из любопытства пошли ночью на птичник и стали в щелку наблюдать. Сидят кочеты на шесте и будто дремлют. А потом — луп бельмами, а кругом же светло, как днем. Испужаются, думают, что уже солнце взошло, и давай бить крыльями и орать почем зря... Комедия!

— Да, Никита Никитич, комедия невеселая,— задумчиво проговорил Сергей.— От такой комедии, вижу я, кое-кому плакать придется. Петухами забавляетесь, а дело забыли,— Сергей встал, прошелся по комнате.— Знаешь что, Никита Никитич, я приехал к тебе ругаться.

— Это зачем же? — удивился Никита Никитич.— Разве нельзя жить мирно?

— Нельзя,— твердо сказал Сергей.— Столбы лежат на площади?

— Лежат... В полной сохранности.

— Почему не ведете линию в степь?

— Так не было же указания!

— Какое же нужно еще указание!

— Да от тебя.

— А разве было «от меня» указание приостановить работы?

— Так-то так,— смутившись, сказал Никита Никитич.— Оно как-то само по себе... Вроде передышки.

— Вот что, Никита Никитич,— сказал Сергей, садясь к столу,— созывай депутатов станичного совета да приглашай председателей колхозов, бригадиров, электриков... Будем кончать передышку!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Солнце палило нещадно с самого утра, воздух был недвижим и горяч, а к полудню над горами собралась гроза. Она двигалась с юга в сторону Усть-Невинской и так быстро, точно хотела опередить Виктора Грачева. Постепенно все небо затянуло тучами; по всему горизонту они были так спрессованы в одну высоченную стену, что приобрели свинцово-синий оттенок. Виктор оглянулся и увидел: впереди грозовых туч, как бы преграждая им путь, повисло серое полотнище,— то лил дождь, и молния, точно играя, и вкось и вкривь прошивала водяную стену огненно-красными нитками. Все чаще и чаще доносились раскаты грома, тяжелые и тревожные. Порывисто дул ветер, и по дороге вспыхивали и кружились серые и мрачные винтовые столбы пыли. День хмурился, и на поля ложилась влажная тень.

Виктор торопился и то оглядывался, то смотрел по сторонам: поблизости не было видно ни живой души, ни бригадного табора, ни пастушьей кошары, ни даже копны сена, где бы можно было укрыться,— сколько видел глаз, колосья и колосья, как натянутый бледно-зеленый парус, покачивались на ветру. «Эх, будь что будет,— подумал Виктор,— не размокну...»

Тут он стал вспоминать свое неудачное посещение Родниковской, разговор с матерью Татьяны, посещение Хворостянкина... Почему-то вспомнилась первая встреча с Татьяной, и чувство досады сменилось радостью.

Это было в Рощенской. Виктор зашел в магазин купить записную книжку и увидел Татьяну. Она отбирала на прилавке книги и связывала их в пачки, а затем попросила его помочь отнести покупку на двухколесный шарабан, стоявший возле магазина. Виктор охотно исполнил просьбу, разговаривал, улыбался и, хотя она его не спрашивала, сам назвал свое имя и сказал, что он и есть тот инженер, который монтировал Усть-Невинскую гэс.

— А я вас давно знаю,— сказала Татьяна и, как показалось Виктору, загадочно усмехнулась.

Виктор забыл о записной книжке и не ушел от новой знакомой, пока не узнал, откуда она и как ее имя.

— Приезжайте к нам в Родниковскую,— сказала Татьяна, уже отъехав от магазина.— Посмотрите, как у нас электрифицирована Родниковская...

«И вот я побывал в Родниковской и уже возвращаюсь,— думал Виктор.— Нет, я еще к тебе приду... Вот нарочно останусь работать в районе... Эх! Радуйся, Сережа, принимаю любые твои условия...»

Виктор на ходу сорвал колос и, рассматривая еще не колкие, но уже тронутые желтизной остюки, склонил голову и задумался. Он размышлял о том, как будет руководить молодым и разбросанным по станицам и хуторам электрическим хозяйством, и видел себя почему-то не в кабинете, а на коне. Почему на коне? Он и сам не знал, но ему приятно было воображать, как он, привстав на стремени, будет ехать скорой рысью из одной станицы в другую. Коня ему где-то раздобыл Сергей, и это был такой резвый скакун, что ехать на нем шагом невозможно. И вот Виктор, опустив поводья, влетает в Родниковскую, и конь сам поворачивает к знакомому двору с плетеной изгородью. А у калитки стоит Татьяна и приветливо машет ему платком... «А! Так вот почему я вижу себя не в кабинете, а на коне»,— подумал Виктор и рассмеялся.

Виктор сжимал в ладони колос и так размечтался, что не услышал, как что-то фыркнуло и мягко зашуршало у его ног. Рядом с ним стоял «москвич» еще совсем новенький, такой пепельно-серой окраски, что дорожная пыль на его капоте и на дверцах была совсем

не заметна. И своим пепельно-серым цветом и всем своим запыленным видом машина напоминала перепелку, вылетевшую из пшеницы на дорогу. «И что это за чудо!» — подумал Виктор. Хотя тут никакого «чуда», разумеется, не было, но в первую минуту он ничего не мог понять: то гремел гром и вокруг шептались одни колосья пшеницы, то, как бы слетев с неба, стоит эта «птичка». Но вскоре все разъяснилось. Распахнулись дверцы, и из машины, нагибаясь и кряхтя, вылез Стефан Петрович Рагулин. Старик, так же как и его «москвич», был весь в пыли, зол и нелюдим и смотрел на Виктора таким отчаянным взглядом, точно поймал преступника.

— Виктор Игнатьич! И чего ты здесь, как бирюк, бродишь? — не поздоровавшись, гневно сказал он.— Я тебя весь день разыскиваю, «москвича» загонял...

— Да что с вами, Стефан Петрович! На вас и лица нету.

— Как нету? А куда ж оно делось? — Рагулин болезненно усмехнулся и потер ладонями щеки, поросшие щетиной и покрытые заметным слоем пыли.— Ты на мое обличье не гляди, а зараз же лезь в машину.

— Да что случилось?

— А то самое и случилось! — сердито ответил Рагулин.— Ты обучал того старого дурня, а теперь и держи за него ответ. Наобучал на мою голову!

— Стефан Петрович, толком скажите: в чем же дело?

— В Прохоре загвоздка! — крикнул Рагулин.— Понимаешь, в Прохоре!.. Должно быть, дюже ты его переучил, на мое горе... Едем зараз же, пока он там все электричество не перепортил...

Виктор больше не стал расспрашивать и сел в машину: он был даже рад случаю, что до дождя приедет в Усть-Невинскую. С ним рядом уселся и Рагулин.

— Корней,— сказал Рагулин шоферу,— припади к рулю, чтобы вмиг мы были на току.

Корней, мужчина крепкого телосложения, мордáстый, с широкой спиной, с трудом умещался за рулем; Корней и сгибался и сутулился; по лицу его, вспотевшему и грустно-удрученному, было видно: когда он

рос и набирался сил, а затем учился на шоферских курсах, то не думал и не гадал, что ему придется иметь дело с такой тесной машиной...

Желая угодить Рагулину, Корней включил скорость, задвигал плечами и, очевидно желая поудобнее сесть, в самом деле припал могучей грудью к баранке руля, и машина, похожая на перепелку, полетела по дороге среди пшеницы.

— Хорош у вас подарок! — воскликнул Виктор.

— А я тоже доволен... Истинно — птица! — не без гордости заметил Рагулин.— Такая быстрая, что только дай ей крылья — и полетит не хуже самолета... Ей-богу!

Виктор не стал возражать и даже охотно согласился с тем, что такой машине именно крыльев недостает, и старик сразу подобрел.

— И главное — проворная! — продолжал Рагулин.— Как раз по моему характеру... Только зря ей дали такое имя... Оно, конечно, «москвич» и на Кубани и там, среди всякой степи, тоже почетно, слов нет, важное имя, а только я бы ее назвал «председатель». Удобная вещь для низового руководящего звена. То я гонял пару коней,— их, окаянных, пои, корми, за ними смотри, сбрую чини... Да ежели перевести все эти расходы на бензин — куда там! Десять «москвичей» можно содержать... А какое тебе удобство! Как я зараз действую? Залью десять литров и гоню на сто километров. А главное — быстрота! Это же для дела дюже расчетно: за день можно всю степь охватить... Вот и зараз: ты мне нужен, и я тебя отыскал... А на лошадях разве такого, как ты, шаблая, отыщешь?

Стефан Петрович засмеялся тихо, с хрипотой.

— Да, на лошадях трудно,— согласился Виктор.— А что же там у вас все-таки с Прохором?

— А то,— и Рагулин вмиг помрачнел,— а то, что я не признаю такую научность. Это же не научность, а один убыток колхозу! Мы за два мотора заплатили наличными: это же тысячи! А Прохор еще и молотьбу не починал, а один мотор спалил... Одно тебе разорение, а не работа! Тот мотор, что поломался, отвезли в Пятигорск на ремонт. «Сельэлектру» тоже гони

гроши: за спасибо ни один монтер исправлять не будет. А Прохор притащил новенький мотор, тот что мы держали про запас, хотели приспособить на молочной ферме: силосорезку, сепаратор крутить и все такое прочее... Приезжаю я на ток, а Прохор уже приспосабливает тот мотор к молотилке. Я даю ему запрет, а он и слушать не желает. «Я тут главный электрик!» — кричит. Да черт тебя побери, будь хоть самым разглавным электриком, а только колхозное имущество не порть, не вводи людей в убыток... «Никого, говорит, знать не знаю, одному Виктору Игнатьевичу подчиняюсь». Я уже хотел смотаться к прокурору, но раздумал и решил сперва тебя отыскать... Спасибо, Соня сказала, что ты в Родниковской,— ну, я на своем «председателе» и помчался...

— Соня сказала? — переспросил Виктор.

— Она, она...— Рагулин закивал головой.— Эй, Корней, припадай, припадай к рулю, а то покамест мы приедем, Прохор и последний мотор изничтожит.

Ехали быстро, Стефан Петрович продолжал ругать Прохора, а гроза тем временем не унималась и гналась за машиной с такой быстротой, что убежать от нее было невозможно. Еще удалось проскочить кукурузу и подсолнух, еще успели спуститься в ложбину,— тут, на пригорке, совсем уже близко стояла молотилка, видны были столбы, трансформаторная колонка и вагончик, но добраться туда путникам нашим не было суждено. Крупный, наискось падавший дождь грозно застучал по кузову, потом зашел сбоку и попробовал крепость стекол, и тогда уже пошел плясать по дороге, так что только пыль вспыхивала, скручивалась в комки и сразу чернела.

Не успел Корней переключить скорость, намереваясь с разбегу взять невысокий пригорок, как туча всей своей тяжестью упала на поля, и «москвич» затерялся в ливне... В какую-нибудь минуту пыль превратилась в грязь, с пригорка потекли ручьи, колеса буксовали, и Корней как ни старался придать бодрости «москвичу», но тот не только не двигался вперед, а уже сползал назад, мягко, точно на полозьях. Тогда Корней выключил мотор, потянул к себе ручной тор-

моз. Когда колеса залезли в грязь и остановились, он посмотрел на Рагулина большими и грустными глазами, как бы говоря: «Птица-то она птица, а вот не летит».

— Да,— задумчиво проговорил Рагулин,— для этой птахи нужны дороги...

А ливню, очевидно, не было никакого дела до того, что «москвич» обессилел и не мог двинуться с места. Водяная стена быстро пронеслась по степи, и дождь теперь уже разгуливал где-то за горой. День прояснился, и умытая, свежая степь выглядела совсем молодо. Каким-то чудом сквозь тучи проскользнул луч солнца, и по небу изогнулась радуга, упираясь одним концом прямо в Кубань, а другим — в далекий и чуть приметный на взгорье лес.

— Ну, птица, лети!

Рагулин тихонько рассмеялся, затем снял черевики, шерстяные носки, подкатал штанины и открыл дверку. Виктор последовал его примеру.

— Эта машина еще тем выгодна,— говорил Рагулин, загрузая в грязь выше щиколоток,— что легкая. Не захотела двигаться — так мы ее на руках понесем. Ну, взялись все разом!

Корней завел мотор. Машина откатилась назад, а потом рывком двинулась вперед, немного разбежалась, а в самом ответственном месте Виктор и Рагулин вцепились в нее руками, упираясь сильными ногами в вязкую грязь, толкали машину изо всех сил.

Через полчаса они подъехали к вагончику.

Прохор Афанасьевич Ненашев стоял в дверях и горестно смотрел на приезжих.

— Ну, механик, что ты тут еще натворил? — спросил Рагулин, очищая с ног грязь и откатывая штанины.

— Виктор Игнатьевич,— заговорил Прохор, не отвечая Рагулину,— ничего тут такого страшного нету... Правда, по моей оплошности случилась неудача, сгорел мотор, но то пустяк, быстро исправим... А вот душа у меня болит насчет опыта. Не могу успокоиться, чтоб еще раз себя не проверить.

— А зачем взял новый мотор? — спросил Виктор.

— Чтоб проверить и успокоиться,— смело ответил Прохор.— Ругаю себя, ночи не сплю... Надо же еще раз испытать?

— Ты мне брось испытывать,— сказал Рагулин.— Ишь, какой испытатель нашелся!.. Запрети ему, товарищ Грачев, вытворять эту глупость.

— Зачем же брать новый мотор? — спокойно сказал Грачев.— Нужно старый исправить и восстановить...

— Но скажи на милость, Виктор Игнатьевич,— Прохор развел руками: — почему так случилось? Будто ж все делал по инструкции...

— Инструкция есть, а в голове ни черта нету,— сердито заметил Рагулин.

Дождь снова накрапывал. Теперь туча заходила с другой стороны и широкой полосой захватила всю усть-невинскую степь. Пришлось прятаться в вагончик. В нем было сумрачно и душно, прямо на полу лежал толстый настил сена,— пахло теплом и сухими цветами.

— Садись и рассказывай все по порядку,— сказал Виктор и прилег на сено.

И покамест Прохор под убаюкивающий шум дождя рассказывал подробно, как только мог, о случившейся поломке, покамест Виктор пояснял, в чем его ошибка, на дворе потемнело, и нельзя было понять, наступил ли вечер или же сгустился сумрак от дождя и от косматых, низко припадавших к земле туч.

II

Был поздний вечер, а дождь не переставал, и железная крыша вагончика неумолчно шумела и трещала с такой силой, точно на нее непрерывно сыпались мелкие камни... Стефан Петрович Рагулин, довольный тем, что Виктор стал на его сторону и не только пристыдил Прохора, но даже запретил устанавливать новый мотор, накинул на голову бурку и заспешил в соседний стан: там должно было состояться заседание правления с активом. В числе актива значился и Про-

хор. И хотя он был обижен, хотя настроение у него было горестное и хотелось еще о многом поговорить со своим учителем, он постоял у дверей, подождал, пока хоть немного стихнет дождь, и тоже отправился в стан... Виктор, разговаривая с Прохором, согрелся на мягком сене и решил никуда не итти, а заночевать в вагончике... Почему-то именно в эту дождливую ночь ему хотелось наедине с собой о многом подумать и многое решить. Он лежал на спине, а над ним, как паук на паутине, висел фонарь с пузатым стеклом, которое было обтянуто поясками тонкой и блестящей проволоки. Свет падал во все стороны, но неровно, пугливые отблески на стенах вздрагивали оттого, что дрожала перекладина, к которой был подвешен фонарь. Виктор задумчиво смотрел на эти живые блики, изредка переводил взгляд на темный угол, а на жестяную крышу еще с большей силой сыпались мелкие камни.

В эту минуту им овладело какое-то странное чувство, схожее с той тревожной радостью, которую Виктору доводилось испытывать еще в детстве, выручая товарищей из беды. Виктор хорошо сознавал: чувство это было вызвано тем, что он окончательно решил остаться в Усть-Невинской, на год или навсегда — об этом сейчас он не думал. Но одного Виктор не мог понять: когда и откуда пришло и это решение, а с ним и это неизведанное и радостное чувство?.. Да и как можно было узнать? Ведь в жизни бывает всякое: нередко думаешь об одном, а на деле выходит другое. Так случилось и с Виктором. Ехал в Усть-Невинскую только установить турбину, собирался прожить в родной станице месяца два-три, не больше, а прожил уже полгода. И хотя все это время он и находился в Усть-Невинской, но все его мысли и помыслы были там, в неведомых краях, куда должны были послать его на большую и важную стройку. Так он мечтал еще вчера... Сегодня же все его желания, все, чем он жил и к чему стремился, почему-то казалось и смешным и ненужным... Ему вспомнилась просьба Сергея остаться в Усть-Невинской,— тогда даже разговор на эту тему казался ему всего лишь шуткой, сегодня же ему было

и радостно и приятно на сердце как раз оттого, что он твердо сказал сам себе: «Остаюсь!» Он мучительно думал и не мог понять: почему как-то вдруг пришло к нему такое решение?

«Может быть, был тому причиной последний разговор с Сергеем и просьба друга сделала свое дело? — думал Виктор.— Так что же из того, что друг детства со мной говорил, просил, умолял остаться? Я мог бы уехать... Нет, тут Сергей ни при чем...» Здесь он встретил Соню, свою первую любовь, и думалось ему, что Соня и есть то, чего ему нехватало, чего он искал,— и ничего, что она без него так неудачно вышла замуж... Теперь Татьяна заслонила собой Соню... «Возможно, всему виной и есть Татьяна? — он задумчиво усмехнулся.— Ну, при чем же здесь Татьяна? Можно любить эту женщину, но зачем же оставаться в станице? Я даже ни о чем серьезном с ней не говорил, а если бы и она меня полюбила, то мы бы уехали вместе... Нет, тут Татьяна неповинна...» Он долго раздумывал, глядя на вздрагивающий фонарь. «Тогда есть еще одна причина: сама Усть-Невинская гэс. Там я немало вложил труда, да и все технические начинания в станицах и хуторах — они-то мне тоже не чужие... И Прохор не чужой — даже сосед моей матери... И этот нелепый случай с мотором... Как это Прохор сказал? «Одному Виктору Игнатьевичу подчиняюсь...» Вот оно как? А почему одному мне? Я его обучал... Это верно. А сколько здесь сейчас таких Прохоров! И все они нуждаются в моей помощи. «Хочется еще испытать, себя проверить...» И будут испытывать, будут оборудование портить, будут злить Рагулина — и не одного его... Но разве без меня нельзя обойтись? Можно! Приедет другой — тоже специалист... «Без тебя нам не обойтись». Кто же это сказал? — Виктор заложил руки за голову и стал припоминать, кто же сказал эту фразу и почему она ему вспомнилась.— Это Сергей! Он умеет... А почему без меня не обойдутся? Есть инженеры опытнее меня... Так почему же нельзя без меня?.. Я здешний. Об этом тоже, кажется, Сергей говорил... Тут прошли и мое детство и моя юность... А я? А! Вот оно что!» Он смотрел на фонарь, но не видел ни пузатого стекла

в блестящих поясках, ни тусклого, дрожащего света, а в ушах стоял шум, похожий на шум реки в разливе... Очнулся Виктор, когда услышал стук в дверь: кто-то слабо бил кулаком в сырую и набухшую фанеру...

Виктор подумал, что это, наверное, к нему вернулся Прохор, и, нехотя поднявшись, снял крючок и распахнул дверь. Дождь хлестал о вагончик еще с большей силой, веяло сыростью, и из темноты вышел не Прохор, а появилась, точно привидение, какая-то до нитки промокшая женщина. Юбка и кофточка на ней прилипли к телу, обтянули ее груди, бедра; мокрая косынка сползла на плечи, волосы были растрепаны, лежали они на щеках, и с них стекали струйки воды,— казалось, что женщина только что выплыла из реки. Как-то неестественно быстро она переступила порог и, как бы чего-то испугавшись, остановилась. Гордо подняв голову, она взглянула на Виктора, и на ее ресницах блеснули росинки, похожие на слезы, но она не плакала — это было заметно по болезненно-горячему блеску ее глаз... Виктор сразу же узнал в ней Соню и невольно отшатнулся.

Ей было трудно стоять, тело ее напрягалось, маленькие кулаки сжимались,— было видно, что крепилась она из последних сил. Не опуская голову и не мигая, она несколько минут молча глядела на него, и в этом взгляде было столько невысказанной обиды и до боли мучительной тоски, что Виктору стало не по себе. Он нерешительно приблизился к ней и, робко улыбаясь, сказал:

— Соня?..

Она молчала, точно окаменев, и только когда Виктор хотел прикоснуться к ней, она сжала на груди руки и вздрогнула, но не так, как дрожат от холода, а с какой-то тяжелой внутренней болью.

— Ну, чего ты так смотришь? — говорил Виктор.— В такой ливень... Или что случилось, Соня?

— Где ты был вчера? — сказала она шепотом, одними губами.

В ответ ей Виктор хотел рассмеяться, чтобы свести ее вопрос к шутке, но встретился глазами с Соней, помрачнел, отвернулся.

— Где ты был вчера? — повторила она вопрос уже громче.

— Ну, что за допрос?

— Где ты был вчера?!

— Ну, Соня, ну, был в Родниковской,— боясь поднять голову, сказал Виктор.— Понимаешь, Сергей попросил поехать и посмотреть...

— Врешь...

— Да ты мне что, жена?

— А если не жена?.. Значит, с не женой все можно?

Она проговорила с трудом, тяжелым, дрогнувшим голосом, и Виктор, взглянув на нее, увидел, как болезненно скривились ее пересохшие губы. Она хотела уйти, но Виктор удержал ее, схватив рукой за мокрое и горячее плечо.

— Куда ж ты в такую ночь?

Она молчала и смотрела в шумящую дождем темноту.

— Зачем же одной итти в дождь... Останься... А если не хочешь, то я тебя провожу...

Соня повернула к нему голову, свет фонаря упал на ее мокрое и не бледное, а зеленое лицо, и теперь Виктор увидел в ее глазах не капельки дождя, а слезы.

— Видишь? — она не притронулась пальцем к глазам, а только замигала ресницами, и по щекам ее потекли крупные слезы.— Если у тебя еще есть хоть капля жалости ко мне, не провожай меня, не мучай...

И не успел Виктор сказать слова, как Соня выбежала из вагончика, точно нырнув в воду, и исчезла. Виктор рванулся следом за ней, но не пробежал и десяти шагов, остановился... Вокруг него сомкнулась тьма, и ничего, кроме шума дождя, не было слышно. Болезненно-вялой походкой он вернулся в вагончик, пригладил намокшие волосы и, держась руками за голову, лег на сено.

«Что это? Что? — спрашивал он себя и не мог найти ответа.— «Если у тебя еще есть хоть капля жалости ко мне, не провожай меня, не мучай...» Кто же я теперь рядом с ней?..» «Не провожай... не мучай...»

Он закрыл ладонями глаза и видел в дверях Соню, ее гордо поднятую голову, ее взгляд со слезами, но полный тоски и ненависти.

III

Еще задолго до рассвета дождь перестал, а к утру и совсем распогодилось: небо сделалось высоким и светлым-светлым, точно его кто промыл и вытер досуха. Земля сильно промокла, всюду белели лужи, через дорогу прыгала серая пупырчатая лягушка, похожая на твердый комок песка. Степь радужно зеленела и вдали слабо курилась, а в удивительно чистом и еще влажном воздухе с какой-то особенной живостью шныряли ласточки, резко спускаясь над лужами, чертя своим белым брюшком уже устоявшуюся воду. А Виктор в это время направлялся в Усть-Невинскую и ничего не видел и не замечал. Ему было и стыдно, и обидно, и как-то неловко за вчерашнюю встречу с Соней. Он смотрел себе под ноги и думал о том, какая мягкая и вязкая сделалась почва, а в голову лезли мысли о Соне. Он смотрел на придорожный бурьян, унизанный бисером мельчайших росинок, на широкий лист сочного лопуха, а видел опять Соню: ее мокрое и гордое лицо, ее слезы, стекавшие по щекам. Он прислушивался к песне жаворонка, где-то над головой сверлившего небо, а слышал голос Сони...

Дома мать налила в таз воды, положила на блюдечко мыло, повесила полотенце. Виктор, до пояса голый, умывался и, чтобы как-то развлечься, стал размышлять о том, как он побреется, переоденется и поедет в Рощенскую к Сергею, а мысли снова возвращали его к Соне...

«Коня я попрошу у Саввы, на коне и по грязи проеду... Конечно, проеду... Пришла в ливень. Она пришла... И как она на меня смотрела!..» И опять он уже был в вагончике, а в дверях стояла Соня... Вытираясь полотенцем, он посмотрел в зеркало, хотел думать о чем-нибудь, только бы не о том вечере, и не мог... «В зеркале мой чуб всегда кажется темнее... или это оттого, что он мокрый... И она была вся мокрая... Вот

у Сергея хорошая шевелюра... «Не провожай меня...» Одна ушла во тьму...» И уже опять Соня завладела им, и мысленно он снова стоял в сумеречном вагоне и слышал шум дождя за дверью.

Савва Остроухов охотно дал верховую лошадь. Виктор, чисто выбритый, но с бледным от бессонницы лицом, сел в седло и рысью выехал за станицу. И как только он остался один в степи и лошадь пустил шагом, им снова овладело то знакомое беспокойство, которое не покидало его всю ночь и утро. Тогда он свернул на скошенный и уже снова зеленевший луг, густо усыпанный копнами,— тут не было грязи,— и пустил коня в галоп, надеясь, что теперь-то он уже ни о чем не будет думать. По бокам мелькали зализанные дождем копенки, а глухой стук копыт о влажную траву как бы выговаривал: «Не про-во-жай меня, не про-вожай...» «Если у тебя еще есть хоть капля жалости...»,— думал он, ощущая в ушах свист ветра и видя перед собой рывками качающуюся голову лошади и взлетающую на ветру гриву...— «Капля жалости...», не «любви», а «жалости»... Почему же не любви, а жалости?.. И опять неотвязно лезли к нему все те же мысли, и он вынужден был приостановить коня и уже до Рощенской ехать шагом.

В этот день в Рощенской Сергея не было. Виктор сперва заехал к нему домой — квартира была закрыта, затем зашел в исполком — там ему сказали, что Тутаринов звонил из Белой Мечети и обещал сегодня быть в станице.

Не зная, куда пойти, и не переставая думать о Соне, Виктор подъехал к райкому, оставил коня возле коновязи и с грустным видом пошел к Кондратьеву.

— Правильное решение,— сказал Кондратьев, внимательно, как это он всегда умел делать, выслушав Виктора.— Кстати, твое желание счастливо совпало с желанием «Главсельэлектро». На наш запрос сегодня получен ответ — и весьма положительный.

Виктор взял телеграмму, которую Кондратьев почему-то уж очень осторожно и даже как-то боязливо вынул из ящика стола, молча и долго читал ее, как

бы желая понять не то, что было написано, а то, почему этот телеграфный листок был подан ему так бережно.

— И меня не спросили,— сказал он, все еще читая.— А если бы я не согласился?

— Тогда бы я эту телеграмму тебе не показал,— и Кондратьев при этом сощурил глаза, и его веселый, как всегда чуточку лукавый, взгляд говорил, что сказал он совсем не то, что думал, глядя на Виктора.— Ну, а вышло, как видишь, так, что наш запрос пришелся как раз ко времени,— продолжал Кондратьев, не в силах удержать улыбки.— И если уж все так хорошо разрешилось, то мне, Виктор Игнатьевич, хочется знать твое мнение... Как ты считаешь: куда именно необходимо направить энергию Усть-Невинской гэс?

— В настоящее время важнее, как я полагаю, подумать не об использовании энергии, а о тех, кто ею будет пользоваться,— о людях,— серьезным тоном заговорил Виктор и, заметив улыбку на лице секретаря, добавил: — Направлять и использовать энергию легко, если это делать умелыми руками.

— Умелыми — хорошо сказано... А почему ты так думаешь? — спросил Кондратьев, а взгляд его постоянно живых глаз говорил: «Я все это и сам понимаю, но хочу знать и твое мнение».

— Сделаем не так, как нужно, и опозоримся на всю Кубань.

— Опозоримся? А как же это понять? — Кондратьев даже встал, погладил пальцами висок, точно желая стереть с него седину, и вышел из-за стола.

— Надо избежать того, что уже случилось у Рагулина... Вы же знаете?

— Да, да... Факт на будущее весьма нежелательный.

— А такое может случиться не только у Рагулина.

Видимо, этот разговор так заинтересовал Кондратьева, что он подсел к Виктору, угостил его папиросой и спросил:

— Как же, по-твоему, предотвратить подобные случаи? Что нам нужно делать?

— Есть один выход.

— Какой?

— Обучать людей технике и в первую очередь руководителей.

Виктор смело посмотрел на Кондратьева, как бы говоря этим взглядом, что он-то знает, что и как делать, и теперь об этом может говорить смело.

— Взять того же Рагулина. Я его знаю давно — хороший хозяин. А что он понимает в электричестве? Он умеет, и отлично умеет, сеять, знает, как наладить сеялку, запрячь быков, лошадей,— это тоже важно и нужно, но теперь этого мало.

— А! Мало! Интересно. Значит, по-твоему, этого мало? Ну, а как нам обучать таких, как Рагулин?

— Создать курсы.

— В районном центре?

— Лучше всего, конечно, в Рощенской.

— А если председатели не захотят учиться? Такие найдутся!

— Придется заставить.

— Силой?

— Если нужно для дела...

Виктор не досказал и взволнованно посмотрел на Кондратьева; бледное его лицо быстро покрылось румянцем.

— А то что же получается? — сказал он, разводя руками.— Электричество входит в жизнь колхозов, и если мы станем это делать наспех, а к тому же и без ума, то наши хорошие начинания вызовут одну только насмешку... Тут уж если делать, так наверняка,— а для этого прежде всего нужны технически грамотные люди.

— Делать наверняка — мысль правильная,— сказал Кондратьев таким уверенным тоном, будто только и ждал это услышать от Виктора.— А как по-твоему: сумеем уже в этом году ввести электромолотьбу?

— Хотите знать мое мнение?

— Да.

— Лучше этого не делать.

— Ах, вот как! А почему?

— Все по той же причине... Людей мы не под-

готовили, а времени до начала молотьбы осталось мало.

— А если все же попробовать? — спросил Кондратьев. — Скажем, сделать ток Рагулина показательным. Поставить там дело образцово, а потом пригласить соседей, пусть смотрят и учатся.

— Это даже необходимо сделать, — согласился Виктор.

А Кондратьев еще ближе подсел к Виктору и, положив руку на его плечо, сказал:

— Виктор Игнатьевич, я тебя прошу вот о чем... В воскресенье у нас состоится собрание партийного актива... Выступи на этом собрании.

— Николай Петрович, — смущенно заговорил Виктор, — я же беспартийный!

— Это ничего... Выступишь как специалист. Коммунисты тебя охотно послушают.

В это время дверь распахнулась с такой силой, как будто ее рвануло ветром, и в кабинет вошел Сергей той стремительной и живой походкой, какой он всякий раз входил, желая сообщить Кондратьеву что-то необыкновенное. Он был в забрызганных грязью сапогах, в гимнастерке и в брюках, промокших под дождем.

— Что случилось, Сергей? — спросил Кондратьев, здороваясь. — У тебя такой вид, точно ты только что с передовой..

— Да, с передовой! И случилось, Николай Петрович, то, что должно было случиться, — сказал Сергей, и на его усталом и давно не бритом красивом лице заиграла улыбка. — А! Виктор! Здравствуй! — и Сергей пожал Грачеву руку. — Не ожидал тебя здесь встретить...

— Отчего ж не ожидал! — сказал Кондратьев. — Грачев теперь наш... Готовь ему кабинет!

— Да ну?! — крикнул Сергей. — Виктор, чертяка! Правда? Остаешься?

Грачев кивнул головой.

— Вот это здорово! А у меня как раз намечаются большие мероприятия по электричеству, и теперь мы это двинем еще быстрее. — Сергей обратился к Кондратьеву: — Николай Петрович, в Родниковской и в

Белой Мечети я провел совещание, народ зашевелился... Создадим ударные бригады и линии к токам поставим. А тут еще и Виктор с нами... Упущенное время нагоним!

— Нет, нагонять не будем,— спокойно сказал Кондратьев.

Сергей даже отступил назад, ему показалось, что он ослышался. Лицо его помрачнело, и он смотрел на Кондратьева с таким недоумением, точно говорил: «Да ты что, смеешься?»

— Да, не будем,— повторил Кондратьев.— Виктор Игнатьевич, как инженер-электрик, не советует,— Кондратьев кивнул на молчащего Виктора,— и я с ним вполне согласен.

— Ты... Николай Петрович... Это как же? Почему? Виктор, ты? Не советуешь?

Виктор улыбнулся какой-то, как показалось Сергею, хитрой и иронической улыбкой.

— Да ты не горячись...

Наступило молчание. Сергей сел, стал закуривать и нечаянно так сжал папиросу, что она разорвалась. Он высыпал табак в пепельницу, взял вторую папиросу и долго смотрел на нее, не прикуривая.

— Я вас не понимаю,— сказал он со вздохом, не подымая головы и как бы обращаясь к папиросе, которую вертел в пальцах.— Как же так?

— А вот так,— сказал Кондратьев, подойдя к нему.— У Рагулина поставим показательную электромолотилку, понимаешь: показательную! В остальных же станицах придется обходиться локомобилями,— тут обижаться нам не на кого, мы же с тобой сами упустили время...

Сергей насупил густые брови, курил и молчал.

IV

Еще до войны правление «Красного кавалериста» долгое время находилось в приземистой и старой хате под камышовой крышей. В трех небольших комнатах с трудом размещались столы канцелярии и бухгалтерии;

тут же, у всех на виду, сидели председатель колхоза, секретарь партийной организации, агроном, и никто тогда не жаловался на тесноту и неудобства. А в военные годы председателем был избран Игнат Савельевич Хворостянкин, мужчина бывалый и знающий, какое важное значение для настоящего руководителя имеет просторный и удобный кабинет. На первом же заседании правления, которое проходило с участием актива, Хворостянкин сел за стол и сказал, что дальше ютиться в такой хатенке невозможно. После этого он еще с час говорил и об усилении помощи фронту, и о выращивании новой породы лошадей, и о расширении посева трав, и о заготовке сена. Затем встал, обвел строгим взглядом столпившихся людей и снова вернулся к тому, с чего начал:

— Стыдно нам, красным кавалеристам, жить в таком, с позволения сказать, курнике. Это же не канцелярия колхоза, а чистый позор! От этой тесноты мы должны избавиться, и чем быстрее, тем лучше,— заявил он, решительно опустив кулак на стол.— Для колхозного правления нужен дом — и такой дом, чтобы издали было видно, что тут помещается не какая-нибудь там артелька, а «Красный кавалерист». Большому кораблю — большое плавание!

Решение было принято, а на второй день Хворостянкин поехал в Ставрополь и привез архитектора, поселил его в своей квартире и не отлучался от него до тех пор, пока проект будущего здания не был составлен. Тем временем с гор подвозили лес и камень; приобретали цемент, гвозди, железо; заготовлялись глина, песок. Строительство началось зимой, шло оно ускоренными темпами, и уже ко Дню Победы на южной окраине Родниковской, в окружении старого сада, возвышался белый дом о двух этажах, с красной черепичной крышей, пламенем пылающей на солнце, и с балконом в густой листве высоких тополей.

Красочная вывеска с веселой головой лошади и с аршинными буквами: «Красный кавалерист» была укреплена как раз на козырьке парадного входа, а в десяти метрах от дома, по указанию Хворостянкина, была сооружена коновязь. Но Хворостянкина беспо-

коила не столько самая внешность дома или такие детали, как вывеска и коновязь, сколько то, как бы лучше и удобнее разместить людей в новом здании. Себе, разумеется, он облюбовал самый большой кабинет, с четырьмя окнами и дверью, выходившей на балкон; в соседней комнате, как и нужно было ожидать, посадил секретаря правления — грузного и подслеповатого мужчину Антона Антоновича Бородулина, знаменитого в Родниковской тем, что у него был удивительно красивый почерк; затем дал по кабинету агроному и секретарю партбюро; не обидел и комсомольцев: им тоже была отведена просторная комната. «Нашей смене даю площадь приличную,— говорил Хворостянкин,— чтоб им тут можно было и заседать и танцы устраивать». В нижнем этаже помещались канцелярия и бухгалтерия, причем с помощью Хворостянкина за какие-нибудь полгода они выросли вдвое, так что даже в самой большой комнате столам уже было тесновато; по этой же причине главному бухгалтеру был отведен кабинет, а кассиру устроена клетушка, напоминавшая собой денник в конюшне. Тут же, на этом этаже, находился клуб, или, как говорил Хворостянкин, «зал заседаний», еще маленькая комнатка, где хранились книги и подшивы газет, а также комната для дежурных и посыльных.

— Вот это, можно сказать, мы устроились неплохо! — самодовольно говорил Хворостянкин.— Теперь требуются таблички...

И стеклянные таблички были повешены на каждой двери, так что приходившие с поля колхозники легко находили именно тот кабинет, какой им был нужен.

Однако широкую натуру Хворостянкина мало устраивали таблички и вывески: он давно мечтал, так сказать, механизировать управление колхозом, и наконец мечта его сбылась. В этом году была пущена Усть-Невинская гэс, а через неделю после торжественного пуска станции новое здание правления «Красного кавалериста» было опутано проводами, как паутиной,— они тянулись по коридорам и сходились в кабинете Хворостянкина. К письменному столу подводился уже целый пучок проводов, в виде кабеля, а

сбоку у стола на специально прибитой дощечке рябели, наподобие клавишей баяна, кругленькие кнопки разной величины и всевозможных цветов. Подле каждой кнопки были приклеены бумажки с надписями: «Бородулин», «Кладовщик», «Бригадир первой», «Бригадир второй», «Бригадир третьей», «Кассир», «Главбух», «Конюх», «Комсомол». Была наклейка и с такой надписью: «Ив. Ив.», что означало: «Иван Иванович» — секретарь партбюро, ныне отстраненный от работы. И хотя Ивана Ивановича давно уже не было не только в колхозе, но и в станице, а слова «Ив. Ив.» еще красовались на клавишах хворостянкинской сигнализации.

Обычно Хворостянкин, войдя в кабинет своими тяжелыми шагами, садился за стол и нажимал толстым, поросшим волосами пальцем нужную кнопку, а через некоторое время в дверях появлялся Бородулин и, по-кошачьи жмурясь, спрашивал:

— Игнат Савельевич, вы нажимали кладовщика?

— Нажимал... Пусть входит.

Вот и сегодня Хворостянкин, как и всегда, тяжело стуча сапогами, прошел в кабинет, сел за стол, и рука его сама потянулась к клавишам, палец уже отыскал кнопку «Ив. Ив.», но не нажал. Хворостянкин тяжело вздохнул и задумался. Затем ногтем отодрал бумажку со словами «Ив. Ив.», на ее место наклеил новую и надписал: «Нецветова». Снова хотел нажать, но почему-то не смог. Палец только притронулся к слову «Нецветова» и тотчас отдернулся, точно это была не кнопка, а горящий уголек. Хворостянкин встал, прошелся по кабинету, постоял на балконе, а потом открыл дверь к секретарю и сказал:

— Бородулин! Вызови мне Нецветову.

— Игнат Савельевич, а разве сигнализация не действует? — удивленно спросил Бородулин.

Хворостянкин только горестно усмехнулся и погладил усы:

— Все действует исправно... А только на нее у меня рука еще не подымается.

— А вы посильнее нажмите,— советовал Бородулин.

— Нажму, только не сразу... Дай срок, выдержку... А зараз зови, да повежливее.

Вскоре Бородулин вернулся и, постояв у порога, сказал:

— Докладываю: Нецветова уехала в поле.

— Когда же она успела?

— Не могу знать. Конюх говорил, что на рассвете запрягла в бедарку коня и умчалась.

— Какой маршрут?

— Кто ж ее знает...

— Разузнай.

— И еще конюх говорил, что была она не в духе.

— Это почему же?

Бородулин только виновато сдвинул плечами.

— Игнат Савельевич,— заговорил Бородулин,— прибыл Кнышев. Впускать?

— Не впускать, а приглашать,— сердито сказал Хворостянкин.— Когда я уже обучу тебя вежливости!

Бородулин молча вышел, а Хворостянкин отворил дверь на балкон, увидел у коновязи коня под седлом.

«Так, так,— думал он.— Ни свет ни заря, а она уже мотается по степи... Не зашла, не посоветовалась и умчалась... Ну, как же можно с такой увязывать вопросы! Вот горе на мою голову!»

— Природой любуешься, Игнат Савельевич?

Возле Хворостянкина стоял Андрей Васильевич Кнышев, тот самый Андрей Васильевич, которого на собрании в Родниковской назвали «академиком». Это был мужчина рослый, костлявый, с сухим и черным лицом, с куцой белой бородкой,— такие лица бывают у казаков-стариков, постоянно живущих в степи; на нем была старенькая, не по росту, бурка с покатыми плечами, на голове — серенькая из войлока шляпа, какие обычно носят летом табунщики. И его карие глаза под жесткими седыми бровями, и тощие усы, и короткая, снизу потрепанная бурка, и вся его рослая сухая фигура придавали ему сходство со степным беркутом. Когда он взмахнул полой, как крылом, на бешмете блеснула Золотая Звезда «Серп и молот», приколотая чуть повыше ордена Ленина.

— Ну, здорово, герой! — сказал Хворостянкин.—

Долго ты до меня не заявлялся. Садись к столу, выкладывай.

Хворостянкин уселся за стол, а Андрей Васильевич продолжал стоять, скинув на одно плечо бурку, и опять он был похож на птицу, у которой подбито крыло.

— Привез сводку роста поголовья? — спросил Хворостянкин.— Как там движутся вверх цифры? Какой процент заскирдованных трав?.. Чего же ты молчишь?

— Эх, Игнат Савельевич! — горестно проговорил Кнышев.— Давно я приглядываюсь к тебе и не могу понять: есть у тебя в груди сердце или его уже там нету?

— Ишь, чего захотелось! — Хворостянкин рассмеялся.— Для каких данных тебе потребовалось это знать?

— Для процентов,— с усмешкой сказал Кнышев.

— Ты хоть и герой, а давай будем говорить без шуток,— насупя брови, сказал Хворостянкин.— Выкладывай сводку и в разную поэзию не кидайся...

— Что сводка? — Кнышев вынул из нагрудного кармана лист бумаги.— Вот она... Возьми! В ней все в порядке. А только тебе бы нужно не сводкой, а жизнью поинтересоваться. Ты тут сидишь, сигналами звенишь, а в степи что делается? Не знаешь?

— А что там такое? — насторожился Хворостянкин.

— Эх, ты бы только посмотрел, что там происходит! — блестя глазами, заговорил Кнышев.— Куда ни глянь — травы в цвету, зелень такая, что без радости и смотреть на нее невозможно. А сколько разной птицы! А какие песни! А по утрам трава в росе, искрится каждая травинка, а по той росе, как по воде, носятся жеребята,— красиво!

— Это тебя Золотая Звезда сделала таким на природу чувствительным? — спросил Хворостянкин.

— Зачем же Звезда? Я такой от рождения... Эх, Игнат Савельевич! А видел ли ты восход солнца на сенокосе? Нет, должно быть, ты его не видел! В траве блестят косы, темнеют валки, пахнет земляникой, звенят сенокосилки,— это же такая песня!

— Ну, ты мне тут стихи не сочиняй и в поэзию не кидайся,— сердито перебил Хворостянкин.— Говори сурьезно: какие непорядки ты заметил в степи?

— И еще солнце не взошло,— все так же мечтательно продолжал Кнышев,— а в третьей полеводческой бригаде, как раз посредине двора, появилась бедарка, и стоит на той колеснице Татьяна Николаевна и держит речь, а вокруг — истинный митинг!.. И вот сходит на землю Татьяна Николаевна, а на ее место подымается Варвара Сергеевна Аршинцева и тоже задает речь...

— Митинг? — вырвалось у Хворостянкина.

— Похоже на то.

— С кем согласовано?

— Про то ничего не знаю.

— Аршинцева! Знаю ее! Это же не баба, а черт в юбке!

Тут уже Хворостянкин не мог сидеть спокойно. Его рука сама потянулась к сигнализации, и палец быстро нашел нужную кнопку. Через секунду в дверях показался Бородулин.

— Тачанку! — крикнул Хворостянкин.— Да чтобы в один миг!

Бородулин исчез, а Хворостянкин подошел к окну,— отсюда была видна конюшня, где стояли выездные лошади.

— Игнат Савельевич,— негромко проговорил Кнышев,— а здорово у тебя техника действует!

Хворостянкин смотрел в окно и молчал.

— Значит, уже митингует? — спросил он, ни к кому не обращаясь.— И без всякого на то согласования... А может быть, она в райкоме согласовала? Как ты думаешь, Андрей Васильевич? Согласовала?

— Про такое дело не могу знать,— ответил Кнышев.— Я тоже остановил коня и послушал. Очень даже интересные речи, молодчина!

Хворостянкин барабанил пальцами о стекло и ничего не слышал, а возле конюшни уже бегал Бородулин, и кучер Никита спешно запрягал в тачанку лошадей.

V

Не первый раз летней порой Татьяна проезжала холмистой степью, и почему-то издавна знакомые места всегда поворачивались к ней какой-то своей новой стороной. Вот и сегодня эта новизна и радовала ее и волновала. Там тянулась ложбина в таком ярком убранстве трав и цветов, что ее уже невозможно было узнать,— нет, нет, такой красочной ложбины здесь не было! Там, по низине, под синим и безоблачным небом протянулись тени, и хотя Татьяна знала, что это были вовсе не тени, а кукурузные массивы, а поверить этому было трудно. Там подымался курган, серый, с белесой макушкой,— тот самый курган, который стоит здесь с незапамятных времен, а вокруг него вдаль и вширь разлились колосья пшеницы под цвет мутной воды; смотришь — и кажется, что не курган маячит перед глазами, а островок на море. Там росли подсолнухи,— помнится, еще весной Татьяна приезжала сюда и показывала женщинам, как применять подкормку,— теперь же подсолнухи поднялись в рост человека и так пышно и сочно расцвели, что издали казалось, будто по зеленой листве разлит пчелиный мед...

Она любовалась красками поля, а двухколесный шарабан катился и мягко и совсем неслышно. Над дорогой в жарком воздухе мелькали шмели, и конь, не видя их, но близость их ощущая всем телом, бил между ног хвостом, вздрагивал, часто вскидывал голову и бежал рывками, отчего рессоры то клонились вперед, то пригибались назад. Кажется, всегда вот та́к покачивался шарабан и отбивал поклоны конь; кажется, постоянно вот так не гремели, а только шуршали колеса и в воздухе точечками рябели шмели; кажется, всякий раз степь радовала взгляд пестротой красок и цветистым нарядом,— все вокруг казалось обыденным и привычным, а только почему-то на сердце у Татьяны сегодня было неспокойно.

И в самом деле: отчего бы это? Может быть, оттого и болело сердце, что в этот день Татьяна проезжала по своим полям не только как агроном, но и как партийный руководитель, и она еще не знала, как же

лучше и как правильнее совместить в работе эти две разные должности? «Ты будь и агрономом и политическим деятелем»,— поучал Илья Стегачев после собрания, провожая ее домой... «Но легко сказать — «будь агрономом и политическим деятелем». Агрономию я изучала пять лет в институте, а в новом деле не имею никакого опыта...»

Обычно, бывая в степи, Татьяна интересовалась ростом посевов, структурой почвы, влажностью отдельных участков земли, завязью кочанов кукурузы, цветением пшеницы, а если разговаривала с колхозниками, то опять же больше всего об агротехнике. Теперь же ко всему этому прибавились новые обязанности, и были они для нее не обычными: необходимо было с таким же умением, с каким она осматривала почву и растения, присматриваться к людям, знать их желания, настроения... «Теперь мне все нужно уметь»,— думала она, и эти слова имели для нее очень важный смысл. Ее волновало и то, как она будет проводить беседы, давать советы, разговаривать — и не вообще, а по душам,— так, как советовал ей Кондратьев; а особенно ее волновала мысль: как ей жить и работать, чтобы служить для всех примером... А тут еще Хворостянкин не давал покою, и хотя она нарочно не зашла к нему и одна рано утром уехала в степь, но думать о нем не переставала... «Ты должна поставить его на правильный путь»,— вспомнила она слова Кондратьева. «Трудно, Николай Петрович...» — «А ты возьми его в руки...» — «Да какие ж у меня руки? Женские...» — «А женские тоже бывают и проворные, и умелые, и сильные...»

Так, мысленно разговаривая с Кондратьевым, Татьяна незаметно подъехала к полевому стану. Из-за деревьев виднелись черепичные крыши и доносились шутки, говор, смех. Люди только что собрались на завтрак: кто умывался у кадки, кто давал корм лошадям, кто хлопотал у котлов. Григорий Мостовой,— тот самый Григорий, который не пришел домой в ту ночь, когда Татьяну провожал Стегачев,— голый до пояса, наклонился к бочонку, стоявшему на бричке, и вода из чопа тонкой струйкой сочилась ему на шею,

текла и по спине и по упруго согнутым рукам. Русый чуб был мокрый, волосы спадали на лоб, закрывали глаза и нос.

— Гриша, Татьяна Николаевна едет,— шепнул ему паренек и убежал.

Григорий выпрямился, сбил рукой волосы и, вытирая спину и грудь полотенцем, торопливо ушел в дом.

А Татьяну уже заметили все, и женщины направились ей навстречу. Ее окружили посреди двора и заговорили все сразу:

— Танюша, милая, кто ты теперь? Агроном или еще кто?

— Татьяна Николаевна! Правда, что тебя выбрали?

— Тю, баба! Понятие нужно иметь. Не выбрали, а избрали,— сказал бригадир Прокофий Низовцев, и мясистое его лицо раскраснелось.

Татьяна, чувствуя, как лицо ее горит, негромко сказала:

— Да, я теперь и агроном и секретарь партийного бюро — это верно. Было у нас собрание, и меня избрали или выбрали — это все едино... И вот я приехала, а что вам сказать такое... ну прямо так сразу и не придумаю.

В это время на стан въехал верховой,— это и был Андрей Васильевич Кнышев. Он остановился в сторонке и старался понять, что здесь происходит.

Татьяна легко спрыгнула на землю, ее обняла молодая женщина и что-то шепнула на ухо. А на шарабан, подобрав подол широченной юбки и блеснув загорелыми икрами, взбиралась грузная, высокая и сильная женщина,— это была Варвара Сергеевна Аршинцева. Под ее тяжестью рессоры согнулись так, что ящик шарабана лег на ось. Она поправила косынку, подобрала ладонью спадавшие на лоб волосы и, виновато улыбаясь, стояла молча.

— Пропали рессоры!

— Куда там, тяжесть какая!

— Тетя Варя, начинай, а то пружины не выдержат!

— Ти-и-ше!

— Интерес тут у нас такой,— начала Варвара

мягким голосом,— хотя я, как парторг в бригаде, уже докладывала, но люди зараз от тебя хотят все знать: скажи им, Танюша, в самом деле уже нет у нас Ивана Ивановича?

— Да забудь ты о нем!

— Человек тоже старался.

— Знаем, старался, только не в ту сторону.

— Нет, не забуду,— продолжала Варвара Сергеевна, обведя всех гневным взглядом.— А почему не забуду? Потому, что хоть он и был Иваном Ивановичем, а отличить его от Хворостянкина было невозможно.

— Два сапога — пара!

— Истинная правда!

— И через то, как я сама была на том собрании, то еще раз докладываю: больше нет в колхозе того Ивана Ивановича, уехал он совсем из станицы, а есть Татьяна Николаевна. И как это было — тоже еще раз доложу... Татьяну Николаевну, как женщину грамотную и по книгам и по посевам, с людьми обходительную, и как мы все ее хорошо знаем по работе, сказать — по урожайности, то через это единодушно избрали на новый пост... И наказ ей давали — тоже доложу. Говорили ей, чтобы во всем линию держала коммунистическую, то-есть чтобы с народом во всем советовалась...

— Как себя чувствовал Хворостянкин?

— Волновался,— ответила Варвара Сергеевна.

— А райком за?

— А как же? За! Был представитель,— Варвара Сергеевна поставила свою тяжелую ногу на колесо.— Мы безошибочно решили... А теперь приглашайте Татьяну с нами завтракать.

Варвара Сергеевна спрыгнула на землю. И пока под ветками тутовника накрывали столы, сделанные из досок, она взяла Татьяну под руку и отвела в сторонку.

— Ну, как ты себя теперь чувствуешь? — спросила тихо.— Без привычки волнуешься?

— Немножко.

— А ты покрепче держись,— она прикоснулась

губами к уху и зашептала: — Григорий тут... Пришел к нам за газетами...

— А где ж он? — Татьяна покраснела.

— В хате,— Варвара Сергеевна посмотрела на Татьяну своими большими ласковыми глазами: — Увидел тебя и спрятался.

— Вот как! — Татьяна рассмеялась. — Значит, боится?..

— Теперь тебя все мужчины будут бояться... А ты с ними построже!

— Ну, пойдем к столу.

Татьяна пошла к деревьям, где уже за длинным столом усаживались колхозники. Завтракать она отказалась: была не голодна. Тогда ей предложили черешен, только что принесенных из сада в корзинке. Татьяна отобрала самые крупные ягоды, сложила хвостик к хвостику и с этим пучком, похожим на крохотный букет, пошла по двору. В окно она увидела Григория и невольно остановилась. Без рубашки, с гладко причесанным и еще влажным чубом, Григорий склонился над столом и просматривал газеты. Татьяна вошла в дом так тихо, что он не услышал.

— Здравствуй, Гриша...

Григорий поднял голову, и его худощавое, со строгими чертами лицо расплылось в улыбке.

— Ищу статью,— сказал он, кивнув на газету.

— Какую?

— Свою.

— Посылал?

— Давно.

— И напечатали?

— Что-то не вижу.

— А о чем же статья? — Татьяна положила черешенку себе в рот и протянула пучочек Григорию: — Угощайся...

— Спасибо... Понимаешь, Танюша, статья очень важная,— взволнованно заговорил Григорий.— Помнишь, я тебе рассказывал об устройстве трактора на электрической тяге. Должны бы напечатать... Там было все: и расчеты и схемы.

— Эх, ты, изобретатель,— она ласково потрепала

его чуприну и тихонько рассмеялась.— Почему мне не показал статью?

— А зачем?

— Все же... Может, что и подсказала бы. Один ум — хорошо, а два...— она не досказала.— А как твоя радиосвязь? Увенчалась успехом?

— Это наладил,— Григорий оживился.— Теперь у нас разговор двусторонний, беседую с директором на расстоянии, вот как с тобой,— очень удачно получилось. Правда, Афанасий Петрович Чурилов обижается. «Теперь ты директору покою не дашь»,— говорил он по радио. И это верно: сейчас он от меня не скроется.— Григорий задумчиво и как-то пристально посмотрел на Татьяну.— Танюша, может быть, тебе нужно поговорить с Чуриловым? Приходи вечером, вволю наговоришься... Аппаратура действует безотказно... Придешь?

— А далеко твоя стоянка?

— Да нет! Я вчера переехал вот сюда, за бугор... Культивируем пары... Придешь?

— Не знаю,— сказала Татьяна совсем тихо и опустила голову.— Если управлюсь в бригаде... Теперь у меня столько дела...

— Знаю...

Григорий взял у нее черешни и долго рассматривал, не решаясь есть.

— А ты приходи... Я тебя соединю с Чуриловым... Очень хорошо слышно, и разговор двусторонний...

Татьяна смотрела в окно, и по ее задумчивому взгляду было видно, что она не слушает Григория, а думает о чем-то своем.

— Эх, Гриша, Гриша! — сказала она и тихонько вздохнула.— Хотя у тебя радиосвязь двусторонняя, а с Чуриловым мне, к сожалению, и говорить-то не о чем.

Татьяна подошла к нему, постояла, затем робко, чуть-чуть прикоснулась губами к его щеке.

— Жди... Я приеду поздно.

Последнее слово она проговорила почти неслышно, одними губами, и ушла из комнаты, высоко подняв свою маленькую, повязанную косынкой голову.

VI

Возле бригадной усадьбы лежала низина, и по ней широким прогоном тянулось картофельное поле. В мае здесь часто проходили дожди с грозами, и ботва с шершавыми и сочными листьями поднялась в колено. На многих кустах уже выметались бледножелтые стебельки, и по всему участку пестрели, как вышивка на зеленом холсте, желтые и белые цветочки.

По всему полю разбрелись колхозники. Они низко нагибались над рядами, как бы любуясь цветением, а сапачки в умелых руках бегали так проворно, что в один миг вокруг кустов вырастали невысокие курганчики из влажного чернозема... Татьяна и Прокофий Низовцев проходили по рядкам и осматривали окучивание. Прокофий был мужчина статный, невысокого роста, со свежим, моложавым лицом и со светлыми усами, красиво лежавшими на полной губе. Был он молчалив, но не всегда, а только в те часы, когда в его бригаду приезжал агроном. Когда он молчал, искоса поглядывая на Татьяну, в его серых откровенно-смелых глазах всегда светился тот особенный огонек, который как бы говорил: «Агрономша ты славная, а как женщина — и вовсе хороша...»

И вот сейчас Татьяна нагнулась к кусту и рассматривала цветочки:

— Завязь будет хорошая, но плохо, Прокофий, что поздно начали окучивание.

После этого она засовывала пальцы в сырую почву, отыскивала там корешки:

— Уже есть клубни...

А Прокофий в это время не говорил ни слова и то задумчиво смотрел на серебрившийся вдали хребет гор, то озабоченно крутил усы, а огонек в глазах блестел с необыкновенной силой.

«Эх ты, Таня, Танюша! — думал Прокофий, покручивая ус.— Ты не о завязи и клубнях говори, а лучше скажи мне, кто тебя, такую красивую, обнимает и для кого ты не агроном и не секретарь партбюро, а одно только наслаждение...»

— Татьяна Николаевна,— сказал Прокофий, оста-

вив ус в покое и снова переводя взгляд на зубчатый перевал,— и чего ты там все приглядываешься? В корнях полный порядок... Тут по твоим же советам агрономия соблюдена до тонкостев, можешь быть спокойна...

— Опоздал с окучиванием, вот беда.

Прокофий развел руками и сказал:

— Неуправка... А тут еще, ты же знаешь, часть людей отправил на сенокос. И уборка не за горами, тока готовим, везде люди нужны.— Прокофий наклонился, взял комок земли и растер его в ладонях.— Татьяна Николаевна, хочу я у тебя спросить...

— Спрашивай.

— Слыхал я,— начал Прокофий, пересыпая землю с руки на руку,— слыхал, будто будем создавать лесные звенья или же бригады. Правда?

— Будем...

— Теперь или после жнивов?

— Теперь.

— «Лесные звенья» — чудное название,— сказал Прокофий, ударив ладонь о ладонь.— Татьяна Николаевна, возьми на эти лесные дела моих баб... Первую рекомендую Аршинцеву.

— А ты как же останешься без Аршинцевой? Кто же тебя будет критиковать?

— Вот и хочу избавиться от этой нахальной бабочки.

— Зря, зря ты так осуждаешь Варвару Сергеевну... Женщина она острая, но славная... Работяга — другой такой не сыщешь!

— Верно, и славная и работящая, а только ежели б ее взяли от греха...— Прокофий усмехнулся, пригладил вниз, на губу, усы.— Татьяна Николаевна, хочу попутно еще спросить...

— Спрашивай...

— Ты не в первый раз в моей бригаде и видишь,— начал Прокофий, опять пересыпая землю с руки на руку,— и видишь, что тебя, как агронома, я признаю и уважаю, даже малость побаиваюсь; конечно, тут боязнь моя происходит оттого, что ты, сказать, в юбке... Да... Так вот, все твои указания по части растений

принимаю и исполняю. Книгу сочинений Тимирязева насчет удобрений, ту, что ты дала, читал охотно и науку одобряю...

— А что же ты не одобряешь?

— По агротехнике все одобряю, но тут получается одна загвоздка.

— В науке? — Татьяна покосилась на бригадира.

— Да нет, не в науке, а в самой жизни.

Прокофий умолк, нагнулся, стал загребать в горсть чернозем и рассматривать на ладони сухие ниточки корешков и сказал:

— Не в науке зараз дело. Проще сказать, я хоть за тебя и не голосовал на том собрании, потому как являюсь только кандидатом, а в душе одобрял... А теперь вот хочу сразу договориться: как мне зараз тебе подчиняться — по линии агротехники или по партийной линии?

— По той и по другой.

— Понятно.

Прокофий рассыпал чернозем, сорвал листок и положил его себе на губы.

— А скажи правду: нагоняй будешь делать?

— По какой линии? — Татьяна усмехнулась.

— Ну, по той и по другой...

— Если заслужишь — обещаю.

— В будущем не заслужу,— Прокофий умолк, покусал листик и сплюнул.— Но вот зараз мои любезные бабочки начнут тебе свои жалобы выкладывать, это ж я в точности знаю... Ведь женщина женщине безо всякого стеснения все может поведать, это же известно.

— Есть грешки? — глядя в упор, спросила Татьяна.

— Да ты что? — Прокофий закусил кончик уса, помолчал.— Сказать правду, особого такого ничего и нету... Но, конечно, живем мы в степи, и не без того, чтобы с какой красоткой пошутил, сказать, невзначай обнял или еще что... Дело женское и дело мужское, что ж тут скрывать?.. А только я заранее знаю: наговорят тебе лишнее, такое наговорят, что хоть караул кричи... Из мухи слона изобразят.

— Чего ж ты от меня ждешь? Защиты?

— Понимаешь, Татьяна Николаевна,— доверительно заговорил Прокофий, глядя в землю и вороша кустик носком ботинка,— не то что защиты, а чтобы не раздувать кадило... Ты, как наш идейный руководитель, подойди к этому делу по-партийному...

— По-партийному? А как же это понимать?

— А так, чтобы без шума,— Прокофий еще ниже склонил голову.— А то, чего доброго, в станицу до моей жены дойдет... Ты лучше меня, как кандидата партии, наедине и хорошенько поругай, и покритикуй, и указания дай, какие нужно,— я все исполню, а чтобы жена ничего не знала...

— Это ты считаешь — по-партийному?

— А как же еще? Помню, Иван Иванович завсегда бывало так делал... Подойди ко мне с деловой позиции. Бригада моя передовая, стенгазета у меня выпускается регулярно, полит-массовая работа ведется, проводятся беседы, громкие читки...— все это моя заслуга. И, сказать, к уборке моя бригада... А ежели где и шалость насчет баб какая появится, то это же не в ущерб делу...

— Да, Прокофий Иванович,— Татьяна тяжело вздохнула,— в кандидаты партии ты вступил, а вот до сих пор не научился понимать самое слово «по-партийному». Поступить по-партийному — значит поступить честно, так, как велит тебе твоя совесть, прямо, не кривя душой. А ты заставляешь меня кривить душой... Нет, Прокофий Иванович, вижу я, что жили мы с тобой до сих пор тихо и мирно, пахали землю, сеяли, изучали агротехнику, читали Тимирязева, а теперь я предвижу между нами большую ссору.

— Я так и знал,— горестно проговорил Прокофий.— А зачем же нам ссориться?.. Я же хотел по-хорошему...

— Запомни, Прокофий Иванович,— перебила Татьяна,— наперед тебе скажу: по-хорошему, так, как ты это понимаешь, не получится. Для начала предупреждаю: эти свои мужские вольности и эти свои шуточки забудь и выбрось из головы, а иначе плохо будет.

— Грозишься?

— Нет, предупреждаю и советую.

Прокофий молча покачал головой, потом сказал, что ему нужно пойти в кузню, узнать, готовы ли конные грабли, и ушел.

«И выбрали такую! — с горестью думал он дорогой.— Прав, прав Хворостянкин: женщина на политической работе не годится. Был бы мужчина — совсем другой табак. С ним бы и поговорил запросто, и он, как сам мужчина, правильно бы понял и оценил... А эта сама женщина, да такая молодая, да еще и собой смазливенькая... На нее у меня тоже глаз чертом косится...— Прокофий помял усы.— К тому же и грамотная, глаза такие смелые; с ней, как со всеми, нельзя... Тьфу ты, чертовое положение...»

VII

А Татьяна в это время, подобрав на рядке кем-то брошенную сапачку, подходила к Варваре Сергеевне. Аршинцева вырвалась от своего звена далеко вперед, не разгибалась, работала легко, как бы показывая другим, как это нужно делать. Когда с ней поровнялась Татьяна, она подняла голову, смахнула ладонью пот со лба, поправила косынку, и ее всегда суровое, мужественное лицо раскраснелось и сделалось добродушно-ласковым.

— Наговорилась с нашим усачом? — спросила она.— Небось, жаловался, как ему, бедняге, трудно бабами руководить?

— Говорили, но не об этом.

— А о чем же? Глаза тебе не строил, не крутил усы, не косился за кофточку, бабник проклятый?

— Так... о всяких хозяйственных делах разговаривали.

Татьяна начала окучивать куст и делала это не хуже Аршинцевой.

— Умеешь?

— Хитрость не большая.

— Да, это верно,— Варвара загребала тяпкой

землю, кружилась возле куста.— Эх, Танюша, голосовала я за тебя, а теперь гляжу — и жалко мне тебя.

— Это почему ж так?

— Не потянешь. Дюже упряжка тяжелая.

— Ну что ты, Варвара Сергеевна!

— Правду говорю... Женщина ты еще молодая, слабая, а работа тебе досталась сильно трудная. Я смотрю на твое теперешнее положение так: ежели ты хочешь устоять, то надобно тебе взять свою линию и во всем иттить против Хворостянкина, а иначе осилить этого ломовика ты не сможешь...

Татьяна слушала внимательно, окучивала картофель и дивилась тому, с каким старанием во время разговора Аршинцева орудовала сапачкой: во всей ее могучей фигуре, в загорелых до черноты руках с огрубелыми пальцами, в крепких и твердо стоявших ногах чувствовалась не просто сила, а силища; казалось, попадись под острие ее сапачки не комья земли, а целый дуб, то она и его вырвет с корнем.

— А если осилю? — негромко сказала Татьяна.

— Ты? Хворостянкина? — Варвара Сергеевна выпрямилась и рассмеялась.— Каким же оружием ты его осилишь? Может быть, тем, что зовется женской лаской?

— Это оружие, Варюша, у меня тоже есть, а только оно не для Хворостянкина,— Татьяна так скупо улыбнулась, что ее красивые, полные губы чуть-чуть дрогнули: — Для Хворостянкина найдем оружие посильнее женской ласки.

— Эх, Танюша, Танюша, вижу, хоть ты и грамотная, а ничего в жизни не смыслишь,— Варвара Сергеевна окружила тяпкой куст.— Тут один вывод: надобно его, чертяку, сбить с ног, должности лишить, сказать — крылья пообрубить...

— Это зачем же?

— Да как же так? — Варвара Сергеевна усмехнулась.— Он же мотается на тачанке и, окромя самого себя, никого не видит... Слепотой захворал!

— Знаю.

— А ежели знаешь, то нужно его отрешить и от

власти и от тачанки, пока еще не поздно. И нашего усатого бабника тоже следует лишить бригадирства... Вот ежели ты с этого начнешь действовать, то победу одержишь.

— Нет, этого делать не нужно.

— О! — Варвара Сергеевна взялась руками в бока.— Уже в защитницы пошла? Быстро!

— Не в защите дело.

— Так в чем же оно? Может, ты думаешь, что мы без Хворостянкина, как малые дети без батька, жить не сможем, может, без него колхоз на одном месте будет стоять? Не беспокойся: и жить сможем, и еще быстрее пойдем,— она показала широкие, натруженные мозолями ладони:— Этими руками все подымем... Ты подумай сама: людям нужен руководитель заботливый, чтобы был он человек хозяйственный да чтобы ценил более всего тех, кто круглый год в поле... А Хворостянкин знает одного себя да своих приближенных. Товар придет в кооперацию — правление пользуется, вся бухгалтерия туда идет... А почему? Рубцов-Емницкий ему друг и приятель, делают, что знают. А разве нельзя торговать в поле?.. Не желает, вот и не делает! В поле приедет — сидит на тачанке, как князь, и ты слышала, что он говорит колхозникам: «Быстрее, быстрее работайте, а то я завтра с отчетом в район еду!..» Ему отчет нужен. А то, что женщины детей своих по месяцу не видят,— это его не касается! Ясли устроил в станице, а матеря в поле. А почему нельзя так сделать, чтоб детские ясли были тут, при матерях?.. А ты приглядись к его манере! Голову задерет черт-те куда, усы напушит — господин, да и только... Кабинет завел, Бородулина к себе приспособил, звонки из электричества понаделал, а нам, на стан, и одной лампочки не провел. Может, какая женщина захотела бы вечером голову помыть, газету почитать или еще что — при свете можно. А где у нас свет? Станцию строили, канаву рыли, мозоли еще не сошли, а какая от этого польза? Молчишь?

— Слушаю,— сказала Татьяна,— слушаю и хорошо тебя понимаю... Но разве Хворостянкин всегда

таким был? Помнишь, во время войны был же он хорошим председателем?

— Тогда ему на фронт иттить не хотелось, вот и старался в тылу...

— И теперь будет стараться.

— Так, так,— Варвара Сергеевна с усмешкой посмотрела на Татьяну: — Ты, случаем, не перевоспитывать его собираешься?

— А если попробовать?

— Тю, дурная! Вот что я тебе скажу... Да его ужс и сам черт не перевоспитает!.. Разве теперь его можно отучить от тачанки и тех звоночков, что в кабинете?

Варвара Сергеевна окучила два куста и, снова выпрямившись, сказала:

— Ну, шут с ним, с Хворостянкиным... Ты лучше расскажи, Сергей Тимофеевич еще не уехал в Москву?

— Собирается.

— Все планы с собой повезет?

— А как же, без них не поедет.

— А когда ж начнем?

— Думаю, что в эту осень... Варвара Сергеевна, хочешь возглавить лесную бригаду?

— Это какую еще лесную?

— Лес выращивать, пруды строить... словом, красоту в степи наводить. И тут лучше всего поставить женщину: у нее природный вкус к красоте.

— Ежели нужно,— сказала Варвара Сергеевна, принимаясь за дело,— то пойду.

VIII

Разговаривали они еще долго, а конца разговору не было видно... Татьяне давно нравилась Аршинцева — женщина редкого трудолюбия, у которой отдельно от колхоза не было ни жизни, ни интересов, ни забот,— все у нее было здесь. Лишившись в последнюю войну мужа и сына, выдав замуж дочь, Аршинцева осталась одна и почти круглый год находилась в поле. В партию вступила еще в тридцатом году, в самый

разгар строительства колхозов, и хотя была она малограмотная и не могла подняться выше звеньевой, но своим бескорыстным трудом и своей постоянной заботой о хозяйстве она принесла колхозу неоценимую пользу... Все это хорошо знала Татьяна, к тому же Аршинцева являлась парторгом в бригаде, и ей хотелось сделать именно ее своей самой близкой помощницей. Оказалось же, что первый серьезный разговор не принес желанного успеха и не только не сблизил их, но чуть ли не поссорил, хотя о лесопосадках они говорили мирно, а расстались все же сухо.

«По-своему она, конечно, права,— думала Татьяна, выезжая с усадьбы на дорогу,— но только по-своему... Убрать с дороги Хворостянкина и этого Прокофия легче всего, а заставить их работать — это важнее, сложнее и труднее».

В этот же день Татьяна побывала во всех бригадах, встречалась с людьми, и повсюду — и в обрывочных, как будто бы случайно оброненных словах, и в беседах, и в обычных разговорах — она замечала, что колхозники ждут каких-то перемен в «Красном кавалеристе». И хотя никто так прямо, как Аршинцева, не говорил о Хворостянкине, но Татьяна и без этого понимала: именно Хворостянкин и был причиной многих недовольств...

Вечер застал Татьяну на сенокосе. Обычно в прежние времена на сенокосе агроном колхоза появлялся редко, поэтому косари были и удивлены и обрадованы ее приездом. Двое мужчин распрягли ее лошадь, пустили на траву, а Татьяну пригласили к копне ужинать. Кухарка принесла ей полную миску степного супа, ломоть хлеба, и не успела Татьяна сесть на шелестящее, сухое и пахучее сено, как ее уже обступили и мужчины и женщины. Начался обычный разговор: рассказывали, кто о чем мог, смеялись, шутили.

...И вот тут, под копной сена, изъездив всю степь, Хворостянкин и нашел Татьяну. Издали увидев копну, чуть приметные в темноте головы людей и огоньки цыгарок, Хворостянкин понял: да, именно здесь и шло одно из тех собраний, о котором говорил ему Кнышев.

От этой мысли защемило сердце, мучительно захотелось услышать, о чем там они говорят. Злой и встревоженный, он рисовал в своем воображении неприятную картину: вот косари окружили Татьяну, а она стоит и произносит речь, клянет на чем свет стоит Хворостянкина, ругает такими обидными словами, что он, думая об этом, тяжело засопел и схватил рукой кучера за плечо.

— Никита! Придержи коней.

— Ты это чего? — спросил Никита.— К ветру?

— Тебе сказано — останови! — Хворостянкин слез с тачанки.— Подожди меня тут, я зараз вернусь.

Осторожно переступая по колкой, недавно скошенной траве, Хворостянкин совсем неслышно подкрался к копне с той стороны, где его не могли видеть. Сердце стучало так сильно, что казалось — его слышно было по ту сторону копны; лицо горело, в ушах стоял какой-то противный звон. Он затаил дыхание, напрягал слух, стараясь уловить каждое слово, долетавшее к нему из-за копны.

— Допустим, Татьяна Николаевна, ты подвергаешь сильной критике? — послышался бас.

«Так, так,— думал Хворостянкин,— знать, уже откритиковала... А ну, что будет дальше?.. Это Игнат спрашивал. Он должон за меня заступиться...»

— Его надо не критиковать, а взять хворостину да хорошенько по тому голому месту,— послышался женский голос, и Хворостянкин не мог понять, кто из женщин это сказал.

«Ах, ты, бесстыжая морда! — зло думал он.— Ишь, чертяка, уже берется за хворостину!.. Тут только дай бабам волю...»

После этого заговорили все сразу:

— Ты, Игнат, лишнее на себя не бери.

— Женщина правду сказала: побить бы тебя нужно за такое отношение.

— А за какой грех мне такая кара? — спросил Игнат.

— За такой, чтоб жену жалел и уважал!

— Да я ее и так жалею и обожаю.

— А чего она частенько в слезах ходит?

— Потому и плачет, что пошел у нас разлад на почве личного непонимания.

— Какое ж у вас непонимание? — спросила Татьяна.

— Это, Татьяна Николаевна, долгий сказ.

— Ну, все же... хоть в двух словах.

— В двух — могу... Я ей говорю: «Роди мне мальчонку, какая жизнь без детей!», а она — ни в какую... Разве это жена?

— И через это ты ее на собрание не пускаешь?

— Да при чем тут собрание?

— А ты ее спрашивал, почему не хочет рожать?

Голоса в сторонке:

— Гордей, а послухай: здорово новая парторгша наседает на нашего Игната... И за что? За жену...

— До всего дознается.

— Беда!

— А чего ее спрашивать? — угрюмо проговорил Игнат.— И без расспроса знаю.

— Ну, скажи, скажи!

— Да что тут сказывать?

— Ага! Стыдно!

— Чего там стыдно!.. Случилось один раз, по пьянке.

— Бил?

— Да не-е-е... Руку поднял, за косу взял... так только, постращал, а она у меня такая характерная, что с той поры и признавать меня не желает, и на почве детей пошел отказ...

— Это и с моим муженьком была такая история... Жили мы со своим Иваном душа в душу, а потом я стала замечать...

Тут Хворостянкин, усмехаясь в усы, тихонько приподнялся и пошел к тачанке.

«Тьфу ты, черт знает о чем говорят, какие-сь бабские истории!.. Секретарь партбюро — и такие разговоры, уму непостижимо!.. Придется сообщить Кондратьеву...»

Усевшись на тачанку, он сказал:

— Никита! К этой копне подлети птицей!

Тачанка свернула с дороги и с шумом подлетела к копне.

— Здоровы булы, косари! — крикнул Хворостянкин, соскочив на землю.— Как идут дела? Сколько дали процентов на сегодня?

Подошел ближе, наклонился и увидел Татьяну:

— А! Татьяна Николаевна! Беседуешь? Политграмоту проводишь... Добре, добре... Только я не ожидал, не ожидал тебя тут увидеть!

Косари молчали, и только кто-то в сторонке негромко сказал:

— И прилетел же не во-время! Тут зачался такой интересный разговор, а его принесла нелегкая...

IX

Помню, и хорошо помню, то время... Вижу степь под низким осенним небом. Лежит, куда только ни взгляни, обширная кубанская равнина, и плывут над ней рваные тучи так низко, что кое-где влажные клочья цепляются о блекло-серую стерню. Узкими поясками темнеет зябь, пасутся по ней, обычно стаями, нахохлившиеся, озябшие грачи — такие черные, что их видно только вблизи, издали же трудно отличить цвет пера от чернозема... И еще в этом необозримом просторе вижу трактор: он гуляет один, с песней, блестит новенькими шпорами, пугает птиц и степного зверя, смелый, порывистый и величественно-гордый — первый путиловец в степях Кубани! А на взгорье железная бочка, погнутая лейка, старенькое ведро с тавотом цвета топленого масла, балаганчик, солома, полушубок, и тут же вбит в землю колышек, а на нем кусок фанеры и жирные, выведенные мазутом с подтеками слова: «Тракторная бригада № 1».

Номер первый... Как же далеко мы ушли и от того памятного взгорья и от того колышка, что маячил, как веха в будущее, вблизи дороги!.. Теперь и степь, та же самая кубанская степь, почему-то кажется и уютней, и не такой просторной, и не такой сумрачной, какой мы знали ее раньше. Может быть, это произошло оттого, что вместо железной бочки, балаганчика и старенького ведра выстроились у дороги три домика

на колесах, и в каждый из них ведет деревянная лесенка? Есть и поручни — вход в вагончик удобный, и у одного из них красуется вывеска: «Тракторный отряд Г. М. Мостового». И кто бы ни проезжал по дороге, непременно остановится, посмотрит, покачает головой и скажет: «Ах, канальские хлопцы, сами чумазые, как чертенята, а погляди ты на них — в жилье какую красоту навели!» И, разумеется, не красочная вывеска и не лесенка с поручнями привлекают взор и вызывают похвальные замечания — ко всему этому на Кубани давно привыкли. Внимание приезжих задерживалось на оконных занавесках: они были такие нежнобелые, что издали напоминали голубей, парующихся на подоконниках. Вот к этому простому украшению на окнах и не мог никто привыкнуть, ибо ни за что нельзя было поверить, чтобы в соседстве с трактористами, людьми, обычно испачканными маслом, керосином и грязью, могла уживаться такая белизна...

Однажды по своим торговым делам здесь проезжал Лев Ильич Рубцов-Емницкий. Остановился, посмотрел, задумался и сказал:

— Культурность! Это же, для ясности, спальные вагоны прямого сообщения!

Мы лишь присоединимся к авторитетному мнению Рубцова-Емницкого, но не станем осматривать все хозяйство Григория Мостового: оно и слишком большое, да и не всякому, надо полагать, интересно видеть, скажем, обыкновенные двухэтажные койки с матрацами, аккуратно, по-армейски, заправленные одеялами, с подушками, на которых лежат накидки, а кое-где коробки папирос, а то и вышитый монистом кисет с табаком; или, сказать, кому захочется осматривать такой предмет, как обеденный стол, длинный, покрытый клеенкой, со скамьями по бокам; шкаф с посудой и кухарку, женщину пожилую, но в работе удивительно проворную; или же читальню — опять же шкаф, только не с посудой, а с книгами и с потертыми журналами; или механическую мастерскую, с верстаком, тисками и небольшим токарным станком,— все это теперь обыденно и всем знакомо... А между тем, есть в одном из вагонов и нечто такое, что не является

обыденным и всем знакомым и куда непременно, хотя бы ради любопытства, следует заглянуть на несколько минут. Имеется в виду небольшая комната без окон, с дверью, обитой толстым войлоком... В углу мы видим стол под синим сукном, на котором установлен аппарат, похожий на чемодан. У стола, держа перед лицом, как зеркальце, кулачок микрофона, уже с надетыми наушниками сидит Григорий Мостовой, а рядом с ним — учетчик, он же радист, худой и долговязый паренек. К столу нагибается электрическая лампочка, и свет от нее падает так, что лица юношей кажутся темными и необычно строгими.

— Включаю,— негромко говорит Григорий, глядя на часы.— Приготовь сводку.

Послышался резкий звук выключателя и протяжное гудение в наушниках — такой далекий и тревожный звук, какой можно услышать, прислонивши ухо к телеграфному столбу.

— Центральная, центральная, центральная! — говорит Григорий.— Я Мостовой, я Мостовой. Мое время, мое время... Как меня слышите? Прием...

— Я центральная,— пропищал в наушниках девичий голосок,— я центральная... Гриша, милый, это я, Валя!.. Сегодня я дежурю... Здравствуй, Гриша! Не скучаешь там, в поле? Как меня понял?.. Прием!

— За привет спасибо... Да и о ком же скучать? Ближе к делу, Валя. Прием!

— Как о ком скучать? А обо мне! — тут пискливый голосок преобразился в звенящий смех.— Как меня слышно? Прием!

— Некогда скучать,— пробовал отшутиться Григорий.— Позови к микрофону Чурилова... Принимаю.

— Все ясно,— пищал девичий голос: — вы интересуетесь более всего вдовами.— И опять голосок преобразился в смех, но уже не в звонкий, а в нежно шелестящий: — Гриша, ты установи рацию в «Красном кавалеристе». Позывными с Татьяной будешь обмениваться... Принимаю.

— Ну, ну, не болтай чепуху... Зови Чурилова, да побыстрее! Прием!

— У Чурилова заседание,— уже обиженным голосом сказала Валя.— Он велел мне принять. Диктуй, а я буду записывать... Перехожу на прием!

— А мне нужен Чурилов, слышишь? Иди и позови его, скажи — важное дело!

— Какой ты, Гриша, сердитый!.. Ну, не кричи... сейчас позову.

В наушниках зацокали каблучки, а через некоторое время заскрипела дверь, и уже рядом с дробным стуком каблучков послышались твердые и тяжелые удары кованых сапог.

— Ал-л-ле! Ал-л-ле! — загудело в наушниках.— Чурилов у рации. Слушаю! Скажи, Гриша, чего ты каждодневно устраиваешь мне эти эфирные доклады... Разве мы рациями обзаводились для этих разговоров? Ну, докладывай, информируй, только покороче, на скорую руку. У меня заседает совет МТС... Давай, давай, что там у тебя... Если сводку, то цифры пусть запишет Валя. Да и то, на каких клетках находятся машины, тоже передай ей, пусть Валя и флажки на карте переставит... Перехожу на прием!

—Афанасий Петрович! Я изобрел новый прицеп для пропашников. Очень выгодно! Обещаю вам пять, нет, шесть норм. Один трактор за шесть тракторов! Но мне нужны пропашники... Принимаю.

— Говоришь, за шесть? — и голос в наушниках помягчел.— Ну, ты, изобретатель, скаженая твоя голова, вот что... Того, как его... Мне зараз некогда разобрать все в деталях, такие дела по радио не решают... Да, не решают. Пиши докладную на мое имя — рассмотрю и окончательно решу... Все, все! А сводку диктуй Вале.

Снова в наушниках послышались твердые шаги и тяжелый стук кованых каблуков. Снова скрип дверей, а в наушниках зашуршал нежный и ласковый голосок:

— Ну, Гриша, диктуй! Только слушай, Гриша, ты сперва поцелуй меня по радио и успокойся... Как меня слышно?.. Перехожу на прием...

— Стрекоза!

Григорий торопливо снял наушники, отчего чуб его

взлохматился, надел их на голову смущенно улыбающемуся радисту-учетчику, отдал ему микрофон и отошел от стола.

— Ну и язычок у этой Вали... Ванюша, передай ей сводку и если сумеешь, то и поцелуй ее по радио — девушка сама просит...

Григорий вышел и остановился на лесенке. Долго стоял он, глядя на укрытую темнотой степь.

Внизу, начиная от вагончиков, лежали пары. Были они такие черные, а площадь земли такая обширная, что под звездным небом вся низина как бы выгибалась на фоне темного горизонта и напоминала собой огромный залив. Сходство это дополнялось еще и тем, что по парам ходили гусеничные тракторы с прожекторами, а казалось же, будто водную гладь бороздили катеры и на берег долетал мощный и хорошо слаженный хор моторов.

«Обещала и не пришла. Что же за причина? — думал Григорий, видя, как один из «катеров» сделал поворот и гусеница, попав на свет шедшего сзади трактора, жарко блеснула и погасла.— ...Вот так и она: то блеснет перед моими глазами, то скроется... Всякий раз так: ждешь — не приходит, не ждешь — является. Нет, такую трудно любить спокойно...»

Григорий задумался, и хотя прожекторы все так же играли перед ним и хор моторов не умолкал ни на минуту, он на поле уже не смотрел и ничего не слышал. Почему-то на сердце стало больно, а откуда пришла эта боль — Григорий не мог понять. Кто же его знает? Была ли тому виной Татьяна — пообещала парню приехать и не приехала — или же боль причинил Чурилов, а может, эта радистка испортила настроение своим вздорным разговором... Он простоял так, со склоненной головой, минут пять, а когда снова посмотрел на «залив», то увидел мигающие огни — условный сигнал, которым рулевые вызывают к себе бригадира.

«Уже какой-то стал на якорь»,— горестно подумал Григорий и, сбежав по лесенке, быстрыми шагами направился через пахоту прямо на подмигивающие огни.

И покамест Григорий шагал, глядя себе под ноги, ощущая под подошвами мягкую, рассыпчатую землю,

Татьяна не выходила у него из головы, и казалось ему, что она шла рядом с ним. И тут вспомнились все встречи и вечера, проведенные с ней, и те первые, весенние, которые уже кажутся давними, и эти, совсем еще близкие и свежие... Почти каждый раз, оставаясь наедине с собой, Григорий мысленно был с ней, и почему-то облик Татьяны вставал в его воображении совсем уже необыкновенно красивым, а вся она, в белом, с синими полосками платье, со светлыми бровями и с завитками волос на лбу, в такие минуты казалась ему какой-то воздушной. Когда же он вспоминал ее поцелуи, прикосновение ее руки, ее улыбку, то восторженную и гордую, то чуточку грустную, ее взгляд, полный женской ласки, тогда перед ним и вовсе рисовалось что-то светлое и неземное... «Теперь я знаю, какими бывают глаза у любящей женщины»,— подумал Григорий, вспоминая одну из самых памятных встреч еще в мае.

Поздно ночью Григорий и Татьяна сидели на берегу Родников, а полная краснощекая луна, поднявшись над горами, смотрела им в лица и смеялась... Отчего она смеялась? Может быть, оттого, что именно в эту ночь они впервые поцеловались, еще и без привычки, и неумело, и стыдливо? Тогда-то Григорий и увидел ее глаза; в эту минуту они покрылись мягкой поволокой и точно преобразились: в них разливалось что-то ласковое и теплое, что-то сияющее и светящееся, и ее душевное волнение передавалось ему... «Танюша, а у меня тоже глаза светятся?» — «Милый Гриша, конечно, светятся!» И они, счастливые, рассмеялись, сами не зная отчего. Ему и теперь было приятно и радостно вспоминать тот смех, но рядом с этим хорошим чувством просачивалась и горечь: было обидно, что у нее так часто бывает редактор газеты. И хотя Татьяна клялась ему, что Илью Стегачева никогда не любила и не любит, хотя он ей и верил, а горькое, немного даже злое чувство не исчезало. «...Вот и сегодня не приехала: наверное, задержал Стегачев»,— подумал Григорий, уже подходя к трактору.

— Степа, орел! — крикнул он весело.— Что случилось?

— Мотор что-то троит,— отозвался Степа, нагибаясь к машине.— Черт его знает, чего он троит... Или я его перегрел...

— А ну, заводи, послушаю.

Григорий подошел к трактору, вынул из кармана гаечный ключ и, как врач, приготовился слушать, а видел взволнованное лицо и ласковые глаза Татьяны.

X

Наступал летний вечер. Было тихо и душно. За станицей жарко горел закат, и по небу тянулись багряно-розовые полосы. Под гору, вздымая пыль, спускалось стадо коров... Григорий и Татьяна стояли на кладке, перекинутой через Родники. Внизу плескалась вода, и к ней, как бы желая стряхнуть с листьев дневную пыль и подышать свежестью, склонялись два старых клена; косматые их ветви, как тучки, темнели над рекой... Григорий прислонил к перилам сильно запыленный велосипед и сказал:

— Я был у Чурилова. Пропашники все же получил... А к тебе, Танюша, я летел на крыльях.

— А разве твой велосипед уже имеет крылья? — с улыбкой спросила Татьяна.— Где ж они? Не вижу...

— Если едешь на нем к любимой, так имеет! — уверенно ответил Григорий.

— Гриша, ты уже говоришь, как поэт,— смеясь, сказала Татьяна.

— А поэты от чего бывают? От любви... Вот и я скоро стану...— он не досказал, посмотрел на нее.— Танюша, хорошая моя, дай я тебя поцелую и уеду... Летел же на крыльях!..

— Гриша! Да разве на этой кладке можно?.. Пойдем, я тебя еще немного провожу... вон до тех деревьев.

Они направились по узкой стежке, петлявшей между кустами: Татьяна с гордо поднятой головой и с распустившейся косой — впереди, а Григорий шел за ней с велосипедом.

— Я тебя тогда всю ночь ждал... Ну, зачем же ты пообещала, а не приехала?

— У косарей задержалась. Туда приехал Хворостянкин — ну и был крупный разговор...

— Я все ждал, думал...

— Хотел, чтобы я с Чуриловым поговорила? — Татьяна весело засмеялась.

— Тебе все шуточки... Танюша, а Стегачев будет на вашем заседании? — вдруг спросил Григорий после некоторого молчания.

— А откуда ему быть? — удивилась Татьяна.— Да и что это тебе пришло на ум?

Она шла, не поворачивая головы и только слегка встряхивая косами.

— Я хотел попросить,— тем же спокойным голосом говорил Григорий,— если он будет, так ты у него...

— Ревнуешь, Гриша?

Она рассмеялась и стала на ходу подбирать косу.

— ...спроси у него, когда же он напечатает очерк о нашей радиосвязи... Обещал же!

— Гриша, милый, забудь ты и Стегачева и очерк!

Она резко повернулась и сама поцеловала Григория,— ее косы, слабо пришпиленные, снова упали на плечи.

А в это самое время в станице мать Татьяны, Ольга Самойловна, встречала гостя: со скрипом отворилась калитка, и в нее неторопливо, своим грузным шагом вошел Игнат Савельевич Хворостянкин.

Ольга Самойловна, повязанная серой косынкой, стояла посреди двора с ведром в руке. Это была женщина хотя уже и пожилая, но еще собой статная, свежая, при здоровье — из породы тех кубанских казачек, которых не старят ни годы, ни горе. В войну она потеряла мужа и сына. Оставшись вдвоем с дочерью, тоже вдовой, она провела не одну ночь в слезах, но днем ее горя никто не видел. Она была дояркой, и там, на ферме, среди таких же колхозниц, как сама, в постоянных хлопотах и заботах она находила утешение.

— Проходи, проходи, Игнат Савельевич,— приглашала Ольга Самойловна, повесив на жердь ведро и вытирая руки о фартук.— И что это ты пожаловал к нам? То бывало только мимо на тачанке пролетал...

— Да, пролетал... Верно... А зараз вот исправляю свою прежнюю оплошность,— Игнат Савельевич поздоровался с хозяйкой, усмехаясь в усы.— Самокритику, Ольга Самойловна, сам себе навел и вот теперь вижу свои недостатки... А как же? Самокритика, Ольга Самойловна, есть наше движение вперед...

— При чем же тут движение? — спросила Ольга Самойловна, скрестив на груди сильные руки.— Есть же и другие дворы, а ты в наш забрел?

«А ничего собой вдовушка, подходящая закусочка»,— подумал Игнат Савельевич и стал рукой подбадривать усы.

— Другие дворы — то не в счет,— сказал Игнат Савельевич, уже веселым чертом поглядывая на хозяйку.— В этом дворе живут две вдовы, сказать — жены геройски погибших воинов, и руководителю надлежит здесь бывать: может, потребуется помощь или какое содействие...

— Опоздал с беспокойством.

— Это почему ж так? Нет, Ольга Самойловна, лучше поздно, чем никогда.

— Ох, по глазам вижу, хитришь! — сказала Ольга Самойловна, предлагая гостю стульчик.— Не воины тебя сюда пригнали, а что-сь другое в голову влезло... А вот что, не знаю...

— Поверь, Ольга Самойловна, ничего другого в голове нету... Истинную правду говорю.

— А почему раньше не заходил?..

— Закружился, забегался,— присаживаясь на стульчик, сказал Хворостянкин.— Ты же знаешь, Ольга Самойловна, всюду я один. Все на моих плечах — да тут разве обо всем вспомнишь?.. Груз же какой несу на себе!

— А теперь тебе полегчало, бедняге? — насмешливо заговорила Ольга Самойловна.— Это, случаем, не дочка моя принесла тебе облегчение?

«Ага, принесла, жди от нее, принесет, облегчит — долго помнить будешь!» — думал Хворостянкин.

Подбодрив ладонью усы и взглянув бесовским глазом на хозяйку, сказал:

— Насчет облегчения, Ольга Самойловна, еще ни-

чего такого определенного не видно... Но идем мы нынче с Татьяной Николаевной в одной упряжке.

— Кто ж из вас подручный, а кто борозденный? — со смехом спросила Ольга Самойловна, и ее дородное лицо разрумянилось.

— Ты лучше спроси: кто из нас, в случае какой неуправки, будет в стороне, а кто в бороне? — тоже смеясь, сказал Хворостянкин.— Как всегда, я во всем в ответе... Груз несу на себе один.

— Да, в паре с тобой Татьяне трудно придется.

— Это почему же?

— Погляди на себя, какой ты здоровило, а она и женщина и собой малосильная...

— Эге! — тут Игнат Савельевич даже приподнял палец, узловатый и сильно поросший серой щетиной.— У нее теперь такая должность, что сила в расчет не берется... Требуется голова, умственность, сказать по-простому — башковитость.

— И кто ж из вас в умственности дюжей?

— Еще мы этим не мерялись.— Хворостянкин задумался и негромко проговорил: — Не мерялись, но вскорости, как я вижу, доведется померяться... А где же будет дочка?

— Зараз должна заявиться. Пошла проводить Гришку...

— Мостового?

— Угу...

— Что же это у них?

— Какие-сь дела... Радио, техника и все там такое... свое.

— А может, это «свое» к свадьбе поворачивает? — Хворостянкин даже наклонился к хозяйке и, играя глазами, сказал шепотом: — Самойловна, ежели что будет намечаться, дай знать заранее... Мы на новый лад такую колхозную свадьбу сыграем!.. Э! Это же парторг замуж выходит — тут нужно показать нашу жизнь во всей ее красе!..

Ольга Самойловна любезно отвечала, что она ничего такого определенного еще не замечает, а если что-либо серьезное и будет намечаться, то из этого никто секрета делать не станет... И покамест они так разгова-

ривали, вернулась Татьяна. Косынка с широкой голубой каймой лежала у нее на плечах, и концы ее были слегка связаны на груди. Походка у нее была быстрая, живая, и радость так и играла и в глазах, и на улыбающихся губах... «И по лицу видно, что миловались и целовались,— подумал Хворостянкин.— Ишь какая веселая, вся сияет, а вот зараз насупится и на меня чертом будет коситься...»

И в самом деле Хворостянкин был прав. Войдя в калитку и увидя во дворе нежданного гостя, Татьяна сразу помрачнела, белесые брови ее нахмурились, лицо потемнело,— так бывает в ясный весенний день, когда ни с того ни с сего темная туча вдруг набежит на солнце, и тогда радужные краски в один миг потемнеют и покроются серыми, нерадостными бликами...

— Самойловна,— сказал Хворостянкин,— ты нас оставь... Тут у нас с Татьяной Николаевной пойдут свои, так сказать, партийные разговоры.

— Если мама нам мешает, так пойдемте в хату.

Татьяна, резко подняв свою маленькую с толстой русой косой голову, пошла в комнату. Следом за ней ушел и Хворостянкин.

— Значит, ты твердо решила завтра проводить заседание партбюро? — спросил Хворостянкин, тяжело опускаясь на стул.

— Твердо,— сказала Татьяна, прислонясь спиной к окну.

— Так вот что, Татьяна Николаевна,— подчеркнуто строгим тоном заговорил Хворостянкин,— ежели заседание завтра, то я хочу сегодня решить все вопросы... Да, именно сегодня! За этим я к тебе и пожаловал.

— А как же ты решишь? Один? Не понимаю...

Татьяна пожала плечами.

— А чего ж тут понимать!.. Бывало мы с Иваном Ивановичем... Конечно, не полностью, а вроде как бы предрешить, так сказать, заранее все между нами согласовать, чтобы нам, как руководителям, иметь на партбюро единое мнение...

— А зачем же все предрешать?

— Эх ты, горе! Ну что ты есть за женщина! —

Хворостянкин развел сильными, согнутыми в локтях руками.— Да я вижу, что у тебя нету никакого партийного опыта... Пойми ты, Татьяна Николаевна, на партбюро будут решаться мои вопросы, на мою голову камни будут валиться... Партбюро все может решить, но нам с тобой надо вести нужную линию... Направлять! Вот так, бывало, Иван Иванович... Погоди, один простой вопрос. Ты с райкомом все вопросы согласовала?

— А зачем же согласовывать? Мы и сами, без согласования должны правильно решить...

— Да это все так, я понимаю... А Кондратьев в курсе дела?

— Пошлем протокол — вот он и будет в курсе дела.

— Опять свое! — Хворостянкин тяжело вздохнул.— Ты не усмехайся. Ты же знаешь, что все эти вопросы моего авторитета касаются! Ты мою личность затрагиваешь!

— Эх, Игнат Савельевич, не об авторитете надо печалиться и не о личности, а о деле.

— Нет, вижу, что ни черта ты не смыслишь в партийной работе! — Хворостянкин встал и подошел к Татьяне: — Пойми, Татьяна Николаевна, что это тебе не агротехника, а политика!.. Да ты знаешь, что предколхоза и секретарь партбюро должны жить душа в душу, чтобы промежду ними завсегда хранилась дружба и согласие?! Тогда они сумеют повести за собой массы... А ты куда поворачиваешь? Вразброд?

— Ты хочешь жить со мной в мире и согласии?

— Хочу,— чистосердечно сознался Хворостянкин.

Татьяна усмехнулась:

— Не сумеешь... И я вижу, что мира между нами не будет.

— Да как же так не будет? Сама жизнь того требует!

— Смотря по тому, как смотреть на жизнь,— Татьяна отошла от окна и, усмехаясь, сказала:— Игнат Савельевич, видели вы ржавчину на металле? Чтобы снять ее — чему учит нас жизнь?

Хворостянкин насупился, поросшее застаревшей щетиной его лицо побагровело.

— Умничаешь! Ржавчиной меня считаешь! — крикнул он.— Так знай: по-твоему не будет! И не мне, а себе голову сломаешь! Игната Хворостянкина ржавчиной не испугаешь! Я уже стреляный!

Он резко повернулся, опрокинул ногой стул и не вышел, а выбежал из комнаты.

XI

Все в станице знали, что Игнат Савельевич Хворостянкин любит утренний сон, любит понежиться, лежа в нагретой постели. Во всякий день он просыпается в те часы, когда сквозь щели ставни нитями тянутся лучи, и ему тогда бывает особенно приятно полежать, закрывши глаза и решительно ни о чем не думая... Вот по этой причине Хворостянкин обычно приходил в правление, когда солнце уже давно гуляло повыше деревьев. Он встречался с людьми, любезно здоровался и при этом говорил: «А я уже смотался на свиноферму и вот малость подзадержался...» или: «На заре из райсельхозотдела звонили, прямо с постели подняли, и проговорил все утро... Никак не мог оторваться от телефона...»

В этот же раз или ему плохо спалось или у него возникли какие-то важные и неотложные дела, только Хворостянкин не стал дожидаться восхода солнца и явился в свой кабинет в тот самый час, когда на землю падала роса, а на востоке только-только начинало сереть. Станица еще спала, и в ложбине, между двух гор, беспечно покоился белый туман, похожий на пену в огромном чане, куда сливают парное молоко. В это время, удобно растянувшись на лавке, правленческий сторож «тянул зорю», задавая такого сочного храпака, что в окне звенело стекло.

Покой сторожа был, разумеется, нарушен.

— Эй, сонное царство! Давай мне сюда Бородулина! — крикнул Хворостянкин.

Сторож, которому еще виделись сладкие сны, со-

скочил с топчана и в один миг исчез за дверью. Прошло очень мало времени, и на пороге вместо сторожа вырос, протирая свои пухлые веки и еще толком ничего не понимая, Антон Антонович Бородулин. Хворостянкин не подал ему руку и не подарил улыбки. Тут было не до улыбок и рукопожатий. Он посмотрел на своего секретаря таким гневно-жалостливым, измученным и изнуренным взглядом, точно хотел сказать: «Эх ты, Антон Антоныч, спишь себе спокойно под боком у жены, а я тут один за всех страдаю!»

Ничего подобного, конечно, Хворостянкин не сказал: он был горд и не желал унижать себя в глазах Бородулина. Он молча сел за стол и приказал поднять с постели главного бухгалтера Тимошина Петра Акимовича, завхоза Евдокима Новодережкина, кладовщика Гордея Левушкина и заведующего кооперативным магазином Ивана Шамрая. Бородулин хотел было спросить, по какому случаю понадобились эти люди в такую раннюю пору, но тут он краем уха услышал, как Хворостянкин, подойдя к окну и глядя на побелевшее небо, задумчиво, как бы про себя, сказал: «Так, так... Значит, я уже стал ржавчиной... на мой авторитет посягает... Ржавчина — ишь, что придумала!.. А я не сдамся, и пока нахожусь тут, у руля, за себя постоять сумею... Хоть десять партбюро подавай, не подчинюсь!» После этих слов Бородулину сразу все стало так ясно, что спрашивать ни о чем уже не следовало.

— Именно, именно, Игнат Савельевич,— только и проговорил он озабоченно и вышел.

И не более как через полчаса Бородулин открыл дверь и сказал:

— Явился Новодережкин... Впущать?

Хворостянкин в знак согласия кивнул головой.

Евдоким Новодережкин, мужчина низкорослый, коренастый, с широкими плечами и короткими, но сильными руками, переступил порог и, не зная, по какому делу его вызвали, снял картуз и стоял молча. Его маленькие, проворные глаза с каким-то особым любопытством смотрели на сидевшего за столом Хворостянкина.

— Евдоким, здравствуй... Не ругай, что так рано

поднял. Садись, садись... Есть дело — вот и сам не сплю и другим не даю.

Евдоким присел на стул и так посмотрел в окно, как бы желал узнать не то, зачем его позвали, а то, скоро ли начнет рассветать. «Чего-сь взбудоражился? — подумал он.— Не иначе Татьяна уже его зануздала...»

— Евдоким Максимович, ты во всяком деле есть моя правая рука,— льстивым голосом заговорил Хворостянкин, тоже взглянул в окно и по белым листьям тополя заметил, что рассвет уже был близок.— К тому же ты член правления, завхоз, а раз так, то я и рассчитываю на твою полную поддержку...

Казалось, Новодережкин не слушал,— попрежнему его взгляд и внимание были прикованы к окну, за которым рисовались первые отблески зари. Сидел он все так же молча, думая: «Так я и знал: помощь моя понадобилась... Значит, она его уже зануздала... и мабудь дала шпор...»

— Хотя ты человек и беспартийный,— продолжал Хворостянкин, тоже на какую-то минуту залюбовавшись розовыми бликами зари,— но у меня секретов от тебя не бывает, особенно ежели это касается нашего колхоза... Так вот я тебе и скажу: вчера почти до полуночи мы мордовались на закрытом заседании партийного бюро... теперь уже под началом Нецветовой... Скажу тебе, дюже горячее было заседание! Я один, а они как будто сговорились против меня...

— Знать, здорово критиковала? — спросил Новодережкин, продолжая поглядывать на всполохи зарницы.

— Кто?

— Да она... Татьяна.

— А-а... Да, было дело,— Хворостянкин махнул рукой и тяжело вздохнул.— И если бы она одна, то я бы ей рот мигом закрыл... А тут на ее сторону стала Аршинцева, а у этой, ты же знаешь, какой язычок! Не язычок, а рашпиль!

— Знаю, знаю: жох баба!

— А тут еще и Кнышев за баб. Член партбюро, Герой, человек почетный, а в политике не разбирается...

Да... И как взялись, как взялись, так, ты веришь, меня аж в пот бросило!.. До утра через это волнение глаз сомкнуть не мог.

— Что же поделаешь,— движение,— с усмешкой сказал Новодережкин, видя, что верхушка тополя уже стала совсем белая.

— Это ты о чем?

— Как о чем? Разве ты забыл? Сам же клянешь, ругаешь на чем свет стоит, а после всего и говоришь: «Не обижайся, Евдоким Максимович,— критика, она человеку на пользу, от нее наше общее движение...» Вот, видно, и Татьяна решила тебя двигать...— Евдоким рассмеялся.

— Ты насмешечки не строй! — гневно сказал Хворостянкин.— Критика критике рознь,— он посмотрел в окно и увидел, как над станицей уже вставал свежий и туманный рассвет.— А тут была не критика, а угробление авторитета... Ежели старший по долгу службы за дело покритикует, та критика полезная... Она движет... Понимаешь? А Нецветова разве по этим принципам действует? Не по этим! Она меня критикует! Молодая еще мне указывать. Знаю, решила себя перед Кондратьевым проявить, вот и критикует... И ты знаешь, до чего она докритиковалась? Вздумала мною, Хворостянкиным, управлять! Да разве нашему государству нужна такая критика? Без моего согласия и без всякого согласования вынесла на бюро вопросы: во-первых, требует немедленно сооружать передвижные детские ясли, чтоб все это стояло на колесах и по полю двигалось с шиком. Бабы ей уже наговорили, что станичные ясли не годятся, что нужны такие, чтобы ехали по степи, как поезда по рельсам,— куда матеря, туда и детки... Ишь, куда хватила! Второе: в срочном порядке требует от меня купить кинопередвижку — ту, что картины показывает. В общем, конечно, дело хорошее, кто из нас против культуры... А где взять денег — ее это не интересует... Ей это требуется для усиления партработы, а мне требуется финансовая дисциплина... Третье: в одну душу наседает на меня и требует, чтобы я создал лесную и водную бригады. А зачем же такая спешка? Еще не известно, что получится из того озеленения и

преобразования,— может, только пошумим да и все. Я же хорошо знаю, что Тутаринов еще только собирается ехать со всеми планами в Москву. В край ездил — одобряют, а не утверждают: боятся. Так оно, может, и в Москве похвалят, а не утвердят... почем я знаю! А она от меня уже лесную бригаду требует. Куда это годится! Разве это дело парторга?.. В-четвертых, настаивает торговать в степи. Ну, скажи, Евдоким, разве это не женская прихоть?! Да какая же в поле торговля? А я знаю: ей не торговля нужна, а эффект в партработе. В поле универмаг — вот чего ей хочется! А в-пятых,— это она уже вежливо, вроде как бы рекомендует мне, чтобы я снял с бригады Прокофия Низовцева, моего лучшего бригадира, и чтобы послал я его рядовым на сеноуборку. А скажи, Евдоким: за что ж человеку такое наказание? Только за то, что он с бабами в своей бригаде малость вольничает!..

— У него эта замашка есть,— сказал Евдоким.— Бабам в его бригаде живется неспокойно... Бугай!

— Знаю, знаю, что есть у него такая замашка, сказать, в любовном деле несдержанность,— Хворостянкин невесело, через силу, усмехнулся.— И бабам неспокойно, верно... Ну, а скажи, Евдоким, как ты есть сам мужчина: с кем этого греха не бывает? Да и бабы наши в этих делах, слава богу, тоже с замашками... Так зачем же на этой почве лишаться лучшего бригадира и примерного хозяина?

— И все же, что там записали на бюро? — спросил Новодережкин, которому, очевидно, надоело слушать жалобы своего друга.

— Записали все против меня,— Хворостянкин поднялся и, сутулясь и поеживаясь, сжал кулаки.— Но я свою правоту докажу! Не тут, а там, в районе... Сегодня же поеду к Кондратьеву и скажу: я не Чапаев, и мне комиссар, да еще в юбке, не нужен! Кондратьев меня поймет...

— А ты не горячись,— рассудительно проговорил Новодережкин.— Тут, как я понимаю, горячиться не нужно... Да и с жалобой погодил бы...

— Хорошо, горячиться не буду,— сказал Хворос-

тянкин и сел на свое место.— Давай поговорим спокойно. А дальше что? Вот ты, как завхоз и член правления, мой бессменный зам, скажи: как же мне не горячиться и не жаловаться? Чтобы все закупить и чтобы сразу оборудовать те дома на колесах, поделать кроватки, пошить одеяльца и все такое прочее — это же тысячи нужны, а где они? Где?

— Ежели хорошенько поискать, то тысячи и найдутся.

Хворостянкин не ждал такого ответа. Не зная, что сказать, он встал и начал расхаживать своими широкими и тяжелыми шагами.

— Значит, и ты, Евдоким Максимович, против меня?

— Господь с тобой, Игнат Савельевич! — проговорил Новодережкин и тоже встал.— Я всегда и целиком за тебя, а только не пойму, как же так... Партбюро решило, а мы это решение не выполним... не подчинимся? Как-то непривычно... Не было еще такого... Я вот и беспартийный, а привык, ежели партбюро решило, то я всей душой.

— Да то же не бюро решило, а Нецветова! — продолжая расхаживать, сказал Хворостянкин. — Это ее прихоть! Какое ж тут бюро?

Тут Хворостянкин положил руку на плечо своего завхоза, повел его к двери, выходившей на балкон. Они стояли и, казалось, ни о чем не думали, а только любовались зыбким туманом, висевшим над станицей.

— Евдоким Максимович,— заговорил Хворостянкин,— привычка твоя исполнять решения партбюро — дело хорошее. Значит, ты есть беспартийный большевик... И ежели ты есть такой большевик, то иди и приготовь мне письменную докладную о наших хозяйственных возможностях по части строительства движущихся детских яслей и покупки кино... только в том разрезе, как мы зараз говорили... Я буду у Кондратьева, и мне нужен такой материал...

— Докладные я писать не умею...

Новодережкин с минуту постоял молча, посмотрел на смоченные росой листья тополя, а потом как-то

зло взглянул своими быстрыми глазами в лицо Хворостянкина и, не сказав ни слова, вышел.

— Впускать главбуха? — спросил Бородулин, появляясь в дверях.

«Это что же? — думал Хворостянкин.— И Евдоким от меня отворачивается... Мой бессменный зам... и такое непослушание...»

Вошел Петр Акимович Тимошин, мужчина высокий, грузный, с большой и немного полысевшей головой. И его спокойная походка, и самоуверенный взгляд крупных глаз, и подчеркнуто гордое выражение лица как бы говорили: «Я главный бухгалтер «Красного кавалериста» — это надо всегда помнить, и если я пришел в такое раннее утро, значит я исполняю свой долг...» Он не сразу сел на стул, а немного постоял, поправил пиджак, погладил плешивую голову и только тогда уселся и тут же вывел пальцем на столе какую-то цифру. Все время, пока Хворостянкин, как он говорил — «в общих чертах», излагал суть дела, Петр Акимович молчал, а его указательный палец все быстрее и быстрее писал на столе какие-то цифры... Хворостянкин привык откровенно говорить только со своим завхозом, поэтому главбуху он не сказал ни о решении партбюро, ни о своем намерении жаловаться в район. От главбуха ему нужно было получить всего лишь небольшую справку, в которой говорилось бы о том, что в колхозе «Красный кавалерист» ни на строительство передвижных детских яслей, ни на покупку киноаппарата деньги в этом году сметой не предусмотрены.

— Такую справку я, как отвечающий головой за финансовую часть, подписать не смогу,— сказал Тимошин, старательно выводя на столе цифру за цифрой.

— Почему? Что с тобой, Петро Акимович?

— Не имею на то полномочия. Ты же, Игнат Савельевич, знаешь, что общее собрание, ежели пожелает, может ассигновать любые средства. Так как же я могу писать справку?

— А я знаю, что такие суммы не предусмотрены, и через собрание проводить их не будем... Понятно?

Тимошин не ответил и встал, и в его смелом взгляде и в осанистой фигуре опять можно было читать: «Я

главный бухгалтер «Красного кавалериста», и ты меня не учи, я все законы очень хорошо знаю».

— Такую справку я не подпишу.

Эти слова Петр Акимович повторил негромко, но с чувством личного достоинства и вышел.

«Сатанюка гордый! — со злобой подумал Хворостянкин.— Индюк, законник...»

Дверь резко распахнулась, и в кабинет не вошел, а влетел Иван Шамрай, молодой, жизнерадостный, с гладко выбритым, напудренным лицом и с курчавым русым чубом. Он слушал рассеянно, и его веселые глаза как бы говорили: «Эх, Игнат Савельевич, и что это у вас такой скучный разговор?» Когда же Хворостянкин стал рассказывать о постройке вагона-магазина, Шамрай привстал и насторожился и уже слушал внимательно.

— Дорогой Игнат Савельич! Люблю и ценю как друга! — крикнул он, схватив руку Хворостянкина.— Именно торговля в степи, на лоне природы — красота! Давно мечтал! Вагон-коробейник едет по простору,— это же здорово!.. Сегодня я доношу Рубцову-Емницкому. Как он обрадуется!

— Да ты погоди доносить и радоваться,— сказал Хворостянкин.— Не петушись... Такой вагон нельзя построить! Где материалы? Где рабочая сила? Где деньги?

— Про это не могу знать.

— Вот то-то...— проговорил Хворостянкин, подумав: «Вертихвост какой-то».— Ты вот что, напиши мне свои соображения насчет невозможности степной торговли...

Он проводил Шамрая и тут же на дороге встретил кладовщика.

— Садись, Гордей... Выспался?

Левушкин сел, утвердительно кивнул головой. Это был мужчина невысокого роста, сутуловатый, с животом, на котором, подцепленный к поясу, постоянно висел, позвякивая, пучок ключей, всех размеров и всех сортов. «Ключник, злой разлучник... Этот все сделает — куда поверни, туда и пойдет...»

Хворостянкин кашлянул и сказал:

— Гордей, нужна письменная докладная.

— Могу любую изделать,— ответил Левушкин, поворачивая ладонь, как лопаточку.— Тебе, Игнат Савельевич, так или эдак?

— Погоди, выслушай,— сказал Хворостянкин, а про себя подумал: «Ай, мот, ай, мот, свет таких еще не видал!.. Нет, по всему видно, надо его побыстрее выкурить из кладовой...»

— Понимаю и вполне,— кратко отвечал Левушкин, когда Хворостянкин в двух словах сообщил ему, что от него требуется.— Белую материю, каковую мы на простыни покупали, можно припрятать... Строительный материал тоже... Сказано,— ничего такого нет,— и, значит, нету...

Тут он усмехнулся, но так заискивающе-противно, что Хворостянкин скривился:

— Ну, иди, иди...

И Хворостянкин, оставшись один, склонился на стол, ощутив в отяжелевшей голове неприятный шум. «Тот радуется и ни черта не смыслит, тот собой гордится, а тот уже не подчиняется,— думал он, чувствуя резь в глазах.— А этот все может... И меня, ежели доведется, продаст за грош...»

— Игнат Савельевич, а я все слышал...

Хворостянкин поднял отяжелевшую голову и увидел у стола Бородулина. Тот улыбался и щурил глаза.

— Ну и что? Чего ты по-кошачьи жмуришься?

— Не советую, Игнат Савельевич, кипятиться и шуметь,— он лег грудью на стол, и глаза его совсем закрылись.— На друзей не надейся — подведут... Что они тебе говорили? Один Левушкин готов и в огонь прыгнуть, да что толку от этого дурака?... Да и то сказать: партбюро — это что, оно было закрытое. Поругали там тебя втихомолку, и никто не слышал... Тайна. А ежели Татьяна вынесет весь этот сор из избы да поставит на общее собрание колхоза,— а она это сделает, убей меня бог, сделает! — тогда что? Да с тебя клочья будут сыпаться, вот что... А зачем прежде времени подвергать себя опасности? Татьяну, ежели что, можно и по-другому усмирить... по-мирному, без критики... Баба!

— Ты так думаешь?

— И думаю и советую.

— Эх, ты, не Антон Антонович, а черт с кошачьими глазами!

Хворостянкин толкнул кулаком секретаря в грудь и рассмеялся. Он хотел еще что-то сказать, но в это время, не постучавшись, вошла Татьяна.

— Что же, Игнат Савельевич,— сказала она своим звонким голосом,— будем созывать заседание правления или начнем не на шутку ругаться? Говори прямо!

Хворостянкин успел краем глаза посмотреть на Бородулина,— тот совсем незаметно моргнул и повел бровью.

— А чего же нам ругаться? — любезно заговорил Хворостянкин.— Только, Татьяна Николаевна, так же нельзя, ей-богу, нельзя, не годится. Тут же мужчины, а ты вошла и не поздоровалась... Нехорошо, не по-казачьему... Сперва давай поздороваемся... Вот так... А рука у тебя хоть и маленькая, а крепкая... Эй, Антон Антонович,— обратился он к Бородулину,— чего ж ты сидишь? Я же тебе давно говорил: созывай на вечер правление с активом, да пригласи и бригадиров.

Он приятно улыбнулся Татьяне — так, точно говорил: вот, мол, я какой, дела у меня горят,— и, пододвинув ей стул, попросил садиться.

XII

До отъезда Сергея в Москву Кондратьеву хотелось теперь же, никому не доверяя, еще раз самому просмотреть и уточнить план и не в кабинете, а, так сказать, на местности. Ему нужны были более точные данные о наличии в районе лесопосадочного материала, и по этой причине Кондратьев решил побывать на Чурсунском острове, там он ни разу еще не был. Требовались полные данные о том, где и как будет добываться строительный камень, и Кондратьев наметил себе выезд к горе Очкурке — к месту, очень богатому светлосерым, с искрой, известняком: необходимо

было на месте посмотреть, как лучше устроить разработку и какой дорогой удобнее всего будет вывозить каменные плиты. Кроме того, ему пришла мысль взять, как он говорил, «на выдержку» один колхоз и повнимательнее изучить и его финансовые возможности и его рабочую силу: сколько человек можно послать на посадку леса и на строительство водоемов. Выбор его почему-то пал на отдаленный хуторской колхоз «Дружба земледельца». Еще интересовали Кондратьева малые горные реки, воду которых предполагалось направить во вновь сооруженные проточные водоемы.

С этой целью Кондратьев и предпринял поездку по району, надеясь внести еще кое-какие поправки в тот проект плана, который Сергей увозил с собой в Москву... Вначале он побывал возле горы Очкурки и установил, что место для каменоломни есть очень хорошее, но что к самой Очкурке неудобный подъезд: необходимо расчистить и в нескольких местах расширить дорогу. Затем проехал берегом Невинки, осмотрел заводи, овраги, лески и кустарники, камыши и низины и, направляясь в «Дружбу земледельца», спустился на поля Усть-Невинской. Тут, под горой, совсем случайно встретилась ему вереница быков — пар шесть, не меньше! Запряженные цугом, они тянули грузный и неуклюжий, на широченных колесах локомобиль со склоненной трубой, издали похожей на дуло орудия. В воздухе взлетали кнуты, а погонычи, подымая шум и гам, изо всех сил погоняя уже мокрых и сильно приморившихся быков, выкрикивали на разных тонах: «Гей-гей! Цоб! Цобе! Цоб! Гей-гей!» На средине подъема крик погонычей стал сильнее, и быки, ложась на ярмо, от чрезмерной тяжести становились на колени, а железная гора с черной трубой уже не двигалась с места.

— Клинья! Клинья кладите под колеса!

И когда Кондратьев велел своему шоферу остановиться, деревянные, с железной оковкой клинья уже были положены под задние колеса, от чего натянутая струной цепь ослабла и мокрые быки, тяжело и порывисто дыша, остановились, понуря головы.

Локомобиль был очень стар, и казалось, что за свою долгую жизнь он износился и измучился; все его тело

покрылось синяками и подтеками; всюду лежали застаревшие латки, рубцы и шрамы, конопатые следы от ржавчины, и только один медный свисток был так начищен, что пламенем горел на солнце.

Трое мужчин — те, что подкладывали под колеса клинья,— покашливая и почему-то виновато улыбаясь, подошли к Кондратьеву. Двое из них оказались Кондратьеву незнакомыми, а третий был Стефан Петрович Рагулин — старик все такой же живой и проворный, с засученными рукавами и со сбитой на затылок кепкой.

— Хороший нам достался паровичок,— сказал он, здороваясь с Кондратьевым,— только малость тяжеловатый...

— Куда вы его буксируете?

— Везем к себе...— Рагулин наклонил голову и, разговаривая, не смотрел в глаза секретарю.— Поставлю рядом с молотилкой... Пусть стоит... На всякий случай.

— Какая ж в том надобность? Стефан Петрович, или вы не верите в электричество?

— Верить-то мы верим,— Рагулин поскреб затылок,— а только на всякий случай невредно иметь паровичок, как бы для подмоги... В электричество-то и я лично верю, а вот в ученость своего Прохора не верю... Спалил же мотор!.. А ежели такое несчастье случится в разгар молотьбы?

— Зря, Степан Петрович, стараешься,— сказал Кондратьев,— по виду это такой паровик, что в случае какого несчастья из беды не выручит... Только напрасно быков надрываете.

— Быкам трудновато — это да,— задумчиво проговорил Рагулин.— Надо было трактором зацепить эту сатанюку. Я просил, а Чурилов не дал... «Паровик, говорит, бери, он тебе здорово пригодится»,— а трактор на переброску пожалел...

— Николай Петрович,— заговорил все время молчавший моложавый на вид мужчина, русоголовый, с острым носом и блестящими серыми глазами,— вот вы спрашивали: дескать, верим или не верим мы в тот моторчик, что примостился на молотилке? Понимаю:

вам, как секретарю райкома, хочется знать, как люди смотрят на электричество... Буду про себя говорить. По специальности я машинист, вырос возле этого локомобиля и скажу откровенно: в электричество я верю, сила в нем большая, и в будущей нашей жизни оно сыграет свою роль,— а вот во многом все-таки сомневаюсь... Есть в душе нерешенные вопросы... Ну, электричество — это пустяк, мы его уже в этом году освоим, и никаких сомнений не будет... А взять вопрос политический. Сказать так: я, машинист локомобиля, активно строю коммунизм и сам лично верю в эту победу, а только во многом сомневаюсь, сами по себе подымаются вопросы, а ответить на них не могу... Вот это загадка!

— Какие ж у тебя сомнения и вопросы? — спросил Кондратьев.

— Егор, да погоди ты со своими вопросами! — гневно сказал Рагулин и обратился к Кондратьеву: — Николай Петрович, давайте решим такое сомнение: как нам и быков сберечь и паровик на гору вытащить?

Машинист отошел в сторонку, обиженно поглядывая на Рагулина. Кондратьев хотел что-то ответить Рагулину и потом заговорить с Егором, но в это время послышался стук копыт о сухую землю — к ним на рысях подъехал Андрей Васильевич Кнышев. Не слезая с коня, старик приветствовал Кондратьева и Рагулина, потом снял с плеч бурку и не по летам молодцевато соскочил на землю.

— А я, Стефан Петрович, спешу к вашему коневоду,— сказал Кнышев.— К молодому еду за советом... Найду его дома?

— Должен быть на месте,— сказал Рагулин, озабоченно посматривая на быков.

Кондратьев вынул коробку папирос. Все закурили.

— Стефан Петрович,— сказал Кондратьев,— тут недалеко, я видел, стоит тракторный отряд. Пошли на моей машине разбитного паренька: надо пригнать трактор. Я напишу бригадиру, думаю, поможет. А быков распрягайте и пускайте на выпас...

Стефан Петрович, казалось, только этого и ждал. Он сам взялся выполнить поручение Кондратьева, и расторопный мальчуган быстро был найден среди погонычей. Парень с достоинством взял у Кондратьева записку, сел рядом с шофером, гордо улыбнулся, и машина, сделав по косогору круг, быстро скрылась за бугром. А стоявшие возле локомобиля все разом, как бы по уговору, отошли в сторонку и уселись на траву. Тут табачный дым всем показался еще слаще,— над головами вился сизый туман. Андрей Васильевич Кнышев, заметив, что собирается неплохая компания, что тут будет с кем поговорить, тоже решил немного отдохнуть; он привязал повод коню к ноге и, расстелив бурку, прилег возле Кондратьева на бок, как ложатся табунщики.

Минуту или две курили молча, очевидно наслаждаясь папиросами, и каждый раздумывал, о чем же начать разговор. Кондратьев искоса посматривал на Егора,— было видно, что он желал встретиться с ним глазами, но машинист, подперев руками подбородок, курил и задумчиво смотрел на косогор, по которому уже паслись быки.

— Егор, так ты и не сказал,— заговорил Кондратьев, отыскав в траве лиловый цветок чебреца,— какие у тебя возникают сомнения и нерешенные вопросы?

— Тогда меня Стефан Петрович перебил,— ответил Егор, выпуская ноздрями дым,— а теперь уже как-то неохота возобновлять этот разговор.

— Почему же неохота? — Кондратьев сорвал еще один цветочек чебреца и стал рассматривать его со всех сторон.

— Как раз и время для таких разговоров,— вмешался Рагулин,— все одно сидим без дела...

— А сумеете ответить? — Егор смело, в упор посмотрел Кондратьеву в глаза.

— Постараюсь,— сказал Кондратьев, собирая в руке уже пучочек чебрецовых цветков.

Егор приподнялся, подогнул ногу, жадно затянулся и, бросив папиросу, сказал:

— Только отвечайте не вообще, а с примерами...

Теоретически я и сам кое-что понимаю, а вот чтобы реально... Сумеете реально сказать?

— Это уже смотря по тому, какие будут вопросы,— ответил Кондратьев, любуясь цветком.

Егор сорвал крупный и сочный лист подорожника и, рассматривая его, будто желая там что-то прочитать, некоторое время сидел молча. Стефан Петрович и Андрей Васильевич в это время переглянулись, почему-то пальцами потрогали свои Золотые Звезды, и на их старческих лицах появилась улыбка. Подошли погонычи, уселись поодаль и тоже приготовились слушать.

— Вопрос простой,— сказал Егор, что-то читая на листке подорожника: — как мы будем жить при коммунизме?.. Стефан Петрович и Андрей Васильевич, вы хоть и Герои Труда, а не жмурьте глаза и не усмехайтесь. Это разговор сурьезный, и такой вопрос ныне у всех на уме... Послушайте, что люди говорят...

— А ты слышал? — спросил Кондратьев, нюхая сиреневый пучочек цветов.

— Доводилось...

— Ну, и что же они говорят?

— Разговор, конечно, бывает разный, всего не упомнишь,— Егор все еще рассматривал лист подорожника, пробуя ногтем выпуклые прожилки.— Старые люди, так те жалуются: «Да когда ж это будет, да мы и не доживем...» Подумаешь — и правда. Я вот еще и не старый, а тоже говорю сам себе: когда ж мы достигнем той жизни?

— А как ты сам думаешь? — спросил Стефан Петрович.

— Думать-то я думаю, а решить не могу... Теоретически выходит, а чтобы представить себе реально...

— Недавно я был в Москве: ездил получать эту награду,— перебил его Кнышев; старик сидел по-горски, поджав ноги, поглаживая куцо подрезанную, почти белую бородку, а рука припала к груди, к тому месту, где была приколота Золотая Звезда «Серп и молот».— Ты, Стефан Петрович, ездил рано весной, а я чуток попозже... Да, так вот после торжественного вручения,

когда мы стали Героями, пригласил нас к себе на беседу Иосиф Виссарионович. Были, конешно, среди нас и молодые Герои, а Иосиф Виссарионович подсел ближе к нам, старикам. Ну, стало быть, разговорились о жизни, о прошедшем и о будущем и тут же коснулись коммунизма. Иосиф Виссарионович как-то так, к слову, похвалил всех нас за старания, а потом говорит: вот, мол, все вы, кто своим трудом в колхозах прославился, и есть самые передовые зачинатели коммунизма. Тогда один старик, из себя такой простой чабан, живет на Дону, встал и отвечает: «Верно, Иосиф Виссарионович, мы зачинатели той новой жизни, а только обидно, что года подоспели: новый дом построим, красоту в нем наведем, а войти на жительство в тот дом не доведется...» Иосиф Виссарионович слушал внимательно, а потом улыбнулся: а почему ж, мол, не доведется? Герои Труда, передовые люди, так отчего ж не доведется вам войти в тот дом? А я думаю, доведется. Сказать так: мы с вами не такие уж и старики, и скажу вам, что войдем мы в тот новый дом, да еще и поживем в нем вдоволь... Вот и ты, Егор, так отвечай тем пожилым людям... Ежели во что веришь, так завсегда и достигнешь...

— Вот это сказано по-моему! — одобрительно отозвался Рагулин.

— Да, ваш ответ, Андрей Васильевич, весьма удачный,— согласился Кондратьев.

— А главный вопрос? — взволнованно говорил Егор, проткнув пальцем лист подорожника.— А жить как будем?

— Да разве ты еще не знаешь? — удивился Рагулин.— Эх, ты, машинист! Тогда будешь стоять на такой работе, каковая по твоим силам и по твоему уму, а получать столько, сколько потребуется. Вот тебе и весь ответ.

— Да я это знаю,— Егор разорвал лист подорожника на мелкие кусочки.— Теоретически опять вроде как бы и получается. Ну, а на практике, кому, скажи, охота будет на практике трудиться, стараться, вот как зараз мы стараемся, когда можно работать так

себе, с прохладцей,— все одно получай не свое кровное, заработанное, а сколько хочешь,— Егор развел руками.— Какая же это жизнь? Никакого тебе стимула!..

— Вот о чем беспокоится! Да стимул тот уже и зараз есть,— сказал Стефан Петрович, озорно подморгнув Кондратьеву.— Ты, Егор, хоть и считаешься образованным человеком, машинист, вроде бы из интеллигентов, сказать, там разную технику знаешь, а в простой нашей жизни ничего не смыслишь...

— Как так не смыслю? — с обидой в голосе буркнул Егор.

— А вот как.. Ты погляди на наших людей и тот стимул у них увидишь. Скажи, разве мы зараз для личной наживы всюду такой горячий труд применяем? Допустим, взять меня. По своим летам я бы давно мог лежать на печи и, как говорилось в старину, поплевывать в потолок. А я не лежу. И не простую работу исполняю, а колхозом руковожу... А почему я не ухожу на покой? Да потому, что не могу жить без дела... А что это такое есть, объясни! Не можешь... Это и есть тот самый новый стимул, с каким мы и войдем в коммунизм... Или мой ровесник Андрей Васильевич — вот сидит с нами. Почему он при старости лет джигитует на коне и там разную новую конскую породу выращивает? Что у него, или горе какое, или нужда? Или он на этой новой породе миллионы наживает? А человек трудится, да еще и как трудится! Вот тебе, Егор, и стимул! А наши стахановки-девчата, что звеньями высокого урожая командуют,— разве это тебе не новый стимул? А те передовые рабочие, что свою пятилетку на три года вперед решают,— разве это не стимул? А таких людей у нас не мало,— посмотри хотя бы на наш колхоз...

Стефан Петрович увидел одобрительную улыбку Кондратьева и хотел было на примере своего колхоза полнее развить мысль, но в это время, точно из глубины земли, долетел глухой гул и на горе показался гусеничный трактор в сопровождении легковой машины. Стефан Петрович пообещал Егору в другой раз поговорить на эту тему, и все встали...

Когда локомобиль легко покатился за трактором, оставляя на рубчатом гусеничном следу широкий оттиск своих колес, Кондратьев, уже сидя в машине, записал себе в блокнот: «Новый стимул труда... Тема для беседы с агитаторами...»

XIII

Побывайте в верховьях Кубани, проезжайте берегами двух Зеленчуков — Малого и Большого,— и вы непременно увидите странное смешение казачьих и черкесских поселений: что ни ущелье, то и цепочкой тянутся аулы,— лепятся они, точно в страхе, один к другому; что ни речная долина, то и раскинулись зеленые шатры старинных казачьих станиц,— изогнутой линией выстроились Беломечетенская, Усть-Джегутинская, Красногорская, Кардоникская, Зеленчукская, Исправненская, Сторожевая, а вокруг них утопают в садах хутора... Приглядишься, подумаешь, и забытой картиной встает перед глазами то далекое время, когда вот здесь, по этим холмам и скалам, стояли кордоны и крепости; когда по этим ущельям шумели набеги, а казачьи и горские поселения обозначали собой две враждующие линии... Ныне все это давным-давно ушло из памяти, и только кое-где, как островки на море, еще стоят на отвесной скале сторожевые башни, темные и мрачные, совсем уже хилые, изъеденные дождями, полуразваленные и никому не нужные... И примечательно то, что в наши дни внимание проезжего привлекают не остатки сторожевых башен с пустыми глазницами бойниц, а усадьбы машинно-тракторных станций, степные городки коневодческих совхозов, кошары и базы животноводческих ферм,— как маяки, возвышаются эти новые строения на всем пути от Невинномысска до Преградной. А после войны к этим постройкам прибавились уже очень-таки красивые домики гидроэлектрических станций: стоят они на реках и речонках, а от них по горным ущельям, мимо остатков сторожевых башен, из одного населенного пункта в другой тянется сеть высоковольтных проводов.

Куда ни взгляни — столбы и столбы шагают степью, и парами, и в одиночку; шнурками белеют серьги — изоляторы; горят на солнце алюминиевые провода, и тянутся они по улицам станиц и хуторов, мимо домов и сараев. Как нельзя кстати поются теперь слова старинной песни: «Мимо нашего двора — дорога столбовая...» Дескать, поезжай — не заблудишься! Вот именно по такой «столбовой дороге» ехал Кондратьев, не заблудился и приехал на хутор «Дружба земледельца», как раз во двор колхозного правления.

Пожалуй, это был один из тех немногих степных хуторов, которые, как правило, прячутся от людского глаза в какой-нибудь безыменной балке, идущей широким размахом к реке, а за рекой, на бугре, как на солнцепеке, стоит черкесский аул Псаучеше,— белые каменные заборы, как пояса, обхватывают тоже белые и тоже каменные сакли. Хуторяне отличаются от своих заречных соседей разве только тем, что сады и вообще деревья, а в особенности серебристый тополь и белая акация, у них пользуются особым почетом; поэтому над хутором всякая растительность поднялась так буйно и сочно, что даже с горы — и то уже не видно ни домов, ни сараев, ни заборов; а самая улица, широкая и просторная, напоминает лесную просеку, насквозь пронизанную линией столбов. Но как только вы въезжаете в хутор, то зелень сразу как бы раздвигается, и вы видите — там белую стену и на ней окна со ставнями под цвет неразбавленной синьки, там дощатую изгородь с калиткой, а за изгородью палисадник с цветами; там дома с вывесками «Клуб» или «Школа», там амбары, побеленные известью; а в центре хутора — просторный хозяйственный двор; с кузнечной и плотницкой мастерскими, с сараями и кладовыми, с навесами для инвентаря, с косилками и сноповязалками, уже готовыми к выходу в поле...

Во дворе правления, в тени, под белолисткой, стоял низкорослый конь темногнедой масти. На нем была расшитая попона, высокое седло, пуховая подушка,— мягкая шевровая кожа вытерта до блеска; бурка свернута трубкой и приторочена к седлу, нахвостники и

нагрудники в серебре... Кондратьев только взглянул на коня и сразу понял, что сюда приехал кто-то из горцев... И он не ошибся. В кабинете Головачева, в крохотной комнатке, где с трудом вмещались стол и деревянная со спинкой скамейка, находились хозяин и гость. По их возбужденным, горячим лицам было видно, что с приходом Кондратьева им пришлось прервать какой-то очень жаркий разговор, чему они оба немало обрадовались. Иван Кузьмич Головачев, поглаживая свои мягкие пшеничного цвета усы, встретил секретаря райкома радостной улыбкой, как бы говоря: «Вот хорошо, что ты приехал, а то этот сосед изрядно мне надоел...»

— Познакомьтесь, Николай Петрович,— любезно заговорил Головачев.— Это мой сосед и друг Анзор Абдулахович... Мы тут беседовали...

Анзор Абдулахович, подтянуто стройный, быстро встал, пожал Кондратьеву руку своей сухой и очень твердой рукой и снова сел.

— Территория моя тут, по соседству,— заговорил он с заметным нерусским акцентом.— Тебя я знаю хорошо... И Сергея знаю... И Усть-Невинскую знаю... А как же! Соседи!.. Я председатель аулсовета Псаучеше — по-русски «Красивая жизнь»... Тут, за речкой.

Кондратьев слушал и любовался чересчур смуглым лицом Анзора и его сильными, жилистыми руками, которыми тот сжимал плетку. На нем были суконные галифе, длиннополая рубашка с твердым, густо простроченным воротником, подхваченная узким кавказским пояском. Горбоносое его лицо с бугристыми и жесткими бровями было так опалено солнцем, что назвать его смуглым никак нельзя,— скорее оно было коричнево-черное, под цвет дубовой коры. На голове у него примостилась белая войлочная шляпа со спадающими полями, из-под этих полей смотрели молодые, с каким-то синим блеском глаза.

— А о чем у вас была беседа? — спросил Кондратьев.

— Псаучеше нужен Панкратов,— начал Анзор, блеснув глазами из-под шляпы.— Надо нас выручать, а Иван, мой сосед, Панкратова запнрещил...

— Панкратова я тебе не дам, и не проси,— сказал Головачев, поглядывая своими светлыми глазами на Кондратьева, и этот его взгляд точно говорил: «Поглядите на этого настырного джигита... И что тут с ним делать?..»

— А почему заперещил? — спросил Анзор.— Должен дать...

— Было время — жил Панкратов у тебя по неделям, а теперь он мне самому вот как нужен! — и Головачев провел пальцем по кадыку.— Ну, что поделаешь! Николай Петрович, бьюсь с ним уже более часу...

— А о чем все-таки у вас разговор? Что это за Панкратов?

— Хо! Панкратов — человек большой! — сказал Анзор.— Умная башка! Чаля даго... хорош парень... Хох! Чаля даго...

— Погоди, Анзор Абдулахович, расхваливать Панкратова,— вежливо проговорил Головачев.— Зараз я сам поясню, какой Панкратов... чаля даго... Тут, Николай Петрович, дело такое. В нынешнем году в Псаучеше построили водяное колесо, а к нему приспособили какую-то динамку — так, сооружение вышло на скорую руку и на живую нитку. Сказать, вся эта водяная гэс сильно примитивная: день кружится, а два стоит. Но пока у них был свой электрик, дело коекак шло, а теперь этот парень уехал учиться, и вот результат: чуть что — идут ко мне на выручку... Вот поэтому Панкратов и стал парень чаля даго...

— Хо! Хо! — задумчиво проговорил Анзор.— Панкратов — хорош механик, ой, как хорош!.. Чаля даго... Зачем заперещил?..

— Ну, и пусть поедет и поможет,— сказал Кондратьев.— Пошли, дело нужное.

— Да как же я его пошлю? — Головачев развел руками.— А свои дела? Завтра сноповязалки выйдут в поле, а Панкратов у меня возле них главный механик... Как же я без него? Не могу, Анзор Абдулахович, не могу...— Тут Головачев усмехнулся, и в его ясных глазах засветилась нарочито скрытая мысль.— Да тут еще, Николай Петрович, я побаиваюсь, как бы Панкратов в том Псаучеше и насовсем не остался:

там же у Анзора полный аул красавиц, гляди, парень и увлечется и останется в зятьях... А это мне большой убыток... Я без Панкратова — как без рук.

— Ай-я-я, Иван, какой ты нехорош сосед, зачем заперещил?.. Панкратов чаля даго...

— А ты, Анзор Абдулахович, не обижайся... Все для тебя сделаю, а Панкратова не дам...

— Завтра вечер кино Псаучеше,— сказал Анзор, склонив голову так, что шляпа упала на пол,— а Панкратов заперещил, все пропало...

— Иван Кузьмич,— сказал Кондратьев,— а мы это дело решим так... Зови самого Панкратова. С ним все и обсудим.

Отыскать же Панкратова не удалось. Посланный за ним мальчуган вернулся и сказал:

— Везде бегал, а его все нету...

Печальным взглядом Анзор посмотрел в окно на своего дремавшего в тени коня, затем встал, сердито ударил плеткой о голенище, попрощался и вышел. Головачев и Кондратьев видели в окно, как Анзор с разбегу вскочил в седло, взмахнул плеткой, гикнул и прямо со двора погнал коня в галоп.

— Улетел,— проговорил Головачев, еще глядя в окно.— Ой, хитрый же, чертяка! Та динамка у них часто портится — это верно, а о главном предмете он же не сказал.

— Какой же это еще главный предмет?

— Дочка его Фаризат... Там такая красавица, что во всей Черкессии такой не сыскать. Вот Анзор и метит нашего Панкратова себе в зятья — тут-то оно и главная собака зарыта... И, веришь, Николай Петрович, я сильно побаиваюсь. Та самая Фаризат дюже собой привлекательная. Недавно она в Черкесске институт окончила. Теперь учительницей работает в школе... Идет по аулу, а две черные косы свисают на грудь, глаза темные, а сама стройная,— ну, одним словом, засмотришься. И Панкратов с нею через ту самую динамку уже познакомился...

— Что-то я этого Панкратова не знаю,— задумчиво проговорил Кондратьев.— Кто он такой?

— Да как же ты его не знаешь? — удивился

Головачев.— Очень даже хорошо знаешь! Костя-комсорг!

— Костя! Комсомольский вожак?

— Он самый... Ну, парень голова! Действительно, чаля даго!

— Костю-то я знаю...

Кондратьев склонился на подоконник и задумчиво посмотрел на широкую, заросшую травой улицу, по которой верхом на хворостинах мчались трое мальчуганов и две девочки...

XIV

Дом Головачева, куда Кондратьев был приглашен обедать, так надежно прятался за садом, что с улицы, сквозь сочную листву, чуть-чуть виднелись окна на белой стене, как на экране. Стеклянная терраса была обращена во двор, к западу, и солнце, опустившись довольно низко, уже полыхало в стеклах жарким полымем. Небольшой, с одним сарайчиком и сажком, двор был покрыт пышными кустами «веничья» — красивого декоративного растения, из которого на Кубани делают метлы и веники. От калитки к дому вела дорожка, обсаженная гвоздикой и петушками.

— Жена дюже обожает эту зелень,— идя сзади и как бы в чем оправдываясь, сказал Головачев.— А вот и мой ангелочек!

В дверях террасы, как в рамке, стояла красивая женщина лет тридцати, невысокого роста, полногрудая, с голыми до плеч руками, которые она прятала под фартук.

— Иван,— сказала она сочным голосом, озорно поведя бровью,— ты хоть при людях не называй меня этой глупой кличкой!

— Алена, это я из любви... Чувство! — Головачев обратился к Кондратьеву: — Жена у меня молодая, так сказать, вторично нажитая... ну и за словечком в карман не лезет...

— «Чувство»! — передразнила Алена.— А разве оно у тебя есть?

— Ну, Алена, не шуми... Собери-ка нам обед.

Все три окна выходили в сад, листья стояли темно-зеленой стеной, отчего в горнице было сумрачно и прохладно; почему-то пахло лесом, скошенной травой и гвоздиками. Обстановка в горнице была обычная: кровать на пружинной сетке, с горкой малых и больших подушек, с ковриком, на котором изображена непомерно грудастая русалка и плывущий лебедь; стол с фотографиями и баночками от пудры и помады, зеркало, обрамленное венком из живых цветов; стулья, диван, этажерка с книгами... Окна не закрывались ни днем, ни ночью. Ветка сливы с гроздьями еще зеленых, в сизой пыльце плодов свисала прямо на подоконник. Кондратьев сидел на диване, смотрел в сад, заметив на развилке ветки крохотный клубочек шерсти и ваты. Из этого клубочка выглядывали желторотые, совсем крошечные птенцы. Вскоре сюда прилетели две птички с червячками в клювах, игрушечно-маленькие, вполовину меньше воробья, но такие нарядные, с такой красочной расцветкой шеи, спинки и крыльев, что Кондратьев, любуясь ими, невольно улыбнулся... «И чего он так смотрит в сад и про себя усмехается? — подумал Головачев.— Неужели знает о моих делах на мельнице у Хохлакова... Наверное, знает, а то чего бы ему смотреть в сад и усмехаться...» С улицы доносился частый звон наковальни. Где-то жалобно и тревожно ржал жеребенок. Вдали гремела бричка. Мимо окон проскакал мальчуган на коне без седла.

— Посыльный помчался,— пояснил Головачев.— Зараз сойдутся. У нас народ любит собрания... И бухгалтерия все приготовит... «Дружба земледельца», ежели что государству нужно, постарается и завсегда будет впереди...

Головачев тоже посмотрел в сад, но не увидел ни гнезда, ни птичек, сжал в кулаке усы и подумал: «Молчит, а глазами опять уставился в сад... И чего он все туда смотрит?.. Может, ему собрание для другой цели требуется... Выйдет перед народом и скажет: «Иван Кузьмич, а почему вы не уплатили Хохлакову гарнцевый сбор?..» От этой мысли ему стало грустно, и, чтобы не показать эту грусть гостю, он улыбнулся и сказал:

— Николай Петрович, а тихо у нас... Покой... Сюда бы умственных людей на поправку... Тут любую нерву легко вылечить, лучше всякого курорта...

— Да, живете вы тихо,— сказал Кондратьев, продолжая смотреть в сад.— Трактор не загудит, комбайн тоже... Тишина!

— Намекаешь? А я же знаю, на что намекаешь,— сказал Головачев.— Не загудит, верно... Обходимся... без моторов... Все подымаем тяглом да руками...

— И долго будете так... обходиться?

— Как само дело покажет... Пока есть расчет.

В светлых больших глазах Головачева таилась какая-то одному ему известная и скрытая от всех мысль... «Зачал разговор с тракторов да с комбайнов,— думал он,— а потом к мельнице доберется: «А как там вы с Хохлаковым гарнцевый сбор собирали?..»

— О каком же расчете идет речь? — Кондратьев так пристально посмотрел на Головачева, точно хотел своими суровыми глазами сказать: «Я тебя спрашиваю так, для виду, ибо сам я все давно знаю...»

— Ну, сказать, своя выгода, хозяйственная выгода... У соседей как? Не будем же скрывать истину... Трактор вспахал — плати, поборонил — плати, посеял — плати, за культивацию — само собой плати... Комбайн вышел на загонку, косил или только портил,— а платить плати... И все не деньгами, а натурой. А мы обходимся без метесе, и вся эта натура идет на трудодни... Во оно какая выгода!

В дверях показалась Алена. Она вытирала тарелку рушником, который висел у нее на плече,— очевидно, она накрывала на стол и, услышав разговор, не удержалась и вошла.

— Опять ты, Иван, за свою дурацкую выгоду! — сказала она, обиженно взглянув на мужа.— Товарищ Кондратьев, хоть вы его хорошенько постыдите да на правильную дорогу поставьте... Завсегда о выгоде печалится, машины отвергает, а баб наших прямо заморил на работе... Механизации никакой, все вручную, как у допотопных единоличников... Стыдно даже говорить! А ты чего ус крутишь! Скажешь, неправда?

У соседей мы это каждый год видим: комбайны придут — и в какую там неделю вся уборочная и закончена. А мы на своих токах чертуемся до поздней осени...

Алена, не дождавшись, что скажет муж, ушла.

— Слыхал? — спросил Кондратьев.

— Не привыкать,— угрюмо проговорил Головачев.— Каждый день слышу, еще и похлеще бывает, когда бабам на язык попаду... Но все это один напрасный разговор. Ну скажи, Николай Петрович: разве хлеборобское занятие уморительно? Это ж не то что в шахте или на плавильной печи — жара, пыль. А мы завсегда на солнце, дышим свежим воздухом! К тому же настоящий хлебороб крестьянской работы не боится. Она ему не в тяготу, а на пользу, и у нас именно такие хлеборобы! Работать мы умеем, труда не боимся, зато и погляди, как мы живем! В доме у каждого полная чаша! Свои коровы, свои свиньи, куры... Живем, можно сказать, сыто, при достатке...

— Разве только в этом и счастье жизни?

— А в чем же еще? — удивился Головачев.— Скажешь, есть еще государственные интересы?.. Верно, есть, и мы их соблюдаем... Первую заповедь завсегда первыми выполняем, никаких нарушений устава не допускаем, в кладовой порядок, общественное добро бережем... А чего ж еще? А без метесе обходимся потому, что есть свое тягло, да и народ у нас работящий, ему и без трактора только подавай... Или зараз ты говоришь насчет того, чтобы взяться за природу — леса сажать, пруды прудить, дороги строить. Пожалуйста, «Дружба земледельца» все мероприятия партии и правительства выполняет... Денег отпустим, людей дадим... Чего еще?

— Все это хорошо, но этого еще мало,— проговорил Кондратьев, глядя в сад и о чем-то думая.— И если уже говорить откровенно, не для этого мы колхозы строили...

— А для чего же еще?

— Чтобы не стоять на одном месте, а итти вперед... Да, вперед!.. Ты погоди... Вот я гляжу на ваш хуторок. Стоит он в балке, люди, как ты говоришь, живут сытно и при достатке, а жизнь в нем напоми-

нает заводь вблизи бурной реки. На реке половодье, вот как сейчас на Кубани, вода бурлит, а в заводи зеленеет тина... По старинке живете, Иван Кузьмич, вот в чем твоя беда! Тракторы тебе не нужны, комбайны тоже, а скажи: библиотека есть в колхозе? Нету? А почему ж ее нету? Значит, и книги тебе не нужны? Живете при достатке, а библиотеки нету?

— Да, тут мы, Николай Петрович, недоучли,— сознался Головачев.— А клуб же имеем... Еще до войны построили...

— А что в клубе! Кино бывает? Читки, беседы?.. А радио в домах колхозников? Ничего этого нету... Есть одна вывеска — «Клуб».

— Да ты хоть покрасней, толстошкурый,— сказала Алена, снова появившись на пороге.— Вы спрашиваете о кино и радио? Куда там! Мы электричество — и то с трудом в хутор подвели!.. У моего Ивана есть друг бухгалтер,— сказала она, улыбаясь своими красивыми губами,— так они вернулись с того праздника, что был в Усть-Невинской, подсчитали и говорят: «Электричество — дело хорошее, но оно обойдется дюже дорого, выгоднее светить керосином...» — и вынесли все это на общее собрание, хотели, жадюги, своего добиться, но провалились... Взялись за них комсомольцы, а еще мы, бабы, подсобили, и вот теперь хутор со светом... А про кино и радио — и не говорите!

— Ну, пошла критиковать! — отозвался Головачев.— Критиковать все мастера...

— А ты вдумайся в эту критику,— сказал Кондратьев, поглаживая седой висок.— Вдумайся и пойми... Ваши же люди хотят жить не только сытно и при достатке... Мы стоим на пороге коммунизма, и вот тут, Иван Кузьмич, одного достатка и сытой жизни мало.

— Момент политический, я понимаю,— сказал Головачев.— А только мы и в коммунизм войдем, не отстанем!

— А кто тебя туда пустит? — смеясь, спросила Алена.— Тебя бы возвернуть к тому единоличному времени — там бы ты был как рыба в воде!

— Алена! И что за самокритичная жена! — весело, пробуя отшутиться, сказал Головачев.— А как там у тебя обед?

— Все уже готово,— сказала Алена и ласково посмотрела на гостя.— Прошу вас к столу.

После собрания, которое закончилось в полночь, Кондратьев остался ночевать у Головачева, решив рано утром повидаться с Панкратовым, а тогда уже ехать на Чурсунский остров. Алена постелила ему на диване в горнице. Пожелав спокойной ночи, она постояла у порога и сказала:

— Моему Ивану чутья не хватает... Хозяин он хороший, а без чутья... А собрания он завсегда боится.

— Так и нужно, чтобы боялся,— сказал Кондратьев, снимая пиджак.

— Он-то боится, а только после собрания действует по-своему...

— Алена! — послышался из соседней комнаты голос Головачева.— И чего ты там опять в критику бросаешься? Иди уже спать...

— Иду!

У самого изголовья — окно в сад. Веет степной свежестью, слышится шорох листьев,— очевидно, те крохотные птички еще не спят... Сад темный и таинственно-тихий; сквозь гущу листвы с трудом пробиваются нити света... Тишина и покой разливаются всюду, а там, за темной стеной листьев, гуляет в небе луна, такая полнолицая и румяная, что свет ее, падая на листья и просачиваясь струйками на землю, кажется не белым, а дымчато-розовым...

«Тут бы иметь хоть небольшую группу коммунистов,— думал Кондратьев, заложив руки за голову и прислушиваясь к шороху в саду.— Молодежь у них хорошая, и вожак — парень бедовый, база для роста большая... Панкратова надо принимать в партию. Вот вокруг него и будут расти люди... Только почему же его не было на собрании?.. А Головачева надо либо учить, либо списать в тираж... Отстал и дальше итти не сможет... «Моему Ивану не хватает чутья»,— вспомнил он слова Алены и улыбнулся.— Умная у него жена... Именно чутья, и не простого, а политического...»

Он так размечтался, что не заметил, как раздвинулись ветки и чья-то чубастая голова полезла в окно.

— Николай Петрович, вы еще не спите? — послышался таинственный шепот.— Это я, Панкратов...

Кондратьев поднял голову и, опираясь локтем, удивленно посмотрел на нежданного, но желанного гостя.

— Костя! Ты откуда?

— Так... был в отлучке...

— Ну, заходи, посидим, поговорим.

— Разрешите в окно?

— Зачем же в окно, когда есть двери...

— В двери — боюсь! Головачев услышит... Вам я скажу правду: я не вообще отлучился, а был у черкесов... Тут за речкой ихний аул...

— Динаму чинил?

— Угу... Ее... Вы уже все знаете?

— Не все,— с улыбкой отвечал Кондратьев,— а кое-что знаю... Был здесь Анзор. Не мог он упросить Головачева...

— Я так и знал! — Тут Костя легко взобрался на подоконник и спрыгнул на пол.— И пока они тут разговаривали, я пошел и все исправил... Там и поломка пустяковая...

— И с Фаризат повидался? — спросил Кондратьев.

— Да вы что? — удивился Костя.— Какая Фаризат? Никакой Фаризат я не знаю...

— Ну хорошо,— сказал Кондратьев и, усаживая Костю рядом с собой, спросил: — Ну, как дела в колхозе? Как комсомольское руководство?

— Будто бы идет нормально,— сказал Костя, гордо тряхнув мягким чубом.— Только не легко нам приходится... Вы же знаете нашего преда?

— Хороший хозяин? — спросил Кондратьев, а потом наклонился к Косте и посмотрел на него; в полумраке строгие глаза его точно говорили: «Я-то знаю, и хорошо знаю вашего преда, а вот что ты о нем думаешь, как ты о нем судишь,— вот что я хочу знать...»

— Хозяин-то он, может, и дельный,— рассуди-

тельно отвечал Костя,— а вот по своей натуре он такой, что его следовало бы перебросить в Англию...

— А! Вот как! А зачем же именно в Англию?

— Туда... к консерваторам до кучи,— и Костя, зажимая рот, тихонько рассмеялся.— Очень он большой противник всякой новизны. Если чуть что намечается новое — беда!

— Значит, говоришь, до кучи? — переспросил Кондратьев, о чем-то думая.— А если мы его пошлем не «до кучи», а на годичные курсы председателей колхозов? Что ты на это скажешь?

— Была бы польза...

— Только тебе придется заменять...

— А смогу? — Костя встал и отошел к окну.— Для меня это не под силу.

— Поможем... В партию тебе надо готовиться — вот и покажешь себя на таком важном деле... Ты вот что, присаживайся ближе, поговорим по душам.

Они сидели на диване и говорили, пока роса не смочила сад и не забелело небо на востоке...

Утром Иван Кузьмич проводил за ворота гостя и вернулся в хату. Был он мрачен, сел завтракать, но к пище не притрагивался, на жену не смотрел, а правая рука так и не выпускала сильно помятые усы.

— Ну, радуйся,— сказал он злым и хриплым голосом,— докритиковалась перед секретарем... Чертова баба, распустила язык!

— А что случилось, Ванюша? — участливо спросила Алена.

— Что случилось! — пробасил Головачев.— А то, что на учебу меня посылает... Так и сказал: либо учиться, либо с поста долой... И все через твой язычок...

— Ах, учиться посылают! — нараспев проговорила Алена.— Ну, от этого никто не умирает!

— Знаю, ждала этого! Без мужа хочешь пожить и повольничать...

Головачев встал, отказался есть и, сердито взглянув на смеявшуюся жену, вышел из хаты.

XV

В том месте, где Большой Зеленчук выходит в отлогую долину и разветвляется на две речки, лежит небольшой остров, названный по имени хутора Чурсун, стоящего в трех-четырех километрах от реки. Лежит он с давних времен,— остров как остров, на котором в летнюю пору можно было пасти коней и косить траву, а зимой гулять по заячьему следу... Но это было давно. Лет же пятнадцать тому назад Чурсунский остров облюбовал местный лесовод-самоучка Никифор Васильевич Кнышев, младший брат Андрея Васильевича Кнышева — коневода-героя. Облюбовал, а потом, с ведома и согласия райзо, посеял несколько грядок леса. Семена взошли дружно, а через год среди трав и луговых цветов закурчавились и зазеленели молоденькие дубки и ясени. А еще через год или два появились саженцы тополя, белой акации, гледичии, дерезы, кустики терна, бузины,— так начал свою жизнь Чурсунский лесной питомник.

Когда же появились деревца вышиной в пояс, а гряды расширились и лежали по всему острову, когда стали приезжать сюда на бричках колхозники — первые потребители молодого леса, увозя в деревянных ящиках своих бричек нежные стебельки, обсыпанные сырым черноземом,— в это время на острове появился домик из самана, покрытый черепком. В домике из двух комнат и сенец поселился Никифор Васильевич со своей бездетной женой Анастасией Петровной. В первой от сенец комнате новые жильцы поставили кровать, стол, сундук с книгами, а в соседней разместились квадратные и продолговатые ящики с почвой, взятой в различных местах Рощенского и соседних с ним районов; здесь прорастали семена различных лесных пород, а на стенках висели засушенные стебли и листья деревьев, выращенных на Чурсунском острове,— словом, это была комната, в которой лесовод-самоучка вел научную и исследовательскую работу.

Случилось так, что и деревья и слава Чурсунского острова росли с одинаковой быстротой. В те годы колхозы впервые сажали лесные полосы, и в питомник

весной и поздней осенью приезжали получать деревца-однолетки из самых отдаленных мест, даже из таких степных селений Ставрополя, как Тахта, Нагут, Круглое... Спрос на саженцы был так велик, что приходилось брать на учет каждый росток, и это радовало Никифора Васильевича; в это время он так же, как и его курчавые питомцы, молодел и расцветал. Однако такое хорошее самочувствие лесовода продолжалось не долго. Кампания лесонасаждения быстро прошла, интерес к лесоводству постепенно уменьшился, слава Кнышевского питомника меркла и мало-помалу совсем угасла, и только сам лес, как бы наперекор всему, рос и кустился так буйно и с такой силой, что вскоре на Чурсунском острове поднялась зеленая и косматая грива, издали кажущаяся уже не гривой, а какой-то темной тучей... А с наступлением войны, уже к поздней осени, когда домик опустел и на его окнах поверх ставней крест-накрест лежали доски, на острове большой партией поселились грачи: картавя, они шумно перекликались, хмарой застилали и до того темное и сумрачное небо, а внизу, на уже голых деревьях, частыми точечками темнели гнезда...

Наконец наступил тот день, когда с фронта вернулся Никифор Васильевич Кнышев. Оставаться в станице не захотел, его тянуло в лес, и он взял свою Анастасию Петровну и снова поселился на острове. Но, пока он воевал, Чурсунский остров был передан «Лесхозу», и новые хозяева наотрез отказались открывать лесопитомник, заниматься сеянцами и саженцами; директор «Лесхоза» предложил лесоводу расписаться в получении ружья и стать лесником. Никифор Васильевич молча выслушал приказ директора, расписался и взял полагавшееся ему ружье, но не упал духом и не сдался. Он стал все чаще и чаще ходить в район: жаловался, доказывал важность и необходимость восстановления лесопитомника. Его слушали невнимательно, с грустными улыбками, обещали, успокаивали и ничего не делали. Тогда он стал писать жалобы в край, в министерство, и все его хлопоты кончились тем, что питомник был все же открыт, но жизнью острова никто не интересовался, а в «Лесхозе» попрежнему

считали Никифора Васильевича не лесоводом, а лесником.

Давным-давно распахнулись не только ставни, но и рамы в доме лесничего; как бывало и прежде, курилась по вечерам труба, и дым не тянулся к небу, а сизым полотнищем расстилался по кустам. Грачи видели хозяина и хозяйку леса, кричали еще дружнее и громче и гнезд своих не покидали.

— Никифор, ты бы их хоть из ружья попугал,— советовала Анастасия Петровна,— а то от ихнего крика голова разваливается...

Никифор Васильевич, часто прохаживаясь по зарослям, хотел было послушаться жену и истратить на эту неспокойную птицу несколько зарядов, но рука у него не поднялась. «Пусть себе орут, с ними жить будет веселее...» — думал он, разряжая двустволку.

В самом же деле и грачиные песни не могли сделать жизнь лесовода веселее. Вернувшись сюда через четыре года, он сперва не мог узнать свой остров: там, где когда-то были грядки с сеянцами, теперь стояли рослые дубки и ясени; повсюду красовались высоченные тополя, развесистые вербы, белолистка, а перед глазами вставала такая темная заросль, что там уже без топора и не пройти... А через год нельзя было узнать и самого Кнышева: он оброс густой, с яркой проседью бородой; лицом был мрачен, заметно постарел, осунулся, стал нелюдим, неразговорчив, на лес смотрел горестным взглядом, и в больших его глазах часто с душевной горечью смешивалась слеза... И хотя грядки он все же вскопал, удобрил почву, просеял семена и дождался всходов, но уже не было у него прежней любви к этим молодым и нежным росткам. «Никому мои хлопоты теперь не нужны,— думал он, присаживаясь к грядке и разговаривая с тоненьким дубком.— Вот ты, курчавый молодчик, вырастешь на этом острове, а потом тебя срубят — и все...» Часто сюда приезжали лесорубы с лошадьми и быками, и всегда в сердце Никифора Васильевича болью отзывались и звон топоров, и плач пил, и стук подвод, едущих с бревнами...

На берегу, в том самом месте, где тянется наис-

кось через всю речку мелкий шумливый перекат, растет высокая и ветвистая белолистка,— ствол у нее светлосерый, бугристый, кора с трещинами, по которым, как по ущельям, снуют головастые, желтой окраски муравьи. Именно у этой белолистки Никифор Васильевич любит посидеть, помечтать; ему всякий раз, слушая убаюкивающий шум воды, приятно было вспоминать, как когда-то ранней весной он впервые пришел на остров и воткнул на берегу прутик белолистки, срезанный в станице... Стоит теперь, как памятник тому далекому времени, мощное дерево, а под ним, опираясь спиной о ствол, сидит бородатый и мрачный на вид мужчина. Он склонил тяжелую кудлатую голову, смотрит себе под ноги и как бы прислушивается к тому, о чем говорит река на перекате... А день стоял жаркий, солнце уже поднялось высоко, и поэтому особенно приятной была прохлада, веявшая от реки. Никифор Васильевич поднял голову, вытер кулаком мокрый лоб и посмотрел за реку. Там, по дороге, идущей к реке, рысью ехал всадник в кубанке, полы бурки слабо раздувал ветер.

«Кого-то уже нелегкая несет,— подумал лесник.— Наверное, посыльный из «Лесхоза», опять наряд на порубку везет... Все рубят, изничтожают, а кто будет сажать, кто будет кохать и растить?..»

Всадник подъехал к берегу и шагом направил коня в воду. Конь нагибал голову, тянулся пить. Всадник одной рукой подбирал поводья, а другой снял кубанку и замахал ею над головой; только тут Никифор Васильевич узнал своего старшего брата — Героя. Переехав речку и легко, по-молодецки соскочив с седла, Андрей Васильевич обнял брата, поцеловал его в заросшие щетиной губы.

— Никифор,— сказал он, разведя руками,— и что у тебя за темный лес на лице! Ты прямо как отшельник или монах! И твоя борода и все твое обличье... Да ты уже на себя не похож! Дичаешь, дичаешь... А что за причина?

— Причина? — Никифор Васильевич скупо усмехнулся.— Пусти коня на траву, а мы посидим в тени... и я поведаю тебе о причине. Да и поймешь ли? Зна-

ешь ли ты, что это за дерево? Куда там тебе знать! Ты только лошадьми интересуешься... Это, Андрей, не дерево, а моя мечта... Да, не смейся, мечта, которая уже сбылась...

— Так, если она сбылась, радуйся, а ты мрачный, как бирюк.

Они сели в холодок под деревом.

— Сбылась, Андрей, да только не на радость...

— Почему ж так?

— Потому, братуха, что в те дни, когда я, засучив штанины, перешел эту речку и воткнул на берегу прутик, был я тогда лесоводом, мечтал о науке, о больших лесах, которые будут посажены рукой человека.. А теперь, когда прошли годы, и из прутика выросла эта махина, и весь остров покрылся дубом, я сижу под своей «мечтой» простым лесником, и никому я теперь не нужен, разве что лесорубам!..

— Как так не нужен? — обиделся Андрей Васильевич.— А мне ты нужен. Вот подседлал коня и приехал...

— Это ты по-родственному... Спасибо, что не забываешь...

— А как здоровье Настеньки?

— Ничего... Зараз обед готовит, а я вот вышел помечтать.— Никифор Васильевич тяжело вздохнул.— Эх, Андрей, хорошо тебе с лошадьми! Дело твое всем нужное, вот за это тебя на старости лет правительство и Звездой украсило... А с лесом беда! Рубить умеем, а растить не желаем...

— Почему ж не желаем? — сказал Андрей Васильевич, лукаво покосившись на брата.— Будем и выращивать...

— Это ты о чем?

— Эх ты, борода! — Андрей Васильевич рассмеялся.— Ты тут живешь в своем лесничестве и ничего не знаешь. Зараз все только о лесе и говорят!..

— Братуха, да ты что? — удивился Никифор Васильевич.— Где ж об этом говорят?

— А по всему району... Да разве не слыхал? Природу будем переделывать, леса сажать, пруды гатить, дороги вымащивать, а сбочь тех дорог опять же сады

и леса... Эх ты, лесовод! — Андрей Васильевич хлопнул брата по плечу.— Сидишь в этой своей глуши да о мечте тоскуешь, а она, эта мечта, мимо тебя идет... Теперь же все колхозы смотрят на твой остров с надеждой... Зараз я тебе все подробно поясню.

Андрей Васильевич любил во время беседы попыхивать цыгаркой из газеты и самосаду. «Течение мыслей идет складнее»,— говорил он. Поэтому и теперь, прежде чем начать рассказывать брату о предстоящих посадках леса, Андрей Васильевич неторопливо развернул на колене кисет, свернул цыгарку сам и угостил брата... И только они прикурили от спички, только сизый дымок закурчавился над шапками, как на той стороне речки к берегу подкатила «эмка», подкатила прямо к воде и остановилась, точно раздумывая, как бы ей удачнее пробежать перекат.

— Никифор! — крикнул Андрей Васильевич, вставая.— Да ты видишь, чья это машина? Кондратьев едет к тебе в гости!

Братья стояли у дерева и махали шапками, показывая шоферу, как лучше переехать брод. Шофер, казалось, не обращал никакого внимания на их жесты и взмахи; «эмка» отбежала назад и разогналась,— очевидно, шофер хотел с разбегу заехать в реку,— но почему-то опять у самой воды затормозила. Тогда братья Кнышевы сняли черевики, штаны и, засучив повыше колен белые подштанники, побрели по перекату, показывая шоферу глубину воды. Только после этого «эмка» тихонько вошла в воду и погнала впереди себя невысокие буруны. Но на середине реки, наскочив на скользкие, заклеенные илом плиты, она забуксовала; вода под колесами пенилась, бурлила, мотор храпел и захлебывался, а машина не двигалась... Отворилась дверца, и из машины вылез Кондратьев с засученными выше костлявых колен штанинами. Тут, в воде, он поздоровался с подошедшими Андреем и Никифором Кнышевыми.

— Да, плоховато без моста,— сказал он весело, чувствуя под ногами скользкую плиту.— Ну, теперь тебе, Никифор Васильевич, без моста не обойтись.

— А почему ж теперь? — басом спросил Кнышев-

младший, нагибаясь и хлопая ладонью по быстро бегущей воде.

— Сперва помогите выбраться из беды,— все так же весело, с улыбкой, сказал Кондратьев.— А тогда я и расскажу...

Они взялись за кузов: кто уперся плечом, кто налег грудью, и «эмка», разрезая воду, выбралась на берег, оставив на песке мокрый след и зубчатый отпечаток резины.

— Так ты, Никифор Васильевич, не знаешь,— заговорил Кондратьев, натягивая брюки,— почему нынче Чурсунский остров не может обойтись без моста?

— Николай Петрович,— сказал Кнышев-старший,— ничего Никифор еще не знает... Я только что хотел провести с ним беседу...

— Можно и без беседы,— продолжал Кондратьев.— Сюда будут приезжать заказчики, и заказчики, скажу тебе, богатые, к тому же люди знатные, вот и нужно, чтобы они въезжали на остров по мосту...— Кондратьев остановился и, глядя веселыми глазами на обрадованное бородатое лицо лесника, сказал: — И первым заказчиком буду я... Мне, Никифор Васильевич, требуется подготовить к осени не менее трех миллионов саженцев, главным образом дуба, ясеня и белолистки... Найдется?

— Николай Петрович,— торопливо, волнуясь, заговорил Кнышев-младший,— я и рад, и вообще мне приятно слушать, а все ж таки я еще ничего толком понять не могу... Вы ж знаете, я теперь не лесовод, а лесник, ни к чему не готовился, у меня нет сеянцев... Вернее сказать, они есть, но это же мало: сеял себе для забавы...

— Лесничество твое, Никифор Васильевич, кончилось,— сказал Кондратьев.— Я и приехал затем, чтобы сказать, что пришла пора вернуть Чурсунскому питомнику его былую славу... Нет сеянцев, так зато по всему острову найдется столько молодой поросли... Что ты на это скажешь?

— Да чего ж мы тут стоим! — сказал Никифор Васильевич.— Пойдемте в мою квартиру, там обо

всем и потолкуем. Дело сурьезное, надо все обсудить.

Они проходили старой дорогой, давно заросшей кустарником. Кнышев-старший вел на поводу коня и шел впереди. Кондратьев взял лесовода под руку и рассказывал ему о плане лесных посадок. Следом за ними, раздвигая ветки и подминая под себя кусты, с глухим треском ехала «эмка».

XVI

Незаметно наступило время отъезда в Москву. Самолет отлетал на рассвете, в Минводский порт нужно было ехать на ночь, и Сергей, попросив Ирину подготовиться в дорогу, с утра ушел к Кондратьеву и пробыл там половину дня. «Возьми все необходимое»,— сказал он Ирине, и она, оставшись одна, думала: «А что ж оно такое — это «все необходимое»? Он не сказал, а я постеснялась спросить, а теперь вот так и буду стоять и думать...» Затем она вынула свои платья, костюм и рубашки Сергея, свалила все это возле раскрытого чемодана, сама тут же стала на колени и опять задумалась.

Ирина давно жила мыслями о Москве, и ей все эти дни не верилось, что она поедет далеко-далеко и увидит то, что видела только в кино и на картинах,— ей казалось, что об этом можно было только мечтать... Теперь же, когда перед нею лежал чемодан и нужно было складывать вещи и всерьез готовиться к отъезду, она переживала такое волнение, что ей было одновременно и весело, и грустно, и даже как-то боязно. Она перебирала в руках платья и не знала, какое из них положить, а какое оставить дома. Ей почему-то захотелось взять с собой белую юбку и батистовую с короткими рукавами кофточку,— в станице эту парочку все хвалили: белый цвет (это Ирина и сама хорошо знала) ей был очень к лицу. «Так то в станице, а то в Москве,— озабоченно подумала она и тут же юбку и кофточку отложила в сторону.— А что наденет Сергей?— подумала она, и рука ее потянулась к во-

енному костюму из белого полотна, который Сергей очень любил и надевал только в особых случаях.— А если он в Москве не захочет ходить в военном?» Ирина опустила руки и долго, о чем-то думая, смотрела на свое серое в клеточку платье.

В это время отворилась дверь, и в комнату вошли Тимофей Ильич и Ниловна, а следом за ними порог переступила и Марфа Игнатьевна.

— Здравствуй, дочка! — сказала Марфа Игнатьевна, подойдя к Ирине и целуя ее в щеку.— Ты чего стоишь на коленях, как торговка на базаре? А какая сумрачная!

— Уезжаю, мама.

— Знаю. Вот и радоваться нужно.

Ниловна, маленькая, щупленькая старушка, все в том же чепце, который был всегда сверху повязан серепьким платочком, тоже поцеловала Ирину, прикоснувшись к ее горячей щеке своими морщинистыми, мягкими и старчески-холодными губами.

— А мы узнали, что дети наши уезжают,— сказала она тихим голосом.— Вот и не стерпело родительское сердце, пришли проводить.

— Спасибо,— сказала Ирина, не переставая смотреть на свое серое в клеточку платье.— Только мы уедем не сейчас, а вечером... А вы пешком из Усть-Невинской?

— Савва нас подвез,— сказала Марфа Игнатьевна.— Он в райисполком завернул, а мы на углу сошли...

Тимофей Ильич все еще стоял у порога, поставив к ногам мешок и как бы раздумывая, оставаться ли здесь или уйти. Высокого роста, сухой и согнутый в плечах,— казалось, это стоял пастух, только что пришедший с поля; это сходство особенно четко выступало и в его лице, скуластом, с крупными морщинами, и на скобкой подрезанных усах, желтых от табака, и на густых, через весь лоб бровях, точно таких же бровях, как и у Сергея, только у старика они уже были жестче и не черные, а белые.

— А где ж Сергей? — спросил Тимофей Ильич.

— В райкоме,— ответила Ирина.— Батя, чего вы стоите! Проходите и садитесь!

— Знать, совещаться ушел? — Тимофей Ильич присел на лавку и вынул кисет, сильно пропитанный желтой махорочной пылью.— Небось, у родителей совета не спрашивает... За эти дни дажеть в станице не побывал.

— Тимофей, тут радоваться нужно за детей,— сказала Ниловна,— а ты хмуришься, как осенний день.

— Да я не хмурюсь, а только к тому говорю,— пробурчал старик, нагибаясь к мешку,— к тому говорю, что непорядок... Едет в Москву на сессию, законы стране будет вырабатывать, и нет того, чтобы перед тем с родителями побалакать, совета попросить.

— Иринушка, тут мы на дорогу харчей принесли,— сказала Марфа Игнатьевна, помогая свату развязать мешок.

— Мамо, я без Сергея не знаю... Мы едем в Москву... Летим на самолете... Может, эти ваши харчи и не нужны.

— А что тебе в таком деле Сергей? — гневно пробасил Тимофей Ильич.— Ты у него хозяйка, и ежели собираетесь в дорогу, то ты его и не спрашивай, чего класть, а чего не класть.

— И правда, Иринушка,— вмешалась в разговор Ниловна,— хоть и по небу будете ехать, а все одно — дорога дальняя...

— Всякие запасы не помешают,— досказала Марфа Игнатьевна.

— Да оно и в Москве,— продолжала Ниловна,— еще не известно, как там в тех ресторанах вас будут кормить... А мы вам и сальца положили, и яичек вареных, и колбасы домашней, и масла свежего...

— Все, все пригодится,— сказала Марфа Игнатьевна, вынимая из мешка какие-то свертки.

— В чемодан кладите,— советовал Тимофей Ильич.

— Да вы что? — Ирина рассмеялась.— В чемодане одежда будет.— Тут она ласково и как-то виновато посмотрела и на мать и на Ниловну: — Мамо, я вот сижу и не знаю, что сюда положить.

— Зараз мы тебе поможем,— сказала Марфа Иг-

натьевна, раскладывая на лавке свертки.— Чего ж тут не знать?

— Если думаешь про наряды,— заговорила Ниловна,— то перво-наперво клади все самое лучшее, чтоб по Москве ты ходила кралей. А Сережке положи вот эту вышитую рубашку: чи там вы в театру пойдете, чи там на какое гулянье, чтоб меж людьми выделялись.

— А то как же! — сказала Марфа Игнатьевна, с любовью и лаской взглянув на дочь.— Ниловна говорит истинную правду. Герой и его жена едут в Москву и должны там себя показать... Тут всякий скажет...

— Эх, бабы, бабы,— сокрушенно качая головой и усмехаясь в усы, молвил Тимофей Ильич.— И нашли о чем печалиться! Показать себя? А были вы в Москве? Эге! Не довелось... А я-то бывал и все видел, и вы у меня спросите, как оно и что, и как там себя показывать... Вы думаете, это вам Усть-Невинская... Появился на улице Прохор в синей рубашке, в шапке с красным верхом, и все его сразу заметили, и всем он кажется таким разнаряженным да молодецким парубком, что хоть веди к невесте... А в Москве себя показывать некогда. Там народу такая уйма, да к тому же все ходят так быстро, а на улицах завсегда такая происходит суматоха, что ни нашего героя, ни его жену никто и не заметит... А сколько там машин! Так одна в одну и выстраиваются.— Старик усмехнулся, видимо что-то вспомнил.— Со мной в этой тесноте был случай — умру, не забуду. Попал я в гущу народа, а тут меня обступили машины, никак выбраться не могу,— так я чуть не заблудился... Спасибо, милиционер вежливо за руку вывел.

— Так то ж ты,— возразила Ниловна.— Куда тебе, старому, до молодых равняться! Известное дело, кто на тебя станет смотреть? А на молодежь посмотрят... Вот ежели Сережа наденет вот эту красавицу...

Тут Ниловна взяла у Ирины из рук красочно расшитую сорочку с Золотой Звездой, приколотой рядом с вышивкой, и уже хотела вступить в спор с му-

жем и доказать его неправоту, и она бы доказала, но помешал Сергей. Он вошел быстрыми шагами, сосредоточенно-строгий.

— Мамо! Батя! — сказал он.— И охота вам была итти в такую даль!

Тимофей Ильич только обиженно покосился на сына и молчал, а Ниловна не утерпела, прижалась к нему,— рядом с рослой, немного сутулой фигурой Сергея она казалась совсем маленькой.

— Эх, сынок, сынок,— сказала она, прильнув к нему,— вот когда у вас с Ириной будут дети, тогда и сами узнаете, охота к ним ходить или неохота.

— Да я, мамо, рад,— смущенно ответил Сергей,— и я не хотел вас обидеть, а сказал к тому, что мы бы и сами уехали.— Он обратился к Ирине: — Ну, как у тебя? Все готово? Да ты много не накладывай... А это что за продукты? Не возьмем!.. Ни за что, ни за что!

— Слухай, сыну,— заговорил Тимофей Ильич,— ты в бабские дела не вмешивайся. Харчи — не твое дело. Пускай бабы сами укладывают, а ты иди, сядь возле меня... Побалакаем перед отъездом.

Сергею не хотелось ни садиться, ни разговаривать: у него было еще столько дел и в райисполкоме и дома, но он послушался отца и сел рядом с ним.

— У Кондратьева был? — спросил отец.

— У него.

— Советовался?

— Да...

— Об чем же?

— Разговор был всякий.

— От батька утаиваешь?

Старик нахмурил клочковатые брови.

— Никакой, батя, тайны нету,— Сергей расстегнул ворот, обтер платком мокрую шею.— Вы же знаете, еду я, батя, на сессию, и есть у меня от района очень важное поручение.

— В чем же его важность?

— И об этом вы знаете. Природу будем преобразовывать и вообще станицы обновлять, заплошали они у нас, виду не имеют.— Сергей посмотрел на суровое, задумчивое лицо Тимофея Ильича и невольно

улыбнулся: — И чего вы, батя, всегда так хмуритесь?

— Все обновляешь, все куда-то рвешься,— не отвечая на вопрос, бурчал старик.— И чего ж ты думаешь добиться в Москве?

— Думаю войти в правительство с ходатайством. Побываю у министров...

— А о чем же это ходатайство?

— Если вернусь с удачей, тогда все вам и расскажу. Да и не только вам — всем станицам!

— А ты лучше зараз откройся батьке.

— Да зачем же раньше времени говорить?!

— Или есть какое сомнение? — участливо спросил старик.— Или с неуверием едешь?

— Нет, батя, еду я с глубокой верой в успех.— Сергей оправил под поясом гимнастерку, как бы собираясь встать и уйти.— Верю, в Москве нас поддержат!

Тимофей Ильич некоторое время сидел молча, что-то обдумывая, потом выпрямил худые широкие плечи и сказал:

— А как я на твою затею смотрю, то должны тебя не поддержать.

— Это почему вы так думаете? — удивился Сергей и даже поднялся.

— Сядь да послушай батька,— строго сказал Тимофей Ильич.— Через то я так думаю, что в Москве люди умные, и они тебе скажут, чтоб ты за двумя зайцами не гонялся.

— Я вас не понимаю.

— А что же тут понимать? Одно дело не довел до ума, а уже цепляешься за другое,— старик тяжело вздохнул, потер ладонью лоб.— Электричество строили, средства вкладывали, сил не жалели, а какой в том нынче прок? Один Рагулин что-то там в поле выстраивает, проволоку протянул на ток, молотилку к электричеству приспосабливает... А в остальных колхозах одни лампочки горят. Разве так вершат дела? Этим электричеством ты только раздразнил людей, а теперь забыл о нем и уже хватаешься за другое, природа тебе потребовалась, с ходатайством в правительство

лезешь... Да ежели б я был в правительстве, то и слушать бы тебя не стал, а только сказал бы: «Езжай до дому да закончи все, что наметил, а тогда и ходатайствуй».

— Это я от вас уже слышал,— не желая обидеть отца, спокойно ответил Сергей.— И опять скажу: одно другому, батя, не помешает.

— А я тебе говорю: помешает,— стоял на своем Тимофей Ильич.— Как было допрежь, когда я хозяйствовал? Скажем, зачал городить плетешок, так и городи его, пока не кончишь, а когда кончишь, тогда и берись за другое дело... А ты все сразу хочешь!

— Батя! — Сергей рассмеялся.— Да мы же не плетешки городим, а новую жизнь строим! Как вы не можете это понять?!

— А ты не смейся, а слушай старших... Знаю, что жизнь новую строишь, а для этого я тебе и пример привел.— Тимофей Ильич сжал ладонью скобку усов, подумал.— Электричество — это и есть твой плетешок, и ты его городи, возвышай, с ним все покончи, а тогда берись за другое. Вот как ты должен действовать.

— Ну, хорошо, батя, не будем спорить,— сказал Сергей, не желая ссориться с отцом.— Все будет сделано, только дайте срок.— Сергей встал и подошел к женщинам.— Ирина, военный костюм оставь дома... А харчи не кладите. Я сказал — не возьму... Да, вот еще что: не забудь положить мои записные книжки и вот эту папку,— он взял со стола набухшую папку и положил в чемодан.— Ну, я вас оставлю, схожу в исполком, там меня ждут люди... Я скоро вернусь!

Сергей поспешно причесал перед зеркалом чуб и все таким же торопливым шагом вышел из комнаты. После его ухода все долго молчали. Женщины, обступив чемодан, говорили шепотом, изредка посматривали на Тимофея Ильича. Тот сидел у порога, низко опустив белую, коротко остриженную голову; в его сухих, костлявых пальцах дымился окурок.

XVII

Из Рощенской Сергей и Ирина выехали поздно и в Минводский аэропорт прибыли только к рассвету. Сергей отпустил шофера и ушел регистрировать билеты в тот низенький, под черепичной крышей домик, в котором еще светились окна. Ирина, как зачарованная, стояла возле чемодана, и все, что она видела, казалось ей и новым и необычным. Восток был ярко-красный, точно его подожгли снизу, отчего и длинная, как раскинутая шаль, тучка над аэродромом и зыбкий туман, как бы вместе с росой упавший с высокого неба на землю, были окрашены в мягкий розовый цвет; в своей станице Ирина никогда не видела ни такого высокого неба, ни такой тучки, ни такого тумана; сквозь туман, как рисунок на матовом стекле, выступали темные очертания больших и малых самолетов, а Ирине они казались стаей птиц, зазоревавших вблизи городка, и она с тревогой думала, какая же из этих птиц унесет ее за облака. Вдали, на фоне уже побелевшего неба, бронзово-синим очерком проступали отроги Змейки и Железной, и лес на них серебрился, тронутый далеким отблеском зари, и хотя Ирина выросла в горах, но таких красивых отрогов еще не видела... День светлел, уже хорошо был виден городок Минеральные Воды, густо курившийся трубами, уже отчетливо оттенялась зелень садов на фоне белых домиков. И чем больше прояснялось, чем светлее становились дали, тем сильнее билось у Ирины сердце,— ее охватило и тревожное и радостное чувство, которого она прежде никогда не испытывала.

Еще с большей силой ощутила она и эту непривычную радость и эту странную тревогу, когда, держась за руку Сергея, вошла по шаткой лесенке в самолет и увидела в неярком свете белые, рядами стоящие кресла и тут же, возле кресел,— крохотные оконца с такими же крохотными занавесками... Люди все входили и входили, голоса их звучали приглушенно, мягко поскрипывали кресла. Ирина шла следом за Сергеем по зеленой ковровой дорожке, как по траве, и ей уж

было боязно от того, что самолет чуть-чуть покачивался и был точно живой.

— Сядем спереди, вот у третьего окошка,— сказал Сергей.— Это самые удобные места...

— Сережа, а почему они самые удобные?

— Здесь центр тяжести самолета...

Когда пассажиры уселись и захлопнулась толстая, немного выгнутая дверь, по ковровой дорожке твердым, уверенным шагом прошли в черных костюмах молодцеватые на вид парни; по тому, как они браво шли, было видно, что они здесь не гости, а хозяева.

— Ребята как на подбор,— сказал Сергей, наклонившись к Ирине.— Сейчас улетим.

— А страшно, Сережа! — прошептала Ирина, и Сергей увидел ее раскрасневшееся лицо и испуганно-ласковые глаза.

— А ты в окно не смотри,— советовал Сергей,— и думай о чем-нибудь веселом... Ну, хотя бы о том зайце, что плыл по реке,— уже с улыбкой добавил он.

Не смотреть в окно и думать о каком-то там зайце! Да что же это за совет такой? И кто его придумал? И кому же он сказан? Пусть бы это было сказано человеку бывалому, так сказать, летавшему, который, перед тем как сесть в самолет, выпил рюмку водки, закусил и уже сладко дремлет в кресле,— видно, что ему довелось вволю насмотреться в это маленькое оконце с белой занавеской... А ведь это было сказано Ирине, той самой Ирине из Усть-Невинской, которая еще так мало жила на свете, что ничего, кроме своей станицы, и не видела, а теперь летит в Москву с единственной целью: все увидеть и все посмотреть... Да и кто же из «новичков», каким была и Ирина среди пассажиров, сможет утерпеть и не приоткрыть занавеску?! Кто из них найдет в себе столько сил, чтобы думать о плывущем по реке зайце и не притронуться щекой к холодному, мелко-мелко дрожащему стеклу и не посмотреть на убегающую вниз землю? Нет, тут можно с уверенностью сказать: среди пассажиров-новичков таких не найдется. Вспомните вы, читатель, свой первый полет: сколько пережито и перечувство-

вано волнующих минут! И вы знаете — это чувство ни с чем не сравнимо. В ушах стоит ровный, тягучий говор моторов, вы стараетесь никуда не смотреть, но всем телом ощущаете, как машина врезается в воздух и как уходит от вас земля, мягкое кресло покачивается, а рука уже сама тянется к занавеске. Вначале вы и удивлены и испуганы: земля, с ее строениями, с садами, холмами и скирдами сена, с телеграфными столбами, опрокидывается и легко летит куда-то вверх, а потом так же легко опускается, становится на место,— это самолет делает разворот. Но вот он ложится на курс, и ваш взгляд с огромной высоты обозревает обширную планету. Какой же красивой и величественной встает перед вами родная земля!

Ирина не послушала Сергея и прильнула к оконцу, как только самолет набрал высоту. «И ни чуточки не страшно, а только что-то внутри холодеет»,— с улыбкой подумала она, увидев широкое крыло, усыпанное мелкими точечками заклепок... А за крылом и вниз и вдаль, куда ни посмотри, простор и простор лежал в жарких лучах утреннего солнца; а земля, изломанная буграми и ложбинами, вся была одета в такие тончайшие цвета, каких Ирина в жизни еще не видела... Там, разрезая зеленый плющ кустарника, изгибалась и петляла река, и под солнцем блеск ее напоминал расплавленное стекло; что за река и куда она текла, нельзя было понять; Ирине казалось, что это была Кубань,— вот и домики какой-то станицы рассыпаны по берегу; может, это Усть-Невинская? И от этой мысли глаза у Ирины счастливо затуманились; она искала взглядом какую-нибудь примету, хотя бы птичник или домик электростанции, и ничего не могла найти. Тем временем и река и станица уплыли под крыло, а на их место пришли какие-то озера или пруды — стожки сена бугорками рассыпались по равнине... Там расстилаются желтые, строго квадратные полотнища,— очевидно, это была созревающая пшеница,— а между этими полотнищами узенькие ленточки дорог, и движутся по ним игрушечные грузовики, оставляя, как кайму, серую полоску пыли; и вот уже нет ни желтого поля, ни пылящих автомашин, а тянет-

ся удивительно свежая зелень, пасутся стада,— серые и красные коровы кажутся величиной с овцу. А вдали из дымчатой пелены поднялся, точно на воздухе, город; лежит он на возвышенности, во все стороны раскинув улицы, с тесно сбившимися домами, с заводскими трубами и горящими на солнце окнами корпусов, с зелеными кущами парков.

— Сережа, это Москва? — спросила Ирина, прижавшись губами к уху Сергея.

— Рано,— ответил Сергей.— Это, кажется, Ростов... Он и есть... Смотри, просвечивает Дон.

И снова нет города, нет блеска реки, а стелется равнина, темнеет пояс железной дороги, вспыхивает дымок паровоза, гусиной стаей белеет степное село; опять река и ряды тополей, черепичная крыша в зелени, как в рамке... И вот под крылом, неведомо откуда взявшись, хвостатой птицей пронеслось облачко, за ним второе, а потом оконце потемнело, куда-то исчезла земля, и самолет зарылся в белую вату, а по стеклу побежали упругие бугорки воды... Но вскоре эти бугорки исчезли, вата ушла вниз,— она стала не белая, а розовая, и на ее поверхности заиграло солнце. Ирина схватила Сергея за плечо, заставила посмотреть в окно и сказала:

— Сережа! Где ж мы теперь?

— Под самым солнцем,— с улыбкой ответил Сергей, не отрывая взгляда от окна.

А под ним, совсем близко, плотной массой сгрудились облака, то белые-белые, как льдины, то лилово-синие, как мрамор; они покачивались, вздымались, пушились и вспухали, набегая одно на другое, точно чья-то неведомая рука покачивала их и искусно лепила из них самые причудливые виды: то образуются застывшие волны, и по ним скачет белый всадник на белом коне,— вот он клонится вперед, падает и растворяется; то встают на задние лапы два огромных медведя и, обнявшись, падают; то подымается высоченная башня, и на шпиле ее играет луч; то вырастают стога сена и мчатся мимо крыла, белые и пушистые; то взойдет на курган человек в бурке и в косматой качающейся папахе и смотрит вдаль; то какой-

то причудливо-сказочный мост, выгнув могучую спину, перекинулся с одной тучи на другую, да так и застыл... У Ирины закружилась голова, в усталых глазах появилась слезинка, и она, откинувшись на кресло, уснула с чуть приметной улыбкой на губах...

— Ирина,— сказал Сергей,— открой глаза!

— Где мы?

Она открыла глаза. Сергей улыбался. Было тихо, только в ушах еще звенело. Самолет стоял на серой дорожке. Пассажиры направлялись к выходу, а в оконце светило солнце, и в этом слепящем свете хорошо было видно высокое здание с такими же высокими дверями, ограда с флажками, а за оградой толпы людей. Двое мужчин в белых фартуках подкатывали лестницу с высокими, изогнутыми дугой поручнями...

— Иринушка,— сказал Сергей,— вот ты и в Москве!

А Ирине не верилось.

XVIII

Сергей и Ирина вышли из аэровокзала и остановились у подъезда. Перед ними на небольшой площади нестройной шеренгой стояли зеленые, с тупыми носами, автобусы, легковые машины самых различных марок и окрасок. И не успели наши гости осмотреться, как из этой шеренги отделилась одна, молочно-желтая, изящная, ловко перехваченная клетчатым, в виде шахматной доски, пояском и, блестя никелем, с каким-то особенным шиком подкатила прямо к подъезду. Молодой светлоглазый шофер приветливо улыбнулся, точно встретил своих самых близких друзей, и, тряхнув русым чубом, любезно приоткрыл дверку:

— Прошу!

Можно было бы обойтись и без этой красавицы с клетчатым пояском и уехать автобусом. Однако устоять перед ласковой улыбкой белоголового шофера Сергей и Ирина не могли,— и этой улыбкой и своим приветливым, добродушным взглядом шофер как бы

говорил, что только он один и сможет доставить гостей туда, куда они захотят. «Эх, так и быть, поедем»,— подумал Сергей и, пропустив Ирину вперед, поставил чемодан, уселся на просторное, очень удобное сиденье, сказал:

— В гостиницу «Москва».

— Есть в гостиницу «Москва»!

После такого решительного ответа машина с клетчатым пояском, как бы понимая слова своего водителя, еще с большим шиком отъехала от вокзала, обогнула клумбы и легко и плавно устремилась по серому, нагретому солнцем и хорошо укатанному шоссе. Навстречу побежали то одинокие березки, лаская взгляд южан белизной стволов, то коричнево-темные сосновые рощи, то деревянные домики, то кустарники.

— Сережа,— негромко заговорила Ирина, искоса взглянув на шофера,— а почему на этой машине такие клеточки?

— Если без клеточек,— стал пояснять Сергей,— значит машина обычная, а с клеточками — такси. Чтобы приметная была! — Тут Сергей наклонился к жене и сказал восторженно: — Это «зис-110». Шикарная машина! Нам бы такую в район!

А «зис-110», как бы желая показать приезжим людям свою силу и свою скорость, мчался с такой быстротой, что только ветер шумел за стеклом.

Москва, Москва! Как же красив и величествен твой облик! Как же мила нашему сердцу и твоя вечная молодость и твоя твердая поступь!.. Улицы и площади твои живут все той же шумной и людной жизнью, и все так же курчавятся черным дымком заводские трубы; все так же блестит разогретый жарой и шинами асфальт, перед поднятой рукой милиционера-регулировщика выстраиваются очереди машин,— жалобно пищат тормоза и хором поют моторы; все так же мигают красные и желтые глаза светофоров; все так же снуют у станций метро люди; все так же сквозь решетчатые леса краснеют стены строящихся зданий и над ними тяжело раскачиваются хоботы подъемных кранов; все так же темнеют

пролеты мостов над рекой, и по ним нескончаемым потоком двигаются люди и машины, издали напоминая муравьиные стежки; и точно так же, как и в первый приезд, Сергею казалось, что огромный город не стоит на месте, а шагает своим размеренным шагом по широкому русскому простору...

В самом центре Москвы Сергей увидел нечто такое, чего никак не ждал увидеть и что вызвало у него удивление и радостную улыбку: перед ним вдруг выросли и побежали зеленые пояса деревьев. Рослые и пышные липы, бросая на теплый асфальт мягкую тень, стояли, как по шнуру, и от этого главные улицы выглядели необыкновенно молодо и весело... Да ведь совсем еще недавно здесь не было и кустика! Откуда все это? Как могли за год вырасти такие пышные деревья? Нет, нет! По всему было видно, что эти красавицы-липы молодели и набирались сил где-то в роще, а потом чья-то умная и смелая рука взяла и перенесла их сюда... Сергей смотрел на зеленые шеренги и глазам своим не верил.

— Видишь, Иринушка, какие липы?! — мечтательно сказал он.— Это же чудо! А как красиво стоят,— вот бы нам так устроить на полях и в станицах!

В ответ Ирина лишь задумчиво кивнула головой, как бы говоря: «Да, Сережа, ты прав, это действительно чудо, да и липы в самом деле очень славные, и стоят они красиво, а только у меня уже кружится голова, и я не знаю, куда мне смотреть и чем любоваться...»

Сергей еще что-то говорил, но Ирина ничего не слышала: ее внимание захватила зубчатая стена с башней, на шпиле которой, сливаясь с голубизной неба, сверкала в лучах солнца звезда. И стена и башня точно поднимались из земли, росли, слегка поворачиваясь в сторону, и вид их был так хорошо знаком Ирине, что она от радости даже приподнялась и сказала:

— Сережа! Кремль! Совсем настоящий!

— А вон виднеется и Мавзолей.

Ирина хотела увидеть и Мавзолей, но в это время они завернули вправо, а площадь побежала влево, и

машина остановилась у высокого здания из темно-красного мрамора.

Уже в номере гостиницы, куда их любезно проводила ласковая и разговорчивая горничная, Сергей открыл дверь на балкон и спросил:

— Ну, Иринушка, как Москва?

— Ох, Сережа,— смущенно улыбаясь, ответила Ирина,— с непривычки у меня разбегались глаза, кружилась голова, и я еще ничего как следует не видела...

— Увидишь,— уверенно заявил он, рассматривая сверху курчавые шапки лип.— До открытия сессии еще три дня, успеем вместе побывать всюду... и по каналу Москва — Волга покатаемся!

— А сегодня пойдем в театр! В любой! — глаза у Ирины заблестели.— Пойдем?

— А может, отдохнем с дороги? — хитро улыбаясь, спросил Сергей.

— Да ты что, смеешься?

Ирина настояла на своем, и вечером они смотрели пьесу «Идеальный муж». Спектакль Сергею понравился, но настроение у него испортилось. Ирина тоже почему-то весь вечер была молчалива и, как успел заметить Сергей, чем-то встревожена. Они вернулись в гостиницу поздно ночью, усталые и грустные... Когда Ирина уже лежала в кровати, разбросав по подушке темные, расчесанные на пробор косы, Сергей достал из чемодана папку с бумагами и молча сел к столу.

— Сережа, они же страшные!..— негромко проговорила она.

— Это кто же? — спросил он, просматривая исписанный лист.

— Да те лорды и леди, которых мы видели на спектакле... Быть с ними вместе просто страшно...

— Что и говорить, компания не из приятных,— не подымая головы, ответил Сергей.— Такие бестии, что только попадись им в руки — живо искалечат... Не только тело, но и душу.

— Просто удивительно, до чего же злые... А из-за чего бесятся? Из-за денег...

— Повадки звериные...— Сергей отложил в сторону папку и повернулся к жене: — Удивляешься, и я это хорошо понимаю. За границей ты не была, ничего не видела, а меня война заставила погулять по той земле. Я такого насмотрелся, что меня спектаклем не удивишь и не испугаешь...

— Ну, а люди, настоящие люди, как у нас, там есть? — взволнованно спросила Ирина.

— Есть, конечно,— неохотно ответил Сергей и снова занялся делом.— Хотя и не такие, как у нас, но все же есть люди хорошие.

— А как же они живут рядом с лордами?

— Как живут? — Сергей ласково посмотрел на жену.— Надо полагать, горько.

— Я бы ни за что не смогла!

— Верю. И ты не смогла бы, и я не смог бы, да и многие там, за границей, уже не могут...

Ирина грустными глазами рассматривала висевшую на стене большую фотографию с видами Кавказа. Сергей склонился к столу и что-то писал.

— Сережа, что ты там все пишешь? — спросила Ирина после долгого молчания.— Ложился бы спать.

— Тут, Иринушка, не до сна,— проговорил Сергей, продолжая писать.— Вот составляю на завтра оперативный план действий, так сказать — дневной маршрут.

Ирина подумала, что и «план действий» и «дневной маршрут» — это завтрашнее путешествие по Москве, и сразу забыла о спектакле, обрадовалась и уже ласково и весело посмотрела на мужа. Подождав, пока он кончит писать, проговорила:

— А ну, покажи, что ты там наметил.

Сергей сел на кровать с листом бумаги.

— Эх, Иринушка,— произнес он, тяжело вздохнув,— если бы ты знала, как тревожно у меня на сердце!

— А отчего ж тревожишься?

— Понимаешь, дома, когда выступал на станичных собраниях, я был спокоен.— Сергей опустил голову так, что чуб его упал на глаза.— Здесь же я

волнуюсь, а почему — не знаю. Если сказать правду, я-то знаю, почему волнуюсь, и даже побаиваюсь. Да, знаю... Здесь, в Москве, мне нужно заручиться поддержкой, разрешить все вопросы,— а как это сделать, с чего начать?.. Вот что меня тревожит. Сейчас я просматривал наши планы и думал: а что, если нас в Москве похвалят за инициативу, но не поддержат, скажут, что это сейчас невыполнимо, что еще такие планы рано... Тогда хоть в станицу не заявляйся!

— Ах, ты вот о чем! — Ирина удивленно посмотрела на мужа.— А как же канал Москва — Волга?

— Иринушка! — Сергей обнял ее плечи, и на его руку тяжелой шалью распустились косы.— Канал — это проще всего, а вот ты посмотри на этот список. Сколько дорог лежат передо мной, и повсюду надо пройти. А времени мало. Я решил так, вот слушай. Сперва побываю в Совете по делам колхозов, поговорю, посоветуюсь, и знаешь, о чем? О денежных фондах колхозов. Это — для нас самое важное. Деньги у нас есть, и их нужно повернуть на преобразование природы и реконструкцию станиц. Тут мне нужна поддержка Совета по делам колхозов. Затем пойду в Министерство сельского хозяйства и в Госплан — тоже предстоит серьезный разговор. Непременно побываю у министра автомобильной и тракторной промышленности,— нам нужны машины, и если бы он меня понял... Кроме того, надо зайти в Академию сельхознаук: хочу подружиться с учеными. А тут еще есть и другие дела...

В эту ночь Сергей много писал, готовил выступление на сессии, а потом лежал на диване с открытыми глазами,— не давали уснуть думы о предстоящих встречах. Ирина давно спала, в раскрытую дверь балкона пробивался слабый отблеск уличных фонарей, напоминая свет ущербленной луны, а Сергей мысленно только еще пришел в Совет по делам колхозов и начал рассказывать о районном плане лесных посадок, о строительстве прудов и реконструкции станиц... Но долго лежать он не мог — было такое взволнованное душевное состояние, что хотелось поскорее до-

ждаться утра и заняться делами. Он встал, еще раз просмотрел конспект своей речи и вышел на балкон.

Перед ним лежала Москва в своем ярком ночном убранстве: куда ни посмотри — огни и огни убегают через площадь по широким и уже приутихшим улицам. Сергей глубоко вздохнул и сильно расправил плечи. «Вот и у нас в этот час тоже разливается свет над станицами... Только надо нам свой «станичный свет» приблизить к земле, к урожаю, да направить его в производство»,— думал Сергей, и на сердце у него было легко и радостно. Задумчивым взглядом смотрел он на зарево огней столицы и уже снова мысленно был там, в верховьях Кубани, и в воображении его вставала величественной картиной близкая и желанная мечта.

Пятигорск
1948—1949

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Весна и начало лета в верховьях Кубани чаще всего выдаются дождливые. Бывает в иной год, что в июне никто не знает такого дня, чтобы в горах не гремел гром. Обычно с рассветом над станицей — ни облачка; солнце подымается из-за лесистого холма и заливает все вокруг таким слепящим светом, что глазам больно смотреть; воздух стоит тяжелый, горячий,— душно даже в тени, а уже к обеду все небо захмарится и с долины повеет приятной дождевой свежестью. К ночи же непременно польет такое, что по улицам встанет вода, загремят потоки и зашумят, как в бурю, сады.

Зато какое прелестное бывает утро после ночного дождя! Земля еще теплая и сырая, сады матово-сизые, листья в бисере росы. Еще не всходит солнце, а вся степь с ее частыми курганами и пригорками уже охвачена белым паром; он лежит упругими волнами, и если посмотреть в такое утро с горы, то покажется, будто станица, со всеми своими садами и крышами строений, чуть покачивается и плывет в облаках... Иной день обойдется и без дождя, но к вечеру, когда потухнет заря, и по-ночному тревожно заговорят на перекатах вспененные реки, и по темным, еще в лужах, улицам зажгутся огни,— где-то там, над перевалом, засинеет небо и вместе с запахом трав и влажным ветром долетит в станицу глухой, но уже близкий отзвук грозы.

В один из таких вечеров по освещенным огнями улицам Родниковской проехала «победа». И забрызганные бока, и залепленные жидкой грязью фары свидетельствовали о том, что пришла машина издалека и по нелегкой дороге. Объезжая лужи, она с трудом выбралась на край станицы и остановилась возле двухэтажного здания с красочной вывеской, изображавшей гордую лошадиную голову, а ниже — крупная надпись: «Красный кавалерист».

Из машины, нагибаясь в дверцах, вышел Николай Петрович Кондратьев, с непокрытой головой, в рубашке с расстегнутым воротом и в сапогах, тоже испачканных жидкой грязью. Поправил под поясом рубашку, мельком взглянул не то на гордую лошадиную голову, не то на лампочку, висевшую над вывеской, скупо улыбнулся и пошел в дом.

По коридору, светлому, но не очень чистому, с мокрыми от ног следами на полу, Кондратьев проходил не спеша и так просто, точно был здесь хозяином; открывал то одну, то другую дверь, заглядывал в комнаты и, если встречал людей, здоровался и проходил дальше; сторожу, еще моложавому на вид старику, читавшему газету без очков, пожал руку и спросил, какие есть новости в газете. Сторож, старый казак-служака, считал, что секретаря райкома можно приравнять к чину, скажем, любого генерала, поэтому вытянулся и хотел было отрапортовать по всем воинским правилам, но Кондратьев положил руку старику на плечо и сказал:

— Хворостянкин у себя?

— Никак нет! — все еще вытягиваясь, крикнул сторож.— Игнат Савельевич были в своем кабинете днем, а потом уехали на тачанке и вечером быть не обещали... Бухгалтерия разошлась по домам, работа кончилась. Два учетчика еще сидят. Наверху также есть Антон Антонович Бородулин,— все что-то выписывает.

— А Нецветова здесь?

— Татьяна Николаевна внизу, книги читает. Это она мне газетку дала.

— Ну вот, я к ней и пройду.

Татьяна и в самом деле читала, только не книгу и не газету, а протоколы партийного бюро за последний

месяц. В этих кратких записях она видела начало своей новой жизни, и ей хотелось посмотреть на себя и на свою работу как бы со стороны и точно заново пройти по уже пройденному пути,— но такое чтение вызвало у нее лишь грустную улыбку. Читая, она видела, что начало ее новой жизни сложилось как-то неудачно,— итоги проделанной работы были совсем незначительны, многие пункты решений, особенно касавшиеся Хворостянкина, сохранились простой записью на бумаге, а Хворостянкин какой был, такой и остался. «Кондратьев верит в мои силы, а я совсем слабая и ничего не умею делать»,— подумала она, и от сознания своей беспомощности ей стало так больно и горько, что к горлу подступил острый комок, а на глаза навертывались слезы.

В таком горестном, подавленном настроении и увидел ее Кондратьев. Пожимая Татьяне руку, он посмотрел на нее тем коротким, но внимательным взглядом, от которого не укрылись ни удручающая тоска в ее светлых, но виновато глядящих глазах, ни нарочито веселая улыбка на исхудавшем лице.

«Вижу, вижу — душой болеешь, а причину разгадать не могу,— подумал он, присаживаясь к столу и все еще изучающе посматривая на Татьяну.— Если о деле печалишься — хорошо, а если о пустяках — не годится...»

— Протоколы просматривала? — спросил Кондратьев и тут же, как бы давая понять, что заговорил об этом только потому, что нельзя же сидеть молча, сам ответил: — Да, в эти записи иногда полезно заглядывать — для личного самоконтроля... Я тоже частенько этим занимаюсь сам и приучаю других... А только почему ты такая невеселая? В твои лета и быть такой сумрачной — не к лицу.— Кондратьев, трогая пальцами белый висок, улыбнулся той ласковой и выразительной улыбкой, которая говорила: «Эх, Танюша, я тоже когда-то был в твоем возрасте, и я-то знаю, хорошо или плохо быть невеселому в молодости».

— Да что вы, Николай Петрович! Я же обыкновенная, и мне весело, как всегда,— сказала Татьяна скороговоркой и с той наигранной веселостью, которую

никак не могла скрыть, а острый комок еще больнее сдавливал горло, и ей хотелось склонить голову к этому седому человеку, как бывало в детстве она припадала к отцу, и на его груди выплакать все свое горе.

— Татьяна Николаевна, не хитри, не хитри,— добродушно заговорил Кондратьев.— Ты можешь обманывать, скажем, нашего редактора или еще кого,— это твое женское дело,— но мне ты всегда открывай душу и говори правду. Мы с тобой делаем одно дело, и скрывать ни тебе, ни мне решительно нечего... Я вижу и понимаю: трудно тебе... А ты не стесняйся и скажи, в чем нужна помощь. Поддерживая твое избрание, я знал: не легко тебе придется, но я верил и верю сейчас: тебе под силу эта работа.

— Николай Петрович,— Татьяна встала, наклонилась к столу и быстро-быстро стала собирать в папку протоколы,— я работы не боюсь, и с нашими людьми мне легко, но как же...

Она запнулась, как бы чего-то испугавшись, и промолчала. Не в силах далее скрывать то, что ее так волновало и тревожило, она посмотрела на Кондратьева смело, широко открытыми, полными слез глазами. Кондратьев, казалось, только этого и ждал, утвердительно кивнул головой, как бы говоря: «Ну, досказывай, досказывай, и ничего, что слезы на глазах...» В это время послышался порывистый и тревожный шелест белолисток за окном, а затем близкий и резкий звук грома.

— Беда, опять гремит,— проговорила Татьяна и тут же поняла, что сказала совсем не то, о чем просил ее Кондратьев, покраснела и поправила под косынкой волосы.— Николай Петрович, я хотела сказать, хотела просить... Никакой помощи мне не надо... Заберите из колхоза Хворостянкина... Больше ничего не прошу.

— И куда ж его? — спросил Кондратьев так спокойно, точно давно уже приготовил именно этот вопрос.

— Куда-нибудь.— Она опять посмотрела смело, но какими-то жалостливыми и просящими глазами.— Его невозможно перевоспитать. Обещала, а не могу, понимаете — не могу, мне это не под силу... У нас было много решений, а что изменилось?

— Вот оно как: решение есть, а дела нету?

И Кондратьев поставил локоть на стол и любезно, но почему-то с хитрой усмешечкой посмотрел на собеседницу, изучая ее взглядом и при этом как бы говоря: «Я-то знаю, почему решение у тебя есть, а вот дела покамест нету, и меня этим не удивишь и не испугаешь».

— Вот вы на меня смотрите, и я знаю, о чем думаете,— заговорила Татьяна, то раскрывая, то закрывая папку, как будто там хранилось именно то, что она хотела сейчас сказать.— Вы думаете о том, что я не сумела правильно организовать партийную работу, не сумела подойти к Хворостянкину. Да как же подойти, когда к нему и подступиться невозможно. Людей он боится, и если кто о нем скажет хоть одно критическое слово, сразу в крик: «Я председатель колхоза, а ты мой авторитет подрываешь!» Ни с чьим мнением не считается, ни к какому совету не прислушивается, а к тому же не учится, хотя всюду кричит, что учится; ничего не читает, даже книг и газет, хотя везде говорит, что читает... А я же хорошо знаю, что обманывает и себя и других,— остановился и стоит на дороге, как пень... Ну, как с ним быть? Разве его поставишь на правильный путь? Корчевать надо этот пень, не иначе!

— А по-моему, корчевание не даст нужного эффекта,— сказал Кондратьев, откинувшись на спинку стула и все еще храня на загорелом до черноты лице добрую, но хитрую усмешечку.— Тут требуется свежий ветер, да еще и со сквознячком. Сказать проще — нужна хорошая большевистская критика, чтобы она сбила с этого человека скорлупу зазнайства; но не дубинка,— дубинкой не трудно оглушить и не такого «героя», как Хворостянкин,— а что-то вроде отличной наждачной бумаги, которой сгоняют ржавчину...

— Я не могу понять одного,— проговорила Татьяна, закрывая папку и о чем-то думая: — на вид простой человек, посмотрите его биографию: вышел из бедной крестьянской семьи, в молодости много лет батрачил, выдвинулся на руководящую работу исключительно благодаря советской власти,— откуда у такого человека амбиция и чванство?

— Думаю, от недостатка ума,— ответил Кондратьев, снова поставив локоть на стол,— иной причины не вижу...

Ветер на дворе разыгрался не на шутку; порывистые, сильные струи воздуха, казалось, падали сверху; ветки деревьев нагибались чуть ли не до земли, фонарь у подъезда раскачивался и бросал на подоконник дрожащую тень, а белолистки теперь шумели непрерывно и еще более тревожно. Гроза подходила все ближе и ближе к станице, все чаще сквозь тучи пробивался режущий глаза свет молнии, и в это мгновение стекла окон делались глянцевито-синими.

— Да, мокрое идет к нам лето.

Кондратьев прислушался и к грому, и к тревожному шелесту листьев, и к тому тягучему и непрерывному шуму, который говорил, что где-то совсем близко стеной идет дождь; потом, как бы услышав именно то, что ему было нужно, и поняв, что до утра на машине никуда не уедешь, он угрюмо поднял голову, пригладил седой чуб и сказал:

— Убрать Хворостянкина — задача легкая и весьма простая, и она не требует от нас большого ума... Значительно сложнее и труднее исправить нашу же ошибку, что мы и начали делать...

— Да в чем же наша ошибка?

— В том, Татьяна Николаевна,— и Кондратьев снова прислушался, улыбнулся, но так скупо, что Татьяна не могла понять, относится ли эта улыбка к ее вопросу, или же к тому, что об окна и по крыше застучали косые и редкие, но очень крупные капли дождя,— в том наша ошибка, что долгое время возле Хворостянкина находился не партийный руководитель, а мягкотелая мямля, трус и подхалим,— словом, такой человек, которому никак нельзя было доверить бразды партийного правления, а мы, к стыду своему, доверяли...— Он снова чуть заметно улыбнулся, и теперь Татьяна видела, что ему хотелось говорить с ней так, чтобы она понимала каждое его слово, и она кивнула головой, как бы говоря, что ей все понятно.— Ну, теперь на этом посту стоит Татьяна Нецветова, и мне хотелось бы, чтобы она уяснила себе одну простую истину: на

нас, коммунистов, самой историей возложена великая миссия — избавить людей от тех нравственных и душевных пороков, которые порождены капитализмом,— ты сама знаешь, задача почетная и смелая, но необыкновенно трудная. И тут дело не только в Хворостянкине. К сожалению, в характере каждого из нас еще есть черты положительные и отрицательные, с той лишь разницей, что у одних, в силу условий жизни, больше хорошего, а у других — больше плохого. К людям, у которых больше плохого, принадлежит Хворостянкин. И мы знаем: все плохое в человеке отомрет, но отмирание это произойдет не сразу, не само по себе и не безболезненно,— вот об этом надо всегда помнить...

За окном играла гроза и лил сильный дождь с ветром. По стеклу окна текли бугрaстые струйки, свет фонаря освещал мокрые стволы белолисток. Кондратьев, о чем-то думая, долго смотрел на эти водяные бугорки на стекле, на стволы деревьев и на падавшие и липнувшие к земле листья.

— Я понимаю,— сказала Татьяна, и мускул на ее лице дрогнул, и она, желая сказать что-то важное, наклонилась к Кондратьеву.— Николай Петрович, теоретически все это кажется легко и просто... А вот как практически?

— А практически, по-моему, прежде всего надо заставить Хворостянкина выполнить решение партбюро.

— А как? Я уже заставляла...

— Не ты должна заставить. Обсудите поведение Хворостянкина на партийном собрании. Вслед за этим поставьте его отчет на общем собрании колхоза и пустите в действие ту самую наждачную бумагу, о которой я говорил. С Хворостянкина необходимо сбить спесь, излечить от мании величия, а сделать это могут сами колхозники, если коммунисты им помогут.

Прошло более часа, дождь за окном то утихал, то снова припускал, а они все сидели и разговаривали. Посмотришь на них со стороны и невольно скажешь: да ведь это старые, добрые друзья сошлись на совет, и

мужчина по праву старшинства учит еще молодую женщину простой, но неизвестной ей житейской мудрости... Беседа, сама по себе оживившись, затянулась, и смысл ее в кратких словах сводился все к тому же: нелегко провести уборку урожая или построить гидростанцию, обводнить степь или вырастить леса, обновить станицы или проложить шоссе, но еще труднее из людей нынешних растить и воспитывать людей будущего. И если бы можно было увидеть и услышать, с какой любовью Татьяна всматривалась в лицо своего старшего друга и сколько было в словах Кондратьева горячего сочувствия и искреннего желания помочь ей советом, то всякий, видя это, сказал бы: вот они — современники, люди нашего золотого времени! И ничего, что Кондратьев годится Татьяне в отцы; и ничего, что они впервые вели такой важный и задушевный разговор,— все это было сейчас не главное; главное же состояло в том, что мысленно они давно и встречались, и говорили именно об этом, что так же давно их сближают общие интересы и что они, эти интересы, как кровное родство, корнями своими входят в глубь нашей еще молодой истории... Так бывает в лесу: рядом с могучим дубом поднимается к солнцу стройный и курчавый, полный жизненных соков молодой дубок, и по облику его, по сочным листьям уже видно, от какого корня поднялся такой славный побег; видно, кто дал ему эту силу, видно, кто его взрастил и взлелеял...

II

Дождь умолк поздно, утих и ветер, и тучи быстро и легко поднялись и разошлись, как бы давая понять, что свое дело они сделали, все запасы воды сбросили на землю и теперь могут гулять в небесах. Поэтому и утро пришло солнечное, и небо стояло чистое и голубое. Затем установилась погода, сухая и жаркая, и хлеба созрели в каких-нибудь два-три дня.

В эти памятные дни лета хороша собой бывает степь. Бригадные станы еще безлюдны, на расчищенные и смоченные водой тока только что привезены весы,

а в наскоро сделанном балагане поселился весовщик; по исправленным, подчищенным дорогам еще не пылят с зерном грузовики и не рябеют по жнивью копны, а уже во всем — и в обилии желтых красок, и в знойном небе, и даже в той особенной, неповторимой тишине, которую нарушают лишь жаворонки,— уже чувствуется близость косовицы... Вокруг оранжевых клеток пшеницы появились светлые пояса обкосов, и к ним, как бы желая занять место поудобнее, хвостатыми птицами слетелись комбайны, подъехали водовозки, брички с горючим. Туда же, меняя стоянку, направились тракторные бригады со всем своим хозяйством — с походной кузней, с кухонным скарбом, с железными бочками и с плугами, у которых лемехи так начищены землей, что блестят зеркалами.

Солнце клонилось к закату и жара начинала спадать, когда перебрались поближе к хлебам и знакомые нам вагоны с белыми занавесками на окнах. Они остановились возле дороги, на небольшой возвышенности,— Григорий Мостовой всегда облюбовывал такую удобную, открытую полянку, чтобы вагоны, белея занавесками, у всех были на виду... Всякий раз на новом месте было много неотложных дел, и трактористы, привыкшие к переездам, без лишних слов начали «обживать» летнюю стоянку: кто помогал кухарке сооружать печку, кто рыл погребок для горючего, кто осматривал машины, еще дышащие теплом. Два комбайна стояли вблизи пшеницы, и возле них с важным видом расхаживали комбайнеры и штурвальные.

В это время Григорий и учетчик-радист Ванюша находились в вагоне и занимались тоже не менее важным делом. Им надо было подготовить проект социалистического договора и послать письменный рапорт в МТС. Еще на старой стоянке было решено соревноваться только с бригадой Ивана Шацкого и ни с какой другой. Об этом в тетради появилась соответствующая запись. Далее шли записи, говорившие об итогах весенних работ отдельно по каждой машине; затем надо было записать обязательства рулевых,— это тоже требовалось для договора, и тут Григорий долго мял чуб и хмурил брови.

— Вот что, Ванюша,— сказал он, задумчиво глядя в открытую дверь.— Времени терять не будем. Иди на рацию и радируй Шацкому наше решение. А я позову ребят, и мы все данные запишем сообща.

— Радировать-то можно,— рассудительно заметил Ванюша,— а какой же я передам текст? Важнее всего, как я понимаю, текст.

— Верно, Ванюша,— согласился Григорий и снова схватился за чуприну,— текст надо сочинить. Садись поближе к столу, бери карандаш и пиши: «Радиограмма. Бригадиру тракторного отряда номер шесть. Ивану Егоровичу Шацкому». Написал? Далее пиши так: «Дорогой Иван Егорович...»

— Начало правильное,—робко возразил Ванюша,— а вот «дорогой», по-моему, звучит не совсем в нашу пользу... Слово это сильно нежное, а в таком деле требуется задать тон официальный.

— Нет, Ванюша, задавать тон не следует... Именно «дорогой Иван Егорович»,— в этих словах не нежность, а вежливость и уважение... Написал: «дорогой Иван Егорович»? Дальше такая фраза: «Зная вас и ваших товарищей по работе как опытных механизаторов, у которых никогда слова не расходятся с делом, мы, трактористы отряда Григория Мостового, желаем вступить с вами...»

— Опять мне такой тон не нравится,— сказал Ванюша, ковыряя ногтем карандаш.— Зачем ты их так расхваливаешь? И что у них такого хорошего? Techновспашку — это же всем известно — они вели хуже нас... И это слово «желаем» мне тоже не по душе... Лучше написать так: «вызываем» или «делаем вызов».

— Пиши, что я тебе диктую,— уже сердито сказал Григорий.— Написал: «желаем вступить с вами»?

Тут Ванюша, немного зная характер своего бригадира, безропотно подчинился, и вскоре текст радиограммы был готов.

— Ну, иди и радируй,— сказал Григорий, вставая из-за стола.— А заодно скажи ребятам, чтобы побыстрее шли ко мне.

Перечитывая на ходу радиограмму, Ванюша неохотно ушел на рацию. Вскоре восемь рослых и молод-

цеватых видом парней, один здоровее другого, поднялись по лестнице такой шумной компанией, что в вагоне сразу стало тесно, заскрипели, вдавливаясь под сильными ногами, доски пола, качнулись рессоры и задрожали белые занавески на окнах. Это были люди молодые и веселые, умевшие и пошутить и посмеяться, и Григорий всякий раз с гордой улыбкой и слушал шутки и смотрел на знакомые, сильно загоревшие лица, на мускулистые руки со следами впившегося в кожу машинного масла.

— Гриша, обрати внимание на нашего Тараса,— смеясь, говорил Митька Гриднев.— Был тракторист как тракторист — и вдруг стал мрачнее грозовой тучи. А почему? Тарас! Сказать, почему и в чем тут собака зарыта?

— Помолчи, Митька!

Тарас уселся в углу и так наклонил голову, что могучая его шея побагровела.

Рулевые заговорили все сразу:

— Причина известная — любовь!

— Не любовь, а прицеп!

— Он же косовицу поджидал, как свидание!

— А тут несчастье!

— Предмет Тарасовой радости пересел на собственную тягу.

— Тарас, ты не печалься, а иди к ней в штурвальные.

— Да в чем тут дело, ребята? — спросил Григорий и посмотрел на Тараса.

— Ты только слушай Митьку,— с обидой в голосе ответил Тарас, не поднимая головы, и теперь раскраснелась не только его шея, а и уши,— всякую чертовщину городит!

— Нет, говорю сущую правду,— сдерживая смех, оправдывался Митька.— Все горе, Гриша, в Настеньке Вирцевой. Как узнал Тарас, что Настенька получила самоходный комбайн, так и затосковал... Придется ему брать на прицеп какого-нибудь усатого дядьку.

— Или Настенькина мужа!

— Опасно!

— Да, тут горе, можно сказать, непоправимое,— с

улыбкой проговорил Григорий, подсаживаясь к Тарасу и обнимая его.— Ну, ничего, мы это дело поправим. А сейчас давайте обсудим, что мы запишем в договор с Шацким. Садитесь поближе и вместе все обсудим.

И только было они уселись за стол и Тарас, зло покосившись на Митьку, первым начал говорить о том, что «если у меня снова будут комбайны Вирцевых, то я обязуюсь, во-первых, не иметь ни одного простоя, а во-вторых...», как случилось то, чего никто из них никак не ожидал. Вначале загудел мотор, и они прислушались; Григорий подумал, не директор ли приехал их навестить. Затем прямо к дверям вагона мягко подъехал темнозеленый, совсем еще новенький комбайн, неся впереди белый хедер. Но ни самоходный комбайн, ни белый хедер, ни даже парусовый зонт не удивили трактористов, а удивило их и обрадовало то, что машиной управляла Настенька Вирцева, та самая Настенька, о которой они всегда так охотно и много говорили. Она сидела под белым «грибком», как под шляпой, в комбинезоне; если бы не косынка на ее маленькой голове и не пышные волосы, спадавшие на плечи, ее можно было бы принять за молоденького паренька.

Как только Тарас увидел эту неожиданную картину, он еще более покраснел, быстро встал, затем снова сел,— тут все увидели, что ему, бедному, в эту минуту было не до Ивана Шацкого.

— Эй, парубки! — звонким голосом крикнула Настенька, уже стоя под зонтом.— А ну, помогите сойти!

— Тарас, беги!

— Сама приехала!

— Эх, черт возьми, какая у нее машинка!

— Вот это самоход!

— Даже с холодочком!

— Специально для тех, кто боится солнца!

В вагоне давно было пусто: кто осматривал косогон и хедер, смешно поднятый спереди, кто интересовался мотором. Тарас тоже вышел из вагона и, заглядывая в соломотряс таким пристальным взглядом, точно он что-то там забыл и теперь не мог отыскать, краем глаза видел Настеньку; видел, как Митька хотел помочь ей сойти на землю, как она, весело смеясь, легко

соскочила и подала руку одному Григорию, чем немало обидела остальных.

— Гриша,— сказала она, улыбаясь одними глазами,— вечером будешь в станице?

— Собираюсь.

— А какие у тебя обязательства?

— Это секрет!

— Подумаешь, какая важность.— Настенька сунула руки в карманы, пришитые спереди сумками, и от этого ее фигура стала еще стройнее.— Если хочешь, подвезу... Поедем!

— Спасибо... Если захочу, поеду на велосипеде.

— Ну, как знаешь!

— Настенька, приглашай нашего Тараса!

— Обидела парня!

— Уселась под эту шляпу!

— И как он, бедняга, будет жить лето без твоего старого комбайна?

— Ничего, с мужем будут косить.

— Опасно...

Настенька не стала слушать и подошла к Григорию:

— Гриша, не подумай, что я приехала узнать твои обязательства: несчастье меня сюда загнало. Дайте горючего, а то бак пустой, не доеду в Родниковскую.

— Дадим, ребята? — спросил Григорий.

— Сперва спроси у Тараса.

— Да он скоро весь влезет в соломотряс.

— Настенька, побудь с нами до вечера — горючее найдем.

— А вы не петушитесь,— строго сказала Настенька.— Ишь, какие герои! Мне с вами шутки шутить некогда... Гриша... одно ведро, взаймы! Завтра верну долг.

— Тарас! — крикнул Григорий.— Возьми ведро и сделай все, что нужно!

Тарас охотно согласился исполнить поручение, и пока он ходил к бочкам, Григорий взял Настеньку под руку, отвел в сторону и негромко сказал:

— Увидишь в станице Татьяну Николаевну, передай ей, что выступление я подготовлю.

— И все? — понимающе улыбаясь, спросила Настенька.

— А что ж еще?

— Ну, а если спросит, когда приедешь? Что я ей отвечу?

— Думаю, что не спросит,— тоже с улыбкой ответил Григорий.— А если спросит, то скажи... Нет, лучше ничего не говори.

Темнозеленый красавец, сделав широкий разворот, давно уже белел своей шляпой по дороге, удаляясь и удаляясь, а трактористы все смотрели ему вслед и не могли оторвать взгляда. Возможно, так простояли бы они и до вечера, если бы Григорий не сказал:

— Тарас, а ну, что там у тебя,, «во-вторых»?

Все весело рассмеялись и пошли в вагон.

III

На исходе жаркого дня, как бы по команде, то там, то здесь трактористы потянули комбайны, уже с подцепленными хедерами, с вертящимися крыльями и с натянутыми парусами; подъехав к обкосу и медленно свернув с дороги, косогоны осторожно, но с резкими, звенящими звуками врезались в дрожавшую и мягко упавшую пшеницу,— колосья красочной лентой поплыли по парусам, и в ту же минуту на прицепную тележку посыпалась мягкая и светлая солома. Машина прошла всего метров пятьдесят и остановилась; комбайнер и тракторист улыбались друг другу,— они были довольны пробным заездом...

Между тем, дневные краски гасли и, совсем обессилев, уступили место теням, там светлосерым, там блекло-темным. Пламя заката охватило добрую половину неба,— снизу выступали багровые, а сверху — розовые и бледноголубые тона, отчего равнина вблизи горизонта покрылась сизой дымкой. Изменились не только краски, но и звуки: они казались не такими протяжными и отчетливо-звонкими, какими были днем; рокот машин доносился глухо, точно выходил из-под земли; заметно поубавились птичьи голоса,— жаво-

ронки уже не сверлили небо своими песнями, приумолкли сорокопудки, притаившись где-нибудь под листом подорожника, и только в нескошенном хлебе еще охотнее перекликались перепела, тоже, видимо, готовясь к ночлегу. Огни маячили по всей степи,— иные виднелись слабыми точками, иные красовались жаркими кострами, иные взлетали к небу широкими снопами: то прожекторы автоколонны на Усть-Невинском тракте... И долго еще степь жила и людскими голосами, и дружным гулом моторов, и ржанием лошадей, и цокотом колес; по всему было видно — наступила последняя ночь перед страдой.

Утром, как только солнце высушило росу, повсюду началась косовица. И разноголосая песня машин в утреннем воздухе, песня, которая сливалась в один протяжный звук; и блестящие вдали крылья комбайна, забирающие под себя густую щетку колосьев; и пышные валки, которые в проворных руках женщин-вязальщиц превращаются в снопы и ложатся в крестцы; и желтеющее и все расширяющееся жнивье, рябеющее и снопами, и копнами, и валками соломы, словом, на что ни взгляни, все радует сердце хлебороба. В эти дни, когда люди любуются и не могут налюбоваться на плоды своего труда, видя на полях то, в чем есть частица их жизни; когда взращенные их руками пшеница, ячмень, овес тяжелыми пластами ложатся на паруса комбайнов; когда от зари до зари не умолкает стрекотание косогонов, а скошенное поле лежит в знойной дымке, широкое и непривычно-яркое,— тогда для них уже нет ничего более красивого и волнующего... А если вдуматься — что ж тут, в самом деле, такого особенного, чему следовало бы так радоваться? Ну, звенит и поет степь; ну, комбайны и косилки косят пшеницу или ячмень; ну, горят бронзой вороха зерна на токах и отъезжают тяжело груженные полуторки; ну, рябеют копны по жнивью,— все это было в прошлые годы и все это повторится в будущее лето. Кажется, пора бы привыкнуть и не волноваться,— а вот нет! Всматриваясь в знакомые поля, любуясь свежими красками хлебов, люди гордо подымают головы, а сердца их наполняются такой теплой радостью, что улыбка долго

не сходит с опаленных зноем лиц; в такие минуты степь под знойным солнцем кажется им торжественной, а птичье песнопенье и звуки машин слышатся протяжной красивой музыкой...

Вот уже более недели находясь в поле, Кондратьев хотя и ощущал в груди то беспокойное чувство, которое было ему хорошо знакомо по прошлым годам, но к песням машин и птиц не прислушивался и на краски летнего пейзажа вовсе не обращал внимания; спал мало, ездил много, и все это время был занят чисто практическими соображениями: как бы все сделать так, чтобы Рощенский район убрал хлеб раньше, и по качеству лучше своих соседей. Поэтому его больше всего беспокоило не то, как выглядят сто гектаров скошенной пшеницы, поэтически или непоэтически, а то, каково было качество косовицы: нет ли обкосов, не валяются ли колосья в соломе и в стерне, хорошо ли сложены копны и пущены ли по жнивью конные грабли? Подъезжая к стану и видя вороха хлеба, полуторку, подкатывающую задом к весам, колхозников, занятых сушкой и очисткой зерна, Кондратьев думал не о том, бронзой или золотом отсвечивают вороха, а о том, сколько за день вывезено зерна на элеватор и сколько его еще осталось на току, хватит ли людей, не простаивают ли сортировки и веялки, быстро ли нагружаются машины и подводы,— не уезжал со стана до тех пор, пока сам не убедится, что дело тут налажено неплохо.

Обычно с началом хлебосдачи круглые сутки по дорогам и по жнивью мотаются грузовики с зерном, и Кондратьев, встречаясь с ними, любуется не серыми гривами пыли, встающими над полями, а ночью не иллюминацией прожекторов; нет, днем и ночью он помнит и думает только о том, чтобы машины, обозы конных и бычьих упряжек непрерывно двигались по многочисленным степным дорогам, напоминая собой пчел, снующих сюда-туда во время самого большого взятка.

Любит Кондратьев провожать взглядом автоколонну, идущую по сухой и пыльной дороге. Иной раз, встречая где-нибудь у моста или на пригорке вереницу грузовиков, со спящими в кузовах на зерне проводниками,— чаще всего это подростки или старики,— оста-

новит переднюю машину и спросит у запыленного, но гордо выглядывающего из кабины шофера:

— Откуда зерно?

— Из Белой Мечети.

— Какой рейс?

— Сегодня третий.

— Не простаиваете на погрузке?

— Пока что идем нормально.

У Кондратьева приятно на сердце, и он, махнув картузом, говорит:

— В путь добрый!

Мимо него с хрустом проезжают тяжело груженные машины, и снова только пыль поднимается к жаркому небу... Эх, шоферы, шоферы — лихое и веселое племя! Сколько вас кочует по кубанским просторам в жаркие дни летней страды! Хозяева степных дорог, желанные гости всюду, куда приведет вас путевка,— да какой же стансоветский кучер или возница на быках, встречаясь с вами и видя ваши покрытые пылью лица, не ощутит в своей груди острую боль зависти; кто из них не лелеет в душе тайную мечту если уж не самому сесть за руль, то непременно посадить туда своего сына или внука... Нет, такого кучера теперь уже не сыскать, ибо шоферство у нас, особенно среди молодежи, стало самой излюбленной профессией. Уютная кабина, мягкое сиденье, гладкая баранка руля в руках, порывистый голос мотора и свист ветра в приспущенное стекло, а впереди, сколько видит глаз, дорога и дорога в серой дымке пыли,— это же мечта многих юношей! Побывайте в станице и так, ради любопытства, спросите какого-нибудь, скачущего по улице на хворостине мальца, того самого мальца, у которого еще не зашита разрезка в штанишках,— кем он хочет быть, когда вырастет, и этот хворостяной кавалерист, не задумываясь, скажет: «Буду шофером!» И, надо полагать, в выборе мальчик не ошибется .. Правда, малец еще не знает, что нелегко быть водителем машины, скажем, полуторки или трехтонки, особенно в осеннюю непогоду, когда приходится буксовать и спускаться с горы то на моторе, то на тормозах, как на салазках,— но зато какой простор всегда лежит перед глазами! А сколько впечатлений и

встреч, сколько ночевок у костра, сколько дорожных приключений — и какие это приключения! На пути — и города с базарами, и вокзалы, и маленькие станции с элеваторами, и комбайновые агрегаты, и овечьи кошары, и молотильные тока; и куда ни прибудет шофер, днем ли, ночью ли,— его встречают лаской и почетом: весь в пыли — ничего, дадут умыться, голоден — накормят, а то поднесут «согреться» и чарку водки. И покамест шофер подкрепляется обедом и набирается новых сил, рессоры его спутницы трехтонки уже оседают, а скаты чуют новую тяжесть: в кузове лежит либо зерно насыпом, либо шерсть тюками, либо лес дрючьями. И снова птицей летит грузовик по дороге, обгоняя конные упряжки, и снова впереди простор и станицы с хуторами, сады, речки с мостками и маячит вдали острой головой элеватор.

А какие неповторимые и самобытные характеры уже родились за рулем — вы только посмотрите: тут и бережливый хозяин, любящий свою «дорожную подружку» так, что она не знает ни остановок, ни болезни, именуемой «капитальный ремонт», и бегает она у него, не заглядывая к токарям и слесарям, все сто тысяч километров; тут и человек дела, для которого нет большего греха, как простой машины, и поэтому, прибывая на ток, где, как на беду, не окажется бригадира и некому организовать погрузку, он сам становится на место бригадира, проявит такую настойчивость и сумеет так убедительно поговорить с колхозниками, что кузов в один миг наполняется зерном, и шофер уезжает; тут парень-рубаха, весельчак и песельник, не знающий, что такое «трудно» или «невозможно», и не унывающий решительно нигде: нет дороги — едет напрямик, и всегда приезжает к сроку, нет мостка — ищет брод, а все равно едет, и не только себя избавит от беды, но еще и выручит случайного друга шофера; тут и «лихие головы», которым если уж ехать, то с ветерком, если обгонять машину, то с шумом, если разминуться, то впритирочку,— такие натуры живут в постоянной вражде с работниками милиции; тут и работяга, не знающий ни сна, ни отдыха, и, если случится спешная переброска зерна, способный просидеть за рулем хоть

сутки; тут, скажем, к сожалению, и «мастера калыма», то-есть натуры, весьма чуткие на рубль: они умеют всегда во-время «дать газ» и завернуть куда-либо на чужой склад или на базу и, выражаясь деликатно, «попутно, чтобы не ехать порожняком», прихватить с собой тонну или полторы чужого груза, а по дороге заодно посадить в кузов с десяток «королей» с мешками; и все у них делается так искусно, что до поры до времени самый зоркий глаз автоинспектора этого не увидит,— словом, среди водителей есть такие характеры, каких, конечно, не имеет ни один кучер или конюх...

IV

Зимой в станице Родниковской солнце садилось за рыжую, похожую на лежащего быка возвышенность, а в середине лета оно отходило от этого «быка» далеко вправо и опускалось между двух отвесных скал, как в ворота. Обычно к низкому полудню, когда солнце подходило к этим скалистым воротам, вся обширная равнина близ станицы заливалась косыми и удивительно яркими лучами. В такое время дня все вокруг выглядело необычайно красочно и ново. Созревшие массивы пшеницы приобретали матово-сизую окраску, а ползущие по жнивью комбайны с волокушами напоминали огромных птиц с подбитыми хвостами. Сквозь плывущую пыль-дымок над соломотрясом просвечивалась войлочная шляпа штурвального, а согнутая, пропитанная пылью фигура рулевого выступала темным рисунком на желтом фоне. Лежащие стежками следы от комбайновых колес были похожи на пояса, раскинутые по жнивью, а светложелтая струя зерна, бьющая из бункера прямо в бричку, отливала золотом.

В этот поздний полуденный час солнце щедро освещало людный лагерь и обширную площадку, заваленную пшеницей; лежала она и неглубокими ворохами, напоминая степные курганы, и продолговатыми, в виде горного перевала, кучами. В одном месте зерно было пропущено через веялки и уже отсвечивало светлой бронзой,— мужчины и женщины насыпали его в мешки

и относили на машины; в другом — пшеница была только что доставлена от комбайнов, еще влажная, с половой и с остюками,— парни и девушки рассыпали ее тонким слоем, расчесывали деревянными граблями и ворошили лопатами; в третьем — шла очистка, шесть веялок стояли в ряд, и над током подымалась розовая пыль, слышались непрерывный шум и заунывное воркотание шестеренок.

И еще лучи солнца падали на лист бумаги, приклеенный к дверям сарая, и от этого как-то уж очень отчетливо выступали крупно написанные слова: «Сегодня, в 8 часов вечера в политкружке будут занятия по теме: «Биография И. В. Сталина». Ниже значилось шестнадцать фамилий членов кружка, и еще ниже — совсем мелкие буквы: «Проверку знаний будет проводить секретарь райкома тов. Кондратьев».

На этих дверях всякий день, разумеется, висели какие-нибудь объявления или извещения — то о приезде кинопередвижки, то о собрании молодежи, то о расширенном заседании партбюро, то о лекции,— но такого, какое висело сегодня, еще не было. К тому же вблизи дверей стоял стол под красной материей. На столе — книги, газеты. Для всех это было ново и необычно, и люди, занимаясь сушкой и очисткой зерна, изредка посматривали на стол под красной скатертью и на объявление.

Татьяна Нецветова сама писала объявление, сама его наклеивала и сама покрывала красной материей стол, а и ее взгляд почему-то часто обращался и к словам на белой бумаге и к столу. Она подходила то к одной, то к другой кучке людей, брала лопату и помогала ворошить зерно, прислушивалась к разговору, желая уловить настроение своих членов кружка, а глаза невольно поглядывали на пламенеющую скатерть.

— Анюта, ты насыпай зерно спокойно,— говорила Марфуша, женщина молодая, с серыми озорными глазами.— А чего ж тебе волноваться? Ты ж не одна в том списке.

— Я и так спокойная,— грустно отвечала Анюта, загребая цыбаркой зерно.— Только Кондратьева бо-

язно... Татьяна с нами занималась, пусть бы она и спрашивала...

— Нельзя ей спрашивать,— пояснила Марфуша.— Секретарь райкома обязан все сам спросить и во всем сам убедиться.

— Как-то с непривычки страшновато...

— Тут, бабы, самое главное,— заговорила Дарья, женщина высокая и худая, повязанная косынкой так, что глаза не были видны,— самое главное, надобно твердо знать все даты жизни.— Она высыпала из ведра зерно в ковш веялки.— Ежели даты помнишь, в остальном говори все, что лежит у тебя на сердце,— не собьешься.

— А даты жизни мы знаем на практике,— вмешалась в разговор Фекла Ивановна, пожилая, худощавая женщина.— Потому как и мы и дети наши с ним вместе живем и все вместе делаем. Вот и в войну у меня три сына были на фронте... Володя и в Кремле был, вот как ты передо мной, стоял он против Сталина... И я так себе сказала: ежели у меня что с ответом не получится, вспомню всю нашу жизнь, и до войны, и после войны, и как мы колхозы строили...

— Э, нет, Фекла,— заговорила Марфуша,— тут своей жизни мало. Наша жизнь жизнью, а надо все понимать по книге... Вот Кондратьев возьмет и спросит: «А ну, Фекла Ивановна, скажите, о чем говорил товарищ Сталин на съезде колхозников...» Что ты скажешь?

— Знаю. О женщинах.

— И все? Эге, этого мало...

— Тут нужно подробно...

— Перед мужчинами нам бы не осрамиться!

— А кто отвечает первый?

— Да Хворостянкин.

— Он же еще не явился.

— Скоро прикатит.

— Пусть бы Варюша была первая.

Варюша, или Варвара Сергеевна Аршинцева, женщина грузная, при здоровье, вращала ручку веялки и в разговор не вмешивалась, делая вид, что ее все это мало беспокоит. На самом же деле приезд Кондратьева

волновал Варвару Сергеевну, пожалуй, не меньше, чем ее подруг. На сердце было тревожно,— а почему, она и сама не знала. Может быть, причиной было то, что она являлась в бригаде парторгом, и сознание ответственности не только за себя, но и за людей не давало ей покою; или, быть может, волновалась оттого, что вот уже много лет, начиная с тридцатого года, она часто сама с собой размышляла о Сталине, и вот сегодня все ее думы пришли к ней разом; а возможно, всему виной было именно то, что Варвара Сергеевна не умела, как другие, отвечать только по прочитанному, и на кружке, говоря о жизни Ленина или Сталина, она всякий раз обращалась к своему колхозу.

— Знаете, бабоньки, что меня беспокоит,— заговорила она, переменив руку.— Жизнь Ленина мы изучили еще весной и вот уже больше месяца изучаем жизнь товарища Сталина, а так ли все делается в нашем «Красном кавалеристе», как учат нас Ленин и Сталин? Ты, Фекла Ивановна, правильно подметила: вся жизнь товарища Сталина — вот тут, между нами, и мы все это хорошо знаем. Но ежели мы всю его биографию только по книге изучим, все даты назубок запомним, а жизнь в своем колхозе не наладим так, как он нас учит, то какое ж это ученье?.. Тут, по-моему, надо бы нам сдавать экзамен на правильность нашей колхозной жизни, и тогда первым должон подойти к столу усач Хворостянкин...

— Варвара Сергеевна,— заговорила Анюта,— да разве же можно нашу жизнь соединить с биографией... И такое придумала!

— А я тебе говорю — можно,— уверенно заявила Варвара Сергеевна.— Вот ты еще молодая и на язык дюже грамотная. А скажи, почему мы эти веялки до сих пор руками крутим? Еще Ленин наказывал облегчать наш труд электричеством. И Сталин сколько годов нас тому же учит! А у нас что? Электричество в Усть-Невинской, совсем рядом с нами, а в колхозе все идет по старинке, и никаких перемен не видно... Разве это не относится ко всему тому, что мы изучаем? Относится! И пусть меня Кондратьев начнет спрашивать, так я ему такое наговорю...

Женщины на время умолкли. Варвара Сергеевна повернулась лицом к солнцу, снова переменила уставшую, онемевшую в локте руку; затем натянула на лоб уголок косынки, отчего у ее глаз образовалась тень. Все так же безостановочно и плавно вращая ручку, она опять задумалась и смотрела на веялку, как будто прислушиваясь к глухому напеву шестеренок и к ритмичному стуку решет. Теперь в голове ее собралось мыслей так много и были они такие важные и беспокойные, что она не чувствовала ни усталости, ни тяжести и вращала ручку одной рукой с завидной легкостью. Вытирая концом косынки липкий, смешанный с пылью пот со лба, она то наклонялась, то выправляла свой могучий корпус и изредка, но так, чтобы никто не видел, украдкой посматривала на красный стол и на белый лист бумаги.

«И почему я по счету последняя? — думала она, налегая на рукоятку сильной, оголенной до локтя рукой.— Лучше бы быть первой...»

V

В это время Луша и Катя — смена Варвары Сергеевны — сидели на берегу речки Родники. Они только что искупались, и итти на ток им не хотелось. На них были одинаковые, с напуском, кофточки, короткие юбки,— загар на ногах лежал такой сильный и такой ровный, что издали напоминал чулки-паутинку бронзового цвета. И свежие, еще мокрые их лица, и молодые, блестящие против солнца глаза точно говорили: «Как же мы хорошо искупались, и вы, тетя Варя, на нас не сердитесь, мы еще немного посидим на берегу...»

— Луша, а правда, что ты не боишься? — спросила Катя, бросая камешки в воду.

— А чего ж бояться?

— Эх, плохо, что мы еще так мало жили на свете!— с грустью проговорила Катя.— Ты, верно, старше меня на три года, тебе легче...

— Легче, только не поэтому,— с обидой в голосе ответила Луша.— Я историю партии еще в школе изучала.

— Так то ж история.

— Вот в ней и вся биография товарища Сталина, и если твердо знаешь историю...

— Луша, научи меня,— перебила подруга, и светлые ее глаза заблестели.— Как бы мне Кондратьеву ответить...

— Научить не смогу, а один совет скажу.— Луша задумчиво посмотрела за реку.— Пусть Кондратьев задаст тебе любой вопрос, а ты не спеши отвечать, подумай, вспомни, какие это были годы и что тогда делала партия, какие были съезды или вообще что делалось в стране, и если ты все вспомнишь, то ответ по биографии будет правильный.

— Трудно, ох, как трудно! — горестно проговорила Катя.— Я ж еще так мало прожила...

— Опять ты свое! — Луша обиделась и встала.— Пойдем на ток, а то нас там уже ругают.

Они взялись за руки и побежали.

— Тетя Варя, а вот и ваша смена.

— Долго вы в речке сидели,— сказала Варвара Сергеевна, передавая рукоять в молодые руки.— Ну, русалки, старайтесь, а я пойду купаться.

Однако Варвара Сергеевна не пошла к речке, а тяжело уселась на ворох, погружаясь в зерно. Только теперь ощутила усталость во всем теле,— болели колени, руки, ломило в пояснице. Склонив голову, она долго молча смотрела на свои темные ладони с застаревшими и твердыми мозолями. Затем посмотрела на объявление, тяжело вздохнула и начала пересыпать с ладони на ладонь зерно, не заметив, как к ней подсела Татьяна.

— О чем так опечалилась, Варя? — спросила Татьяна, поймав в зерне сизого и скользкого жучка.

— Так, о жизни задумалась.

— О своей или вообще?

— О всякой.

Варвара сжала в кулаке зерно так, что оно просочилось между пальцами.

— Гляжу на моих напарниц,— девичество! Вдвоем им тяжело вертеть веялку. Знать, в работе я одна

двоих стою, а, сказать, на гулянке — они у парубков будут на виду, а мне там грош цена...

— Ах, ты вот о чем!

Татьяна пустила жучка на тыльную сторону ладони, он торопливо побежал по пальцу и, покружившись на ногте, расправил жесткие крылышки и улетел.

— Варюша, скоро Кондратьев приедет.

— Знаю.

— Волнуешься?

Варвара задумалась, взяла в жменю пшеницы и стала ворошить ее пальцем.

— Одно меня, Танюша, сильно тревожит.

— Какая ж это тревога? Может быть, даты жизни слабо знаешь?

Варвара выбрала на ладони крупное зерно, положила его в рот и с хрустом раскусила. Не спеша вынула из-за пазухи согнутую вдвое ученическую тетрадь.

— Вот они, даты... А только, Танюша, о другом я беспокоюсь: боюсь, не примет Николай Петрович мои ответы.

— Почему же ты так думаешь?

— Да потому, что никак не могу, хоть бы на время нашей учебы, забыть свой колхоз... И я на кружке, помнишь, очень старалась, мне хотелось так отвечать, чтобы во всем кругозор был, а ничего из этого не получилось. И почему я всеми мыслями прикована к своему колхозу — не знаю. Вот и теперь, Кондратьев будет спрашивать биографию Сталина, да еще как парторга, то совсем строго, чтоб я политически рассказала, а у меня в голове все колхоз и колхоз. Весь день сегодня думала о жизни Сталина, все главные даты вспоминала, а только почему-то так и сворачиваю к себе в колхоз... Вот беда! — Варвара тяжело вздохнула и виновато посмотрела на молчавшую Татьяну.— Танюша, ты грамотнее меня, скажи: отчего у меня такой слабый кругозор? — Варвара Сергеевна развернула тетрадь и положила ее Татьяне на колени.— Никому не показывала своего секрета, а тебе доверюсь... Смотри, какие тут у меня слова записаны: «Техника без людей, овладевших техникой,— мертвая». Я все это слово в слово списала с биографии.

— Не «мертвая», а «мертва»,— поправила Татьяна, а потом взяла тетрадь и начала ее рассматривать.— Слова очень хорошие...

— Да я сама знаю, что они и хорошие и правильные.— Варвара Сергеевна наклонилась к Татьяне и негромко сказала: — Я их для того и списала, тебе сознаюсь, что мне хотелось все обдумать политически.

— С кругозором?

— Вот, вот... Веришь, прошлую ночь не спала, сегодня весь день возле веялки думала, и все мои думы свелись, знаешь, к чему? Опять к колхозу. Как только стала читать те слова, что записала в тетрадку, так сразу Усть-Невинскую гэс вспомнила, и давай мысленно ругаться. Строили, строили, а в «Красном кавалеристе» никакого тебе облегчения. Подумала я об этом будто и случайно, а в голову так и полезли всякие мысли,— и давай я что есть силы спорить и ругаться с Хворостянкиным. И все это в уме! Смех! Думками я так отчитала Хворостянкина, что аж сама через это расстроилась. А теперь вот и страшно: не сдержусь да начну вместо биографии критиковать Хворостянкина... Да и как же тут не обозлиться? Техника у нас мертвая... Биографию вождя изучаем, а с техникой ничего не получается. Все делаем вручную.— Варвара указала пальцем на страницу тетрадки: — А читай еще: «За каждым его словом следует дело». Вот какая хорошая мысль. Ее я тоже записала, чтобы обдумать, а вышло так, что я еще больше обозлилась на Хворостянкина. Ведь у него, у этого заусайла, ни одно слово не сходится с делом. А тоже биографию изучает. Какое же это изучение?.. Или вот еще слова, очень они мне по сердцу, я их еще на той неделе выписала. «Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру,— по Ильичу». Хотела все это обмозговать политически, а колхоз наш сызнова стоит перед очами, и как начала я обо всем думать,— веришь, аж голова разболелась...

— Варвара Сергеевна,— сказала Татьяна, возвращая тетрадь,— да тебе не печалиться надо, а радоваться. Это ж очень хорошо, что жизнь вождя ты не отделяешь от нашей жизни. И то хорошо, что ты не

вообще думаешь о словах из его биографии, а все это применяешь к нашей жизни, то-есть к тому, что тебе и ближе и больнее всего. И то хорошо, что Хворостянкина ты ругаешь.— Татьяна улыбнулась,— только его лучше всего ругать и критиковать не мысленно, а прямо словами да и в глаза.

— Да я это смогу,— Варвара улыбнулась.— А вот как же, чтобы мыслить с кругозором?

— И кругозор у тебя хороший... Так что ты смело отвечай Николаю Петровичу.

Варвара осторожно сложила тетрадь, сунула ее за пазуху и посмотрела на поля. По стерне, напрямик к току, подпрыгивая на кочках, ехала тачанка, а на ней в приметной осанке сидел Хворостянкин. Обогнав подводы с зерном, тачанка подкатила к току и, сделав некрутой разворот, остановилась у дверей сарая. Хворостянкин живо соскочил на землю, оправил на ходу под поясом рубашку и подошел к объявлению. Прочитал, затем повернулся к току, увидел Татьяну и помахал ей рукой.

— Иди, тебя кличет,— сказала Варвара Сергеевна.— А я пойду к речке... Эй, девчата, вы еще не уморились?

VI

Был тот ранний вечерний час, когда солнце только что опустилось в скалистые ворота и уже не пылало, а спокойно лежало большим багрово-красным шаром. Пламенел горизонт, и от этого на поля упала не серая, какая бывает зимой, а розовая тень, и горы, покрывшись жаркой дымкой, сделались мраморно-сизыми, невысокий лесок у подножья был так опален красным светом, точно на нем отражался блеск большого пожара. Степь постепенно меркла и тускнела, дневные краски исчезали, а комбайны, тракторы, брички, копны соломы виднелись темными силуэтами. От реки повеял слабый, но свежий ветерок, и на току стало прохладно. Дым от котла, в котором готовился ужин, лег на стерню серым шарфом. Тяжело отъехали груженные зерном автомашины,— по дороге, сколько было видно глазом,

стояла не темная, а желтая, окрашенная заревом заката пыль.

Как бы предвещая близость короткой летней ночи, к току, казалось, сползлись сверчки все до единого,— музыка их была монотонной и дружной.

— Кондратьев скоро приедет? — не поворачивая голову и глядя на объявление, спросил Хворостянкин.

— Обещал быть во-время,— ответила Татьяна.

— Так, так,— Хворостянкин задумался, помял усы и, продолжая стоять спиной к Татьяне, спросил: — Значит, обещал? — он указал пальцем на объявление: — А эту затею ты с Кондратьевым... утрясла?

— Зачем же еще утрясать? — насмешливо переспросила Татьяна.

— Опять ты свое «зачем»! — Хворостянкин сердито посмотрел на подошедших возчиков: — А вы тут чего без дела расхаживаете? Помогайте зерно в мешки насыпать... Идите, идите, нечего вам тут шататься.— Хворостянкин, как бы желая найти сочувствие у Татьяны, скупо усмехнулся, погладил усы. — А мы отойдем в сторонку, поговорим, посоветуемся... кое-чего согласуем.

Они подошли к водовозке, стоявшей невдалеке от тока, и уселись на дышло с ярмом. Хворостянкин достал из нагрудного кармана белый, целлулоидный портсигар, взял папиросу и, легонько постукивая мундштуком о ноготь, с лукавой усмешкой сказал:

— В жизни обычно как бывает... Сойдутся двое на важную беседу, первым делом закурят... Эх, плохо, когда один руководитель курящий, а другой даже дыма боится...

— Если плохо, бросай сосать эту соску,— неохотно отвечала Татьяна, снимая с ярма крохотный пучочек рыжей бычьей шерсти.

Хворостянкин закурил и, глядя куда-то в завечеревшую степь, пускал дым сквозь усы.

— Куренье — пустяк,— заговорил он, трогая пальцем закопченный ус.— Можно по-хорошему поговорить и без курева...

— А кто мешает?

— Ты, Татьяна Николаевна... Ну, скажи, из-за чего на меня так взъедаешься? Почему с той поры, как ты стала не только агрономом, а и секретарем партбюро, сказать — сделалась моим замом по политической части, я не могу и дня спокойно прожить. Почему такая тревога сидит во мне?.. Молчишь... А я знаю полную причину. Да, знаю! Задалась целью авторитет мой сломить!

— Откуда это видно?

— Да из всего... На собрании критикуешь при всех колхозниках. Да где же тут наша партийная монолитность? Во все мои действия вмешиваешься, во всем норовишь ножку подставить.

— Вмешиваюсь, критикую при всех — верно, а насчет ножки — чепуху придумал.

— Какая ж чепуха? А это что? — он указал рукой на объявление.— Это ж опять захотела уронить мой авторитет... Зачем включила в общий список, да еще и выставила на первое место?

— Из уважения,— ответила Татьяна, отмахиваясь от дыма.— Ты же председатель, тебе всюду первое место.

— Ба! Первое место! Уважение! Нашла чем уважать! — Хворостянкин насупился.— Ты же хорошо знаешь, что я политической учебой занимаюсь самостоятельно, об этом и райком был своевременно уведомлен... И биографию вождя тоже изучаю самостоятельно, а ты меня в общий список, да еще и рядом со всеми...

— Игнат Савельевич,— сказала Татьяна, насмешливо скосив глаза,— а какую главу истории партии изучаешь?

— Экзаменуешь?

— Интересуюсь.

— Ну, четвертую... А что?

— Лет десять — и все сидишь на четвертой главе?

— Ты меня этим не упрекай. Ежели хочешь проверить мои знания, поедем в райком и там проверишь. А зачем же тут, при народе... Тут и Никита Самойлов, и Аршинцева, эта крикунша...

— Испугался Аршинцевой?

— Да я ее не боюсь.— Хворостянкин, желая сказать что-то значительное, наклонился к Татьяне, ощутив в ее волосах чуть заметный запах духов. «Эх, вся ты пахнешь красиво, просто заманчиво пахнешь, а только характер у тебя не женский»,— подумал он и уже шепотом сказал: — Пойми своей головой, что не в страхе дело, а в том, что неприлично руководителю экзаменоваться при всех... Нетактично, понимаешь.

— Эх, Игнат Савельевич,— сказала Татьяна, строго взглянув на Хворостянкина,— и чего ты прячешься за свой авторитет, как за рваную ширму... Вот ты говоришь, что учишься самостоятельно... Зачем же и себя и других обманываешь? Ведь не учишься, я это хорошо знаю.

— Проверь, а тогда и говори.

— Проверю... Вот сегодня мы посмотрим, как и что ты изучал...

— Кто ж это «мы»?

— Все, кто здесь будет.

— Татьяна Николаевна! — Хворостянкин развел руками и тяжело вздохнул.— Да разве нельзя всего меня проверить отдельно от людей, допустим, у меня в кабинете?

— Нельзя,— решительно заявила Татьяна.— А чего ты боишься?

— Опять ты свое... Я — боюсь? — Хворостянкин притворно рассмеялся, бросил под каблук папиросу и встал.— Придумала! Я — боюсь! Да я биографию вождя всем своим нутром чую. Ты была еще дите, а я под руководством товарища Сталина колхозы строил, новой жизни фундамент закладывал...

— Ну, вот и хорошо, что закладывал фундамент,— сказала Татьяна, вставая.— С тебя мы и начнем... А теперь пойдем к весовщику, посмотрим, сколько там у нас отправлено зерна...

— Нет, погоди, Татьяна Николаевна, так это дело у нас не пойдет,— багровея и хмуря брови, сказал Хворостянкин.— Ты меня к весовщику не тащи и зерном зубы не заговаривай, они у меня, слава богу, не болят! И сколько мы отправили хлеба на элеватор, мне тоже

известно. Ты лучше скажи без обиняков: исключишь меня из этого списка по добру, по согласию?

— Не могу.

— Ага! Не можешь? Тогда я сам смогу... Эй, Никита! — крикнул он кучеру.— Давай лошадей!.. Не можешь... А чужой авторитет ломать можешь? — Он тяжело взобрался на тачанку и, когда лошади тронули, крикнул: — А я смогу! Поеду навстречу Кондратьеву — он меня поймет!..

VII

Постепенно вечерело. Медленно догорал закат, горы почернели, заострились и стали высокие-высокие. А тут еще, как бы на смену солнцу, из-за станичных садов, выступавших темной грядой на горизонте, выплыла луна, и от этого горы стали еще более строгими и величественными. Вместе со слабым, холодным светом луны, на теплую, еще не остывшую от дневной жары землю ложилась свежая ночная прохлада. Умолкли веялки, и на току слышался разноголосый говор, смех, звон посуды, всплески воды,— люди умывались и готовились к ужину.

Татьяна зажгла две лампы и поставила их на тот самый стол под красной скатертью, на котором еще днем были разложены книги и газеты. При лунном свете лампы горели тускло, но степных жучков и бабочек точно магнитом потянуло к огню, и они закружились вокруг стекла с каким-то жадным проворством.

«Чужой авторитет ломаешь,— грустно думала Татьяна, наблюдая, как один черный длинненький жучок увивался возле лампы, то со звоном ударялся о стекло, то падал на скатерть и снова взлетал.— Ломаешь... чужой авторитет... Придется лечить эту скверную болезнь иными способами... А какими?»

Она присела на стул, развернула книгу и задумалась.

Приехал на коне Андрей Васильевич Кнышев. Татьяна слышала, как звякнули стремена, как старик, глухо покрякивая, слез с седла, привязал повод к грядке брички и громко сказал:

— Здорово булы, зерновики! Хлеб да соль, да еще и поклон от коневодов!

— Спасибо, Андрей Васильевич, на добром слове. Сидайте до нас вечерять!

— А я уже отвечерял. Спешил, думал — опоздаю, а вышло — только зря коня уморил. У вас же еще ничего не началось.

— Мы давно готовы.

— Так за чем же остановка?

— Кондратьева поджидаем.

Татьяна, желая послушать разговор, подошла к обеденным столам — четыре широкие доски на низеньких ножках разместились поблизости от кухонного стола. Кухарка нашла Татьяне место и принесла в одной тарелке жареную картошку, а в другой — порезанные с луком помидоры.

— А какая у тебя, Андрей Васильевич, думка насчет ответов? — спросил Никита Самойлов, нагибаясь над тарелкой и загребая ложкой картошку.— Подготовился?

— Какая ж тут еще думка? — Андрей Васильевич нарочно помолчал, не спеша снял бурку, свернул ее вшестеро, а потом сел на нее, как на стульчик.— Хвалиться, Никита Семенович, не буду, а отвечать смогу.

— На все вопросы?

— На любые,— уверенно заявил Андрей Васильевич, приглаживая куцую бородку.

— А даты жизни твердо помнишь? — звонким голосом крикнула Дарья, сидевшая с женщинами на другом конце стола.

— Кому что, а тете Дарье даты жизни!

— Даты, как я понимаю, еще не главное,— рассудительно заговорила соседка Самойлова.— Помнится, мой сын изучал в школе не то Пушкина, не то Лермонтова, забыла... Так он, бедняга, все даты напамять заучил, читал их прямо, как молитвы, а получил двойку...

— Так то ж твой сын без всякого понятия зазубривал.

— И что вы ровняете дите! — отозвалась Дарья.— Дите оно и есть дите... А вот у меня лично был такой случай: читали мы зимой книгу про Кочубея...

Тут разговор перекинулся к Дарье, на ту половину стола. Воспользовавшись этим, Самойлов подошел ближе к Андрею Васильевичу, угостил его табаком и, вытирая ладонью жиденькие усы, негромко сказал:

— А все ж таки, Андрей Васильевич, ты, как Герой Труда, скажи, как запоминаешь?

— Как запоминаю? — Кнышев задумался, долго тер кулаком лоб.— Тебе нужно знать? Скажу... Очень просто запоминаю. У меня есть такая особая запись в уме.

— Ага! Значит, запись и в уме. А я этого не умею.

— Ну, ничего. Можно, Никита Семенович, и без умственной записи,— поучал Кнышев.— Послушай моего совета: главное — держись правильной линии.

— Так, так,— оживился Самойлов,— значит все дело в линии.— Он поднялся, попросил встать и коневода.— Вот мне и хотелось знать, как бы это, понимаешь, так... Отойдем в сторонку, ты мне кое в чем подсобишь... Значит, по-твоему, все в правильной линии и в умственности... Ишь ты, какая штука...

Когда же кончился ужин и кухарки, гремя посудой, начали собирать со столов, люди разошлись по току и разделились надвое: одни — большей частью молодежь и те из пожилых, кто славился сильными голосами, собрались в круг, запевала затянул чистым тенором: «Моло-одый дубочек, ой да, на яр похылывся»; хор подхватил последнюю ноту, и мощные, протяжные голоса огласили всю равнину, оглушив не только музыку кузнечиков, но и далекое воркование трактора. Другие — тут были мужчины, женщины, подростки — сошлись к тому столу под красной материей, который еще днем так манил к себе их взоры. Поджидая Кондратьева, они завели неторопливую беседу о всяких хозяйственных делах. И только одна Варвара Аршинцева не примкнула ни к той, ни к другой кучке, и хотя она умела вести беседу и любила песни, но в эту минуту ей было и не до разговоров и не до песен. Она взобралась на самый высокий ворох пшеницы, улеглась на нем, как на кургане, ощущая спиной приятную мягкость

зерна. Заложив руки за голову и чувствуя усталость во всем теле, она немигающе смотрела на лунное небо — голубое и высокое-высокое.

Ей хотелось до приезда Кондратьева побыть одной, хотелось припомнить еще раз самые важные даты и самые нужные ответы. И хотя она была одна и думать ей никто не мешал, но мысли ее, как и прежде, обращались к своему колхозу. «Да тебе не печалиться надо, а радоваться»,— вспомнила она слова Татьяны, и ей казалось, что все, чем она жила: и «Красный кавалерист», с его бригадами и животноводческими фермами; и Усть-Невинская гэс со всеми электрическими столбами на полях; и комбайны, тракторы, автомашины; и обозы с зерном, идущие по дорогам к элеватору; и новая школа в Родниковской; и Герой Труда Андрей Васильевич Кнышев со своими табунами коней; и ночные песни над степью; и тока с хлебом и она сама — все это биография Сталина. «Вот они и есть главные даты жизни»,— подумала она и от этих мыслей на сердце стало легко.

Она лежала с открытыми глазами, а вблизи все так же разливалась и взлетала высоко-высоко знакомая ей песня, а чистое, с редкими звездами небо все так же вставало над степью и все так же своим светлым взором глядела на землю луна.

«Как же мне рассказать поскладнее да покрасивее? — спрашивала она и не находила нужного ответа.— Сердцем чую, а словами не смогу высказать... Вот как это небо: сколько на него ни смотри — а все разом не увидишь, так и жизнь Сталина...» Мысль эта ее обрадовала, и вот ей видится, будто подходит она к столу смелым шагом, Кондратьев встает, подает руку и спрашивает: «А ну, бригадный парторг, Варвара Аршинцева, расскажи нам, как ты изучила биографию вождя?» — «Расскажу,— смело отвечает она,— только вы меня не перебивайте, я буду рассказывать по-своему...» — «Говори по-своему, послушаем...»

И только было Варвара Сергеевна собралась с мыслями, как вдруг послышался близкий шум машины,

запламенело зерно под светом фар, умолкла, оборвалась песня, и Дарья, подбежав к току, крикнула:

— Варюша! Ты чего спишь! Иди! Кондратьев приехал! И Хворостянкина привез!

Первым из машины вышел Хворостянкин, хмурый и злой. Кондратьев вошел в круг людей у стола, поздоровался, отыскал глазами стоявшую в сторонке Варвару Сергеевну и сказал:

— А! Парторг! Подходи ближе... Ну, здравствуй, Варвара Сергеевна.— Он сел на табуретку, отодвинул на угол лампу.— Извиняюсь перед всеми за опоздание. По дороге встретился с Игнатом Савельевичем, был у нас разговор, и задержался.

— Вот и хорошо, что Хворостянкин приехал,— сказала Варвара Сергеевна.— Он же первый по списку.

— А мы обойдемся и без списка,— проговорил Кондратьев, снимая фуражку и поглаживая белые виски.— Вы знаете, обычно занятия кружков у нас начинаются осенью. Мы же с Татьяной Николаевной посоветовались и решили в «Красном кавалеристе», для опыта, не прекращать политучебу и летом, в самую жаркую страду. По всему уже видно — опыт удался... Теперь о проверке ваших знаний. Проверка будет простая и даже несколько необычная. Подсаживайтесь все ко мне поближе, вместе мы побеседуем о жизни и деятельности товарища Сталина и из беседы выясним, что и как мы изучили и уяснили... Так, что ли, Татьяна Николаевна?

Татьяна утвердительно кивнула головой. И по тому, как в один миг были поднесены к столу мешки с зерном — удобное сиденье, и по тому, как были подставлены лавки и как все чинно уселись возле стола, образовав большой круг, было видно, что предложение Кондратьева всем пришлось по душе. Варвара Аршинцева, одобрительно поглядывая то на Татьяну, то на Кондратьева, думала:

«Вместе побеседуем — это даже очень правильно, языки у всех развяжутся... Заодно и о своем колхозе поговорим... И очень правильно сделал Николай Петрович, что привез с собой на такой случай Хворостянкина».

VIII

После знойного дня вечер выдался жаркий, а воздух стоял такой душный и тяжелый, что Федор Лукич, сильно потея и страдая одышкой, не находил себе места ни в доме, ни в палисаднике. Он уже снял нательную рубашку и несколько раз обливал водой волосатую грудь и седую, низко остриженную голову, но избавиться от духоты не мог. Ему думалось, что в темноте будет прохладнее, и он потушил лампу, склонился грудью на подоконник. Старчески-слабое его сердце стучало с перебоями — то учащенно, с острыми коликами, то редко-редко, точно совсем затихая, а дышать попрежнему было тяжело: не хватало воздуха. В эту минуту все ему было противно. Мысленно он ругал и жену, где-то управлявшуюся по дому, и Евсея Нарыжного, который обещал прийти еще засветло, но до сих пор почему-то не приходил.

«И где его там черти носят? — думал Федор Лукич, держась горячей ладонью за грудь.— Можно было бы и в ночь выехать... Ночью еще удобнее — не лез бы каждому в глаза...»

Задумчивым, полным горечи взглядом смотрел он в садок против окна. В глубине деревьев было совсем темно, листья не шелестели, тишина царила вокруг, и Федору Лукичу почему-то виделся под деревом покойник в гробу,— вот таким жарким вечером в саду когда-то умирал его отец Лука Фомич... Воспоминания о смерти отца были вызваны не только темным и грустно-молчаливым садом, а и тем приторно-сладким запахом чебреца, васильков и еще какой-то пахучей травы, которым несло из палисадника... Федор Лукич вспомнил,— пучки чебреца и васильков тогда лежали на гробу, синие и густоголубые, и от этого видения дурманящий запах еще больше стеснял дыхание...

«Это что же, может для меня те цветы приготовлены»,— думал Федор Лукич.

Затем тяжело поднялся, зажег свет и сел на кровать.

— Марфуша, пойди сюда! — позвал он жену.

— Ну, чего тебе? — с досадой в голосе спросила Марфуша, войдя в комнату.

— Что там растет в палисаднике? — трудно дыша, спросил Федор Лукич.

— Разве ты не знаешь? — удивилась она.— Разные цветы... И душистые васильки, и хлебная мята.

— Развела под окном всякую чертовщину,— покойником пахнет.

— Господь с тобой, Федя! — испуганно проговорила Марфуша.— Это же цветы...

— Повырывай всю эту вонючку,— Федор Лукич грустно посмотрел заслезившимися глазами, пощипал родинку на губе.— Тут и без этого запаха тошно.

— Тебе нездоровится,— ласково заговорила Марфуша,— так ты ложись, усни.

— Ложись? — Федор Лукич тяжело вздохнул и закусил губу.— А того мошенника с ястребиными глазами кто наставлять будет?

— Да он и сам уедет.

— Уехать-то уедет, а как и что там станет делать? Это тебе не быкам хвосты крутить, а с народом надо говорить.

— Федя,— Марфуша присела на кровать,— вот ты называешь Евсея мошенником...

— Мошенник он и есть,— перебил Федор Лукич,— по глазам видно — не человек, а черт... Из-под суда выскочил...

— Так зачем же ты его посылаешь с такой бумагой? — боязливо спросила Марфуша.— Ведь это же такое дело... Лучше бы ты его не посылал.

— А кого ж я пошлю? — Федор Лукич попробовал расправить плечи и не смог.— Кого? Сам не могу: совсем ослабел... Жара меня терзает... К осени я поправлюсь, а теперь — беда...

— Пусть бы ехал Артамашов,— робко намекнула Марфуша и теперь уже горестно посмотрела на мужа.— Все же Артамашову можно...

— Что можно? — сердился Федор Лукич.— Ты там знаешь... Артамашову сейчас некогда... Награду за урожай зарабатывает... Дажеть и ко мне дорогу поза-

был. Пока была у меня власть — всем был нужен, а теперь отворачивается... И этот, Евсей... Чего не приходит?

— Да, может, его какие дела задержали.

Только что Марфуша сказала эти слова, как послышался скрип калитки и торопливые шаги по двору; затем мимо окна промелькнула голова со сбитым на затылок картузом, и в комнату, не постучавшись, как в свой дом, вошел Евсей Нарыжный. Виновато поглядывая на хозяев, он поздоровался любезно, Марфуше слегка пожал мягкую руку, к Федору Лукичу даже наклонился, точно хотел обнять, а глаза его уже играли — то загорались живыми искорками, то потухали и наполнялись грустью.

«Уже, сучий сын, прядет своими бесовскими очами, видно, что-то в уме замышляет»,— подумал Федор Лукич, отворачиваясь от Нарыжного.

— Федор Лукич, да ты прямо как запорожец или какой борец! — сладко заговорил Нарыжный, и чертики в его глазах пустились в пляс.— Одного точно такого голого силача я видел на картине.

Ласково, почти нежно глядя на обрюзглое, рыхлое тело Хохлакова, он думал: «Эге, да ты, старый коняга, уже подбился... Совсем разваливается, скоро, скоро и дуба даст...»

— Ты меня не расхваливай и не строй усмешечки,— строго сказал Федор Лукич, с трудом вставая.— А лучше говори: где шлялся?

— Не шлялся, Федор Лукич, а разузнавал одно важное дело.

— Важное, важное...— о чем-то думая, проговорил Федор Лукич и присел к столу.— Марфуша, мы побудем одни, а ты приготовь чайку с вишней.

Жена послушно вышла из комнаты. Хохлаков молчал и только шумно сопел. Нарыжный стоял, покорно склонив голову.

— Садись,— буркнул Федор Лукич.— Нос твой чует, чем пахнет за окном?

— А как же, чует,— поспешно ответил Нарыжный.— Очень даже ароматично... Запах васильков всегда напоминает благовоние ладана...

— Садись, чего ж вытягиваешься,— уже со злостью сказал Федор Лукич.— Ну, рассказывай, какие новости разузнал?

— Новость, Федор Лукич, она будто и простая,— Нарыжный присел на стул,— а очень важная: Тутаринов возвратился из Москвы.

— Давно?

— Сегодня под вечер. На аэроплане прилетел.

— Ну и что ж с того? Пора уже и прилететь.

— Так вот, я встретил Ванюшу-шофера,— продолжал Нарыжный,— он ездил встречать... Говорит Ванюша, что Тутаринов десять ящиков привез одних книг, и Ванюша слышал, будто скоро начнется в районе поголовное обучение электричеству.

— Слава богу, новая затея! — с усмешкой сказал Федор Лукич.

— А еще говорит Ванюша — вагонами едут машины.

— Эту новость знаю и без тебя,— перебил Федор Лукич.— А не разузнал, вид у Тутаринова какой, веселый?

— Спросил и об этом,— не мигнув глазом, приврал Евсей.— Ванюша говорит, что лицом сильно тоскливый, прямо весь аж мрачный...

— Значит, тоскливый и мрачный? — Федор Лукич потер лоб, усмехнулся.— Теперь я понимаю. В Москве ему дали машины, книги и сказали: «Поезжай и доведи одну затею до конца...» И я так думаю, Евсей: за природу его в Москве даже поругали... Вот тут бы и наше письмо! — Федор Лукич оживился, хотел встать, оперся локтями о стол, а подняться не мог, и тут на помощь подоспел Нарыжный.— Тише нажимай!.. У тебя, Евсей, руки как железные...

— Силенка еще при себе имеется,— смеясь, ответил Нарыжный.

— Ну, теперь давай о деле,— сказал Федор Лукич и, взяв с полочки папку, развернул ее на столе.— Вот то письмо, о котором мы не раз говорили. Теперь к нему нужны подписи, и эту задачу я возлагаю на тебя.

— А кто мог средактировать? — беря в руки напи-

санные на машинке листы, полюбопытствовал Евсей.— Или сам все сочинил?

— То не твоего ума дело,— сказал Федор Лукич.— Ну, ты почитаешь опосля, а зараз скажи мне прямо: сможешь добыть подписи?

— А много нужно?

— Чем больше, тем лучше.

— Ежели постараться, то можно изделать.

— Так вот что, Евсей Гордеевич, давай сядем,— дружески заговорил Федор Лукич, и когда они сели, продолжал: — завтра на зорьке бери Буланого и поезжай. Вот тебе мой совет: в станицы не заглядывай, там тебе делать нечего. Зараз все люди на косовице — туда и ты езжай. Да смотри, Евсей, дело это не шуточное, все делай с умом. Председателям и парторгам на глаза не попадайся...

Нарыжный кивал головой, сощурив так глаза, что между веками образовались чуть приметные щелочки.

— К моим бывшим друзьям заезжай, поклон передавай... Головачева из «Дружбы» разыщи — тот подпишет. В Родниковской есть Афанасий Гордеевич Скиба, к нему заезжай. Хорошо будет, если какого бригадира уговоришь. Побывай у Артамашова — тот тебе еще людей подскажет.

Марфуша позвала пить чай. За чаем они только переглядывались и думали каждый о своем.

«Посылаю тебя, а душа у меня болит,— думал Федор Лукич.— По глазам вижу — схитришь, чертяка... Был бы я здоровее, сам бы поехал...»

Евсей, прихлебывая чай с блюдечка, думал:

«Случится до горя — наклевещет на меня...»

Евсей остался ночевать и почти всю ночь слушал увещания и наставления Хохлакова, слушал молча, часто тяжело вздыхал и мысленно ругал своего наставителя... Поднялся рано, не стал ожидать завтрака, взял письмо, попрощался и ушел... А через полчаса он уже ехал рысью на Буланом, направляясь той дорогой, которая лежала в Родниковскую.

IX

Широким и красочно-ярким полем ехал на коне Евсей Нарыжный, и холодный его взгляд был ко всему равнодушен, а на озабоченно-суровом лице не отражалось и тени радости. Он сидел на полстенке, пристроенной вместо седла, спина его горбилась, руки тяжело свисали. И хотя ухо его хорошо слышало и отдаленные звуки моторов, и песню жаворонка над головой; хотя глаза его давно видели комбайны, которые на фоне светложелтых хлебов выступали своей причудливой формой; и частые копны, которые, как заклепками, усеяли серое жнивье; и молотильные тока с ворохами зерна,— он ко всему был глухим и слепым, ибо голова его была занята совсем иными размышлениями. Ему хотелось уже сейчас представить себе картину того, как он будет разговаривать с колхозниками на бригадном стане или в поле и как люди начнут подписывать то письмо, которое лежит у него на груди, под рубашкой. Бумага шелестит, щекочет тело, а Евсей, попустив коню поводья, низко склонил голову и задумался.

«И что-то у меня в голове ничего не вмещается,— размышлял он, прислушиваясь к шелесту бумаги под рубашкой.— И не могу я себе в уме представить, как все это на деле получится... Этот дряхлый старик поучать мастер, а вот как подойти к людям и с чего начать?.. Человека надо задеть за живое, а чем его заденешь?..»

Возможно, Евсей, подумав еще немного, и нашел бы нужный ответ, но в это время Буланый потянулся к колосьям, оступился и так споткнулся, что чуть было не сбросил через голову седока.

«Не к добру эта спотыкачка»,— зло подумал Евсей и всю свою злость тут же согнал на коне.

— Спотыкаешься, чертяка безногий! Пшенички захотелось, проклятая морда!

К этим резким выражениям были прибавлены толчки каблуков в бока и взмах плетки, и Буланый покрутил головой, видимо тоже ругнул своего седока, и неохотно побежал рысью.

Поднявшись на пригорок, Евсей увидел обочь дороги двухколесный шарабан, брюхатую кобыленку в оглоблях и двух женщин, уже смотревших в его сторону.

«Ага,— обрадованно подумал Евсей,— кажись, начало будет... С этими бабочками я столкуюсь...»

Он еще раз угостил коня плеткой, сбил на затылок картуз и молодцевато подъехал к женщинам.

— Здорово булы, казачки!

После такого красивого приветствия Евсей осадил коня, который уже заметил брюхатую кобылу, потянулся к ней мордой, видимо желая познакомиться.

— Здравствуй, добрый человек.

— Что это у вас за остановка среди степи?

— Видишь, какая оказия с хомутом стряслась,— сказала женщина, которая на вид была постарше своей подруги.— Супонь лопнула, и через это стоим, а нам ехать надо спешно.

— Эх, любезные бабочки,— сказал Евсей, поглаживая усы, щуря глаза и давая волю чертикам,— как же это вы такую пустяшную поломку не можете исправить. Вы супонь веревочкой свяжите.

— А где ж взять ту веревочку?

— Не станем же мы юбки снимать и ими закручивать.

— Эх вы, красотки,— Евсей добродушно рассмеялся,— такой предмет, как юбки, в таком деле не подмога.

— Не заигрывай и глазами не пряди,— для заигрывания у нас мужья есть.

— Если можешь помочь, помоги.

Тут Евсей, не говоря ни слова, спешился и стал умело, по-хозяйски осматривать хомут, который раскорячился на шее брюхатой кобылы. Покамест он приглядывался к супони, осматривал изорванный ремешок и разговаривал с женщинами, его конь тем временем успел не только понюхать брюхатую кобылу, но и познакомиться с ней и даже расспросить, откуда она, куда держит путь и как ей живется на свете. Видимо, брюхатой кобыле Буланый пришелся по нраву, и она, доверчиво поведя ушами, позволила ему даже положить морду ей на гриву, что он и сделал весьма учтиво.

— Подсоблю и могу даже пожертвовать вот этот поясок.— Евсей заманчиво покрутил наконечником пояска в серебряной насечке, которым были подвязаны его брюки.— Только мне надо знать: кто вы и откуда?

— А для чего ж тебе это надо знать?

— Так поясок же я даю вам взаймы,— сказал Евсей и стал снова покручивать наконечником.— А еще я еду из района и везу важное письмо, которое и вас тоже касается.

Услышав о каком-то важном письме, женщины переглянулись, и старшая сказала:

— Мы колхозницы из Яман-Джалги. Меня звать Дарья Яценкова, а ее — Мария Нескоромная... Ну, давай поясок.

— А куда вы едете?

— Видишь, мешочки лежат в шарабане,— угадай!

— Угадать не трудно,— ответил Евсей.— Зерно везете на пробу.

— Такое безобразие творится с этой пробой! — гневно сказала Дарья, взявшись сильными руками в бока и картинно подойдя к Евсею.— Веришь, третий раз приходится лошадь гнать — все не могут определить влажности, а зерно через это ворохами лежит на токах... Вчера Кондратьеву жаловались, а сегодня снова туда торопимся.

— А хотите, чтобы во всем районе не было никаких безобразий? — спросил Евсей, загадочно усмехнувшись.

— Да кто ж этого не желает?

— Ты давай поясок, а зубы нам не заговаривай,— вмешалась в разговор Мария Нескоромная.

— Поясок получите,— Евсей нарочно подбросил на руке наконечник, чувствуя, как бумага под рубашкой сползает на живот.— Только подпишите то письмо, которое в один миг ликвидирует все безобразия.

Он полез рукой под рубашку и вынул аккуратно сложенные листы. Дарья и Мария насторожились и недоверчиво посмотрели на Евсея.

— Карандашик у меня тоже есть,— сладко улыбаясь, говорил Евсей, доставая из кармана карандаш и подходя к шарабану.— Вы сперва послюнявьте кончик и подписывайтесь вот здесь... Так и пишите:

колхозницы-ударницы такого-то колхоза из станицы Яман-Джалга...

— Маруся, а ну, почитай и узнай, против каких безобразиев написано,— сказала Дарья, покосившись на Евсея.

— Не беспокойтесь, решительно против всех.

Мария Нескоромная осторожно взяла из рук Евсея письмо, долго и молча смотрела на лист, и пока она про себя читала, возле шарабана воцарилась такая тишина, что было слышно, как облегченно вздохнул Буланый, все еще о чем-то своем разговаривая с кобылой.

— Даша, отойди на минутку,— сказала Мария, и когда они отошли шагов на пять, прошептала: — Оно написано не против безобразиев, а против Сергея Тимофеевича...

— Помалкивай и бери у него поясок,— тоже шепотом посоветовала Даша.

Евсей, видя, как женщины о чем-то шепчутся, струсил не на шутку.

«Это такие красотки,— мелькнуло у него в голове,— что свалят, отнесут в пшеницу и такое с тобой совершат...»

— Закрепляй супонь своим ремешком,— властным голосом сказала Даша.— А опосле поговорим о письме.

Евсей снял тонкий ремешок и по-хозяйски умело закрутил им супонь. Женщины уселись на бедарку, и Даша стегнула кобылу кнутом. Евсей, придерживая одной рукой спадавшие брюки, другой успел выхватить у Марии смятое письмо; бедарка с громким цокотом покатилась под гору... Женщины, оглядываясь, задорно смеялись.

— Ах вы, черти в юбках! — злился Евсей, усаживаясь на коня.— Это ты виноват, спотыкач проклятый,— обратился он к Буланому, погрозив ему плеткой,— споткнулся на мою голову...

Помахивая плеткой и ругая то коня, то женщин, а то и Хохлакова, Евсей еще долго бурчал. Увидев пылившую ему навстречу автоколонну, он свернул на жнивье и поехал по направлению к видневшемуся вдали полеводческому стану.

X

От этой довольно-таки неудачной и малоприятной встречи с яман-джалгинскими колхозницами в Евсее еще долго жило что-то очень похожее на лихорадку; во взгляде тоже появился новый оттенок — уже не равнодушие ко всему, а какой-то непреодолимый страх при виде людей...

Именно этим взглядом, остановившись в полукилометре, он и посмотрел на полевой стан. Перед ним стояли обычные строения — квадратный, похожий на амбар, дом под жестью, два навеса, покрытые черепицей. Вороха зерна, точно на ссыпном пункте «Заготзерно», лежали и под навесом и по всему просторному двору. Возле куч зерна выстроились в один ряд штук шесть веялок, два триера; тут же виднелись огромные весы со столиком, на котором лежали гири и какие-то бумаги; белели невысокие штабели мешков; с противоположной стороны к стану подъезжали четыре трехтонки...

Ни строения, ни вороха пшеницы с веялками и весами, ни едущие трехтонки не удивили нашего всадника, и он, пожалуй, не остановил бы коня и не предпринял бы столь поспешного решения, если бы испуганный его взгляд не увидел большого количества людей, занимавшихся сушкой и очисткой зерна. Или ему только так показалось, или в самом деле колхозников на стане было очень много, и Евсей, как только взглянул на людей, так сразу и ощутил в теле еще больший приступ лихорадки; долго не раздумывая, он решительно повернул Буланого и, подбадривая его плеткой, торопливо поехал в сторону, заметив вблизи небольшой овраг, поросший курчавым леском.

В этом лесочке Евсей пробыл почти до вечера. Разыскав родник и лужайку, он пустил коня на траву, а сам подсел к воде, вынул из сумки припасенные харчи и решил подкрепиться дорожным обедом, а заодно и избавиться от неприятной дрожи в теле. Перво-наперво он умылся и попил холодной воды из пригоршни, затем снял черевики и сполоснул вспотевшие ноги... Уже много часов сидя на мягкой траве и ощущая прохладу, иду-

щую из лесу, Евсей постепенно избавился от лихорадки и успокоился. Теперь ему хотелось еще и собраться с мыслями для того, чтобы предпринять шаг более предусмотрительный, но в голове, как на зло, было пусто, и только знакомое чувство горечи и обиды не покидало его ни на минуту. Все его злило: и то, что брюки, лишившись пояса, плохо держались на своем месте — их так и тянуло к земле; и то, что приготовленное Марфушей в дорогу сало было слишком пережаренное; и то, что хлеб запылился в сумке и пересох так, что разжевать его было трудно...

«Чертова развалина, лежит там, отдыхает,— мысленно ругал он Хохлакова,— а меня послал шляться по степи... Это еще хорошо, что поплатился только одним пояском... Куда же мне теперь податься? На тот людный стан? Эге, там, по всему видно, мне не сговориться... Лучше всего ехать к Артамашову. Пусть и сам подпишет да и поможет».

Ему показалось, что ехать к Артамашову и вместе с ним собрать подписи — единственное правильное решение. Поэтому Евсей поспешил закончить обед, сложил оставшиеся харчи в сумку и, кое-как привязав тонкой хворостинкой штаны, направился к коню, который, надо полагать, никак не ожидал, что его так скоро разлучат с сочной травой...

И вот уже снова, сидя на полстенке и помахивая плеткой, Евсей раздумывал о том, что нужно непременно поехать напрямик через Яман-Джалгинскую степь и засветло прибыть на поля Усть-Невинской, и там, не теряя времени, разыскать Артамашова.

Возможно, такой нетрудный план в тот день и был бы осуществлен, если бы не явилось непредвиденное обстоятельство: на пути нашего всадника совсем случайно оказался добродушный и не в меру словоохотливый старик, именно такой старик, какого давно желал встретить Евсей; вдобавок ко всему новый знакомый оказался тоже Евсеем, но только не Гордеевичем, а Фомичем,— такой факт тоже немало обрадовал Нарыжного, ибо с тезкой всегда легче найти общий язык.

Евсей Фомич, невысокий и худощавый старик, с курчавой цыганской бородкой, в соломенной шляпе и в

длинной, без пояса, рубашке, похожий на пасечника, исполнял обязанности сторожа на току, где лежала, поджидая автоколонну, не одна тысяча пудов зерна. Старик жил в наскоро сооруженном из соломы балаганчике, имел при себе кудлатую, с распушенным хвостом собаку и одноствольное ружье. Одному среди степи жилось скучно. По природе Евсей Фомич был разговорчивый, вырос он среди людей и любил продолжительные и задушевные беседы, и вот уже больше недели старик был лишен этого удовольствия. Поэтому, увидев всадника, Евсей Фомич обрадовался и тут же стал подыскивать приличный повод, которым бы можно было заманить к себе незнакомца на час-другой. Между тем, Евсей, окинув беглым взглядом вороха зерна, успел заметить не только сторожа, сидевшего с газетой в руках, не только приставленную к плечу берданку, не только пушистый рыжий хвост собаки, трубой торчавший из балагана, но и такую важную деталь, как «Знак почета» у старика на груди. «Эге, да сторож еще и орденоносец,— подумал Евсей, не отводя глаз от балагана,— вот бы мне такого человека подцепить для подписи... Надо попробовать, только с подходом и с осторожностью...» После этой мысли всадник взмахнул плеткой и смело направил Буланого прямо на балаган.

Не более как минут через десять Буланый уже пощипывал не очень сочную траву вблизи дороги, не без коварных помыслов косясь на светлые кучи ячменя, а в тени, возле балагана, опершись спиной о сухую и колючую солому, сидели два Евсея и вели неторопливую беседу.

— Евсей Фомич,— сказал Евсей, поглядывая на рыжую собаку, изнывавшую от жары и безделья,— должность у тебя ответственная... Хлеб ежели что — беда! — Его надо оберегать, как золото.

— А то как же! — охотно согласился Евсей Фомич.— Сказать, должность хоть и ответственная, но она мне дюже по сердцу. Люблю охранять колхозное добро, привык я к этому делу. Все года, еще до войны, работал объездчиком.

— Осмелюсь спросить: а за что пожаловали тебе эту награду?

— За мое объездничество... У нас поля обширные, и чтобы посевы были в сохранности, требуется острый глаз, чтобы ты все сразу видел. Тут и всякие укосы могут быть и потравы скотом,— есть же такое дурачье, что так и норовит пошкодить чужой хлеб. Так я бывало сяду на коня,— и гайда по степи, от меня никто не скроется. Ночи не спал, а хлеб сберег. А хлеб в том довоенном году у нас был сильно хороший. Ну, коли давали награду за урожай, а мне за сохранность...

— А почему ж это зерно не вывозите на элеватор?

— Выдерживаем кондицию. Обмолот же комбайновый, ну зерно и было малость влажновато. Подсыхало, ворошили его каждый день. Это урожай двух бригад. Ох, и беспокойная бригадирша! В третий раз повезли зерно на пробу... Вот ежели вернутся с хорошим результатом — колонна подъедет, и Евсею больше делать тут нечего.

— Это случаем я повстречал не ваших бригадирш? — спросил Евсей, ощутив в теле знакомый озноб.

— На бедарке?

— Кобыла у них такая брюхатая.

— Серой масти? Это они.

«Вот оно куда я забрел,— подумал Евсей.— Тут надо поторопиться кончить дело с этим сторожем — да и гайда дальше...»

Однако, как начать разговор о том, что его заставило подъехать к этому балагану, он не знал. Снова пришлось заводить беседу о том, о сем, а потом, как бы к слову, спросить, как жилось тезке до коллективизации. Евсей Фомич, казалось, только и ждал таких расспросов и охотно начал длинную повесть о своей жизни, начав ее чуть ли не с детских лет. Особенно подробно он рассказывал о том, как влюбился в дочку богатого казака Кагалдина, у которого служил батраком, и как этот Кагалдин выгнал порубка Евсея из дому, а свою дочку посадил в амбар, как в тюрьму, и продержал ее под замком все лето... Эта любовная история, разумеется, мало интересовала Евсея, но он терпеливо слушал, а день уже подходил к концу и скоро должен был наступить вечер. Слушать же дальше повествование

сторожа у Евсея не было никаких сил, и он начал действовать более решительно.

— Все это, тезка, правильно,— заговорил он, желая прервать затянувшийся рассказ.— Я тоже и в тридцатом и опосля строил нашу колхозную жизнь, картина мне дюже знакомая... А скажи, Евсей Фомич, как ты нынче живешь-можешь?

— Что тут сказать! Живу, как все.

— То еще не ответ. Жизнью своей доволен?

«И чего это он меня испытывает?» — подумал Евсей Фомич, озабоченно перебирая пальцами свою курчавую бородку.

— А на что тебе знать такие мои мысли? — спросил он, уже недоверчиво поглядывая на случайного гостя.

— Скажи — и тогда я тебе открою один важный секрет,— проговорил Евсей таинственным шепотом, и в глазах его образовались узенькие щелочки.— Да ты говори, не бойся!

— Чего же мне бояться,— ответил Евсей Фомич, а про себя подумал:

«Так, так,— уже с секретом до меня подползает... И что там у него такое секретное? А может, это какой переодетый шпион?»

— Ну, скажи, скажи,— торопил Евсей.

— Ежели сказать по-честному,— горестно заговорил Евсей Фомич,— то живется-поживается не особенно того...

— Вот это, Евсей Фомич, та истина,— и Евсей, давая волю чертикам, заговорщически наклонился к своему тезке.— Денег маловато, а? А хочешь, чтобы у тебя были и деньги и полное удовольствие в жизни?

— Да кто ж против денег и против удовольствия,— сказал Евсей Фомич, предусмотрительно положив берданку себе на колени.

«Эге, вижу — мало-помалу секрет открывается,— подумал он, угрюмо склонив голову и комкая пальцами бороду.— Ежели сразу заговорил о деньгах, значит не иначе какой-ся шпион, и по всему видать — американский. Там главнее всего деньги... Ах ты, гадюка, подстроился под колхозника, а на языке — деньги. Поглядим, куда ты еще повернешь...»

И Евсей Фомич, метнув взгляд на тезку, в упор спросил:

— А ты мне дашь и те деньги и то удовольствие? Вынь и положи передо мною.

— Положу,— с доверчиво-ласковой улыбкой сказал Евсей и вынул из-за пазухи уже изрядно помятое письмо.— Вот тут сказано, куда идут твои денежки... В этом письме — вся правда. То электростанцию строили — гони колхозную денежку, а теперь вздумали лес разводить, пруды гатить, станицы переделывать — опять потекут колхозные денежки. А откуда они? От твоего трудодня уходят, дорогой Евсей Фомич, вот откуда! То, что тебе причитается за труд, забирает Тутаринов на свои затеи. Это он вскаламутил нашу мирную жизнь. Жили спокойно, по-хорошему, и каждый был доволен. А ему подавай электричество, природу вздумал переделывать,— да это ж дело бога, а не людей! Ежели посмотреть на все это хлеборобскими глазами...

— Постой, постой,— перебил Евсей Фомич, еще сильнее сжимая руками ствол берданки.— Это что же за обман? Я вижу одну эту бумагу, а где ж гроши? Ты мне гроши обещал?

— Евсей Фомич,— смело ответил Нарыжный,— ты сперва подпиши это письмо, а деньги сами к тебе придут...

— Знать, все дело в моей подписи?

— Вот именно...

— Так ты, Евсей Гордеич, малость повремени,— сказал сторож, тяжело вставая и поглядывая на собаку.— Скоро сюда приедет наш парторг. Вот ежели он ту бумагу подпишет, то я тоже с прибольшим удовольствием. Я человек не партейный, но за своим парторгом иду смело...

После этого случилось нечто такое, чего Евсей Нарыжный никак не мог ожидать. В мгновение ока его тезка не отбежал, а прыжком отскочил шагов на пять и, нацелившись берданкой, что есть силы крикнул:

— Подымай руки, гадюка!!

И вот тут наступила самая критическая минута, вернее — не минута, а какой-то один только миг, который и должен был привести к развязке столь неудач-

ную для Нарыжного беседу. Подчиняясь не разуму, а инстинкту самосохранения, Евсей схватил свое письмо и бросился к Буланому с таким невероятным проворством, которому позавидовал бы даже чемпион бега на стометровую дистанцию. За спиной у него раздался выстрел,— видимо, сторож пустил дробь в небо, ибо наш бегун был цел и невредим. Он уже достиг цели и схватился за гриву коня, но в это время произошло самое горькое и постыдное. Учуяв выстрел и гикание хозяина, рыжая собака в несколько прыжков настигла бегуна в тот самый момент, когда он упал грудью на спину Буланого. Собака без единого звука схватила зубами штанину и рванула ее так, что только клочья разлетелись во все стороны. Отбиваясь ногами и напрягая все силы, Евсей оставил в собачьих зубах добрый клок штанины, с трудом взобрался на спину коня и погнал его вскачь по стерне, ничего не видя и не соображая, куда уносит его Буланый.

XI

Доверившийся коню Евсей скакал, как говорят, напропалую, желая одного — любой ценой избавиться от погони. Лай собаки вскоре смолк, не доносился и крик сторожа, но Евсей гнал и гнал коня. И вот теперь, проскакав километров пятнадцать, он увидел огни автомобильных фар, которые как бы указывали путь на Усть-Невинскую. Видя такой важный ориентир, наш путник не сомневался, что едет в нужном направлении; поэтому он перевел коня на шаг и облегченно вздохнул. Во рту у него пересохло и горчило так, точно он жевал полынь; тело уже не дрожало, а горело: оно покрылось таким обильным потом, что рубашка прилипла к спине.

«И что за черт, а не человек,— думал Евсей, еще боязливо поглядывая по сторонам и тяжело дыша.— Вот тебе и тезка, мог бы и застрелить... А тут еще, как на грех, этот волкодав прицепился ко мне...»

Евсей Нарыжный нагнулся, потрогал рукой ногу и ахнул: весь низ правой штанины был разорван в клочья. Тогда он стал ощупывать пятку, пальцы, голень,— боли

не было. «Значит, слава богу, не покусал,— с облегчением подумал он.— Это еще мое счастье, что в зубы этому зверюге попались штаны, а не нога: искалечил бы... Эх, плохо, плохо... Ежели мое дело так и дальше пойдет — беда, не вернусь к Хохлакову живым. Зря не поехал я сперва к Артамашову... Мы бы с ним все обдумали, обмозговали и начали б действовать по плану...»

Слова «мы бы все обдумали, обмозговали» живо унесли его в Усть-Невинскую, и тут ему совершенно реальной картиной представилась встреча с Артамашовым. Вот они, пожавши друг другу руки, идут степью,— одни, кругом ни души; подходят к реке и садятся у берега. Между ними сразу же начинается задушевный разговор. Евсей подробно излагает Артамашову обе неприятности, которые пришлось пережить ему в этот день. Артамашов то сочувственно качает головой, то ласково смотрит на своего друга. «Нет, дорогой Евсей Гордеевич, хоть ты человек и умный, а все же так собирать подписи не годится,— говорит Артамашов.— Тут нужно все заранее продумать, а потом уже действовать. Тебе, как лучшему своему другу, говорю: во всем положись на меня, а я на тебя. Помни — не Хохлаков, этот ожиревший боров, а мы с тобой доведем начатое дело до конца. Подписи собрать — это еще пустяк, я их в одной Усть-Невинской найду,— тут тоже не все обожают Тутаринова — насолил он и своим станишникам...»

Евсей так увлекся приятными рассуждениями, что не заметил, как пересек полевую электромагистраль и спустился в отлогую ложбину. Поторопив Буланого и выехав на гору, Евсей снова хотел было хоть мысленно побыть с Артамашовым, но тут увидел нечто такое, что заставило его сразу забыть о своем усть-невинском друге, потянуть повод и остановить уже приморившегося коня. Перед ним шагах в пятистах горело зарево огней. И что же это за чудо? В такую позднюю пору, среди безлюдной степи, и такое обилие света! Похоже на пожар, но не видно ни дыма, ни огненных языков пламени.

Евсей подъехал ближе, услышав протяжный гул ба-

рабана, и увидел людей, брички, быков, тянущих волокушей солому, и скирды пшеницы, в которых пряталась молотилка.

«А где ж паровик? — подумал Евсей.— Не видно ни трактора, ни паровика, а молотилка аж ревет... Погляди, какая история! Эге, да это ж я уже на полях Усть-Невинской и набрел как раз на ток Рагулина, где действует электричество... Интересно посмотреть...»

Вид освещенного тока, отсутствующий локомобиль и работающие люди, которых можно было рассмотреть, как днем, так заинтересовали Евсея, что он подъехал совсем близко и, оставаясь невидимым в темноте, не слезая с лошади, стал рассматривать диковинную молотьбу.

В сторонке возвышалась сложенная из кирпича высокая квадратная будка, а от нее на высоких столбах тянулись к молотилке три белых провода. По всему току, образуя порядочный круг, тоже поднимались столбы, а на них слепящим светом горели лампы; такое же сияние разливалось и над полками молотилки, освещая покрытые пылью лица двух женщин, развязывавших снопы, и согнутую, усыпанную остюками могучую спину зубаря. Из-под соломотряса и там, где решета выбрасывали полову, пробивались яркие пасмы света, отчего падавшая на волокушу солома отсвечивала серебром. От женщин, выгребавших полову, лежали черные тени, и Евсею казалось, что лампы горят где-то в самом соломотрясе. Особенно много света было у приемных люков, так что Евсей хорошо видел и золотистые струйки зерна, падавшие в глубокий ящик, и столик возле весов, за которым сидел Стефан Петрович Рагулин, поблескивая стеклами очков, и весы, с которых четверо мужчин снимали набитые зерном мешки, сваливая их на подводу. Евсей заметил и Прохора Ненашева в комбинезоне и в шоферских очках,— он то нырял куда-то под молотилку, то брал лесенку и по ней подымался к тому моторчику, который примостился на полке молотилки.

Молодые парни, взобравшись на скирду, бросали вилами, точно играя, снопы, и колосья, попадая в лучи лампы, как бы загорались красным светом. Но особенно

Евсей присматривался к тому продолговатому и черному, похожему на большого жука, моторчику, который находился рядом с зубарем и был прикрыт фанерой в виде крохотного сарайчика. Издали казалось, что и ремень к главному шкиву и сам моторчик стоят недвижимы и только синеватые, как крохотные молнии, искорки внутри моторчика говорили, что вращается он удивительно проворно.

«Да, картина дюже заманчивая,— подумал Евсей.— Гудит, и гудит,— сила!»

Залюбовавшись видом молотьбы, Евсей на какую-то минуту забыл, за каким делом его послал в степь Хохлаков и почему он оказался на коне перед этим шумным и озаренным лампами током, и в нем заговорила обычная любознательность. Ему захотелось подъехать к молотилке, поздороваться с людьми, а потом поподробнее расспросить их, как устроен этот двигатель; захотелось самому все осмотреть и руками пощупать, и он уже было тронул Буланого, чтобы выехать за черту ночной темноты. Но тут же он понял, что за эту черту выехать нельзя, что между ним и этим разливавшимся над землей светом лежит не ночная тьма, а пропасть, через которую не проехать теперь ему даже на Буланом... С грустью глядя на ночную молотьбу и не решаясь показаться на свет со своей разорванной штаниной, он повернул коня и шагом поехал по скошенному полю.

Не оглядываясь и все еще думая о себе и о виденном, Евсей попустил поводья и снова доверился Буланому,— пусть идет куда знает, лишь бы не стоял на одном месте. Так он ехал долго, угрюмо склонив голову и не глядя вперед. Буланый шел и шел, а потом, очевидно, решил, что хозяин вздремнул, начал отыскивать что-нибудь съестное. За день он изрядно проголодался, а тут ему посчастливилось напасть на вкусную пищу,— морда его ткнулась в копну свежего, только что скошенного ячменя. И только тут Евсей поднял голову и по частым огням на фоне темной Верблюд-горы понял, что находится вблизи Усть-Невинской.

«Придется заночевать под копной,— подумал Евсей, тяжело слезая с коня, который уже лакомился сочными

колосьями ячменя.— Малость посплю, отдохну, а утречком я быстро разыщу Артамашова...»

На всякий случай привязав конец повода Буланого к ноге, Евсей оставил его наслаждаться ячменем, а сам лег под копну. Положив руки под голову и чувствуя приятный запах, исходящий от копны, Евсей грустно и задумчиво смотрел на темное небо, густо-густо унизанное звездами; ему хотелось уснуть, а сна не было. Только теперь он ощутил боль во всем теле: от непривычки долго ездить верхом ноги ломило, в пояснице что-то стреляло, руки ныли. Надо было бы уснуть и к утру отдохнуть, а в голову лезли мысли о дневных встречах: то он видел смеющиеся лица яман-джалгинских колхозниц, то хитрый взгляд сторожа-тезки, то страшную морду волкодава...

Уснул Евсей только перед утром и спал тревожно. Ему показалось, что глаза его только-только сомкнулись и вдруг кто-то начал хлестать его плеткой. Сквозь сон послышался грубый голос, смачная ругань. Евсей, как ужаленный, вскочил и увидел перед собой всадника. Протирая глаза и еще толком ничего не соображая, Евсей со страхом подумал, что какой-то смельчак решил угнать Буланого и уже взобрался ему на спину.

— Проснись, чертяка с коршунячьими глазами! — сказал всадник, ударяя Евсея плеткой по плечу.

— Ба! — обрадованно крикнул Евсей.— Артамашов! Алексей Степанович! Да не сон ли это? Вот какая мне удача!

— Погоди радоваться,— строго сказал Артамашов.— Ты это по какому праву копну ячменя истребил?

Евсей осмотрелся. Оказывается, Буланый успел уничтожить почти всю копну, а потом перешел к другой, растоптал ее и преспокойно улегся на отдых. Стараясь и взглядом и улыбкой показать, что при такой важной и радостной встрече не следует жалеть какие-то копенки ячменя, Евсей осклабился и, хватая руку Артамашова, сказал:

— Алексей Степанович! Дорогой мой друг! Да у нас с тобой есть дела поважнее ячменя.

— Нет, ты скажи мне: кто тебе позволил учинять потраву хлеба? — стоял на своем Артамашов, косясь

на Евсея злыми, налитыми кровью глазами.— Какой тебя черт сюда принес?

— Чего ты так печалишься? Или это твой ячмень?

— А ежели не мой, так его можно уничтожать?

— Да пустяки же, Алексей Степанович!

— А я тебе говорю, что это не пустяки.— Артамашов помахал плеткой перед лицом Евсея и зло усмехнулся.— А ну, бери своего скакуна. Отведу я тебя к хозяину этого ячменя — пускай он сам с тобой рассчитается.

— А кто же хозяин?

— Рагулин. Знаешь такого? Это такой хозяин, что он с тебя две шкуры спустит...

— Коня своего я возьму,— спокойно заговорил Евсей,— и мы отойдем куда-нибудь в укромное местечко...

Артамашов смотрел на Евсея и чувствовал, как внутри у него все горит. Заметив в глазах Евсея знакомых чертиков, он даже побледнел от злости и сказал:

— А дальше что?!

— Далее,— все так же спокойно продолжал Евсей,— далее я тебе сообщу такую новость, что ты в одну мгновению забудешь и о потраве и о Рагулине.

— Хорошо, бери коня... Поедем!

Они ехали молча. Кони шли шагом. Евсей предложил завернуть вправо и поехать мимо кургана, за которым виднелась ложбина, густо усеянная копнами сена. Утро только-только нарождалось, и было оно светлое и чистое, с обилием росы на стерне и на траве. Солнце еще не взошло, но верхушки далеких гор озарились розовым блеском. Давно проснулись птицы и запели на все голоса. Прислушиваясь к степным певчим, Артамашов болезненно хмурил брови и думал:

«И надо же мне было наскочить на этого зверя... Ехал в станицу по срочному вызову Никиты Мальцева — и на тебе, Евсей лежит под копной... И чего это у него штаны разорваны? Или с кем дрался, или удирал, прохвост... И что-то он хочет мне сказать? Наверное, что-нибудь случилось с Хохлаковым — его же холуй...»

Тем временем они спустились в ложбину, и когда подъехали к копне сена, Евсей сказал:

— И за каким дьяволом ехать нам к Рагулину! Лучше мы посидим и побеседуем возле этой пахучей копенки... Люблю запах скошенной травы.

Он первым спешился, за ним, не говоря ни слова, последовал Артамашов. Они сели под копной, от которой действительно исходил ароматный запах сухих цветов. Молча закурили и оба смотрели на восход солнца так внимательно, точно впервые это увидели.

— А чего у тебя штанина болтается? — спросил Артамашов, продолжая любоваться восходом.

— Зараз все расскажу по порядку,— ответил Евсей,— дай хоть с мыслями собраться.

И после этих слов Евсей не спеша и рассудительно поведал Артамашову все, начиная с беседы с Хохлаковым, когда тот вручил Евсею письмо, и кончая собакой сторожа и разорванной штаниной.

— Жалко,— задумчиво проговорил Артамашов, наблюдая, как лучи солнца, выбравшись на гору, залили светом всю степь.— Да, жалко...

— Это ты о чем жалеешь?

— О том, что сторож не подстрелил тебя, как куропатку.— Артамашов зло усмехнулся.

— Эх ты, шутник! Ну, ты шутки брось, а скажи: забыл ты зараз о потраве?

— Да, верно, я о ней забыл,— о чем-то думая, ответил Артамашов.— Только теперь другая мысль меня беспокоит.

— Какая? — спросил Евсей.— Может, я в чем подсоблю?

— А вот какая.— Артамашов быстро взглянул на Евсея.— Скажи, кто тебя уполномачивал разъезжать по степи с этим письмом?

— Как кто? — удивился Евсей.— Прежде всего — Федор Лукич.

— А кто такой Федор Лукич Хохлаков?

— Да ты что, с ума сошел?

— Нет, не сошел... Но я спрашиваю: народ тебя уполномачивал?

Голос Артамашова прерывался хрипотой, точно кто сдавливал горло, а кулаки наливались кровью и сами сжимались. Он сорвал лист лопуха и так сдавил его

в руке, что между пальцев выступил зеленоватый сок.

— Тю, черт тебя знает! — с испуганной улыбкой заговорил Евсей.— Какой еще народ? Народ же за нас...

— За вас? — у Артамашова от злобы перекосился рот.— А тот сторож, что угощал тебя дробью? А те колхозницы?

— Опять ты шутки завел,— перебил Евсей, затем порылся за пазухой и достал письмо.— Вот что, Алексей Степанович, бери и подписывай, а потом мы обо всем прочем поговорим.

— Люди трудятся,— продолжал Артамашов, не слушая Евсея и глядя горящими глазами на восток,— день и ночь хлеб убирают, не знают ни сна, ни отдыха, а ты шаблаешься...

— Да ты подписывай, подписывай,— снова перебил Евсей,— чего тут зря рассуждать?

— А если я хочу рассуждать? — бледнея и с трудом сдерживая гнев, проговорил Артамашов.

— А кому нужно твое рассуждение? — сказал Евсей и рассмеялся, видимо желая развеселить своего друга.— Ты же теперь бывший — пиши и все!

— Это что же значит — бывший? — смуглое, чисто выбритое лицо Артамашова стало черным.

— И чего ты дурачком прикидываешься? — опять со смешком заговорил Евсей.— Во всем ты — бывший, как и я... Председатель — бывший, член партии — бывший. Партбилет же навечно потерял. Так чего же еще? Ставь подпись. О чем...

Договорить Евсей не успел... Как струна, сильно натянутая, неожиданно рвется, так и терпение Артамашова вдруг лопнуло. Ему казалось, что еще ни один человек не наносил ему такого оскорбления, как этот Евсей с горящими глазами. Не чувствуя себя, Артамашов быстро отшатнулся и наотмашь ударил Евсея в лицо. Тот покачнулся, быстро закрыл ладонью нос, на усах и между пальцев показалась кровь. Но Артамашов, уже вовсе не владея собой, угощал своего друга то с левой, то с правой руки, приговаривая:

— Это тебе, сучий сын, за бывшего, это за мой партбилет, это за потраву...

Евсей не отбивался. Перепугавшись насмерть, он свернулся комочком, пряча руками голову, и эта его беспомощность сразу охладила Артамашова.

— Тунеядец! Сволочь! Противно руки о тебя марать...

Артамашов сплюнул, вытер сеном руки, точно и они у него были чем-то испачканы, сел на коня и, не оглядываясь, ускакал в станицу.

XII

В этой безлюдной балке мы оставим Евсея Нарыжного,— пусть он либо раздумывает, лежа у копны, либо уезжает на своем Буланом туда, куда ему вздумается. Мы же снова обратимся к Рощенской и хотя бы одним глазом заглянем в тот дом, куда только что вошли Сергей и Ирина Тутариновы. Совсем недавно они спустились с поднебесья, пробыв в самолете более пяти часов, и теперь стояли посреди комнаты, усталые, еще с гулом и звоном в ушах, не веря тому, что полет кончился.

— Ну, Иринушка, мы дома!

— Как в гостях ни хорошо...

— Это верно! Только отчего ты такая грустная? И глаза блестят!..

— Укачало на крыльях... Голова болит.

— А ты не больная?

Ирина не ответила и лишь ласково, с виноватой улыбкой на бледном и усталом лице посмотрела на Сергея.

Оставив чемоданы у порога и еще не зная, чем заняться, они подошли к окну, радуясь в душе и тому, что вот они снова видят свою площадь в зелени деревьев, и тому, что где-то там, за площадью и за улицами, идущими от площади в степь, их ожидает привычная и хорошо знакомая жизнь, по которой они соскучились.

— Итак, за дело! — весело сказал Сергей, встряхнув чубом.— Приготовь умыться и соберем на скорую руку поесть, а я помогу Ванюше снести ящики, умоюсь и поспешу с докладом к Николаю Петровичу.

И пока Сергей и Ванюша вносили в сенцы фанерные ящики, в которых были упакованы закупленные в Москве книги по электротехнике, Ирина налила в таз воды, умылась и причесала перед зеркалом волосы. Она невольно улыбнулась, увидев свое и в самом деле заметно изменившееся лицо, и ей стало и чего-то совестно, и обидно за себя...

«Да, ты, Сережа, прав, вид у меня грустный, и глаза странно блестят... Ой, Сережа, Сережа, какой же ты недогадливый... Нет, тут виноваты не крылья, и голова болит не от самолета».

Она заплетала косу, уже не глядя в зеркало, а сердце ее почему-то билось тревожно и часто-часто.

«Все пройдет, и голова перестанет болеть... А как же я ему скажу? А может, пока и не говорить... Нет, лучше сказать, только не сегодня... Пусть он идет к Николаю Петровичу, а я отдохну... «У вас будут дети — они тоже украшают нашу жизнь»,— припомнились ей слова Натальи Павловны, и она вся зарделась...

По привычке уложив твердые, туго заплетенные косы, образовала на голове что-то похожее на корзинку или на гнездо, достала из чемодана «Кристалл» (московский подарок Сергея), хотела освежить лицо и не смогла. Почему-то мягкий и удивительно свежий запах духов теперь показался ей таким тяжелым и неприятным, что она, задыхаясь, ощутила приступ тошноты и поспешила спрятать флакон снова в чемодан. «Вот это так новость!» — горестно подумала она и начала готовить обед из запасов, какие были привезены с собой. Но тут ее ожидало еще большее огорчение. Запах колбасы, рыбных консервов, которые она положила на стол, был тоже неприятным; она опять задыхалась, сердце стучало учащенно, а к горлу подкатывались противные комки слюны.

«Это уже совсем нехорошо,— с тревогой подумала она, невольно подходя к кровати.— А может быть, я и в самом деле заболела...»

Ирина только постояла у постели и, переборов усталость, не легла, а стала ходить по комнате. Когда же вошли Сергей и Ванюша, она с усилием сделала вид, что ей весело, улыбалась, поливала из кружки воду,

когда Сергей и Ванюша умывались, принесла полотенце; затем усадила их за стол, села и сама, но ни к чему не прикоснулась, сказав, что есть ей не хочется. Все с той же ласковой улыбкой на усталом лице проводила Сергея, а потом, не снимая платья, повалилась на неразобранную кровать и устало закрыла глаза...

Ни в райкоме, ни дома Кондратьева не было, и это огорчило Сергея. Наталья Павловна с еще большей радостью, чем бывало прежде, проводила его в комнату и сказала, что Николай Петрович в эти дни в Рощенской почти не бывает.

— Сережа, ты же знаешь его характер,— сказала Наталья Павловна своим мягким и приятным голосом.— Началась уборка, так он день и ночь находится в поле.— Она многозначительно улыбнулась, как бы говоря: «А как же иначе, никак нельзя иначе».— А я к этому давно привыкла... Ночью он звонил из Родниковской и обещал утром приехать. Завтра у него бюро, и вот хорошо, что ты тоже дома... Ну, а как там в Москве? Как чувствует себя Ирина?

— Ирина очень довольна, и Москва ей понравилась,— ответил Сергей,— только поездку в самолете плохо переносит... в летчики не годится,— уже с улыбкой добавил Сергей.— А вообще, Наталья Павловна, Москва нам очень помогла.

— Да я уже от Николая Петровича кое-что слыхала. Письма твои давал читать... Приходите к нам с Ириной, поговорим, чаю попьем.

Сергей пообещал прийти пить чай после того, как повидается с Кондратьевым, немного еще поговорил с Натальей Павловной и направился в райисполком. Там его встретил секретарь исполкома, крепко и долго пожимал руку, и не успел Сергей войти в свой кабинет, как на столе уже лежали самые свежие сводки о ходе уборки колосовых и хлебопоставках, папки с письмами и с директивами, поступившими за его отсутствие из края. Сергей долго и подробно расспрашивал секретаря исполкома о новостях и жизни района, интересовался приездом марьяновской делегации, работой гидростанции, электромолотьбой у Рагулина, а затем часа два сидел за столом и просматривал бумаги...

Между тем, солнце уже скрылось за садами, на станицу ложился предвечерний холодок, и Сергей вернулся домой. Ирина спала, не раздетая, по-детски подогнув ноги.

«Бедняжка, устала»,— подумал Сергей и, боясь потревожить жену, на цыпочках подошел к столу и включил лампу.

Узкий круг света, упавший из-под абажура на стол, напомнил красивый домик вблизи Усть-Невинской, и Сергей, задумчиво улыбаясь, мысленно улетел в родную станицу, увидел мать, отца, сестру, Семена, и на сердце у него стало радостно.

«Завтра же побываю у своих,— решил он, подходя к чемодану и доставая папку со своими дорожными бумагами.— Может, это и лучше, что я сразу не повидался с Кондратьевым: разволновался бы и толком ничего не смог бы рассказать. А с ним лучше всего говорить спокойно и о делах конкретных. Вот я посижу вечерок, все обдумаю, запишу, а завтра сообщу ему не только о том, что я сделал в Москве, но и о наших ближайших задачах...»

Он развернул папку, взял чистый лист бумаги, но писать не стал. «О чем же я буду говорить?» — он обмакнул перо в чернильницу, затем снова положил ручку и задумался... Прежде всего, его беспокоили такие работы, как монтаж второй турбины и сооружение полевых линий... В срочном порядке необходимо было протянуть провода к животноводам — это должно было занять часть лета и всю осень. Затем вставала не менее важная задача — техническая учеба колхозников.

«Литературу привез — наше кубанское спасибо Москве,— думал Сергей, рассматривая чистый лист бумаги.— Помещение найдем в Рощенской. Буду вносить предложение начать занятия по примеру школ — первого сентября. А еще — лесные посадки. Мы их начнем поздней осенью и в этом же году заложим питомники. Думаю, что к этому времени будет опубликовано правительственное решение — очень кстати. Механизация труда животноводов — это самые насущные нужды. Оборудование придет скоро — вот тут еще одно наше кубанское спасибо Москве... Но кому в первую очередь

мы дадим электродойки и автопоилки? Тридцать шесть ферм, а аппаратов всего восемь. Вот и раздели... Придется все эти вопросы более конкретно рассмотреть сперва на собрании актива, а потом и на сессии исполкома, придать нашему решению силу закона... А электротракторы, которые уже занаряжены Усть-Невинской МТС?..»

Сергей задумался, а потом склонился к столу и стал писать своим ровным и удивительно мелким почерком. Писал долго и много — записи его напоминали краткие тезисы очень большого доклада: тут были и задания Семену Гончаренко и Виктору Грачеву по монтажу турбины и по сооружению полевых электролиний с пометкой срока окончания работ; и записи о количестве людей, подлежащих обучению на технических курсах; и список восьми ферм, которым, по его мнению, необходимо в первую очередь выдать оборудование и закончить полную механизацию уже в этом году; и наброски плана начальных работ по лесопосадкам и закладке шести питомников; и повестка дня будущей сессии исполкома...

Тут он вспомнил еще об одном важном событии, которое произошло в Москве, и снова задумался, не зная, говорить ли об этом Кондратьеву или до поры до времени умолчать. Дело в том, что в Москве совсем случайно встретился с ними директор Ставропольского сельхозинститута, мужчина пожилой и наредкость любезный. Обедали втроем, и тут, за круглым столом, Сергей и Ирина условились поехать учиться именно в этот институт.

— Сергей Тимофеевич,— говорил директор,— если будет трудно оставить работу, поступайте на заочное отделение.— И он тут же снабдил их программой по подготовке к приемным экзаменам. «Нет, об этом пусть никто не знает, даже Кондратьев,— думал Сергей.— Так будет лучше. Нам еще нужно готовиться, а особенно Ирине, да и когда это еще будет!»

Ирина проснулась и лежала, молча глядя на согнутую спину мужа.

— Сережа, у Кондратьева был? — спросила она.

— Он в отъезде. Наталья Павловна сказала, что приедет завтра. Тебе поклон передавала.

Сергей подошел к кровати и увидел на сонном, немного припухшем лице Ирины выражение и ласки, и усталости, и глубоко скрытого волнения.

— О чем ты думал, сидя у стола? — спросила Ирина.

— Обо всем, и о нашем отъезде в институт... Ну, а ты уже отдохнула?

Ирина промолчала, затем быстро поднялась, ее щеки и даже уши зарумянились,— теперь глубоко скрытое волнение пробилось наружу и утаить его от мужа она была не в силах.

— Сережа, а что, если мы не поедем в институт?

— Почему? — удивился Сергей.— Думаешь, меня не отпустят?

— Отпустят, почему же.— Ирина отвела взгляд в сторону.— А только я сегодня поняла, что не уедем... Вернее — я не уеду...

— Да это что же, не снилось ли тебе?

Сергей сел рядом с женой, и опять она смотрела на него и тревожно, и ласково, как бы желая, чтобы он без слов понял и ее мысли и душевное волнение. В глазах Ирины появились такие блестки, что Сергей невольно вспомнил и курган вблизи птичника и ее вот такой же взгляд в ту памятную лунную ночь после дождя.

— Сережа, милый,— склонив голову, сказала она не голосом, а одними губами,— у нас будет ребенок... Эх ты, ничего не видишь!

— А разве есть какие приметы? — Сергей и растерянно улыбался и еще не верил тому, что услышал.

— Есть, есть, Сережа,— проговорила Ирина и положила свою голову ему на грудь.— Я раньше и сама ничего не знала... А ты сегодня смотрел на меня и неужели ничего не заметил?

— Так я же совсем еще неопытный муж,— лаская Ирину и счастливо улыбаясь, сказал Сергей.— Если правда, то это же, Иринушка, очень хорошо! И сказала ты мне об этом так просто, и теперь я вижу — тоже

радуешься... Иринушка, а таких примет нету, чтобы узнать — будет мальчик или девочка?

— И какой же ты глупый! — сказала Ирина, еще боясь поднять голову. — Разве это возможно?

— Непременно роди хлопчика! — говорил он.

Ирина уже хорошо изучила своего мужа: обычно в ту минуту, когда радость его переливается через край, сидеть Сергей не мог, — вся его рослая, немного сутулая фигура просила движений. Он и теперь вскочил, точно готов был куда-то бежать, обнял жену и хотел поднять ее своими жесткими, мускулистыми руками, но Ирина легко отстранила его и сказала:

— Сережа, радуйся, но кружить меня не надо... Лучше давай посидим и поговорим спокойно.

После того, что он узнал, сидеть, да еще спокойно, Сергей не мог. Блестя глазами и все еще не зная, чем бы усмирить себя, он начал приподымать то край кровати вместе с сидевшей на ней Ириной, то брал за ножку стул и носил его на вытянутой руке. И все же этого ему было мало, и он не утерпел: схватил жену, поднял ее и закружился с ней по комнате, а потом осторожно, как самую дорогую ношу, положил на кровать и, задыхаясь, сказал:

— А вот теперь поговорим спокойно!

XIII

Наступило утро, и было оно обычное, ничем не примечательное, с обилием росы в садах и на травах, с розовой дымкой под горой, вблизи станицы,— словом, утро такое, каких летом бывает немало, а Сергею оно показалось красочным и светлым... Направляясь в райком, он неторопливо проходил по площади, ощущая в теле бодрость, а на сердце такую радость, что хоть запевай песню, которая должна непременно начинаться словами: «Сын мой, казачонок маленький...» Он мысленно повторял эти, почему-то пришедшие на ум, слова, и улыбка не сходила с его свежего, чисто выбритого лица. «Как же хорошо,— рассуждал он,— проснуться и думать, что скоро станешь отцом!» — и ему казалось,

что все вокруг смотрит на него и озаряется той же счастливой улыбкой; солнечные блики еще никогда так не вспыхивали на стеклах окон, как сегодня; деревья на фоне чистого синего неба почему-то были и выше и пышнее, нежели вчера; к забору клонилась ветка, вся усыпанная созревшими абрикосами, янтарно-желтая, точно облитая густым пчелиным медом, а Сергею думалось, что она кланяется ему с какой-то своей доброй улыбкой; на ветке примостилась птичка величиной с абрикосину, с золотистой шейкой,— певунья заливалась звонкой трелью, а ее крылышки при этом так вздрагивали, что Сергей невольно залюбовался ею и сказал:

— И ты радуешься... Ну, звени, звени...

В таком приподнятом настроении, держа под рукой папку с бумагами, Сергей и появился перед Кондратьевым; вернее — не появился и не вошел, а влетел, точно на крыльях, как бы говоря и своей легкой, живой походкой и блестящими карими глазами: «Эх, Николай Петрович, если бы только знал, какую новость я храню не в этой папке с бумагами, а в самом сердце!» А Кондратьев, пожимая Сергею руку, подумал совсем о другом: «Э, да я уже по глазам вижу, что удачная у тебя была поездка...» Да и в самом же деле, как мог Кондратьев знать такую важную сердечную тайну; о том же, что со вчерашнего вечера так волновало Сергея, он даже и не подумал, ибо сейчас ему нужнее всего было узнать, какие документы, а вместе с документами и дела, хранятся именно в этой папке, а узнав, поговорить на тему более важную и значительную.

Поэтому Николай Петрович любезно встретил Сергея, усадил на диван, а сам сел рядом, уже чувствуя, как душевное волнение этого бровастого молодого человека передается и ему... И Сергей, как и надо было ожидать, открыл перед секретарем не свое сердце, а набухшую папку, вынул сколотые булавкой копии нарядов на электрооборудование, достал лист бумаги со вчерашними пометками и начал неторопливо и подробно говорить о своей поездке в Москву. Загорелое и обветренное лицо Кондратьева сразу сделалось сосре-

доточенным, а взгляд пытливым и даже строгим,— пожалуй, никто не умел так, как он, слушать других, а тем более слушать Сергея, в каждом слове которого он видел не сухой отчет, а живой, идущий от сердца рассказ.

Сергей на минуту задумался, как бы вспоминая что-то самое важное, а в это время отворилась дверь и на пороге показался Федор Лукич Хохлаков. Видимо, старику не терпелось узнать, с чем же, с хорошими или с плохими вестями, Сергей вернулся в Рощенскую. С того дня, когда он узнал от Нарыжного о возвращении Сергея, дома ему не сиделось и не лежалось, и хотя еще чувствовал себя попрежнему плохо и ходить ему было тяжело, он пересилил недомогание и направился в райком, надеясь увидеть Сергея вместе с Кондратьевым. Так оно и случилось. И вот он стоял, опершись на палку, с лицом болезненно бледным, затаив во взгляде и душевную боль и невысказанную горечь.

— Заходи, заходи, Федор Лукич,— пригласил Кондратьев,— думаю, что и тебе не вредно послушать...

— Да я только на минутку, к Сергею Тимофеевичу,— как бы в чем оправдываясь, слабым голосом проговорил Федор Лукич и, силясь улыбнуться, протянул Сергею мягкую, точно опухшую руку.— Я к тебе насчет сметы,— и он присел к столу.— Мое предприятие подлежит ремонту, время уходит, а в райфо я толком ничего не могу добиться... Помоги...

— О смете поговорите потом,— сказал Кондратьев и обратился к Сергею: — Ну, и что же отвечал министр? Одобряет?

Сергей искоса посмотрел на Федора Лукича и этим взглядом как бы спрашивал: «А может, Федору Лукичу как раз и не интересно знать, одобряет министр или не одобряет?» С минуту сидел молча, точно все еще раздумывая над вопросом.

— Из его ответа я понял,— наконец заговорил Сергей,— понял, что наши мероприятия по лесным посадкам явились как раз ко времени. В Москве я узнал, что по инициативе товарища Сталина сейчас разрабатывается для всей страны грандиозный план преобразования природы...

— Вот это здорово! — воскликнул Кондратьев.— Слышишь, Федор Лукич?

Федор Лукич, опираясь грудью на палку, сидел все так же согнувшись, и взгляд его тусклых, слезившихся глаз говорил: «Хотя я и слышу, но чужой я, всему чужой...»

— Подготовкой этого плана,— продолжал Сергей, снова покосившись в сторону Федора Лукича,— заняты многие министерства и главки, к этой работе привлечены виднейшие специалисты страны. Ожидается, что такой план правительство рассмотрит и утвердит в ближайшее время, и это явится всенародным походом против засухи. Намечается создание полезащитных станций для того, чтобы успешно применить механизацию трудоемких работ на лесных посадках и на строительстве прудов и водоемов. Помимо посадок леса по границам полей севооборотов, по склонам балок и оврагов, по берегам рек и озер, то-есть помимо того, что уже намечаем делать мы, через многие районы — и, очевидно, через наш — пройдут полезащитные полосы государственного значения. Одна из них широкой трассой ляжет от Сталинграда через Степной до Черкасска...

— Слышишь, Федор Лукич? — снова обратился Кондратьев к Хохлакову.— А ты все дуешься.

Федор Лукич вытирал платком вспотевшее лицо и голову, посапывал, молчал, и во взгляде его снова таилась та же мысль: «Слышу, слышу, но чужой, чужой я теперь, и ничто меня не радует...»

— Думая об этом и прикидывая в уме,— продолжал Сергей,— я пришел к тому, что в недалеком будущем нам придется пересмотреть наш план в сторону его увеличения. Как мне кажется, необходимо уже в эту осень заложить питомник по выращиванию лесопосадочного материала, который потребуется не только для района, но и для государственной лесной трассы...

— Так как же, Сергей Тимофеевич, со сметой? — вдруг заговорил Федор Лукич.

— Представьте проект сметы на очередное заседание исполкома,— сухо ответил Сергей.

Федор Лукич, опираясь на палку, тяжело прошел в дверь.

— Старик все еще бесится,— сказал Кондратьев, проводив Хохлакова взглядом.— Видел, какие у него затуманенные и ко всему равнодушные глаза?

— Больной,— задумчиво проговорил Сергей и стал закуривать.

— Вот что, Сергей,— сказал Кондратьев, вставая и вынимая из карманчика часы,— через час соберутся члены бюро, приедут кое-кто из председателей. Повестка дня у нас небольшая — поговорим о первых итогах уборки и хлебосдачи. Я думаю, что первым вопросом можно поставить твою информацию о сессии и вообще о поездке в Москву,— это весьма важно. Важно также уже сегодня принять решение о созыве собрания районного актива для обсуждения твоего доклада. Пусть эта приятная весть быстрее расходится по району. А перед вечером, если желаешь, поедем со мной в «Дружбу земледельца»,— там нужна помощь Косте Панкратову.

— Я хотел побывать у родных,— чистосердечно признался Сергей.

— Вдвоем с Ириной?

Сергей кивнул головой.

— Хорошо,— согласился Кондратьев.— Если хотите, могу подвезти вас в Усть-Невинскую.

XIV

День был на исходе, когда Кондратьев, Сергей и Ирина выехали из Рощенской и, от моста свернув вправо, направились по Усть-Невинскому тракту. «Победа», набирая скорость, плавно покачивалась, а рядом с ней, протянувшись до кювета, мчалась горбатая тень. Сергей и Ирина сидели сзади, и встречный ветер, сухой и горячий, мягко трепал их волосы. У Сергея слезились глаза, но не от ветра: он любовался теми переменами, которые произошли за то время, как он побывал в Москве: видел просторные желтые площади жнивья, копны снопов, валки соломы, лежавшие всюду, где прошли комбайны, и взгляд его туманился...

— Когда ты был в Москве,— заговорил Кондратьев, повернув седую голову,— к нам приезжала марьяновская делегация. На двух грузовиках прикатило человек тридцать во главе с Кравцовым.

— Чего это они пожаловали? — спросил Сергей, продолжая любоваться знакомой и неузнаваемой степью.

— Электричеством интересовались.

— Своего нету, так хоть чужое приехали посмотреть,— Сергей поправил спадавший на глаза чуб и наклонился к Кондратьеву: — Ну, ты им все показал?

— Показывать-то особенно было нечего. Побывали они на гидростанции, посмотрели электромолотьбу у Рагулина и уехали.— Кондратьев с хитрецой взглянул на Сергея: — Твой приятель Кравцов очень интересовался, когда мы поставим вторую турбину. Я ему сказал, что турбина с завода отгружена.

— А почему она его так интересовала?

— Не знаю...

Кондратьев о чем-то думал, глядя на убегающую под машину серую ленту дороги,— по взгляду его зажмуренных глаз было видно, что он-то знал, почему Кравцов спрашивал о второй турбине, но говорить ему об этом сейчас не хотелось. Он снова повернулся назад и, видимо, хотел что-то сказать, но тут какая-то крохотная птичка зазевалась, не успела перелететь дорогу и забилась крылышками на смотровом стекле, прямо перед носом у шофера. Ирина испуганно вскрикнула, схватила шофера за плечи, просила остановить машину, но ветер быстро сдул птичку, отбросив ее куда-то в сторону.

— Сергей, знаешь, о чем я думаю? — заговорил Кондратьев, оставаясь совершенно равнодушным и к судьбе птички и к волнению Ирины.

— Не знаю,— ответил Сергей, доставая папиросы и угощая Кондратьева.

— Наверное, о бедняжке птичке,— негромко сказала Ирина.

— Нет, не о птичке,— Кондратьев закурил.— Все думаю о наших соседях. А что, если вызвать нам марьяновцев на соревнование? Что ты скажешь, Сергей?

— Нам — и соревноваться с марьяновцами? — Сергей удивленно двинул плечами и усмехнулся.

— А что?

— Николай Петрович, да какое же это будет соревнование? Мы уже обогнали марьяновцев, по меньшей мере, лет на пять.

— Положим, не на пять, преувеличивать не следует.

— Хорошо, не буду преувеличивать,— сказал Сергей, улыбаясь,— но пусть они нас сперва догонят, а тогда начнем соревноваться.

— Не беспокойся, догонят, но им сейчас надо помочь.

— Как же мы им поможем?

— Подумаем — найдем способ.— Кондратьев повернулся к Сергею и положил руку на спинку сиденья.— Начнем хотя бы с того, что дадим им часть электроэнергии.

— Дать-то можно,— сказал Сергей,— но это будет похоже на буксир.

— Ничего, иногда можно взять и на буксир.

Некоторое время они ехали молча. Ирина, еще думая о птичке, то строго, то ласково посматривала на мужа,— видимо, и ей хотелось что-то сказать, но она не решалась вмешиваться в разговор...

— Как мне помнится, ты же обещал Кравцову,— заговорил Кондратьев,— вот и настало время исполнить обещание. Вторую турбину мы к осени поставим.

— Обещал, верно,— согласился Сергей.— Но тогда у нас и в помине не было электротракторов, а теперь они уже, считай, есть. О применении электричества на животноводстве мы тогда только мечтали, теперь это факт, и в скором будущем нам предстоит механизировать не восемь, а все тридцать шесть ферм... Как же тут помогать соседям, когда нам самим скоро мало будет этой станции?

— Сережа, а ты подсчитай,— все так же, как и при виде бедной птички, блестя глазами, заговорила Ирина: — две турбины — это почти тысяча киловатт, или полторы тысячи лошадиных сил. Если дать марьяновцам хотя бы пятьсот лошадиных сил...

— А прислушайся, что говорит твоя жена и наш

диспетчер,— Кондратьев одобрительно взглянул на Ирину.— Пятьсот лошадиных сил — это уже могучая «конница», и марьяновцы будут нам благодарны.

— Но эта «конница» и нам нужна,— сказал Сергей, удивленно взглянув на Ирину.— Нет, лучше пусть марьяновцы, по нашему примеру, строят свою межколхозную гэс. Пора!

Наступило молчание, и оно длилось бы долго, если бы в низине, утопая в зелени садов, не показалась Усть-Невинская.

— Ну вот и приехали,— сказал Кондратьев, когда машина подъехала ко двору Тутариновых.

— Зайди хоть на минутку к нашим,— сказал Сергей.

— Нет, поеду,— ответил Кондратьев.— Боюсь опоздать... В «Дружбе земледельца» назначено собрание, меня давно ждут. Кланяйтесь отцу, матери...

Когда машина, сделав крутой разворот, скрылась, оставив по всей улице медленно оседавшую пыль, Ирина остановила Сергея у калитки и сказала:

— Сережа, зачем ты так говорил с Николаем Петровичем?

— А я попрошу тебя,— сухо ответил Сергей,— если нужно будет подсчитать мощность нашей гэс, то это сделают и без тебя...

Ирина вспыхнула, чувствуя, как в груди у нее неприятно заныло, а на глаза навернулись слезы. Такого ответа она не ждала, и ей захотелось ответить Сергею теми же колкими словами, с языка ее чуть было не сорвалось что-то злое и обидное, но помешала Анфиса. Она бежала к ним с испуганным и заплаканным лицом и, обнимая обоих дрожащими руками, сквозь слезы проговорила:

— Ой, братушка... Ирина, милая... мама наша умирает...

XV

Станичный врач, с худым, измученным лицом и усталыми раскосыми глазами, смотревшими сквозь очки, наклонившись над тазиком, уже мыл руки, а Семен поливал ему из кружки воду. Тимофей Ильич, опираясь

костлявым плечом о стену, стоял у окна и смотрел куда-то во двор. Сергей вошел в комнату хотя и торопливо, но той неровной походкой, какой входят в знакомый дом слепые. Он никого не видел, не слышал за спиной всхлипывания Анфисы,— искал глазами мать и не находил ее.

— Сергей Тимофеевич,— подойдя к нему, сказал врач, сняв очки и щуря по-заячьи смешно косивший левый глаз,— матушка страдает сердцем. И так как медицина уже пришла на помощь, то я бы не советовал в эту минуту входить к больной. Ей нужен покой.

— Мне бы только взглянуть...

— Сердце слабое,— сам себе говорил Тимофей Ильич, продолжая смотреть во двор.— Да я все время, сколько живу с ней, замечал у нее эту самую сердечную слабость... Чуть что — слезы, и там, где следует смеяться, она тоже плачет... А отчего? Конечно, от слабого сердца...

Не слушая отца, Сергей отворил дверь и остановился у порога, увидев лицо матери, похудевшее и ставшее совсем крохотным, с крупными жилами за ушами и с торчащими пучками седых и редких волос. Ее маленькая голова, все в том же сереньком, под цвет перепелиного крыла, чепце, лежала на подушке тяжело; глаза ее были закрыты слабо, не так, как у спящей,— старческие, голые веки вспухли и точно слиплись. Весь ее изменившийся облик, а особенно то, что она даже не взглянула на сына и не улыбнулась ему своей доброй улыбкой, было так непривычно и странно, что Сергею показалось, будто перед ним лежала не его мать, а какая-то чужая, худая и некрасивая старушка... И все-таки он не разумом, а сердцем понимал, что это была не чужая ему старушка, а его мать, и ему было не под силу оторвать взгляд, а когда врач увел его за дверь, он ощутил на сердце неприятно защемившую боль.

Врач заторопился, проворно сложил в небольшой чемоданчик все, что у него было, скомкал и сунул туда же и халат с застаревшими ржавыми пятнами иода и собрался уходить.

— Пожалуйста, больную не тревожьте,— наказывал

он, задержавшись в дверях и строго глядя сквозь очки косившими глазами,— я на обратном пути еще забегу к вам.

Ирина, загрустившая и присмиревшая (причиной были и ответ Сергея у ворот и болезнь Ниловны), подошла к люльке и стала ласково смотреть на сонное, раскрасневшееся личико Васютки. Анфиса с заплаканными, опухшими глазами и с лицом обрюзглым обняла Ирину и снова залилась слезами,— плач ее вырывался не криками, а страшным шепотом и стонами. Ирина успокаивала, а у самой болело сердце и ей тоже хотелось разреветься.

Мужчины вышли проводить врача и уселись под грушей, в холодочке, в том самом месте, где частенько спал Сергей, положив голову матери на колени. Закурили, помолчали, поглядывая на окно с белой занавеской, как бы поджидая, не выглянет ли Ниловна и не улыбнется им старушечьи-доброй улыбкой.

Сергей знал, что если не сейчас, то через некоторое время отец и Семен начнут расспрашивать и о Москве и вообще о поездке, поэтому сам, без расспроса, завел неторопливый рассказ о том, что видел в Москве, с кем встречался и какие сделал закупки по электрооборудованию. И странное дело,— говоря об этом, он почему-то все время помнил о том, что марьяновцам нужно помочь электроэнергией. «Сережа, зачем ты так говорил с Николаем Петровичем...»—да,Ирина должна была спросить именно об этом. Нехорошо, нехорошо я ей ответил»,— думал Сергей. Ему захотелось свои мысли проверить на ком-нибудь другом, посмотреть на себя как бы со стороны, и он решил поговорить с отцом.

— А слыхал, батя, что там планируют марьяновцы? — спросил он после того, когда кончил говорить об установке второй турбины.— Мы еще вторую турбину не поставили, а марьяновцы просят у нас энергии?

— Просить можно,— сказал старик, важно разглаживая табачного цвета усы.— Просить никто не запрещает...

— А как по-вашему, батя, нужно помочь марьяновцам? — в упор спросил Сергей, хитро поглядывая на отца.

— Ишь, какой быстрый! — обиделся старик.— Почему ж это мы обязаны помогать марьяновцам? Получается невыгодная картина: один район старается, воздвигает себе станцию, а другой район идет на все готовое...

— Значит, не помогать?

— В чем другом, конечно, можно подсобить,— снисходительно заговорил Тимофей Ильич, со свистом сквозь усы выпуская дым,— а в таком деле, как электричество, баловать нельзя. Пусть сами себе воздвигают.

«Сами себе воздвигают...» — подумал Сергей.— Это правильно, об этом и я сказал тогда Кондратьеву... И Ирине надо было это сказать...»

— А ты, Семен, что думаешь? — обратился он к другу.

— Надо, Сережа, обмозговать,— уклончиво ответил Семен, кусая сорванный грушевый лист.— Тут все необходимо подсчитать, взвесить... Как я рассуждаю? Не дать — нехорошо, дать — себя обидишь...

«Вот тут и находи выход,— думал Сергей, направляясь в станичный совет, надеясь повидаться там с Саввой.— «Не дать — не хорошо, дать — себя обидишь...» Нет, видно, ни отец, ни Семен в этом деле мне не советчики... Правильно одно — электричеством баловать нельзя... «Пусть сами себе воздвигают». Но надо еще с кем-нибудь поговорить...» И, как на счастье, навстречу ему ехал Стефан Петрович Рагулин на своей мягкорессорной линейке. Из-под копыт и из-под колес пыль вырывалась серыми клочьями, так что Сергей в этой серой завесе с трудом узнал Стефана Петровича и его кучера Никиту.

Старик обрадовался, увидев Сергея. Некоторое время они говорили о всяких текущих делах, затем Рагулин расспрашивал, с какими новостями вернулся Сергей из Москвы. И опять, как только речь зашла о второй турбине, Сергей рассказал о просьбе марьяновцев и, как бы между прочим, спросил:

— Как, по-вашему, Стефан Петрович, следует помочь?

— Дело, конечно, исполкома,— рассудительно заговорил Рагулин,— но, по-моему,— надо людям подсобить... для затравки.

И Рагулин рассмеялся, а Сергей, еще не понимая, отчего старику стало так весело, подумал: «Если Стефан Петрович не скупится, значит тут я что-то не учел...»

— Это как же понимать — «для затравки»?

— На той неделе, когда к нам приезжала марьяновская делегация,— заговорил Рагулин,— беседовал я со своим «соперником»,— помнишь Ефима Меркушева: человек этот — природный механизатор, а руки у него зараз связаны. Так «для затравки» — его слова. «Вы, говорит, дайте нам немного, для затравки, а там мы войдем в курс дела и сами начнем строительство...»

И чем больше думал Сергей о своих соседях, об упреке Ирины, тем яснее начинал понимать, что ответил Кондратьеву тогда, в машине, неправильно, то-есть не так, как бы нужно было. А следовало бы сказать примерно так: «Я не против помощи, но хорошо помогать тем, кто сам не стоит на месте и рвется вперед, и если марьяновцы уповают только на нашу помощь, а сами будут сидеть сложа руки, то такая помощь не принесет пользы». И он обрадовался, когда в разговоре с Рагулиным, как ему показалось, нашел как раз то, что его больше всего беспокоило...

«Так, так... «Для затравки»... Хотят с нашей помощью войти в курс дела,— рассуждал Сергей, проходя по площади и чувствуя в этих словах что-то для себя очень приятное,— именно эту мысль ему и хотелось высказать Кондратьеву, когда тот заговорил о помощи марьяновцам.— Да, затравка нашим соседям нужна, это факт, и если они не собираются все время тащиться у нас на буксире, а пожелают вырваться вперед и обогнать нас — пожалуйста, всегда поможем... Вот только бы точно знать их намерения! Видимо, до собрания нашего актива я поеду к ним с отчетом о сессии, поговорю с народом и вот там хорошенько разузнаю, какое у них настроение...»

Тут мысли его неожиданно оборвались. Откуда-то из переулка выскочил старенький, хорошо Сергею зна-

комый «газик» и, поднимая на дороге пыль, с писком затормозил у его ног.

— Ба! Кого я вижу! Сергей Тимофеевич! Давно прибыл?!

Рубцов-Емницкий, в запыленных парусиновых галифе, в серой, под цвет дорожной пыли, сорочке, в легких сапожках, тоже сшитых из парусины и покрытых изрядным слоем пыли, уже обнимал Сергея с таким жаром, что не замечал, как с его плешивой головы слетел и упал в кузов машины соломенный картуз. После такого горячего приветствия Лев Ильич, все еще не выпуская ладони Сергея из своей потной руки, начал расспрашивать о поездке в Москву, более всего интересуясь тем, как были получены наряды на электрооборудование; после этого, подобрав картуз и ударив им о колено, как бы к слову спросил, какой скоростью идут грузы и не потребуется ли «опытный толкач». Сергей отвечал скупо, пообещав Льву Ильичу обо всем подробно рассказать на районном собрании актива, тут же сообщил, что грузы идут на станцию Невинномысская нужной скоростью и что «толкачи» не потребуются. Лев Ильич не обиделся и заулыбался еще больше. Сергей и сам невольно усмехнулся, глядя на это взволнованное лицо, припухшее, потное и бледное от жары, на котором было написано, что Лев Ильич необычайно счастлив, увидев своего старого приятеля.

«Ох, лиса... А ну-ка, я его спрошу о марьяновцах...»

И Сергей в кратких словах изложил Рубцову-Емницкому основную суть дела.

— Выходит так: хотят, для ясности, подключиться к Усть-Невинской гэс,— Лев Ильич, накручивал на палец и снова раскручивал наконечник кавказского пояса.

— Да, такое желание у них есть. Как по-твоему, Лев Ильич, следует подключать марьяновцев?

— А как, для ясности, по-твоему? — закрывая радостные глазки и улыбаясь, спросил Рубцов-Емницкий.

— Что — по-моему? Я хочу знать твое мнение.

— Сергей Тимофеевич,— трогательным голосом заговорил Рубцов-Емницкий, а глаза его так и сияли,— я скажу коротко: как по-твоему, так и по-моему... В та-

ком деле нужно единство! Монолитность! Правильно я рассуждаю?

— Нет, неправильно,— решительно заявил Сергей и ушел в станичный совет.

К Савве Остроухову Сергей зашел на минутку: ему нужно было заранее условиться, как лучше доложить избирателям об итогах сессии Верховного Совета — собрать ли общественный сход или же провести собрания по колхозам; кроме того, попросить Савву, как друга: в том случае, если Василисе Ниловне и завтра не полегчает, позвонить ему об этом в Рощенскую.

Оба они торопились: Сергею хотелось быстрее вернуться к матери, а Савве надо было ехать в поле — у крыльца его давно уже поджидал на тачанке Дорофей. Поэтому друзья разговаривали мало, надеясь скоро встретиться и тогда уже поговорить вволю.

На дворе совсем стемнело, когда Сергей вернулся к родным, а Савва погремел на своей тачанке в степь.

XVI

Тимофей Ильич встретил Сергея у ворот и тихим, но заметно повеселевшим голосом сообщил о том, что врач уже заходил, оставил лекарство и обещал наведаться еще утром, что Ниловне стало лучше — она пила чай, что теперь у нее одно желание — скорее повидать сына.

— Я шел тебя разыскивать,— добавил старик, когда они входили в освещенные сенцы.

Анфиса и Ирина все это время не отходили от больной, повязали ее лоб влажным полотенцем; по совету врача приподняли на кровати так, что она удобно полулежала, высоко обложенная с трех сторон подушками.

Подходя к матери, Сергей встретился коротким взглядом с Ириной, и ему показалось, что ее суровые, с высохшими слезами глаза говорили: «Жаль, что Ниловна больна, а то бы я давно высказала тебе все, от чего я плакала и что кипит сейчас у меня на сердце, и я все одно выскажу...»

— Здравствуйте, мамо,— нежно сказал Сергей, на-

клоняя чубатую голову и видя за ушами у матери те же выпуклые, толстые жилы и клоки седых редких волос.

— Слава богу, прилетел сынок,— сказала она совсем слабым, не своим голосом.— Нагни, сынок, голову... дай я ее полаская.

Сергей наклонил голову, слышал, как мать положила ладонь и стала перебирать слабыми, бессильными пальцами чуб, и теперь толстые жилы и пучки седых волос были у него перед глазами.

— Посиди возле меня... и я поздоровею...

Сергей сел и увидел в ее усталых глазах крупные капельки слез; она шевелила губами, видимо что-то говорила или только думала, а из-под голых, красноватых век капля за каплей катились слезы, рассыпаясь по морщинкам на щеке.

— Все летаешь, Сережа, а я вот так как-нибудь и не дождусь тебя... Еще Артамашов Алексей как-то... сказывал, что на свете теперь есть молоденькая Васюта, а старой пора и на покой...

— А вы, мамо, об этом не думайте.

— Да как же... сынок, не думать... приходится думать...

Время было позднее, и Ирина, подойдя к Ниловне проститься, стала собираться на дежурство, и снова глаза ее и Сергея встретились и сказали друг другу: «Когда-нибудь все равно говорить нам нужно, так лучше уж сейчас...»

Сергей сказал матери, что проводит Ирину на гидростанцию, поговорит там об одном важном деле с Семеном, а по возвращении всю ночь просидит у ее кровати; и Ниловна, любовно глядя на сына и на невестку, молча кивнула головой, точно говоря: «Идите, идите, дети мои. Я и так рада, что в любви и согласии повидала вас обоих...»

Сергей и Ирина, как только вышли из хаты, взялись за руки, как берутся дети, и направились не по улице, а через огороды, по которым лежали то грядки гороха или лука, то густая и сочная тыквенная ботва, то полянки картофеля. Высоко подымая ноги и с трудом переступая по густой огородной заросли, они попрежнему

молчали, как бы вслушиваясь в шелест под ногами, и это затянувшееся молчание было для них тягостным. За станицей, поднявшись на возвышенность, они остановились оттого, что увидели совсем близко знакомый домик под кручей, с широкими окнами, из которых падало в темноту огромное зарево света.

— Ирина, а ты зря на меня обиделась,— наконец первым заговорил Сергей.— Все одно — марьяновцам мы поможем.

— Когда ж это ты решил?

— И поможем и еще будем с ними соревноваться,— не отвечая, продолжал Сергей твердым голосом.

— Чего ж ты мне говоришь? — спросила Ирина.— Николаю Петровичу надо было так сказать...

— Тогда не сказал, а теперь скажу.— Он взял ее за руки и посмотрел в лицо.— Ирина, я знаю новость: оказывается, у марьяновцев есть и свои планы, и планы хорошие, и вот я скоро поеду к ним с отчетом...

— Новость, Сережа, хорошая,— сказала Ирина,— и все ж таки вышло по-моему, и без меня подсчитать трудновато...

— Не упрекай,— с обидой в голосе сказал Сергей,— и не будь злопамятной. Это нехорошо.

— А я буду!

Сергей хотел обнять Ирину, но она вырвалась, и они побежали с горы к домику гидростанции, на бегу о чем-то громко разговаривая и весело смеясь.

Запыхавшись и раскрасневшись, Ирина вошла в широкие, настежь раскрытые двери гидростанции, обняла Соню, которая держала в руках вахтенный журнал, видимо уже поджидая себе смену и завидуя счастью подруги. Надевая свой серенький халат с застежками на рукавах, Ирина теперь не только сердцем, а всем телом чувствовала, как же она соскучилась и по этому халату, немножко жавшему в плечах, и по ритмичному голосу турбины, и по монотонному шуму где-то за стеной падающей воды, и по той резвой и приятной струйке ветра, которая ворошила ее волосы всякий раз, когда она останавливалась против махового колеса. В этой большой, сильно освещенной комнате, чистой и уютной, все было свое, близкое, привычное и милое, и Ирина,

счастливо улыбаясь, расписалась в журнале и охотно приняла дежурство. Ее радостное чувство передавалось и Соне, и ей уже не хотелось итти домой; она и расспрашивала Ирину о Москве, и сама рассказывала об усть-невинских новостях, и как бы между прочим сказала:

— Иринушка, а Виктор приходил ко мне...

Ирина только вопросительно посмотрела на подругу своими большими, веселыми глазами и ничего не сказала; потом она взяла на полочке масленку и пошла наливать машинное масло. Соне стало неловко за себя, и она, не простившись, ушла в станицу.

Сергей и Семен в это время осмотрели бетон только что заложенного фундамента для новой турбины, вышли из машинного отделения, поднялись на шлюз и оттуда, поглядывая на вторую водонапорную трубу, долго о чем-то негромко разговаривали.

XVII

Рано утром Сергей выпил стакана два парного, еще с теплой пенкой, молока, которое Анфиса только что принесла в дойнице и сцедила в кувшины; затем простился с родителями, пожелал матери быстрого выздоровления, сказал отцу, что скоро приедет в Усть-Невинскую с отчетом о сессии, и направился в станичный совет просить лошадь, чтобы выехать в Рощенскую. Неожиданно подвернулась оказия в виде рослой гнедой кобылы и двухколесного шарабана с высокими и мягкими рессорами. На этом высоком и, надо сказать, во всех отношениях удобном тарантасе возвращался в Рощенскую Илья Стегачев. Видимо, эту ночь он спал мало и плохо, ибо его худое, горбоносое лицо было неумытое и до такой крайности заспанное, что глаза раскрывались лишь наполовину. Казалось, он еще дремал, привязав к ноге вожжи, от чего кобыла переступала лениво, как бы раздумывая, везти ли своего хозяина дальше или остановиться на день-другой в Усть-Невинской.

Илья, обрадовавшись такой нежданной встрече, но еще никак не в силах избавиться от сонливого состоя-

ния, собрал на лбу морщинки, с трудом улыбнулся и на просьбу Сергея подвезти до Рощенской утвердительно кивнул головой, указывая рукой на место рядом с собой. Рослая кобыла зашагала веселее, шарабан загремел по улице, закачался на рессорах, и вскоре Усть-Невинская скрылась где-то за Верблюд-горой.

— Илья Васильевич,— сказал Сергей, беря кнут и подстегивая кобылу,— по-моему, для редактора такой транспорт не годится — очень медлительный. Надо бы тебе обзавестись хоть плохонькой машиной.

— Газетным работникам быстро ездить нельзя,— авторитетно заявил Илья, и хотя он снова морщил лоб, улыбался и хотел казаться веселым, а сонливость все еще не сходила с его горбоносого лица.— Как смотрю на профессию, скажем, журналиста, очеркиста или писателя... Поедет на машине — пролетит и ничего не увидит. Пройдет в бригаду пешком, заночует там — вот тогда жизнь увидит такой, какая она есть. Так что мне ездить на этом шарабане в самый раз...

Илья вытер платком глаза, лоб, как бы разглаживая мелкие морщинки, помолчал, о чем-то думая, а потом сказал:

— Для подтверждения моих слов — совсем свежий пример. Я ездил к Рагулину, пробыл там два дня — страницу будем давать об опыте электромолотьбы. Эх, ты бы посмотрел, какую статью написал Прохор Ненашев. Не статья, а настоящая поэзия! И откуда у этого старика такой хороший, прямо поэтический слог!.. Да, так я не об этом хотел сказать, а о выгоде тихого транспорта. Возвращаюсь я домой. Выехал на рассвете, и если бы ехал на машине, то пролетел бы мимо Усть-Невинской и давно бы был дома — и никаких тебе встреч. А я ехал на своем шарабане не торопясь, и знаешь, кого встретил?

— Не знаю.

— Артамашова!

— Ну и что ж?

— Да то, что Артамашов рассказал мне такую необыкновенную историю, что я завтра же даю фельетон в газету, и когда ты прочитаешь — ахнешь!

— Да что ж особенного он тебе рассказал?

— Что особенного! — Илья улыбнулся, и с его худого лица на лоб побежали мелкие-мелкие морщинки, а глаза смотрели широко и смело.— А вот слушай: Артамашов встретил в степи посланца Хохлакова, небезызвестного тебе Евсея Нарыжного и избил его.

— Да как же? За что?

— А за то, что Нарыжный ездил по полям и возил какое-то грязненькое письмо и собирал подписи... Вот послушай, как это было...

И пока шарабан, мягко покачиваясь, не спеша катился в Рощенскую, Илья Стегачев передал Сергею весь свой разговор с Артамашовым, рассказал о встречах Евсея с яман-джалгинскими колхозницами и со сторожем на току.

XVIII

Давно смолк конский топот, и в ложбине стало тихо-тихо.

«Ускакал, сатанюка... Так вот ты какой закадычный дружок Хохлакова»,— думал Евсей Нарыжный, все еще боясь поднять голову и прислушиваясь.

Где-то поблизости звонко, со щелканьем, пела птичка, шелестело сено,— очевидно, ящерица взбиралась на копну.

Евсей, наконец, открыл глаза, осмотрелся — степь была безлюдна. Вытирая листком лопуха засохшую на усах кровь, он еще долго смотрел в ту сторону, куда скрылся Артамашов. Буланый, видимо желая посочувствовать своему хозяину, подошел к копне и нечаянно наступил на лежавшее тут письмо,— под жестким кованым копытом смятая бумага погрузла в траву и расползлась на части. Евсей ударил коня плеткой, собрал клочки письма, хотел их соединить, но не смог; долго смотрел угрюмыми глазами, читая на клочке обрывок фразы: «... если посмотреть на положение вещей...» Евсей через силу усмехнулся и подумал:

«Да, ежели посмотреть, то положение мое чертовски плохое...»

Затем он изорвал остатки письма на мелкие ку-

сочки, рассыпал их по траве и, поспешно взобравшись на коня, поехал рысью в противоположную от Усть-Невинской сторону.

Четыре дня Евсей прожил на хуторе Извещательном у знакомой вдовы. Здесь он и привел себя в порядок, заменив изорванные штаны новыми, которые хранились у хозяйки еще от покойного мужа, и отдохнул, и собрался с мыслями, а на пятый день поздно вечером явился к Хохлакову...

Федор Лукич давно поджидал своего посланника, волновался и злился. Дело в том, что третьего дня в районной газете «Власть Советов» был напечатан фельетон, одно заглавие которого — «Остерегайтесь хохлаковского кавалериста!» — вызвало в теле Хохлакова неприятную дрожь. Автор фельетона каким-то образом был осведомлен решительно о всех подробностях столь плачевного путешествия Нарыжного и написал об этом, как показалось Хохлакову, слишком ядовито и преувеличенно. Федор Лукич не верил, что все это могло случиться с Евсеем, поэтому хотел еще в день выхода газеты пойти к Илье Стегачеву и доказать ему, что факты, изложенные в газете, не соответствуют действительности, но не решился. Думал пойти с жалобой к Кондратьеву и тоже не пошел — нехватило смелости.

— Где тебя черти носят? — таким вопросом встретил Федор Лукич своего посланца.

— Черти-то сидят дома, а я мотаюсь,— желчно ответил Евсей, и глаза его налились кровью и уже не блестели, как бывало прежде.

— Мотаюсь, мотаюсь! — передразнил Федор Лукич.— Домотался... На, читай и говори: так было дело?

Евсей взял газету и не спеша, с грустной улыбкой стал читать.

— Хоть и не так смешно, как написано, а правда,— сказал он, возвращая газету.— Твой дружок Артамашов даже кровь мне пустил, а об этом в газете не сказано...

— Спасибо, спасибо, Евсей Гордеевич,— тяжело дыша, проговорил Федор Лукич.— Заварил ты кашу, теперь нам же расхлебывать... Какой позор на весь

район!.. Ну, чего бельма вылупил? Иди на мельницу к лошадям.

Федор Лукич взял палку, соломенный картуз и направился к выходу. Евсей преградил ему дорогу.

— Это ты куда поспешаешь? — строго спросил он.

— К редактору... ответ за твою глупость держать.

— Прошу тебя, Федор Лукич, никуда не ходить.

— Это почему же?

— Нам бы надо куда-нибудь уехать... скрыться хоть на время, пока молва пройдет,— шепотом проговорил Евсей, хватая Федора Лукича за руку.

— Молва? Уехать? Скрыться? — Федор Лукич невесело рассмеялся.— Вижу, жидковат ты на расправу... А я ответственности не боюсь... И если чую свою вину, то так честно и скажу... Ну, чего ж ты стоишь? Тебе сказано — иди к лошадям! — и Федор Лукич, отстранив палкой Евсея, вышел из дому.

Федор Лукич понимал, что оправдаться ему перед редактором нечем, но все же решил пойти к нему, еще не зная, о чем и как будет с ним говорить. Ну и пусть себе Федор Лукич похрамывает по станичным улицам, и покамест он будет итти и обдумывать свой разговор с редактором, мы тем временем забежим вперед и посмотрим, чем же занят в этот поздний час Илья Стегачев.

Представьте холостяцкую комнату, простенькую, но неуютную, с обычными старенькими деревянными полками и этажерками, уставленными словарями, энциклопедиями, томиками русских прозаиков, брошюрами, с лежащими на подоконнике и на лавке сшивами газет и тонких журналов,— одним словом, если бы не кровать с подушкой, довольно опрятно покрытая одеялом, если бы не письменный стол с зеркалом и фотографией Татьяны Нецветовой, то это жилье скорее всего было бы похоже на журнально-книжное хранилище.

Хозяин комнаты, в одних трусах и майке, сидел у стола в задумчивой позе, и свет настольной лампы падал на худощавое и горбоносое лицо снизу, отчего светлые его глаза, скрытые слабой тенью, казались большими и очень грустными. Как бы к чему-то при-

слушиваясь, Илья смотрел в открытое окно, за которым черной стеной стояла ночь и ничего, кроме густого сплетения веток, не было видно. Перед ним лежали исписанные и чистые листы бумаги... Сцена, которую он так долго обдумывал, вернее — не обдумывал, а воображал, завершала повесть, и по композиции была она весьма простая: требовалось показать возвращение животноводов со своими стадами с нагорных пастбищ. Сколько раз Илья видел перегон скота; казалось, что может быть проще — бери перо и пиши, но Илья даже не смотрел на бумагу. И хотя он хорошо, даже в мельчайших деталях, знал, как все это бывает в жизни,— в юношестве ему самому приходилось перегонять скот с гор на плоскость, а вот написать об этом так, как это бывает, и чтобы читатель, никогда не бывший в горах и не видевший перегона скота, увидел все это, Илья не мог. Обидно было то, что он отлично понимал, почему ему не давалась эта глава, как, впрочем, и многие другие главы: он смотрел в окно долго, но еще зрительно не представил себе всю картину перегона, вернее — не просто картину, а живую, движущуюся массу скота, людей, где бы можно было увидеть и лица героев — пеших и конных; и пейзаж местности — горы, ущелья уже в ярких осенних красках; и идущие стада, отары, табуны; но не только увидеть, но и услышать те характерные звуки, которые всегда сопутствуют перегону: глухой, точно идущий из-под земли, топот тысяч копыт, веселые, немного охрипшие голоса пастухов, блеяние овец, протяжное и грустное мычание коров, тревожное ржание жеребца, ведущего свой табун; лай собак, хлопки кнутов, шум горных рек и эхо, плывущее по ущелью.

Вызвать такие зримые и звуковые ощущения было нелегко, требовалось время, а его у Стегачева было совсем мало. Кто работал в районе редактором, тот хорошо знает, сколько всяких срочных и неотложных, малых и больших дел возникает, когда делается газета. Обычно весь день Илья был занят подготовкой статей и заметок, которых уже с утра ждали наборщики. Как правило, эти статьи и заметки содержат материал интересный, но написаны они рукой неопыт-

ной, и редактор если не правит, то чаще всего переписывает все заново... Затем много времени занимают поездки по станицам, сбор материала для очерка или передовой статьи. К тому же, редко какой день обходится без всякого рода заседаний и совещаний, посещать которые редактор обязан, если он желает полнее освещать жизнь района. Редко когда выберется свободный вечер, такой, как сегодня, и Илья сейчас же принимается за повесть, по часу, а то и более просиживает перед раскрытым окном, силясь вызвать в воображении картину главы, и не может.

«Мне, как шахматисту, попадающему в затруднительное положение,— думал Илья,— нехватает времени на обдумывание ходов. Неужели все писатели непременно описывают только то, что встает перед ними живой картиной?..»

Не найдя ответа, он взглянул на фотографию,— знакомое лицо Татьяны расплылось в насмешливой, но доверчивой улыбке...

«Все улыбаешься. Если бы ты была для меня такой улыбчивой в жизни,— подумал Илья.— Тебе смешно, а мне грустно...»

Любуясь лицом, глазами любимой женщины, Илья вспомнил ту ночь, когда с Кондратьевым и с Кнышевым он возвращался с нагорных пастбищ... вспомнил, и вдруг точно молния раздвинула темноту, и перед его глазами встал закат в горах: потянулись тени от скал, ущелье разрезали косые лучи, и сквозь эти жаркие, падающие наискось световые полосы проходит стадо коров...

Илья взял ручку, придвинул чистый лист и только хотел было начать писать, как кто-то постучал в дверь. Илья тяжело вздохнул и встал. К нему входил, гремя палкой, Федор Лукич Хохлаков.

— Все пишешь, Илья Васильевич?

— Ночь жаркая... Что-то не пишется.

— А я к тебе... по делу.

— Вижу и догадываюсь о причине столь позднего визита.

— Не помешал?

— Если пришел, то об этом и не спрашивай. Садись.

Федор Лукич сел, поставил между ног палку и задумался. Дышал он тяжело, и вся его грузная, сгорбленная фигура выражала скорбь и уныние. Илья смотрел на своего нежданного гостя, заметил на его морщинистом лбу мелкие капельки пота и подумал:

«Вот он, живой персонаж, а опиши его в повести таким, какой есть в жизни,— читатели не поверят...»

— Илья Васильевич,— заговорил Федор Лукич глухо, не подымая головы,— сколько годов мы с тобой вместе: ты — редактором...

— Нельзя ли без предисловия? — перебил Илья, замечая, как капельки пота еще гуще покрыли лоб Федора Лукича.— Знаю: пришел ты по поводу фельетона, с этого и начинай.

— Так ты ж меня убил, Илья Васильевич,— глухо, словно не своим голосом, проговорил Федор Лукич.— А за что? Вместе ж работали...

— Если говорить об «убийстве»,— сказал Илья, а покрытый капельками лоб Хохлакова почему-то был у него перед глазами,— то тут виноват не я, а ты сам, да еще прибавь к этому своего «кавалериста» Нарыжного...

— А зачем печатать? Разве нельзя иначе? Вызвал бы меня, поговорил...

Тут Федор Лукич поднял голову, и Илья увидел, что не только лоб, а все его старческое лицо и шея покрыты густой испариной.

— Зачем печатать? Хотел тебе помочь, и не один я хотел, а и Кондратьев, и Тутаринов, и многие товарищи...— Илья видел, как Федор Лукич снова тяжело опустил свою седую стриженую голову, и теперь капельки со лба побежали к бровям и на переносье.— Смотрю я на тебя, Федор Лукич, и мне вспоминается одна книга,— не знаю, читал ли ты ее или нет. Описан в этой книге рыцарь по имени Дон-Кихот Ламанчский, который ездил по степи со своим оруженосцем и воевал с ветряными мельницами... Вот ты тоже Дон-Кихот, только не Ламанчский, а Рощенский, и у тебя тоже есть оруженосец, который ездит по полям с твоими дурацкими поручениями...

— Ты меня рыцарем не называй,— проговорил Фе-

дор Лукич, смахнув рукавом пот на лбу,— я его не знаю и знать не хочу...

— Подумал ты своей старой головой,— продолжал Илья,— с кем ты воюешь и против кого идешь? Против своего же народа, из которого ты сам вырос. Не могу я, Федор Лукич, понять одного: либо ты ослеп на старости лет и не видишь, в какое болото лезешь, либо за многие годы партия ничему тебя не научила, и тогда партийный билет, который ты ещё, к сожалению, носишь в кармане, надо отобрать у тебя немедленно...

— Скажи, Илья, скажи, ежели добра желаешь: что ж мне теперь делать?

— Ты в ответе перед народом и перед партией,— сухо сказал Илья,— и если ты хочешь и у тебя еще есть силы выкарабкаться из того болота, куда ты погряз обеими ногами, советую побывать у Кондратьева и во всем ему чистосердечно сознаться, а главное — дай слово на деле искупить свою тяжкую вину... Иного совета у меня нет.

— Ну, спасибо и за это... Только не знаю, смогу ли я...

Федор Лукич тяжело поднялся и, не взглянув на Илью, медленно вышел из комнаты.

XIX

Федор Лукич вернулся домой в подавленном душевном состоянии. Сердце сжималось и болело, точно на нем лежал камень и давил, давил; тяжело было и дышать, и переступать ногами, а еще тяжелее — думать о себе. После разговора со Стегачевым, после всего, что случилось в эти дни, Федор Лукич знал, что он подлец и что так ему дальше жить нельзя. В нем шла внутренняя, еще неосознанная им борьба, точнее — не борьба, а схватка, в которую, помимо его воли, вступили и вели словесную перепалку два Хохлакова — один в роли обвинителя, а другой в роли защитника. И почему-то в этом внутреннем поединке верх брал обвинитель. Он говорил горячо, ядовито, то со злобой, то с едкой усмешкой. Не молчал и защитник, но голос

его был слаб, а приводимые им доводы неубедительны. Обвинитель не принимал в расчет никаких снисхождений и рубил, что называется, с плеча, требовал, чтобы Федор Лукич понес суровое наказание; он без особого труда доказал, что написать подобного рода письмо мог только тот, кто потерял совесть, честь и доброе имя. И Федор Лукич хотя и с горечью в груди, но с ним соглашался. Ему хотелось самому себя обругать, но тут слышался жалобный голос защитника: «Зачем же такие тяжкие обвинения! Да, Федор Лукич критиковал ошибки в работе Тутаринова, критиковал много раз, но это же не есть преступление, а критика снизу... Разве нельзя любому гражданину, а тем более Федору Лукичу, человеку пожилому, имеющему большой опыт в работе, покритиковать молодого, неопытного руководителя, высказать свое мнение о нем и даже написать письмо в Москву... Пусть это письмо и его мнение ошибочное, но не ошибается только тот, кто ничего не делает...» Обвинитель обозлился и не дал договорить: «Это не ошибка, а злонамеренное действие против инициативы народа...» Но тут Федор Лукич остановил обвинителя и защитника, встал, махнул рукой так, точно в кулаке у него была зажата сабля, и сказал:

— Хватит споров! Сам знаю, в чем моя вина. Завтра пойду в райком, возьму с собой и Нарыжного — и тогда конец всему старому, паскудному и подлому.

Утром, немного успокоившись, но с тупой болью в висках, Федор Лукич побывал у Кондратьева и узнал, что заседание бюро состоится вечером. На столе лежал напечатанный на машинке перечень вопросов, подлежащих рассмотрению; пробегая его глазами, Кондратьев нарочно или нечаянно повернул лист так, что Федор Лукич сумел прочитать в конце перечня: «О фельетоне в газете «Власть Советов». Сообщение Стегачева». Федор Лукич облегченно вздохнул. «Так, так, значит только о фельетоне, а не персонально обо мне. Это хорошо... Кондратьев правильно поступил»,— подумал Федор Лукич, и ему показалось, что от одной мысли уменьшилась боль в висках.

— Главный ответ придется держать у себя на партийном собрании, — сказал Кондратьев, — пусть сами ваши коммунисты обсудят вопрос о твоем непартийном поступке, а сегодня бюро скажет свое слово о самом факте появления фельетона.

Беседа продолжалась не долго. Кондратьев, как всегда, был учтиво-молчалив, больше слушал, чем говорил, и в его спокойных глазах можно было читать: «А что ж тут такого особенного и почему нужно много говорить? Коммунист споткнулся,— поправим, не таких поправляли... Обсудим фельетон, во всем разберемся не спеша...» Внешне он делал вид, что его обязанность чисто исполнительская: появился в газете фельетон, он должен довести до сведения членов бюро, а в остальном — их воля, и какое они решение примут, такое оно и будет; на самом же деле по его внимательным, всевидящим глазам Федор Лукич понимал: кто-кто, а Кондратьев заранее знает все: и как пройдет бюро и какое будет принято решение.

Вставая и давая этим понять, что уже все сказано, Кондратьев проговорил:

— Принеси с собой письменное объяснение, да только не лезь в пузырь и не крути хвостом,— это не поможет... Приходить можешь попозже, разговор о фельетоне в самом конце заседания.

С приятным сознанием твердого решения — прийти на бюро с открытой душой и принять от партии любое наказание — Федор Лукич вышел из райкома и, рассуждая сам с собой, направился по теневой стороне улицы. Дома он ласково поговорил с женой, рассказал ей о беседе с Кондратьевым, и уселся писать объяснительную записку; на сердце у него было тепло и так легко, точно с него свалился тот тяжелый камень, который все эти дни давил ему грудь.

Записка начиналась словами: «Опишу вам все, что я думаю о себе...» Такое начало ему не понравилось, и, зачеркнув его, он написал: «Вспоминаю всю свою жизнь и вижу: на моем веку много было ухабин, и я спотыкался, шел неровно, и партия не раз поправляла меня, учила уму-разуму...» Подумал, посмотрел в окно на тучи, закрывавшие все небо. Ему почему-то пришла

на ум строка из песни,— он записал и ее: «Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая». Но тут же усмехнулся и зачеркнул всю строчку.

Так он исписал ученическую тетрадь, марал, зачеркивал слова, заменял одну фразу другой... Весь потный, с болью в локте правой руки, он просидел за столом до вечера, переписывая весь текст набело.

«Вот если бы можно было сперва прожить жизнь черновую, а после этого, увидев и осознав все свои ошибки, начать жить набело,— думал он, поглядывая на грязный и на чистый, только что переписанный лист.— Сколько было на моем жизненном листочке и помарок, и клякс, и корявых фраз... Исправить бы все и переписать заново, да поздно — вот горе... А отчего были помарки и ошибки? Теперь-то, уже в самом конце почти дописанной страницы, я тоже начинаю понимать: от недостатка политических знаний... Кто я такой? Был когда-то Федя Хохлаков добрый казак-рубака, и был этот Федя грозой для белогвардейцев... Тогда же был доволен его сабельным ударом и лихостью легендарный Иван Кочубей... И еще был Федя Хохлаков самолюбивым, гордым и ко всему этому — малограмотным... Но то было и было давно, а жизнь наша не стояла на одном месте, а шла и шла стремительно. За храбрость и за геройство в боях партия приняла меня в свои ряды, приняла и сказала так ласково, как говорит мать, поглаживая вихрастую голову самовольного сынишки: «Ты вступаешь в нелегкую жизнь, скоро будешь не геройский парень кочубеевец Федя Хохлаков, а ответственный работник Федор Лукич, и ты обязан итти в ногу с жизнью, а для этого тебе надо постоянно и настойчиво учиться, учиться, и руководить людьми, и жить с людьми...» А как я исполнял этот совет? Как я жил?» — и, не находя ответа, Федор Лукич долго в раздумье сидел у стола.

Перед вечером небо над станицей потемнело, а потом неожиданно, без грома и без ветра, прошумел дружный короткий дождь, и тучи ушли в горы. На улицах улеглась пыль, обмылись крыши, освежились сады,— воздух стоял чистый и такой прохладный, какой бывает только утром возле горной реки. Радуясь

неожиданной и приятной перемене погоды, Федор Лукич, хотя и с болью в груди (очевидно, от долгого сидения за столом), но в хорошем настроении, направился к своему счетоводу узнать, готова ли смета на ремонт мельницы. Кроме того, ему непременно нужно было повидать Нарыжного, чтобы поговорить с ним и взять его с собой в райком,— возможно, потребуется живой свидетель.

Викентий Аверьянович (тот самый худой старик счетовод, у которого большая, в виде кубышки, голова и очки держатся лишь на кончике носа) сообщил, что смета давно составлена, и положил на стол разграфленные и исписанные цифрами листы. Федор Лукич почитал, одобрительно кивнул головой и положил в трех местах свою жирную и размашистую подпись, попросил Викентия Аверьяновича завтра же выслать эти документы в исполком.

Еще немного поговорив со счетоводом, Федор Лукич, чувствуя страшную усталость во всем теле, взглянул на часы и поспешил к Евсею, который пас лошадей в лесочке, недалеко от мельницы. Между тем, ночь давно наступила. Справа, совсем близко, по-ночному тревожно шумела Кубань. Небо очистилось от туч и было густо усыпано звездами. Всходила луна,— холодный красный шар выкатился на холм, заливая неровным, слабым светом умытую, пахнущую свежестью землю.

Уже вблизи знакомого лесочка Федор Лукич вдруг остановился, хватаясь рукой за грудь и ощущая в себе болезненную слабость; ноги его подкашивались и были точно чужие; руки отяжелели, не слушались, отказывались даже держать палку; в груди забегали острые иголки, их становилось все больше и больше, и они сбивались в один болезненный комок; сердце замирало,— его будто кто брал клещами и то сжимал, то отпускал... Вблизи, чернея спинами, виднелись в кустарнике две лошади, и Федор Лукич, обливаясь пòтом и задыхаясь, еле-еле подошел к ним и случайно набрел на Евсея,— тот лежал под кустом на раскинутой бурке, задумчиво глядя в небо.

— Ох, плохо мне, плохо, Евсей Гордеевич!— глухо проговорил Федор Лукич, опускаясь на колени и как будто прося пощады.— Шел к тебе, чтоб поговорить... А теперь не могу... Давай коней... да живее поедем в райком... Там дело наше решается.

— А мне туда ехать нечего,— все так же задумчиво глядя в небо, ответил Евсей.— Решается не наше, а твое дело.

— Меня отвезешь... да и побудешь там... может, потребуешься... Я хоть и написал... вот тут в тетради вся моя жизнь... а ты... если нужно будет, подтвердишь.

— Не поеду и подтверждать ничего не буду,— Евсей быстро встал, и его горячие, коршунячьи глаза впились в Хохлакова.— Меня туда не тащи, все одно не пойду... Богом тебя прошу, как верного друга, дай мне коня, и я сию же ночь уеду отсюда...

— Уедешь? — Федор Лукич хотел опереться на локоть и не мог.— Куда?

— Свет велик... Подамся на Каспий или в Кабарду.

— Не спрячешься, Евсей...

— Дай коня... Не дашь подобру — возьму силой...

— Да я теперь вижу... ты такой... все можешь,— кусая губы, слабым голосом проговорил Федор Лукич.— Беде моей радуешься... Приютил тебя на свое горе... Отвези меня, слышишь, Евсей! Я приказываю!

— Хватит, тошно!

— Эх, так вот как ты платишь за добро!.. Веди коня... я сам поеду.

Не взглянув на Хохлакова, Евсей встал и, гремя уздечкой, пошел к лошадям.

«Езжай, черт с тобой! Ты в одну сторону, а я в другую»,— думал он, снимая с ног коня путо.

Он привел Буланого, коня смирного и послушного; помостил ему на спину свою полстенку, сверху перекинул сделанные из веревки стремена и хотел было помочь Федору Лукичу встать, но Федор Лукич, опираясь на палку, поднялся сам, стараясь гордо держать свою седую, уже непослушную голову. Сам подошел к коню, судорожно вцепился пальцами в гриву, но забраться на полстенку не смог даже с помощью Евсея.

Тогда Евсей подвел Буланого к невысокому косогору,— конь сразу сделался наполовину ниже и стоял так удобно, что Федор Лукич только поднял ногу и без особого труда уселся верхом, вспоминая, как еще в детстве он иногда пользовался косогорчиком, и от этой мысли сердце забилось еще сильнее... Евсей помог вдеть его тяжелые, обессиленные ноги в веревочные стремена и подумал: «Эх, ты, видно, никуда уже не доедешь... Совсем, совсем слабый...»

Буланый пошел шагом, переступая ногами так осторожно, точно боялся потревожить седока, который, держась руками за гриву, все клонился и клонился вперед. Когда же Буланый отошел метров сто и начал подыматься на крутой пригорок, тело Федора Лукича вместе с полстенкой и со стременами поползло назад и рухнуло на землю... Буланый остановился, удивленно посмотрел на своего свалившегося хозяина и, видимо считая, что так и нужно и что его вины в этом нет, начал пощипывать траву... А до Евсея долетел слабый, стонущий голос:

— Помоги... Евсей... воды... Евсей...

Евсей сунул голову под кусты, укрыл ее полой бурки и пролежал так час или полтора.

Когда он поднялся, вокруг было тихо и над лесочком гуляла светлая луна... Евсей долго не решался, а потом все же подошел к Буланому. Невдалеке от коня, озаренный лунным светом, Федор Лукич лежал на спине, широко, по-богатырски раскинув руки. Голова его, при свете луны ставшая совсем белой, была сильно запрокинута назад и утопала в траве; рот был сжат, и сквозь пухлые губы просочилась черная струйка — еще не остывшая кровь. Из травы подымались два нежных синеньких цветочка, один — возле уха, другой — ниже подбородка, и испуганно смотрели в его стеклянные и уже холодные глаза.

Вдруг откуда-то взялся жук-носорог; он прожужжал над ухом у Евсея и в ту же секунду глухо шлепнулся о болезненно сморщенное и уже окоченевшее лицо Федора Лукича; перебирая косматыми ножками и расправляя зеленоватые на лунном свете крылышки, он торопливо, точно чего-то боясь, переполз через от-

крытый глаз и, покружившись на лбу, с гудением улетел.

— Готовый... Дошел...

На рассвете короткой летней ночи Евсей и Викентий Аверьянович замотали тело Федора Лукича в бурку, уложили на линейку и отвезли в Рощенскую...

XX

Солнце опускалось к низкому полудню, и косые лучи, падая в раскрытое окно райкома, освещали склоненную на руку седую голову Кондратьева, его жесткие брови и напряженно согнутые выше лба пальцы с пучочками черных волос на суставах. Он уже много времени сидел неподвижно, знакомясь с тезисами двух докладов, которые будут сделаны на районном собрании актива. Первый был на тему «Внедрение электричества в колхозное производство и проведение технической учебы» — автор Виктор Грачев; второй — «О выполнении плана преобразования природы и реконструкции станиц» — был написан Сергеем Тутариновым. Видимо, тезисы этих докладов были составлены хорошо, ибо Кондратьев читал лист за листом с интересом и с таким вниманием, что не замечал, как Сергей и Виктор нервничали и то подходили к столу, то расхаживали по кабинету; по их жарким, взволнованным лицам, по тому, как много и с какой жадностью они курили, было видно, что им не терпелось скорее услышать хоть одно слово Кондратьева... А он читал, что-то помечал карандашом и даже не поднимал головы.

Наконец Кондратьев перевернул последнюю страницу, посмотрел на кончик карандаша и, легонько постукивая им о край стола, пристально и как бы с уважением взглянул на подошедших к столу Сергея и Виктора, точно говоря: «Эх вы, молодые докладчики, теперь я убедился, что тезисы умеете писать бойкие...» При этом взгляд его был ласковый, мягкий: глаза както заметно посветлели, в них даже заиграла скрытая улыбка,— казалось, она вот-вот перебежит на усы и тронет губы.

— Согласен с тем,— заговорил он, не переставая отстукивать карандашом,— что активу следует сказать и о том, что сама жизнь в наших станицах стала светлее и красивее, и о том, что над всем верховьем Кубани разливается свет — и какой свет! Никогда этого не было, а теперь есть,— эта мысль в тезисах нужна, и ее необходимо развить как можно шире. Вообще ваши доклады содержат много любопытных фактов и живых, взятых же из нашей жизни примеров.

Кондратьев, закрывая ладонью, как щитком, глаза от солнца, задумался и в эту минуту посмотрел на будущих докладчиков строго, снизу вверх, как бы желая увидеть их сразу, и почему-то светлый оттенок в его глазах куда-то исчез.

— Но в таком виде ваши доклады будут слишком сладкие и, я бы сказал, пресные,— проговорил Кондратьев и усмехнулся своей хитрой усмешкой.— В них мало соли и перца, говоря точнее: мало острой критики и самокритики. Недостатков у нас много, а вы о них почему-то умалчиваете. Нехорошо! Поймите, что мы собираем актив не для развлечения и не для того, чтобы выслушивать здесь хвалебные слова. Перед нами стоят очень сложные задачи, и решение их будет зависеть от того, как мы сумеем поднять боевой дух у нашего актива, а с ним — вызвать этот же боевой дух у всех колхозников. Значит, надо именно теперь вытащить «на свет божий» наши недостатки и, не боясь и не краснея, прямо и резко о них сказать. И ничего, что услышат об этом наши гости — марьяновцы... Это мое первое замечание.— Кондратьев потрогал пальцами седые виски и, как бы убедившись, что они на месте, продолжал.— По второму замечанию мне хотелось бы записать в ваши тезисы примерно такую фразу: «Мы, жители Рощенского района, отстаем от жизни, которую сами же строим, а отставание это нужно преодолеть во что бы то ни стало... И эту мысль хорошо было бы развить и красной нитью протянуть через оба доклада.

— Интересно... Как же это понимать? — спросил Сергей, и глаза его заблестели.

Виктор сидел у стола, молчал и делал какие-то пометки в записной книжке.

— А понимать надо так: жизнь в наших станицах идет вперед так быстро, что многие, а особенно руководители колхозов, никак за ней не поспевают.— Кондратьев прислушался к песне, долетавшей с улицы, помолчал.— Политических знаний маловато, да и, сказать, вообще многого чего не хватает... Вот в чем беда.

— Николай Петрович,— заговорил Виктор,— вы имеете в виду технические знания?

— Нет, я имею в виду всякие,— и Кондратьев, видимо, что-то вспомнив, грустно усмехнулся.— Вы же хорошо знаете нашего Хворостянкина. На примере одного Хворостянкина можно понять, о каких знаниях идет речь... Человек он в общем видный, даже когда-то слыл неплохим руководителем... Но вот в районе совершилось важное событие — была пущена гэс. И этот Хворостянкин не нашел ничего лучшего, как соорудить в своем кабинете сигнализацию и с помощью кнопок и звонков вызывать к себе бригадиров, завхоза, конюхов, бухгалтера, кладовщика... Это же смех и горе! Вот о таких «механизаторах»,— а они у нас есть не только в «Красном кавалеристе»,— надо всерьез поговорить на активе... Или тот локомобиль, который поставил Рагулин возле электромолотилки?.. «А вдруг как бы чего не случилось?» Откуда идет эта электроболезнь? Подумал ли докладчик об этом?

— Я думал — от неимения технических знаний,— сказал Виктор, не отрывая карандаша от записной книжки.

— Значит, наша экономика обгоняет наши же знания и мы отстаем от жизни,— сказал Кондратьев.— А отставать не должны, не имеем на это никакого права... Так? Ведь то, что уже сделано и что еще намечается делать в наших станицах,— и электрификация, и внедрение новейших методов обработки земли, и механизация животноводческих ферм, и преобразование природы, и, наконец, намеченный нами план реконструкции станиц — все это по плечу народу, сильному не столько физически, сколько духовно, и тут главная наша задача — изо дня в день растить в нашем

народе эту духовную силу. Вот тогда и на жизнь не пожалуемся, она нас не обгонит! — и смуглое, загорелое лицо Кондратьева расплылось в улыбке.— Вот об этом надо говорить на активе, да опять же с критикой, и тон этому серьезному разговору должны задать вы, главные докладчики. Пусть и марьяновцы послушают,— нам с ними соревноваться, и они должны знать своего «противника»... Вы поняли, о чем я вас прошу? Время еще есть, и тезисы, на мой взгляд, необходимо подправить.

Сергей и Виктор, смущенно переглянулись, как бы говоря друг другу: «Поправить-то поправим, а вот сами мы до этого не додумались».

— По-моему, лучше все заново переписать,— вставая, решительно заявил Сергей.

— Безусловно, лучше, если все переделать заново,— согласился Кондратьев.

XXI

Если бы сравнить нашу литературу о деревне, скажем, с обширными полями чернозема, а товарищей, пишущих о деревне, с хлеборобами, обрабатывающими эту плодородную почву; если бы такое смелое сравнение развить дальше и присмотреться, как же (говоря языком агронома) освоен этот чернозем и какие культуры на нем возделываются, то можно было бы увидеть всю площадь земли вспаханной и посеянной. Правда, не везде глубина вспашки соответствует агроминимуму: один плуг берет глубоко, пласт земли подымается широкий, а другой сдирает лишь корку; посевы тоже есть разные: там рядок в рядок, а там одни огрехи; одни пропашные рослые, чистые, по-хозяйски и во-время прополоты, а другие зачахли в сорняках,— видно, что хлебороб поленился, бросил зерно по весне в почву да и забыл о нем, а сам уже собирается пожинать плоды; к тому же можно встретить рядом с пятипольными севооборотами, с чистыми парами и травосеянием живую старушку — чересполо-

сницу; словом, качество обработки поля не всюду одинаковое, но зато, кажется, уже нет такого клочка земли, которого не коснулся бы плуг хотя бы кончиком своего лемеха; так что иной запоздавший хлебороб взглянет на знакомую равнину, увидит все это и невольно скажет: «Эге, да тут уже придется пахать по вспаханному и сеять по засеянному».

Думается, что такое, пусть не красочное и даже не совсем точное, сравнение, послужит нам хотя б кое-каким оправданием, если и мы начнем «пахать по вспаханному», то-есть станем описывать такие обыденные и всем известные факты, как собрание, вернее — не самое собрание, а лишь подготовку к нему...

«Да кто же об этом не писал? — скажет во всем сведущий читатель.— Да разве с тех пор, как существуют колхозы, не достаточно было описано всяких собраний — и малых и больших? Какую книгу ни открой — и непременно увидишь на ее страницах собрание с докладчиком, президиумом и с ораторами».

Что ж тут сказать? Верно, такие описания были и, возможно, еще будут, но та подготовка, о которой будет сказано ниже, заверим наперед, была несколько необычной уже хотя бы потому, что к собранию готовился весь район и готовился так, как никогда прежде. Шуточное ли дело, с вечера и чуть ли не до утра во всех станицах и хуторах только и говорили о том: выезжать ли на заре или с восходом солнца; ехать ли на машинах или на тачанках; если на тачанках, то каких запрягать коней; кто поедет и кто будет выступать по докладу Грачева, а кто будет выступать по докладу Тутаринова и т. д. В правлениях колхозов далеко за полночь светились окна,— работы в эти вечера хватало и бухгалтерии, и учетчикам, и бригадирам; не спали и волновались шоферы — заливали баки бензином, проверяли тормоза, устраивали в кузове удобные сиденья; не меньше шоферов волновались и трудились кучера — заранее смазывали колеса тачанок, линеек, смягчали дегтем сбрую, подчищали, подковывали копыта, расчесывали коням гривы и чаще, чем в другое время, подсыпали овса...

Издавая глухой цокот ступиц и легко покачиваясь, тачанка завернула к станичному совету и остановилась у крылечка, как раз в тени деревьев. Кучер Дорофей, тот самый юноша Дорофей, у которого шишкатый нос и широкое, всегда обветренное лицо,— подобрал вожжи, со знанием дела завязал их за ногу и начал закуривать.

«Вот ты, какая штука,— глубокомысленно рассуждал он, поднимая голову и втягивая носом воздух,— опять дождем пахнет... Лето выдалось сырое, мокрое лето...»

Был Дорофей еще совсем молод, пепельного оттенка пушок на его толстой губе еще не знал, что такое бритва, но лошади ему во всем подчинялись лучше, чем какому-нибудь бородатому кучеру, и, казалось, понимали с полуслова. Свое превосходство над парой гнедых Дорофей подчеркивал всякий раз и, возможно, поэтому всегда держался гордо и был, что называется, на высоте положения. Его коренастая, осанистая фигура, независимый и несколько даже насмешливый взгляд были тому наглядной иллюстрацией и как бы говорили: «Над конями я полный хозяин, свои обязанности выполняю исправно, а в остальном — хоть трава не расти». Кисет с махоркой он вынимал из кармана тоже важно, бумагу отрывал не спеша, табак насыпал непременно с ладони и, поглядывая по сторонам и о чем-то своем думая, долго слюнявил бумагу и сворачивал цыгарку. И когда из станичного совета, споткнувшись о ступеньку, выбежал Савва Остроухов, Дорофей по злому его лицу заметил, что тут дело без упреков не обойдется, но продолжал сидеть все в той же горделивой позе, пуская струйкой дым и сплевывая.

— Дорофей, почему приехал без Рагулина? — строго спросил Савва.— Или ты у него не был?

— И такое придумаете! — с грустью в голосе отвечал Дорофей.— Не только был у него, а дажеть ругался с ним всю дорогу.

— Как же ты ругался, когда ехал один?

— Да я его в уме ругал,— Дорофей рассмеялся.— Ругал и клял,— это же не старик, а горе!

— А вернулся один?

— Насильно пришлось ворочаться одному... Разве этого деда уломаешь! Там у него народу собралось...— Дорофей глотнул дым, подул на цыгарку.— Его, чертяку, арканом надо тащить. Как я вижу, никакой у него дисциплины нету. «Ежели, говорит, Остроухову я нужен, то пусть он сам до меня едет». Я ему в ответ стал доказывать, что это же не Остроухов кличет, а советская власть.

— А он что же? — о чем-то думая, спросил Савва.

— Да ну его... Сильно возгордился.

— Ну, что ж, поеду и сам!

Резко наступив ногой на сходцы, отчего правая рессора качнулась и скрипнула, Савва быстро взобрался на сиденье, устланное травой и покрытое влажной полстью. Дорофей, казалось, этого только и поджидал. Бросив окурок и поплевав в руки, он мигом размотал вожжи, показал лошадям кнут, при этом шумно и как-то уж очень одобрительно причмокнул губами, и тачанка, ловко объехав небольшую лужу, погремела снова через площадь.

— Савва Нестерович, вот вы сами поглядите, сколько там народу собралось,— говорил Дорофей, слегка подстегнув кнутом лошадей.— Суматоха! Рагулин, отчего-то дюже обозленный, требует, чтоб к нему явился Прохор Ненашев, а тот Прохор, как на грех, куда-то запропал...

Савва молча слушал своего кучера и думал о том, как бы сделать так, чтобы завтра на зорьке собрать всю усть-невинскую делегацию и приехать в Рощенскую первыми и организованно.

«Значит, дюже обозленный,— подумал Савва, откинувшись на спинку сиденья.— Я-то знаю, по какой причине и обозлился старик и почему он ко мне не захотел явиться... Так-таки и хочет от прений увильнуть. И когда я его уже приучу активно выступать! Герой же Труда, прославившийся хозяйством и урожаями на все Ставрополье, а горячего слова людям сказать не может... Марьяновцы в гости приедут, объявим мы им свое решение о соревновании, и вот тут и надо выступить Рагулину...»

Теперь Савву беспокоил уже не только Рагулин, но

и Никита Мальцев — председатель Ворошиловского колхоза. Ему Савва тоже поручил подготовиться и выступить в прениях, и хотя Никита, не в пример Рагулину, охотно согласился, пообещал даже принести и показать заранее написанную речь, но вот уже и ночь над станицей, а Никита так в стансовет и не появился.

«Как он там подготовился, как и что там написал?» — озабоченно думал Савва.

На районное собрание партийного и советского актива, которое открывается завтра в Рощенской, от Усть-Невинской станицы должны были ехать двенадцать человек, не считая директора и старшего механика Усть-Невинской МТС. Помимо руководителей колхозов, в числе делегатов Тимофей Ильич Тутаринов, Прохор Ненашев, Семен Гончаренко и четыре бригадира.

«Оно неплохо было бы выступить и старику Тутаринову, а также и Семену Гончаренко,— думал Савва.— Тимофей Ильич мог бы сказать о качестве уборки, перед марьяновцами высказаться да и вообще подать какой совет, человек он рассудительный... А Семену, как директору гэс, прямой расчет выступать... Надо к ним заехать и поговорить,— пусть ночь не поспят и подготовятся...»

Из опыта многих лет Савва хорошо знал, что всегда к собранию районного актива необходимо тщательно готовиться и ехать, как говорится, во всеоружии: собрание будет обсуждать вопросы о лесопосадках, технической учебе и соревновании с марьяновцами,— значит надо ехать не с голыми руками, а с планами, собрать все цифровые данные, подготовить свои предложения; нужно заранее знать, кто будет выступать и какие именно задачи для всего района поставят усть-невинцы; поэтому все эти дни Савва был занят подготовкой к собранию,— хлопот, как всегда, было много, а тут еще прибавилась новая печаль: вчера в станичный совет заявился Алексей Артамашов и потребовал, чтобы Савва включил и его в состав делегации.

— Алексей Степанович,— вежливо ответил Савва,— твою просьбу, к сожалению, удовлетворить не смогу.

— Почему не сможешь? Ты повезешь людей, вот бери и меня.

— Как же я тебя возьму? — Савва не смог сдержать улыбку.— Какой же теперь из тебя активист? Была у тебя активность, да вся вышла. Провинился ты здорово... Так что пока, временно, зачислить тебя в актив не могу.

— Так то мое прошлое ты забудь,— сбивая на затылок кубанку, возразил Артамашов.— Ты бери меня не как бывшего председателя колхоза, а как нынешнего борца за высокий урожай. Урожай у нас, теперь это все видят, намного выше, чем у хваленого Рагулина... Вот ты за это меня и бери.

— Урожай, Алексей Степанович, урожаем,— за это тебе от станицы спасибо, а принять в актив нельзя: рано.

— А я требую!

— Чего ты уже вспылил? — спокойно спросил Савва.— Не понимаю, что это тебе вздумалось на актив... Никто тебя не приглашает...

— Хочу с речью выступить.

— Ах, вот что! — Савва почесал затылок.— Там и без тебя ораторов хватит.

— Нет, я поеду.— Артамашов взял ручку телефона.— Звони Кондратьеву и попроси у него разрешения, ежели сам решить боишься.

— Ну ладно, позвоню,— сказал Савва, желая избавиться от Артамашова,— только попозже...

— Смотри ж, позвони,— выходя из стансовета, сказал Артамашов.— Не уладишь этого дела — сяду на коня и сам примчусь.

Весь этот разговор снова пришел в голову, и Савва задумался еще больше. Кондратьеву он не звонил, знал, что ничего из этой просьбы не выйдет.

«Что ж я теперь скажу этому Артамашову? — думал Савва, когда тачанка завернула во двор правления колхоза имени Буденного.— Он такой настырный, чертяка, что и в самом деле подседлает коня и явится — будьте здоровы!..»

В передней довольно просторной комнате правления окна и двери были раскрыты настежь, и народу

сюда собралось в самом деле немало; одни курили, подойдя к окнам, другие, сойдясь в круг, о чем-то негромко разговаривали, а многие сидели возле длинного стола и читали газеты. В соседней комнате находилась бухгалтерия, там кто-то старательно выстукивал на счетах. Дверь в кабинет была закрыта. Поздоровавшись, Савва увидел здесь и бригадиров, и заведующих фермами, и огородников, и это его несколько удивило.

— У вас что тут: собрание или какой пленум? — спросил Савва, подойдя к Ивану Атаманову, высокому и плечистому мужчине.

— Видишь ли, какое дело,— уклончиво заговорил Атаманов, покосившись на дверь,— мы поджидаем Стефана Петровича. Завтра он уезжает на актив, так из-за этого созвал нас, чтобы дать кое-какие задания на завтра.

— А где же сам Рагулин?

— Тут,— Атаманов кивнул на дверь кабинета.— С Прохором сидит.

— Чего ж они там закрылись?

— Совещаются.— Атаманов усмехнулся, а потом наклонился к Савве и на ухо негромко проговорил: — Или, вернее сказать, Рагулин накачивает нашего электрика... То шумели, а это уж приутихли.

Савва не стал расспрашивать, что означают слова «накачивает нашего электрика», распахнул дверь и вошел в кабинет. Прохор сидел за столом, и перед ним лежал чистый лист бумаги, а Рагулин стоял возле него, зло нахмурив брови.

— Ага! Вот и Савва Нестерович в самый раз! — сказал Рагулин.— Значит, сам прикатил? А я не мог поехать к тебе... вот через этого электрика,— он указал на грустно молчавшего Прохора.— Весь вечер я ему говорю, чтобы выступил с речью на активе, как есть он у нас глава по электричеству, а только в понятие ему вбить невозможно. Помоги, Савва...

— Да тут не в моем понятии дело,— сказал Прохор, отодвигая лист бумаги и вставая.— Какой же из меня оратор, ежели я свою мысль увязать не могу... Я, конечно, если, сказать, по электрической части, то все умею, но только практически...

— А вы, Стефан Петрович, подготовились? — сухо спросил Савва.

— Да обо мне зараз речи нету,— щуря заслезившиеся глаза, отвечал Рагулин.— Пойми, Савва, без моего доклада можно обойтись, а активу важно послушать именно Прохора, как главного по электричеству. В колхозе имени Буденного работает первая в районе электромолотилка, а кто ею управляет? Прохор. Кто пример показывает всему району? Прохор! Ну, допустим, выступлю я, буду, как и прошлые годы, говорить о хлебовывозе,— да таких речей там будет в избытке. А вот ежели перед активом выступит Прохор, машинист первой электромолотилки, да расскажет, как у него все действует на практике,— вот тут усть-невинцы и зададут тон всему району... Пусть и марьяновцы послушают... И тут же, мимоходом, Прохор скажет и о том, как лучше наладить учебу по технике...— Рагулин с улыбкой и как-то уж очень тепло посмотрел на сердитое, поросшее щетиной лицо Прохора: — Только тебе, Прохор Афанасьевич, надо к такому важному случаю малость подчипуриться, бороду подровнять, усы подбрить...

— Савва, не могу я теритически,— сказал Прохор, отворачиваясь от Рагулина,— бороду подчистить можно, штука не трудная, а вот речь сказать... Пусть бы лучше весь этот актив приехал бы к молотилке, я бы им все рассказал практически, а теритически...

— Тут, как я понимаю,— перебил Прохора Рагулин,— никакой теории не требуется. Поведаешь людям всю правду, а в конце пристыдишь тех, кто еще не устроил такую молотилку, да скажешь, что мы планируем электросушилку, пусть за нами поспешают... Да ты не дуйся, а садись и пиши, я сам помогу тебе нужные тезисы составить...

— Прохор Афанасьевич,— сказал Савва,— мысль Рагулин подсказывает верную: речь о молотилке на таком активе будет очень кстати...

— Вот видишь, Прохор,— обрадованно заговорил Рагулин,— а ты противишься...

— Но и ваше, Стефан Петрович, выступление надо готовить,— продолжал Савва.— Герой Труда — и бу-

дет молчать — это же позор для всей Усть-Невинской! Вы же знаете, что марьяновцы приедут, и нам надо показать себя... А как же! Следует сразу тон задать!

Вся эта фраза, видимо, явилась самым веским доводом, и Рагулин, искоса взглянув на свою Золотую Звезду, одернул рубашку и сказал:

— Хорошо, раз так — станицу позорить не стану, а только Прохору ты дай при мне особое задание, чтобы речь у него получилась... Ведь это же какая речь!.. Ну, вы тут побеседуйте, а я поговорю с бригадирами о завтрашнем дне...

Рагулин вышел.

Савва пробыл в кабинете вдвоем с Прохором более часа, а когда сел в тачанку и сказал Дорофею, чтобы ехал к Тимофею Тутаринову, облегченно вздохнул и подумал:

«Прохор молодец, меня он сразу понял... И это же очень хорошо, что на активе выступит главный колхозный электрик... Как это я раньше сам об этом не побеспокоился...»

XXII

Пожалуй, во всем районе никого так не волновало предстоящее собрание актива, как Тимофея Ильича Тутаринова, и не без причины. Дело в том, что за многолетнюю свою жизнь старик впервые должен был принять участие в таком собрании. Третьего дня к нему в дом приехал Кондратьев, поговорил о всяких делах, о том, что ожидается приезд марьяновцев, и тут же пригласил приехать на собрание актива.

— Активист я староватый,— улыбаясь и комкая усы, сказал Тимофей Ильич.

— Старость — не помеха,— ответил Кондратьев.— Знаете такую поговорку: старый конь борозды не испортит.

— Да оно-то так.

Кондратьев уехал, а старик все дни был сосредоточенно-молчалив, с утра уходил в правление, а по вечерам садился к столу и что-то записывал в тетрадку.

— Или ты, Тимоша, доклад будешь говорить? — слабым голосом спрашивала Ниловна, все еще не оправившаяся от болезни; она лежала в кровати и ласково смотрела на мужа.

— Доклад, конешно, и без меня скажут,— отвечал Тимофей Ильич,— а все же таки кое-чего молодежи надо подсказать. Ты ж слыхала, Сережка закупил в Москве еще одну турбину. Скоро она будет поставлена на свое место... Значит, света прибавится, а вот тут и нужно пример брать с Рагулина, а кто об этом скажет? А еще с марьяновцами у нас завязывается важное дело — в работе поспорим... Кондратьев же записал меня в актив и просил сказать слово...

— И охота тебе вмешиваться в такие дела! — сказала Ниловна.— Пусть бы говорили сами молодые или зять наш Семен, как он глава по электричеству... Или сын Грачихи — ученый же.

— Молодые, ученые! — гневно заговорил Тимофей Ильич.— А ежели они ничего в жизни не смыслят, так и нам молчать? Я и сына своего, и зятя, да и Грачева смогу поругать — и за дело. Осенью мы начнем деревья сажать, тоже заранее подумать надо...

В последний день старику не сиделось ни дома, ни в правлении, и он пошел на площадь и встретил там Савву Остроухова. Говорили об отъезде в Рощенскую, и Савва пригласил Тимофея Ильича поехать вместе с ним на стансоветской тачанке. Старик отказался, сказав, что ему, как председателю ревизионной комиссии, лучше всего ехать с Никитой Мальцевым.

— Ну, хорошо, поезжайте и с Никитой,— согласился Савва,— только скажите ему, что выезжать будем на зорьке.

Желая условиться с Никитой о часе выезда, Тимофей Ильич перед вечером еще раз побывал в правлении. Никита Мальцев, с расстегнутым воротом, со сбитой на затылок кубанкой, быстрыми шагами прошел в кабинет. В раскрытую дверь входили и выходили — то бухгалтер с набухшими папками подмышкой, то секретарь правления. Лица у всех были озабоченные. По столу, на подоконнике и на лавке лежали какие-то бумаги, бухгалтерские книги, вырезки из газет. «Тоже,

видно, к докладу готовится»,— подумал Тимофей Ильич.

Когда он вошел в кабинет и присел на кончик длинного деревянного дивана, Никита Мальцев разговаривал с бухгалтером,— они стояли у стола один против другого.

— Карп Григорьевич,— говорил Никита,— когда я вас научу давать сводку не суммарно, а конкретно по каждой бригаде?

— По бригадам пусть сами бригадиры скажут.

— А бухгалтерия для чего существует?

— Никита Сергеевич, бухгалтерия урожаем не ведает.

— Карп Григорьевич, как же вам не совестно! — Никита помял чуб, поправил кубанку: теперь она чудом держалась у него на затылке.— Да урожаем нынче все ведают... Где у вас данные по четвертой бригаде?

— Данные, Никита Сергеевич, есть,— краснея, отвечал бухгалтер,— но опять же...

— Что опять? А где записи по лесным звеньям?

— Опять же, говорю, сведения суммарные...

Тимофей Ильич склонил голову и слушал. «Заленился, сучий сын, вот теперь и суммарничает,— думал он.— Да разве с этим словом можно ехать на актив! Осмеют... Бумагами обложились,— по всему видно, запоздаем».

— Никита,— сказал он, не поднимая головы,— Савва Нестерович наказывал выезжать на зорьке... И я того мнения. Холодочком и лошадям не утомительно.

— Верно, Тимофей Ильич, холодочком ехать хорошо,— согласился Никита, просматривая сводку.— Только беда — к зорьке я не управлюсь.— И он обратился к бухгалтеру: — Такие сведения не годятся. Срочно посылайте верхового за бригадирами — пусть являются с полными данными об урожае... Поймите, Карп Григорьевич, без этих данных я не могу выехать в Рощенскую! А где агроном? Где планы и чертежи лесных полос?

Бухгалтер не сказал ни слова и вышел.

— Никита,— заговорил Тимофей Ильич,— дело в районе будем решать такое важное, что опаздывать

нам никак нельзя... Непременно надо выехать на зорьке.

— Знаю, что дело важное,— озабоченно хмуря брови, отвечал Никита.— Постараюсь, Тимофей Ильич, к утру управиться.— Он развел руками и тяжело вздохнул: — Видите, сколько бумаг, а сведений нужных нету.

— Никита, Никита,— с укоризной сказал Тимофей Ильич.— Ты еще совсем молодой, вот и приучи себя смолоду, чтобы все у тебя было под рукой и безо всякой бумаги... Не тогда корми собак, когда на охоту собираешься. Каждодневно сам во все вникай, в голове запоминай, тогда и без бухгалтерии все данные у тебя будут налицо. Вот и нету карты, по которой поведем посадку... А где она? Почему не лежит она у тебя на столе?

Тимофей Ильич хотел было еще что-то сказать, но к Никите подошли два бригадира, секретарь партбюро Иван Еременко, снова появился Карп Григорьевич. Старик тяжело поднялся, махнул рукой и вышел.

Затем он побывал у соседей, курил и подолгу разговаривал о том о сем с такими же стариками, как и сам, и в каждой хате, как бы случайно, к слову, говорил:

— А слыхали новость? Побывал у меня Кондратьев и попросил приехать в район на собрание, важные дела решать. Даже в актив записал. Я говорю, что стар уже, не гожусь активничать, а он настаивает: «Без тебя, Тимофей Ильич, обойтись не можем,— борозду можем испортить...» Да, я понимаю, трудновато Кондратьеву. Сын мой только что вернулся из Москвы, в Верховном Совете заседал, а Кондратьев был один. А тут, как ни говори, уборка, новые машины закупили, дояркам пришло облегчение... Я с Никитой выезжаю на зорьке...

Старики одобрительно принимали такое важное сообщение и посматривали на своего одногодку с явным поощрением.

Домой Тимофей Ильич вернулся поздно вечером. Электричество светило и возле порога и в обеих комнатах. Ниловна сидела на кровати, свесив ноги в шерстяных чулках. Анфиса склонилась над детской зыбкой и кормила грудью маленькую Василису.

— Тимофей, и где ты все ходишь и ходишь? — спросила Ниловна.— Семен давно вернулся, пора бы и вечерять, а ты все разгуливаешь.

— Не разгуливаю, а с делами управляюсь,— с достоинством ответил Тимофей Ильич.— Разве без меня будет порядок? Кондратьев велел прибыть пораньше, чтоб успеть обо всем посоветоваться... У Саввы был, с этим мы договорились. К Никите зашел. Без меня он бы и к обеду не выехал, а я его поторопил... Молодой, ничего не смыслит.

Это было сказано таким тоном, что Ниловна уже не могла возразить. Она тяжело подобрала ноги, легла и укрылась одеялом, а Тимофей Ильич подошел к зыбке, тронул толстым, заскорузлым пальцем пухлую и мягкую щечку внучки, заметил на губах капельку молока и усмехнулся. Васюта смотрела на закопченные усы деда испуганно, и ее крохотные глазенки блестели от яркого света подвешенной к потолку электрической лампы.

— Глазенятами водит. Знать, что-то уже себе в уме маракует,— ласково сказал Тимофей Ильич и, искоса взглянув на жену, тихонько сказал Анфисе:— Дочка, давай я понянчу Васюту, а ты утюжком подправь мой праздничный бешмет, а заодно рубашку и шаровары... Залежались они, помятые...

— Вот беда, батя: как на грех, утюг испортился,— сказала Анфиса,— что-то у него внутри перегорело. Надо сказать Семену, чтоб исправил.

— И чего тебе, старый, утюжиться! — вмешалась в разговор Ниловна.— Не жениться едешь и не на свадьбу.

— А ты лежи, у тебя сердце слабое, в наши дела не вмешивайся,— сказал Тимофей Ильич и пошел в соседнюю комнату к Семену.

Семен склонился над столом и что-то писал. Тимофей Ильич подошел к нему неслышно, постоял, посмотрел через плечо.

— Речь подготовляешь? — спросил Тимофей Ильич.

— Да, батя, кое-что хочу напамять записать.

— Едешь с Никитой?

— Нет, Савва обещал взять с собой.

— И правильно, поезжай с Саввой.— Старик подсел к столу, взял тетрадку, посмотрел на исписанный лист.— Ну, Семен, какие тут у тебя итоги по электричеству? Чем похвалишься активу?

— Покамест итоги не очень радостные,— отвечал Семен, взяв из рук старика тетрадь.— И похвалиться особенно нечем.

— Какая ж тому причина?

— Все та же,— неохотно ответил Семен.— Надо увеличивать потребление энергии.

— Говоришь, увеличивать? А Сергей еще одну турбину привез.

— И не только турбину,— поправил Семен.— Усть-Невинской МТС занаряжено пять электротракторов, а для района — восемь комплектов автопоилок и автодоилок, двадцать восемь штук электроножниц для стрижки овец. Так что вторая турбина очень нам нужна, и мы ее установим быстро. Водонапорная труба готова, фундамент тоже заложен. Ко мне на гэс уже не раз приезжал Виктор Грачев, все осмотрел. Тут у нас остановки не будет. А вот с подводкой электричества задержка. Необходимо вести линии в горы, на пастбища, в степь, на молочные фермы.— Семен закрыл тетрадь и задумчиво посмотрел на тестя.— Вот я и хочу выступить на районном собрании актива с конкретным предложением: техническая учеба — дело нужное, но необходимо уже сейчас, наряду с лесопосадками, начать строительство электролиний.

— Так, так. Значит, и пахать, и доить, и поить, и стричь, а вдобавок лес сажать,— дела много... А как все это поднять?

— Если пожелаем, то подымем.

— Трудновато, но я тоже так думаю: ежели актив порешит — можно.— Тимофей Ильич скомкал в кулаке усы и задумался.— Семен, вторую турбину ставишь, а домашнее электричество починить сможешь?

— Это вы о чем?

— Чего-сь наш утюжок не действует.

— А зачем он вам? — удивился Семен.

— Да не мне, а Анфисе требуется,—сказал Тимофей Ильич, не глядя на зятя.—Женщины без этого не могут...

— Ну, если Анфисе нужно, то я сейчас займусь утюжком.

Пока Семен занимался починкой утюга, Тимофей Ильич вынул из-под кровати свои, еще совсем новые, но серые от пыли сапоги и вышел в сенцы. Там он взял с полочки махотку с дегтем и с квачом величиной с кулак, и сапоги от носков до верха голенищ в один миг заблестели черным глянцем. В комнату он вошел осторожно, боком, хотел поставить сапоги снова под кровать так осторожно, чтобы этого никто не заметил, но разве от жены можно что-либо скрыть?

— Боже мой, Тимофей! — сказала Ниловна.— Для чего ты их так намазал? Или собираешься в такую жару ехать в чоботах?

— Ежели тебя пригласят, то поезжай хоть босиком,— с усмешкой ответил Тимофей Ильич и, не желая больше разговаривать с женой, подошел к Семену.— Ну, как машина? Действует?

— Папаша, все в порядке,— ответил Семен, передавая утюг Анфисе.— Поломка пустяшная: не было контакта.

— Это — как у меня с Ниловной: нету в жизни контакта,— усмехаясь и поглаживая усы, добродушно проговорил Тимофей Ильич.— Вот и зараз — больная, а все мои действия ей не по душе.

— А чего ж ты, как молодой, принаряжаешься? Никогда ж с тобой этого не было.

— А теперь есть,— Тимофей Ильич обратился к Семену: — Пойдем, Семен, в ту половину, поговорим, посоветуемся перед отъездом.— В дверях, нарочно пропустив Семена вперед, старик ласково посмотрел на Анфису.— Дочка, достань из сундука бешмет и все прочее и тоже малость утюжком подровняй.

Вскоре загремела у двери тачанка, в открытые окна послышался хриповатый бас Дорофея:

— Прр, окаянные, так и скачете, как птицы!

После этого знакомого возгласа в хату вошел Савва, приветливо поклонился Ниловне и подошел к Анфисе, которая как раз разглаживала на столе отцовский бешмет.

— Хочу знать,— сказал Савва,— кого это вы так наглаживаете? А? Догадываюсь и одобряю! Вот это по-моему! Усть-невинцы во всем должны отличаться! А где ж делегаты?

— Там сидят,— сказала Ниловна, указав слабой рукой на дверь,— все совещаются...

— И это одобряю! Могу им в этом деле составить компанию.

И Савва решительно пошел в соседнюю комнату.

XXIII

После войны, оставшись без мужа и без детей, Варвара Сергеевна Аршинцева никак не могла привыкнуть к одинокой жизни. По вечерам бывало придет домой и не может найти себе места. Тишина в комнатах пугала, на сердце было тяжко и тоскливо, к глазам подступали слезы, а ночью мучила бессонница. Из дому Варвара Сергеевна выходила обычно рано. Ее тянуло к людям, и поэтому она каждый год на все лето выезжала в поле. Там, работая в бригаде, она находила утешение и в разговоре с колхозницами, и в постоянных хлопотах и заботах о бригаде, и вдовье горе стало постепенно забываться. Ни своей коровы, ни кур, ни даже поросенка она не имела.

— А на что мне эта живность, когда все это есть в колхозе,— говорила она соседкам. Огород при доме и небольшой сад она доверяла сестре своего мужа. Поэтому ей ничто не мешало рано по весне, когда из станицы выезжают первые плуги, закрыть в доме ставни, повесить на дверь старенький, заржавевший замок и переселиться в степь.

— Ну, прощайте, соседушки,— с веселым смехом говорила она, выходя с узлом со двора,— до поздней осени уезжаю на дачу...

Всю весну, лето и часть осени домом ей был бригадный стан; она так привыкла и спать на сене, и видеть вечерние зори, и встречать росистые рассветы, и нагибаться с сапочкой под палящим солнцем, что не хотела выезжать в станицу даже на один день. Она ни

за что бы не поехала в Родниковскую и сегодня, если бы не такой важный случай: Татьяна Нецветова предупредила ее, чтобы уже вечером она была в станице, так как делегация от «Красного кавалериста» выезжает на собрание актива рано утром.

Автомашина, ехавшая на нефтебазу, всю дорогу гремела пустыми бочками, сильно пылила и к закату солнца доставила Варвару Сергеевну прямо к дому. Старенькая калитка, очевидно, соскучившись по хозяйке, отворилась с плачущим скрипом, точно говоря: «Ой, Варюша, как же ты долго не приходила!» Двор порос травой и казался узким и тесным; дорожка от ворот к сенцам тоже сузилась и была чуть заметна. Под камнем, тут же, возле дверей, лежал ключ, заржавевший и серый, как зола. Варвара Сергеевна осторожно сняла замок, но в хату не вошла. Открыла ставни,— на подоконник посыпалась пыль, а стекла были темные, с пушком дымчатой паутины в уголках... Дверь тоже заскрипела жалобно, и Варваре Сергеевне послышалось, будто чей-то голос из сенец сказал: «Входи, входи, хозяюшка, тут никого нету...»

Варвара Сергеевна нарочно громко кашлянула, смело переступила порог и включила свет — сначала в одной комнате, а затем в другой. Она взглянула на вещи, оставленные ею еще весной, и увидела, что все они точно осиротели без нее: зеркало, висевшее на стене, потускнело и смотрело на нее неприветливо; кровать, застланная стеганым одеялом, казалась низенькой, а подушки не такими напушенными, какими они были раньше; клеенка на кухонном столе так высохла, что местами покоробилась и поднялась бугорками; фотографии на стенке, патефон, стоящий на комоде, покрытом скатерочкой, были в пыли; словом, на что ни взгляни — все просило рук хозяйки.

А хозяйке было не до вещей: тишина в комнатах, как и прежде, навевала грусть, тяжелой тучей наваливалась тоска, и Варвара Сергеевна, не зная, что ей делать в доме, села на кровать и задумалась. Вспомнился муж. Вот здесь, в этой комнате, она прощалась с ним, провожала на фронт; она тогда и плакала и слезно просила разыскать на войне сына Алешу; то ви-

дела себя и мужа в молодости, когда у них родился второй ребенок — дочка Вера. Бывало, вернувшись с поля, муж садился на кровать, сажал рядом с собой Алешу, а Варвара Сергеевна брала на руки Верочку и подносила ее к отцу, и хотя тогда в комнате еще не было такого яркого света, а на сердце у нее было светло и тепло.

«И что это мне опять такое в голову лезет? — подумала Варвара Сергеевна.— Сидеть же мне некогда, надо готовиться к завтрашнему дню...»

Она облегченно вздохнула и встала так быстро, точно ей нужно было куда-то бежать. Засучила выше локтей рукава и, напевая какую-то песенку без слов, принялась за дело. Взяла в сенцах ведро, принесла колодезной воды, чистой и холодной-холодной. Над тазом умылась, сполоснула водой зеркало, снова повесила его на стенку, вытерла полотенцем и расчесала косу. Одеяло вынесла на двор и долго трясла его, ударяя концами о траву. Перебила перину, напушила подушки, вымыла окна и подоконники, вытерла влажной тряпкой комод, патефон, фотографии,— проворные ее руки к чему ни прикасались, везде для них хватало работы.

Когда Варвара Сергеевна, все так же напевая песенку, подметала сенцы, заскрипела калитка и во двор вошла ее соседка — Настенька Вирцева, та самая Настенька, которая вот уже три года работала с мужем на сцепе двух комбайнов, а в этом году ей дали комбайн самоходный... Это была женщина молодая и статная, светлолицая, с темнорусыми подрезанными волосами. Голову она всегда держала гордо, взгляд ее темных глаз был строгий, особенно в ту минуту, когда она смотрела на мужчин, но характер у нее был веселый и язык острый. Одеваться она любила, денег на наряды не жалела и в станице считалась первой модницей. Поэтому Варвара Сергеевна ничуть не удивилась, увидев на Настеньке светлые сандалеты и голубое, сшитое клешом платье из набивного крепдешина, а на голове туго повязанную косынку вишневого цвета с ярким рисунком. Под косынкой выделялись продол-

говатые, толщиной в палец бугорки. «Уже накрутила кучери»,— подумала Варвара Сергеевна.

— Здравствуй, Варюша! — Настенька шла и смеялась, показывая ровные, красивые, белые зубы.— А! Явилась, степнячка! А я иду мимо, смотрю и дивлюсь: что это в твоем затворническом тереме окна светятся? А потом вспомнила: мы же завтра вместе едем на актив. Дай, думаю, зайду, повидаюсь с соседкой...

— А нарядилась! — ласково сказала Варвара Сергеевна, провожая гостью в комнату.— Случаем, не на комбайне была в таком платье?

— Что ты, Варюша! Туда я хожу в шароварах, чтобы от мужчин ни в чем не отставать.— Настенька повела бровью и, казалось — без причины рассмеялась.— А ходила я в правление, хотела узнать у Хворостянкина, когда выезжать в Рощенскую.

— Узнала?

— Куда там! К Хворостянкину нельзя и подступиться... Сидит такой злой, такой нелюдимый..

— А чего ж он бунтует? — осведомилась Варвара Сергеевна.

— На баб обозлился.

— Решительно на всех? — спросила Варвара Сергеевна и тоже рассмеялась.

— Да нет, только на тебя, на меня и на Татьяну.— Настенька взглянула в зеркало быстро, но так умело, что сразу увидела — и в каком месте натянуть уголки косынки, чтобы не выглядывали бумажные завитушки, и с какой стороны на груди оправить платье.— Да как же тут не обозлиться? Из восьми делегатов, едущих на собрание актива, женщин пять, а мужчин трое: сам Хворостянкин, Андрей Васильевич Кнышев и заведующий МТФ... Вот через это и ругается с Татьяной. Он хочет взять с собой Бородулина, этого кота в очках, и еще завхоза Новодережкина, а Татьяна стоит на своем — за тебя и за меня. Вот они и воюют, и чем все это кончится, не знаю. При мне звонил Хворостянкин Кондратьеву, а его в райкоме не оказалось.

— Верно, с нами ему ехать неприлично,— сказала Варвара Сергеевна.— Привык с Бородулиным раска-

тываться по активам. А теперь пусть с нами едет,— может быть, не будет так высоко голову задирать.

— Да его не это беспокоит, сильно он тебя боится — вот в чем его печаль.

— А разве я такая страшная?

— Говорить же на собрании будешь?

— Ежели дадут слово, скажу... Молчать не стану, не привыкла.

— Ну, а твои слова ему страшнее черта.— Настенька опять покрутилась у зеркала.— Обо мне он и не вспомнил, а о тебе говорил Татьяне: «Знаю, знаю, зачем берешь Аршинцеву: выступит эта крикунша и будет подрывать мой авторитет в районном масштабе...» Вот что его тревожит.

— Горе, а не Хворостянкин,— проговорила Варвара Сергеевна, грустно глядя в окна на тихую, уже завечеревшую улицу.— И чего он завсегда так хватается за тот свой авторитет?

— Шут с ним и с его авторитетом,— сказала Настенька, трогая пальцами бугорки на голове.— Лучше скажи, Варюша: в каком ты платье поедешь на актив?

— А в обычном,— неохотно ответила Варвара Сергеевна, продолжая смотреть в окно.

— Непременно надевай самое лучшее,— советовала Настенька.— Там знаешь сколько народу съедется?.. Марьяновцы тоже приедут... И еще, Варюша, я советую сделать прическу. Правда, у тебя косы, это труднее, но их тоже можно уложить очень красиво. Хочешь, научу? Помой голову горячей водой, заплети косы в тот момент, когда они еще влажные, и уложи их на ночь, знаешь, таким пышным гнездом, а чтобы они улеглись, покрепче завяжи косынкой и до утра не трогай. А утром расплети, и волосы будут очень пышные.

— Ты дурная! — не утерпела Варвара Сергеевна.— И чего это я на старости лет стану глупостями заниматься?

— Да это же не глупости, а для того, чтобы люди видели.

— А что мне люди? Если хотят, пусть видят меня такой, какая я есть... без завивок...

— Ну что ж,— Настенька тяжело вздохнула,— дело твое, но я так выезжать не могу. Смотри, что у меня под косынкой? Я себе и брови малость подровняю, и прическу сделаю такую, что залюбуешься. Хотите посмотреть комбайнершу Анастасию Вирцеву? Вот она! А как же! Нужно нам не только на работе себя показывать, а и в красе.— Она обняла Аршинцеву за плечи и, не в силах сдержать улыбку, негромко сказала: — А еще есть и другая причина, я тебе скажу по секрету: в этом году я работала на самоходном комбайне, и точно такой же комбайн получил усть-невинский комбайнер Андрей Стародубцев, и этот самый Андрей,— это тоже секрет,— когда-то ухаживал за мной... Я уже узнала, что он тоже будет на активе, и, конечно, должна я подойти к нему не абы как, а во всем блеске, чтоб у него даже сердце екнуло...

— Ну, это ты сумеешь,— с улыбкой ответила Варвара Сергеевна.— А мне подходить не к кому, так что твои советы ни к чему.

Стемнело, когда Настенька, вволю наговорившись, ушла домой, а Варвара Сергеевна побыла немного в хате и пошла в правление, чтобы повидаться с Татьяной.

XXIV

На втором этаже, где находился кабинет Хворостянкина и куда поднялась по освещенной лестнице Варвара Сергеевна, толпились колхозники, слышались глухие шаги, мужские голоса. Антон Антонович Бородулин отодвинул бумаги, написанные его ровным и красивым почерком, встретил Аршинцеву притворно ласковой улыбкой; даже встал, поднял на лоб очки и, с трудом открывая маленькие, подслеповатые глаза, сказал:

— Милейшая Варвара Сергеевна, туда нельзя,— он кивнул на дверь кабинета.— У Игната Савельевича люди.

— Мне нужна Татьяна Николаевна.

— По партийным делам или по агротехнике? —

все так же щуря глаза и притворно улыбаясь, спросил Бородулин.

— А тебе зачем знать?

— Так, из любопытства,— Бородулин принялся писать, прошивая на чистом листе ровную строчку.— Касательно Татьяны Николаевны могу дать точную справку: истинно, она была здесь, но ушла, насколько мне помнится, в гараж, чтобы предупредить шофера... Если тебя интересует завтрашний день, могу даже дать исчерпывающий ответ: поедете на грузовике, сбор на общем дворе в пять ноль ноль и ни минутой позже.

В гараже под грузовиком, животом вверх, лежал шофер. На его широкую грудь свисала электролампа, освещая замасленную жилистую шею, выступавшую из замасленного воротника, и мясистый подбородок, густо поросший щетиной. Нажимая обеими руками на гаечный ключ, он багровел и покрякивал.

— Вот из-за Татьяны и чертуюсь ночью под машиной,— сердито сказал шофер, вытирая рукавом пот на лбу.— Хотел завтра стать на ремонт, а тут, на тебе — новое распоряжение: надо везти актив... Хотел ругаться с Татьяной, но не смог, и вот буду тут лежать до утра... Ты тоже в активе?

Варвара Сергеевна не ответила и вышла со двора. Ночь была тихая и прохладная. Со степи веяло ветерком. Ей не хотелось итти в свою хату, боялась, что всю ночь не уснет одна.

«Пойду я к Оленьке. Поговорю с ней, подожду Татьяну, а там у них и заночую...»

Оленька, или Ольга Самойловна, мать Татьяны, и Варвара Сергеевна были ровесницы. Подружились они давно, еще в девичестве. Вместе ходили на вечеринки, вместе танцевали и пели песни, вместе влюблялись и были неразлучными подружками. Правда, Ольга Самойловна вышла замуж намного раньше своей подруги, но и это обстоятельство, хотя немного их и разлучило, не смогло нарушить дружбу. Зато они много лет работали в одной бригаде, были попрежнему неразлучны, делились своими женскими тайнами. И вот только после войны, оставшись вдовами, они стали видеться редко — одна из них постоянно находилась в

степи, а другая на молочной ферме, но привязанность друг к другу и теперь не только не охладела, а сделалась еще сильнее...

И когда Варвара Сергеевна, не постучав, открыла дверь и переступила порог, Ольга Самойловна, как собралась укрыть внука, так и осталась стоять у его кроватки с простыней в руках. С минуту они смотрели одна на другую веселыми глазами, а потом обнялись, поцеловались, и тут вспомнили свою молодость, погибших мужей — и обе заплакали. Смущенно вытерев слезы и не зная, что бы такое радостное сказать, они улыбались, и смотрели ласково, и снова обнимались...

— Ой, Варюша, подружка ты моя родная! — говорила Ольга Самойловна, не в силах сдержать слезы.— И где ты там в той степи пропадаешь, и почему мы с тобой не вместе, как бывало... Я так соскучилась, так о тебе много думала, что не знаю, где тебя и посадить и чем тебя угощать... Садись вот на диван, а я чайку поставлю...

— Да зачем же, Оленька, чай! Нам и без чаю будет хорошо вдвоем.

— Нет, уж я тебя угощу — и не только чайком,— отвечала Ольга Самойловна, усаживая подругу.— А я только внука уложила, по хозяйству управилась... Мишутка, ты к нашим разговорам не прислушивайся, а закрывай глазки и спи.— И она укрыла мальчика простыней и снова присела возле Варвары Сергеевны.

Такой дружески-ласковый разговор продолжался долго, и только когда на столе появились вишни, сливочное масло, абрикосы, чайник, пчелиный мед, подруги сели ужинать и уже беседовали спокойно: и о том, что вот скоро придет осень и начнутся лесопосадки; и о том, какая корова прибавила удой молока, а какая убавила; и о том, кто поедет на собрание актива.

— Варюша,— сказала Ольга Самойловна,— ты вот едешь на актив, добейся, чтобы нашей ферме дали электрическую дойку.

— Да как же я добьюсь?

— Поговори с Кондратьевым и с Тутариновым. Я слышала, что Сергей Тимофеевич будто и нам планирует те машины, а если б ты еще и поговорила...

— Хорошо, Оленька, я поговорю.

Затем разговор перешел к трудодням, коснулся бухгалтерии, самого правления, и обе женщины сошлись на том, что Антон Антонович Бородулин, как секретарь правления, старается угодить только Хворостянкину, а то, что и в бригадах, и на фермах с учетом трудодней непорядки, его мало беспокоит.

— Я того очкастого Антона Антоновича не ругаю,— сказала Варвара Сергеевна,— потому как всему виной Хворостянкин. Рыба завсегда начинает портиться с головы, вот так и у нас. Ежели б он во все сам вникал, о людях заботился да не гордился... Не пойму, Оленька, как этого не видят в районе.

— Должно быть, все видят,— ответила Ольга Самойловна, наливая подруге чаю.

— Так почему ж он у нас держится? Надо нам тащить его на общее собрание, спросить отчет да и переизбрать.— Лицо Варвары Сергеевны сделалось суровым, она выпила глоток чаю и продолжала: — то был у нас секретарем партбюро Иван Иванович — его дружок и защитник. А теперь на том месте твоя дочка, и, веришь, Оленька, не одобряю я ее действия.

— Почему?

— А чего ж она с ним нянькается? Собралась переделывать его в лучшую сторону... Да разве его переделаешь!

— Эх, Варюша, дочке моей, как я понимаю, нелегко,— заговорила Ольга Самойловна, подперев рукой щеку.— Сама вижу — трудно бедняжке. День и ночь все по колхозу кружится, мальчонку на бегу видит. Приходит домой поздно, уморенная, сердитая, а спать сразу не ложится. Садится за стол и пишет,— а ты думаешь, о чем? Все о Хворостянкине. Две тетради исписала... Я как-то заглянула в ту тетрадку, а там весь его характер списан.

— Это к чему ж такая запись? — удивилась Варвара Сергеевна.— Или об этом верзиле книгу думает

сочинять, а может, то все к тому, чтобы характер переменить?

— Про то я, Варюша, ничего не знаю, в ее дела не вмешиваюсь, а только один раз я слышала ее разговор с Кондратьевым. Как-то поздно ночью заехал он к нам, в пылище весь, грязный, тоже уморенный, но собой такой веселый, разговорчивый. Умылся, покушал, а после этого они почти до утра все о чем-то беседовали. Я краем уха слышала, а только многое не разобрала,— что-то у них там свое,— а главное поняла: Кондратьев все научает Танюшу, как ей сделать так, чтобы повернуть Хворостянкина в нужную сторону. «Был же он, говорит, хорошим председателем, а ежели изделался плохим, то мы в том повинны...» Так прямо, без всякого стеснения, и сказал...

— А Танюша что ж ему?

— Она что ж? Согласилась.— Ольга Самойловна тяжело вздохнула.— Эх, не знаю, что из этого у нее получится... Молодая...

За чаем и в такой задушевной беседе время обычно идет быстро. Давно пропели полуночные петухи, а Татьяна не возвращалась. Так и не дождавшись ее, подруги легли спать на одной кровати — Ольга Самойловна у стенки, а Варвара Сергеевна с краю. Теперь они вспоминали молодость, разговаривали вполголоса, и от этого на сердце у них было так тепло и покойно, что они не услышали, как уснули.

Варвара Сергеевна спала мало и чутко; когда она открыла глаза, то в комнате горел свет, а над столом, спиной к кровати, склонилась Татьяна,— косынка у нее сползла на плечо, а волосы спадали на лоб.

«Пишет, и опять, наверное, о Хворостянкине,— подумала Варвара Сергеевна.— Значит, задание ей дано такое важное, вот оно как... А молчит, мне ничего не сказывала... А может, и я в чем бы подсобила...»

Она хотела заговорить с Татьяной, но раздумала, и хотя еще долго лежала с закрытыми глазами, но уснуть не могла.

А рано-рано на рассвете вся степь, от Усть-Невинской до Яман-Джалги, наполнилась теми особенными звуками, когда легко догадаться, что уже кто-то куда-

то едет и едет спешно; когда в отдаленном гудении моторов ухо улавливает то дружную песню, то конский топот, то отчетливый стук колес, то всем знакомый в этих местах цокот ступиц, а то и грозный голос кучера, обращенный к непослушным лошадям.

Звуки эти родились на разных дорогах, но по всему было видно, что весь этот разноликий транспорт двигался одним и тем же курсом — на Рощенскую. Смотришь — там пылит полуторка с довольно шумной компанией в кузове,— это от них несется по степи песня; там зеленым жуком пролетит между пшеницей «москвич», выскочит на пригорок и затем надолго скроется в цветущих подсолнухах; там «победа» легко и плавно закачается по взгорью; там, смотришь, покажутся два всадника, красиво рисуясь бурками на фоне розовой утренней зари; там линейка покатится с горы, да так покатится, что паренек-кучер, упираясь ногами в передний козырек, изо всей силы натянет вожжи, как струны; там, выскочив из-за холма, напропалую помчится тачанка в упряжке пары холеных, гнедой масти жеребцов, тех лихих жеребцов, которые застоялись у себя в денниках и теперь рады были резво тряхнуть гривами. И хотя действительно они умели показать прыть, и тачанка от этого неслась, как говорят, «на полных парах», так что спицы уже не рябели в глазах, а сливались в один сплошной круг, но и такой быстроходной тачанке пришлось поневоле уступить дорогу. Сперва, совсем неслышно, возле нее промелькнула «победа», хитро подмигнув красным глазом; затем, подавая частые и сердитые сигналы, выскочил вперед «москвич», а уже потом, окончательно завладев всей дорогой, два грузовика вихрем прогремели мимо, обдав тачанку и ее пассажиров вместе с кучером таким густым облаком пыли, что гнедые жеребцы сразу сделались серыми... Но было обидным не то, что ушли они далеко вперед,— с этим можно было смириться, ибо и на Кубани, где тачанка еще в моде, все уже знают, что даже самые холеные жеребцы не угонятся за машиной; можно было бы простить и то, что пассажирам довелось глотнуть пыли и потом еще долго вытряхивать пиджаки и фуражки,— к этому в летнюю

пору на Кубани тоже давно привыкли. Горькую же обиду, вернее — не обиду, а зависть, в душе кучера вызвали те насмешливо-гордые улыбки, которые он успел заметить на самодовольных лицах шоферов, именно те улыбки, которые говорили: «Эй, управители лошадиного транспорта! Крути хвосты, подбавляй газу,— все одно не догонишь!»

Те водители грузовых машин, которые так стремительно обогнали стансоветскую тачанку и насмешливо посмотрели на кучера, вдобавок ко всему, были еще и большими гордецами, считавшими, что держать в руках не руль, а вожжи и кнут — не достойно мужчины. Но вскоре, как только въехали в Рощенскую, они изменили свое суждение о конном транспорте, ибо на площади, против окон райкома, давно уже стояли тачанки и линейки, а кучера с самодовольным видом распрягали приморившихся лошадей и давали им свежей и сочной травы.

XXV

Кто бывал летним утром в Рощенской и видел восход солнца, когда сады в его ярких лучах кажутся не зелеными, а темнорозовыми, кто наблюдал красивые искорки росы на листьях, сочную зелень парка на площади, сырой холодок, падающий от деревьев через всю улицу, а площадь уже людную и шумную, тот во всем этом светлом и мягком-мягком облике станицы замечал необычайную свежесть и молодость.

День только-только разгорался, а у здания райкома уже расположились обширным лагерем и машины, и бедарка на двух колесах, и привязанные к коновязи лошади, укрытые бурками, и тачанки, в задках которых распряженные кони наслаждались сочной травой. По всему было видно, что сюда съехался актив — люди, известные не только у себя в станицах, но и в районном центре, где им частенько приходилось встречаться и на бюро, и на исполкоме, и на сессии. Это были соседи и старые друзья по работе, и поэтому у них не было недостатка ни в рукопожатиях, ни в разговорах, ни в расспросах, ни в громком и веселом

смехе, ни в том, чтобы закурить из одного кисета и постоять компанией у пивного ларька.

Площадь шумела людскими голосами, и в этом нестройном говоре можно было уловить лишь обрывки фраз.

— Здорово, Прохор Афанасьевич! Как действует электричество?

— Приезжай да посмотри.

— Ты ж с докладом прибыл или как?

— А! Семен! Дорогой ты наш директор!

— Вот кто нам поведает правду!

— Привет «Кочубеевке»! Что такая гордая? План не выполнила, а нос дерешь.

— Стефан Петрович, привет тебе от Гордея Афанасьевича! Заболел, бедняга, и вот не смог приехать. Уже и речь приготовил, а высказать не смог. Все о финансах печалится.

— Так, значит, ты решил в пять дней поставить всю линию? А где возьмешь столбы?

— А у меня запасец.

— Почему ты удивляешься моему успеху? Я же процентов восемьдесят пустил в комбайны — никакой тебе тревоги.

— А с хлебом первым рассчитался Рагулин?

— Разве его обгонишь! Но мы тоже вчера завершили.

— Тимофей Ильич, знать, сынок дюже важную новость привез из Москвы?

— На сессию ездил, а в свободное время всякими делами занимался. Для района закупил таких машин...

— Так, так. Знать, закупил... Молодец!

— Стегачев несет газеты.

— Илья Васильевич, неси и нам свежую новость.

— Здорово, редактор! Что нового в печати?

— Сидор Акимович, а как твоя «ворошиловка», та, что сеял в низине? Не вымокла?

— Ого! Та «ворошиловка» стояла как лес.

— Сколько дала центнеров?

— Двадцать восемь с гаком.

— Вот это да!

— Эх, мне бы никаких прений не нужно, если бы только получить грузовые машины... Тогда бы я с электролинией выскочил. А иначе транспорт живьем зарежет.

— А как же с электротракторами? Придется делить?

— Без дележки все уладим. Я уже говорил с Кондратьевым...

— А я говорил в крайсельхозотделе.

— А марьяновцы еще не приехали?

— Скоро прибудут.

— Это не ихняя машина пылит?

— Нет, это беломечетенцы.

— Танюша, милая, да у тебя все делегатки! С мужчинами не живешь в ладу?

— Всякое бывает, но женщины у нас актив надежный. Познакомься: моя помощница Варвара Сергеевна Аршинцева.

— А мы уже знакомы. Помнишь, телушку на базаре вместе выбирали. Теперь она уже корова, славная стала.

А посмотрите, как был встречен Хворостянкин. Знакомая всем тачанка с красочным видом Кубани на задке и с надписью «Красный кавалерист» лихо вкатилась на площадь, и не успел Никита приостановить горячих, в мыле, коней, как Хворостянкин браво, как всегда, соскочил на ходу и, подпушивая усы, сразу очутился в кругу друзей. И тут же, после довольно крепких рукопожатий, начались угощения табаком,— кисеты и пачки «Беломора» были протянуты к рукам Хворостянкина. Однако Игнат Савельевич, чтобы не уронить в чужих глазах свое достоинство, даже не взглянул на кисеты и пачки «Беломора», а усмехнулся в усы, вынул белый целлулоидный портсигар, доверху набитый «Казбеком», и сказал:

— Отведайте моих ароматичных.

— Можно и ароматичных.

— Игнат Савельевич, а как оно работается? Какие планы?

— По привычке,— важно ответил Хворостянкин.— Все тащу на себе...

— А говорят, Нецветова дюже тебе подсобляет. И даже... подстегивает?

— Меня подстегивает? — и Хворостянкин громко рассмеялся.— И такое придумал! Да еще не родился такой человек, чтобы я дозволил ему меня подстегивать. А насчет того, чтобы в чем подсоблять по партийной линии, то другой разговор.

— А все ж таки критикует, не дает спокойно жить?

— А чего ж ей меня критиковать? — Хворостянкин пустил в усы дым и удивленно сдвинул плечами.— Живем мы дружно, в работе имеем контакт, но и не без того, чтобы иной раз друг друга покритиковать... Тут главное, чтобы партийный руководитель глубоко и правильно уяснил линию председателя... Ведь от председателя идут все нити руководства.

«Ишь куда загнул, умник,— подумал Никита Никитич Андриянов, все время стоявший молча.— И такое прет, усач, даже глазом не моргнет...»

— А что же касается моих планов,— продолжал Хворостянкин,— то пойдемте в холодочек, посидим, и я вам нарисую картину в общих чертах... А подробно все изложу в прениях...

Так как обещание «нарисовать картину в общих чертах» на деле означало пространное восхваление своей особы, и, надо полагать, восхваление это будет не интересным, то лучше оставим Хворостянкина с его друзьями и обратимся к Ивану Егоровичу Шацкому, к которому давно подошел Григорий Мостовой. Они успели о чем-то поговорить и теперь не спеша направлялись к пивному ларьку, где продавщица, полногрудая, круглолицая женщина в белом переднике, гремела насосом и не без интереса во взгляде посматривала на идущих к ней таких молодцеватых клиентов. Две кружки в белых шапках пены были поставлены проворной рукой на стойку в тот момент, когда Иван и Григорий подступили к ларьку.

— Не пиво, а одна прелесть,— сообщила продавщица с улыбкой, взглянув на механизаторов счастливыми глазами.— Первые кружечки с только что открытого бочонка. Пейте на здоровье!

— Честное слово, не понимаю,— заговорил Григорий, беря кружку и совершенно не замечая ни доверительно-ласковой улыбки, ни откровенно счастливого блеска в глазах продавщицы.— Ну, почему мы не можем подвести итоги на активе? Это даже лучше: все услышат.

Иван Шацкий молча смотрел на оседавшую пену, не решаясь поднести кружку к губам, и его задумчивое лицо, с отметно черными бровями, с красивыми чертами было строгим.

«Русявенький собой ничего,— думала продавщица, измерив Григория пылким взглядом.— И одет прилично, при галстуке; наверное, учитель или какой командировочный. И совсем молоденький, должно быть еще не женатый... А чернявый еще красивее и очень похож на директора. Вид такой суровый, видать годами постарше... и женатый...»

Заметив у Шацкого на рубашке оторванную пуговицу, продавщица сказала сама себе:

«Ага, вижу примету... Значит, и этот не женатый. А почему бы ему и быть женатым! Мужчина в самом цвету...» После этого она посмотрела на Шацкого обворожительно-ласково, подарила ему улыбку и тотчас зарумянилась. Но друзья допивали пиво и ничего этого не видели.

— У меня опасения вполне реальные,— говорил Шацкий.— Подумай сам: как же мы будем подводить итоги на активе, когда у тебя гусеницы, а у меня конница в шпорах...

— Да не в том суть, гусеницы или шпоры.

«Господи, и о чем это они? Гусеницы, шпоры... чудно̀,— рассуждала про себя продавщица, уже не решаясь дарить улыбку ни тому, ни другому.— Завели такой скучный и непонятный разговор... Нет того, чтобы посмотреть в мою сторону, а там и обменяться взглядами, а там и сказать одними глазами что-нибудь такое важное да приятное...»

— Хорошо, давай примем такие условия,— продолжал Григорий.— Весь итог нашего соревнования будет исчисляться в переводе на мягкую пахоту... И вот тут я тебя прошу: следом за мной бери слово и выступай.

— Зачем же выступать! — опять возразил Шацкий.— Пусть за меня скажет директор МТС.

— А я так не хочу. Я хочу, чтобы весь актив услышал твой голос.

— Ой, Гриша, какой же ты настырный! — с улыбкой сказал Шацкий и посмотрел на продавщицу, как бы ища поддержки.— Ну ладно, пусть услышат.

— Теперь, Гриша, вы довольны? — ласково спросила продавщица, желая принять участие в разговоре и таким образом быстрее познакомиться.

— Повторить! — вместо ответа сухо проговорил Григорий.

— Можно... Я вижу, вы не рощенцы,— заговорила продавщица, наполняя пивом кружки и явно намекая на желание познакомиться.— А знаете, какое у нас вечером интересное кино? Эх, вы не знаете, просто прелесть: «Поезд идет на Восток». По вечерам я в буфете работаю...

Иван Шацкий, принимая из рук продавщицы кружку, теперь заметил и улыбку и очень ласковый взгляд. «А смазливенькая собой бабенка»,— подумал он и хотел было вступить в разговор и расспросить, что же происходит в том поезде, что идет на Восток, и какие бывают товары в буфете, но тут к ларьку подошла Настенька Вирцева в роскошном платье и в модной прическе, ведя под руку какого-то мужчину.

— Гриша! Иван Егорович! — весело сказала она.— А вот и мой «соперник»! Познакомьтесь — Андрей Стародубцев, усть-невинский комбайнер. Я его приглашаю в чайную, а он тянет меня к пиву.

При упоминании слова «соперник» хозяйка пива вдруг насторожилась, уже предвкушая услышать от этой молодой и веселой женщины нечто такое, что холодком пройдет по всему телу. Она охотно подала пиво «сопернику» и, склонившись на прилавок полной грудью, приготовилась слушать. И какое же разочарование выразилось на ее лице, когда она услышала разговор о самоходных комбайнах, о подвозке горючего, о том, как лучше проводить ремонт машин!

«Так это ты только на языке хвалишься соперником, а на деле ничего в тебе интересного нету»,— с го-

речью подумала продавщица, и улыбка на ее миловидном лице уже не появлялась. И хотя в душе ее еще хранилась надежда, что после обычных разговоров о комбайнах и о горючем «клиенты» коснутся и самого «соперника», но тут откуда-то появился Рубцов-Емницкий и окончательно все дело испортил. Живой в движениях, чисто выбритый, празднично-веселый, с портфелем в руке, он тут же осведомился, хорошо ли пиво, нет ли каких жалоб, а потом сообщил, в какие магазины и какие товары завезены по случаю приезда актива, и в заключение потребовал себе пива.

— А вы посмотрите! — вдруг крикнул он.— Кондратьев! Николай Петрович идет под ручку со старым Тутариновым... Я побежал!

XXVI

Иногда в спектаклях или кинофильмах, повествующих о жизни сельского района, можно увидеть довольно-таки уютный кабинет, в котором, согласно заранее продуманной сценической композиции, есть решительно все: на переднем плане, как правило, под зеленым сукном стоит стол, формой своей непременно похожий на букву «Т»; чуть поодаль показан кожаный диван, а от него в обе стороны шеренгой выстроились стулья вдоль стены, с двумя окнами на площадь; не упущены и такие важные предметы, как графин с водой, телефон, карта района и т. п. В верхней части буквы «Т», то-есть в самом центре кабинета, сидит секретарь райкома, чаще всего мужчина почтенного возраста, в поношенном полувоенном костюме, с задумчиво-строгим или (смотря по замыслу автора) добродушно-ласковым лицом. Перед ним величиною во весь стол лежит лист бумаги — сводка за последнюю пятидневку; тут же раскрыта папка,— в ней хранится доклад, написанный в отделах райкома и перепечатанный на машинке за две недели раньше того момента, когда секретарь собирался подняться на трибуну. Видно, что постановщик всеми силами старался показать именно то, что секретарь в данный момент весь вошел в кипучую жизнь

района и в эту минуту занят чрезвычайно важным делом; что его не удовлетворяет заранее написанный доклад и он пополняет его самыми свежими цифрами: то заглядывает в сводку, то что-то спешно записывает в листы, лежащие в папке; и чтобы подчеркнуть свою главную мысль, постановщик тут же вводит на сцену помощника секретаря, обычно девушку, с лицом чрезвычайно ласковым и безобидным. Девушка говорит тихим голосом о том, что люди давно приехали и волнуются, что пора бы уже открывать собрание. Секретарь, не отрываясь от своего дела, подымает руку так, что ладонь ее обращена к девушке,— такой энергичный жест означает: «Пусть еще немного подождут, я скоро выйду...» Затем мы видим того же мужчину с добродушным или строгим лицом (опять сообразуясь с волей автора) едущим в стареньком «газике», подымающем по дороге страшную пыль. И вот «газик» останавливается, секретарь, держа подмышкой папку, в которой не так давно хранился доклад, направляется решительным шагом к комбайну или к полольщицам,— словом, во всем строго исполняя волю режиссера...

Что и говорить, такого рода сцены весьма примитивны, хотя, разумеется, нечто подобное и можно встретить не только, скажем, в кино, но и в действительности. В каждом сельском райкоме есть кабинеты, диваны, стулья, на столах лежат сводки за последнюю пятидневку, и по степи пылит «газик», но в жизни все это бывает и естественно и красиво. Сама жизнь, этот талантливый режиссер, размещает и декорации и предметы, и действующих лиц так удивительно просто и картинно, что самый выдающийся постановщик, знающий все законы драматургии, не смог бы создать такие яркие и неповторимые мизансцены.

Именно такую самобытную сцену и показала жизнь на площади Рощенской в то раннее солнечное утро. В этот час все, на что ни взгляни, являло собой картину живую и красочную: деревья были залиты таким обилием лучей, что листья, пропуская на землю золотистые нити, уже лишились росы и не блестели; машины — тут и легковые и грузовые — выстроились в два ряда на почтительном расстоянии от лошадиного

транспорта, и шоферы, сойдясь по своему обычаю в круг, вели какую-то весьма оживленную беседу; у кучеров, как это всегда случается, были и свои заботы и свои интересы,— во главе с Дорофеем они курили цыгарки и с пристрастием осматривали уже знакомых нам гнедых жеребцов, которых обогнали машины,— они были поставлены в сторонке и привязаны к тачанке так, чтобы не смотрели на своих соседок и спокойно ели траву: старик Тутаринов, в сапогах, жирно смазанных дегтем, в тесном бешмете, застегнутом на все крючки, в шароварах с выцветшими лампасами, о чем-то разговаривал с Никитой Мальцевым и Стефаном Петровичем Рагулиным; иногда по площади разносился хриповатый голос: «Да вы же должны понимать, что электричество — великая техника!» — это Прохор Ненашев что-то доказывал таким же электрикам, как и сам; Илья Стегачев, здороваясь с участниками собрания, каждому гостю вручал газету, свежую, еще пахнущую типографской краской; Татьяна хотела до собрания повидаться с Григорием, она уже увидела его у пивного ларька и хотела подойти, но ее окружили женщины,— веселый и звонкий женский говор слышался по всей площади; беломечетенцы не стали зря терять времени, раскинули возле грузовика бурку и уселись завтракать, а к ним, молодцевато подбадривая усы, уже подходил Хворостянкин, уловив глазом добрый кусок баранины и какую-то стеклянную посуду.

Как раз в это время из своего дома вышли Николай Петрович и Наталья Павловна Кондратьевы: он — в черном костюме и с непокрытой головой, так что все, кто был на площади, сразу увидели знакомую седину; она, в легком сереньком платье, повязанная косынкой, издали казалась женщиной еще совсем молодой и статной. Может быть потому, что Кондратьев вышел из дому не один, а с женой, а возможно и по каким-то другим причинам, только он направился не в райком, а в гущу народа, и теперь каждая делегация хотела, чтобы раньше всего он подошел именно к ним, а потом уже к соседям.

Послышались голоса:

— Николай Петрович, сидайте до нашего стола!

— Беломечетенский актив уже действует!

— Надо подкрепиться перед прениями!

— Здравствуйте, Наталья Павловна!

— Идите в женскую делегацию!

— Вы хотели повидать Варвару Сергеевну,— вот и Варвара Сергеевна.

— У Танюши геройский актив!

— Да разве без нас мужчины смогут дела решать!

— Николай Петрович, а какие новости сообщат докладчики?

— Меня зараз другая новость интересует: чем я буду убирать подсолнухи? Комбайнов мне не дают.

— Дадут. Попроси дирекцию.

— Просил, а толку мало.

— Вот бы насчет переброски древесины решить вопрос!

— На дядю надейся, а сам не плошай!

— Опять же и с посадками будет неуправка. Если б заиметь такую машину, чтоб она лес сажала!

— Ишь какой! Привык все делать машинами.

— А ты на свои фермы подвел линию? Вот то-то и оно!

— Аппараты получат те фермы, у которых линия подведена.

Николай Петрович подходил то к одной тачанке или машине, то к другой, и по тому, как он здоровался с мужчинами или женщинами, вступал с ними в разговор, расспрашивал; как пытливо всматривался в хорошо знакомые ему лица, иногда улыбаясь, иногда сурово сдвигая брови, было видно, что одна мысль не давала ему покою: ему хотелось знать, как эти люди, вернувшись к себе в станицы, справятся еще с одной нелегкой задачей. Именно эта мысль и привела его не в райком, а сюда, на площадь, чтобы до того, как Сергей и Виктор выступят с докладами, с глазу на глаз повидаться с лучшими людьми района, узнать настроение тех, к кому он скоро обратится с призывом и на кого возложит надежду; чтобы расспросить, с чем они приехали на актив, чем довольны и чем встревожены, а главное — узнать душевное настроение.

Подойдя к беломечетенцам и отведав вишен в кор-

зинке, он сказал, что два комплекта электрооборудования будут направлены животноводам Белой Мечети при условии, если в течение десяти дней беломечетенцы смогут подвести высоковольтную линию к молочно-товарным фермам. С усть-невинцами завел разговор о соревновании с марьяновцами, с улыбкой взглянул на Стефана Петровича и подумал: «Если бы побольше было у нас Рагулиных, тогда марьяновцам нас не победить». Никиту Мальцева похлопал ладонью по плечу и сказал:

— Ну, как поживаешь, молодой казаче? Когда завершишь хлебосдачу?

— Днями, товарищ Кондратьев.

— А точнее?

— В понедельник.

— Значит, от Рагулина отстал?

— С обмолотом задержался... У Рагулина же электричество.

— Сооружал бы и у себя...

— А как поживает Артамашов?

— Рвался на актив.

— Ах, вот что! А урожай как у него?

— Полных итогов еще нет, но ожидается приличный.

В соседстве с усть-невинцами стояла линейка «Дружбы земледельца». Увидев Кондратьева, Костя Панкратов поспешил ему навстречу, поправляя белесый чуб и улыбаясь.

— Ну, как, Костя, поживаешь на новой должности?

— Привыкаю.

— Самоходные комбайны помогли?

— Еще как помогли!.. Женщины не нарадуются.

— Да, за эти «самоходки» была целая драка, а мы послали их в «Дружбу земледельца». Головачев пишет? Как он там учится?

— Может, жене и пишет, а на меня он сильно злой.

— Ничего, помиритесь.

Татьяну Нецветову Кондратьев отвел в сторонку и негромко сказал:

— Как твоя женская делегация? Аршинцева будет выступать?

— А как же, обязательно.

— А Хворостянкин?

— Не говорил. Дуется...

— Чего ж так? Или все еще не нашли общий язык?

— Горе мне с этим Хворостянкиным! Придется тащить его на бюро райкома.

— Пока повременим. Посмотрим, каким героем он будет после актива — на лесопосадках и на технических курсах.

— После партийного собрания он заметно помягчел... А теперь готовим его отчет перед колхозниками.

— Ну вот, так постепенно ты его и возьмешь в руки... После собрания актива позовешь к себе марьяновскую делегацию — пусть познакомятся с колхозом. Заранее скажи об этом Хворостянкину.

Старика Тутаринова Кондратьев любезно взял под руку, прошелся с ним мимо подвод; потом они подошли к Никите Мальцеву.

— Тимофей Ильич, актив ждет вашего слова. Будете выступать?

— Думка такая была, но что-то зараз у меня из головы все выветрилось. Пока дома был — дюже помнил, а теперь нету у меня главной линии.

— А вы без главной линии. Скажите людям запросто, что вы, как человек поживший, считаете важнее всего... Скажите о том, как нам лучше соревноваться с марьяновцами, чтобы не ударить лицом в грязь.

— Марьяновцы нас не осилят,— уверенно сказал старик.— Но опять же, Николай Петрович, хотелось мне коснуться нашего электричества. Сын мой в Москве закупки новые сделал, так вот я и хочу по этому делу тоже хозяйское слово сказать.

— Верно, и об этом сказать следует.

Встретив Семена Гончаренко в кубанке, в сапогах и в галифе, туго подтянутого узким казачьим поясом, Кондратьев залюбовался молодцеватым видом директора гэс и с улыбкой сказал:

— Как живешь-поживаешь, новоявленный усть-невинский казак?

— Жизнь, Николай Петрович, такая, что пожаловаться не могу.

— Семен Афанасьевич,— серьезным голосом заговорил Кондратьев,— Виктор Грачев в своем докладе скажет о тех закупках, которые сделал Сергей, лишь вкратце, а ты, как директор станции, остановись на этом более подробно... А! Вот и главный наш электрификатор — Виктор Игнатьевич Грачев. Подходи, подходи, ты мне нужен. Ну, как? Поправил тезисы? Твоим докладом актив особенно интересуется. Я тебя прошу, поподробнее изложи наши планы по техническому обучению руководителей колхозов.

— Один раздел отведен учебе.

— Вот и отлично! Кончим уборку и сейчас же приступим к организации курсов. Тут, Виктор Игнатьевич, важно, чтобы те, кому придется всерьез овладеть техникой, уже сейчас бы, на этом активе, поняли, что дело это весьма важное и к нему надо отнестись со всей серьезностью.

К ним подошли директор Усть-Невинской МТС Чурилов, Григорий Мостовой и Иван Шацкий. У Чурилова взволнованное, раскрасневшееся лицо, а оба бригадира были мрачные и злые.

— Николай Петрович,— сказал Чурилов,— посмотри ты на этих молодцов. Заспорили — не могу помирить.

— А о чем спор?

— Кому из них мы дадим те электротракторы, которые идут к нам по нарядам.

— А как ты считаешь?

— Прямо затрудняюсь сказать,— Чурилов развел руками.— Оба они мне, канальи, нравятся... И вот они готовятся выступать на активе со своими итогами и требуют от меня...

— На активе распределять электротракторы не будем,— сказал Кондратьев, внимательно посмотрев на бригадиров.— Решим особо... А вы не спорьте. Не далеко то время, когда такие тракторы будут во всех бригадах.

— Николай Петрович, а со мной почему не поздоровался? — говорил басом Хворостянкин, подходя к Кондратьеву и протягивая руку.— Пора бы уже и на-

чинать наш съезд, солнышко, посмотри, куда поднялось.

— А вот и марьяновцы едут! — кто-то крикнул в толпе.

— А шумно, как на свадьбе.

Кондратьев молча посмотрел не на солнце, а сперва на пылившие и въезжавшие на площадь два грузовика с народом и с гармониками, а затем на свои карманные часы, и попросил всех заходить в клуб.

В это время подошел Сергей, держа в руках листы заново переписанного доклада, со свежим, чисто выбритым, молодым лицом, и по улыбающимся глазам Кондратьев видел, что его совет не пропал даром.

— Ну, как? — спросил он, когда они входили в клуб.

— Пришлось две ночи посидеть,— негромко ответил Сергей,— но зато теперь есть что сказать...

Кондратьев чуть заметно улыбнулся и промолчал.

XXVII

В клубе гремели стулья, слышалось шарканье ног о деревянный пол,— делегаты все входили и входили, громко разговаривая и перекидываясь шутками. Когда уже все уселись и воцарилась тишина, со сцены, подойдя к длинному, любовно убранному цветами столу, с краткой речью выступил Кондратьев, и собрание началось.

Проходило оно оживленно; казалось, что все его участники... Э! Нет, нет, вижу, что тут уже слова бессильны, ими невозможно нарисовать картину живую, а главное — яркую и правдивую; невозможно показать во всех деталях не только весь ход собрания, но даже важные и волнующие моменты: например, избрание президиума, куда, с общего одобрения, вошли Тимофей Ильич Тутаринов, Варвара Сергеевна Аршинцева, Прохор Ненашев, а также вся марьяновская делегация; или бурю аплодисментов в честь марьяновцев в ту минуту, когда они подымались на сцену; или выступления главных ораторов,— сперва был заслушан доклад Вик-

тора Грачева, а потом Сергея Тутаринова,— надо было видеть в это время лица и взгляды людей; или выступления по докладам,— список желающих высказаться рос и рос, и прения продолжались с перерывами более пяти часов (ради справедливости надо отметить: где-где, а в сельском районе умеют при случае поговорить и отвести душу); или речи Тимофея Ильича, Аршинцевой, Прохора Ненашева, Стефана Петровича Рагулина, Ефима Меркушева — бригадира марьяновского колхоза; или принятие социалистического договора, когда к столу первым подошел Кондратьев, поздравил собравшихся с началом соревнования и поставил подпись; следом за ним, поглядывая по сторонам и улыбаясь, к столу подошел Сергей Тутаринов, затем подходили и расписывались представители от каждого колхоза... Думаю, что будет, пожалуй, и легче да и лучше показать не самое собрание (читатели, надо полагать, не обидятся), а те события, которые произошли уже после того, когда поздно ночью начался разъезд делегатов, а к рассвету станичная площадь совсем опустела и приутихла.

Последним покинул Рощенскую Игнат Савельевич Хворостянкин. Он задержался у Сергея в кабинете,— разговор шел о том, чтобы завтра выслать на станцию подводы и получить аппаратуру для механизации молочной фермы. Случилось так, что вместе с ним ехала и Татьяна Нецветова,— она думала заночевать у своих знакомых и поэтому отпустила машину с людьми; поговорив же с Кондратьевым, решила выехать в Рощенскую сегодня и была рада, когда увидела еще стоявшую на площади хворостянкинскую тачанку.

Предоставив Татьяне место рядом с собой, Хворостянкин был любезен, даже ласков: то улыбался, то подпушивал усы, то говорил, что всегда рад бы ездить на тачанке вдвоем с секретарем партбюро... Дорогой же был грустный, разговаривал мало.

«Должно быть, нарочно ко мне присоединилась,— думал он, ощущая рукой мягкий женский локоть.— То никогда и не садилась рядом, а теперь бросила машину и пересела на мою тачанку,— а какая в этом цель? Может, решила пилить меня всю дорогу? — Он

горестно скривил губы.— Мало меня еще пилили и терзали на активе... Что ни оратор, то и на языке у него Хворостянкин... Одна языкастая Аршинцева поиздевалась надо мной вволю...»

Ему не хотелось вспоминать о собрании актива, а перед глазами так и вставали то взволнованные лица в зале, то злые, горящие глаза Аршинцевой; ему даже слышался гул голосов, насмешливые реплики, слова Ефима Меркушева, говорившего на трибуне: «Мы вступаем с вами в соревнование и хорошо знаем: люди вы передовые, с вами итти рядом трудновато, но если у вас еще есть такие председатели, как Хворостянкин, о проделках которого мы сегодня наслушались...»

Тачанка покачивалась, гремела ступицами колес, а Хворостянкин хмурился и думал:

«Наслушался! А кто тебя заставлял наслушиваться... и какое тебе до всего этого дело? Приехал в гости — и будь гостем... Ну, пусть критикует Аршинцева или докладчики,— люди свои, они по обязанности... А Меркушев чего туда же лезет?.. «Если у вас есть такие председатели...» Ишь куда загибает, какие словечки выкидывает... А ты сперва приезжай, да посмотри мой колхоз, а тогда и критикуй...»

И опять он видел по всему длинному клубу возбужденные лица мужчин, женщин, слышал шум и веселый смех всего зала в тот момент, когда Виктор Грачев с насмешкой говорил об устройстве кабинетной сигнализации.

«Придется эти кнопки повыкидывать,— думал он, а перед глазами стоял широколицый усмехающийся Ефим Меркушев.— Теперь стыда не оберешься... Да и марьяновцы скоро к нам нагрянут... А тут и свое собрание готовится... Надо посоветоваться с Татьяной... Что она на это скажет? Хоть и не понутру мне это советование, а придется на этот раз ей покориться...»

— Татьяна Николаевна,— покашливая, заговорил он, когда тачанка с грохотом проехала мост и неслышно покатилась по мягкой, пыльной дороге,— а жарко было на собрании...

— Не жарко, а стыдно,— сказала Татьяна и повернулась к Хворостянкину так, что ее хоть и злое, но по-

прежнему красивое лицо было залито лунным светом.— Стыдно и обидно, до слез обидно... Во всем же отстаем, а хвастовства и глупых затей, вроде твоей сигнализации, хоть отбавляй.

— Не спорю, не спорю,— поспешно, как бы желая успокоить Татьяну, заговорил Хворостянкин и, встретившись с нею взглядом, подумал: «А глаза так и горят. Не доведи господи иметь жену с таким характером!» — Я говорю, что спорить тут нечего, есть у нас недостатки: с хлебовывозом затянули, по механизации, допустим, имеются у нас и пустяковые затеи... А почему, скажи, наш «Красный кавалерист» у всех на языке? Это же наши недочеты, так почему о них должны говорить посторонние люди? Докладчики начали, Кнышев подхватил, Гончаренко продолжил, а Аршинцева завершила, да еще туда же полез и марьяновский бригадир... Ему-то какое дело?

— Какое дело? — она усмехнулась.— Значит, люди хотят, чтобы «Красный кавалерист» занимал в районе первое место,— Татьяна задумчиво посмотрела на согнутую спину кучера.— А тебя, Игнат Савельевич, хотят видеть не посмешищем, а деловым и умным председателем... Как ты этого не можешь понять?

— Этого только и хотят?

— Да, только этого.

— И Аршинцева того желает?

— И Аршинцева.

— Ага, значит так! — Хворостянкин снял картуз, ударил им о колено, затем пригладил усы, привстал и снова сел.— Значит, этого хотят! А я возьмусь и докажу, кто я есть такой! Посмешище или еще что... С завтрашнего дня берусь! Все пойдет по-новому. Сигнализацию долой, к чертовой матери! Э! Те, кто обо мне плохо думают, еще не знают, кто такой Игнат Хворостянкин!

— Опять хвастовство? — с улыбкой спросила Татьяна, и по ее светлым, ласковым глазам можно было понять, что в душе она одобряет такое пылкое решение Хворостянкина.— Главное — не надо волноваться... Тут, Игнат Савельич, необходимо все обдумать и обдумать спокойно... Если ты понял свои ошибки и

всерьез хочешь их исправить, не горячись и не выхваляйся, не якай, а делай... Завтра мы на бюро вместе обсудим, что нужно предпринять, и начнем по плану...

— Ну, а сигнализацию, как по-твоему, ликвидировать или подождать?

— Не в ней суть дела...— Татьяна строго посмотрела на усатое и суровое лицо Хворостянкина.— За что тебя ругала Аршинцева, да и не только Аршинцева? Тебя губит зазнайство, и чем скорее ты излечишься от этой болезни, тем лучше...

— Чем скорее, тем лучше,— задумчиво проговорил Хворостянкин.— Попробую... Эй, Никита, пронеси нас с ветерком! Покажи кнут лошадям, а то они у тебя поуснули...

— Прислушались к вашей беседе,— с усмешкой ответил Никита, взмахнув кнутом: — им же тоже интересно знать, какие у председателя ожидаются перемены...

— Эх, Никита, верный ты мой конный шофер! — сказал Хворостянкин, похлопав Никиту по плечу.— Шутить будем опосля, а зараз гони быстрее в станицу: — дело есть!

— А я не в шутку... Давно б, Игнат Савельевич, пора за ум взяться...

— Поддай, поддай кнута! — смеясь, сказал Хворостянкин.

Уже почти на рассвете тачанка подкатила к знакомой нам плетеной калитке, и Татьяна, простившись с Хворостянкиным, торопливо вошла в дом. Боясь разбудить мать, она не зажгла свет; хорошо, что в окна светила луна и в комнате было светло. Татьяна сняла кофточку, подошла к умывальнику и начала умываться.

«Я его еще таким не видела: либо хитрит, либо и в самом деле в нем произошла перемена,— думала она, вытирая полотенцем мокрое, жаром пылавшее лицо.— Сейчас пойду в свою комнату и запишу все, что я думаю о нем...»

— Танюша, а долго вы там совещались,— заговорила Ольга Самойловна — она лежала на кровати, но давно уже не спала.— Ну, как дела порешили?

— Все, мамо, решили правильно,— неохотно отвечала Татьяна.

— Когда же леса начнем сажать?

— Это, мамо, поздно осенью.

— А поилки и доилки дали нашей ферме? Я просила Варюшу похлопотать.

— Наряды уже получены.

— А когда же придут те машины?

— Придут, мамо, скоро придут,— Татьяна подошла к матери.— Вы уже выспались, а я и устала и спать хочу... Завтра расскажу обо всем подробно... А сейчас — спать!

Она хотела пройти в свою комнату, но мать остановила:

— Туда не ходи.

— Почему?

— Там гость... лежит на диване.

— Какой еще гость?

— Твой... Григорий недавно заявился и вдобавок сильно выпивши. Узнал, что тебя нету дома, и взбесился. «Не пойду, говорит, пока ее не дождусь!» Я его уложила... Наверно уснул... так ты не тревожь. Пусть себе спит до утра.

— Как не тревожить? — Татьяна невесело рассмеялась.— Он наверно шел к себе домой и заблудился.

Татьяна надела кофточку и быстрыми шагами пошла в соседнюю комнату.

На диване и в самом деле лежал Григорий, одетый, с неудобно запрокинутой головой,— правая нога и правая рука свисали к полу. Свет луны падал ему на грудь. Он спал, и спал тем тяжелым и нездоровым сном, каким спят пьяные; и когда Татьяна увидела висевшую его сильную руку с широкой ладонью, взлохмаченный чуб, закрывавший лоб и глаза; когда она услышала стонущий храп и ощутила противный запах водки, ей стало и досадно, и больно, и грустно.

«Так вот ты какой, мой герой,— подумала она.— Нет, не подойду и не потревожу... Спи, отсыпайся, а вот завтра мы поговорим...»

И она вышла, осторожно прикрыв за собой дверь.

XXVIII

Утром, после собрания актива, Кондратьев и Сергей выехали в колхозы — один все время находился на полях Яман-Джалги, Краснокаменской и Белой Мечети, другой — на полях Родниковской и Усть-Невинской. Вернулись они в Рощенскую, как и условились, на седьмой день к вечеру. К тому времени район выполнил (даже с небольшим превышением) государственный план хлебопоставок, и по такому радостному случаю в райком пришли, кроме Сергея, заведующий отделом сельского хозяйства Андрей Саввич Полищук, сухой и высокий, с седыми, щеточкой подрезанными усами — тот самый Андрей Саввич Полищук, который не так давно работал в отделе сельского хозяйства старшим агрономом; уполномоченный министерства заготовок, с набухшим и сильно потертым портфелем, мужчина тоже рослый, большеголовый, с широкой лысиной, которую он то и дело вытирал платком. Они принесли Кондратьеву уже заготовленный текст донесения в край и оба были в хорошем настроении.

— Вот, Николай Петрович, и рапорт готов,— с улыбкой проговорил Полищук, протягивая Кондратьеву лист бумаги.— Теперь остановка за подписями.

— Из-за этого остановки никогда не будет.

Кондратьев внимательно прочитал текст, внес в него карандашом некоторые стилевые поправки, вычеркнул кое-какие напыщенные слова и фразы. Затем позвал из соседней комнаты своего помощника Алешу — молодого и стройного юношу с замашками проворного, хорошо вышколенного адъютанта.

— Алеша, сделай три экземпляра,— сказал Кондратьев, подавая Алеше лист, и тут же, как бы что важное вспомнив, спросил:— Информационные сводки отовсюду поступили?

— Не поступили только от двух парторганизаций,— четко, звонким голосом, ответил Алеша.— Но я уже звонил — высылают.

— Что-нибудь есть интересное?

— Да, кое-что есть.

— Хорошо, я тебя позову.

Вскоре донесение было заново переписано на машинке, и когда Алеша, войдя своими быстрыми шагами, торжественно положил три листа на стол и когда на каждом листе закрасовались четыре подписи, Кондратьев облегченно вздохнул и сказал:

— Ну вот, есть и подписи... Пакет пошлите с коннонарочным, это надежнее всего...

Он встал и, пожимая руки Полищуку и уполномоченному, сказал:

— Завтра бюро. Прошу присутствовать... Сергей Тимофеевич, ты не уходи.

Они остались вдвоем. Кондратьев расхаживал по кабинету, как бы вымеряя шаги от стола к двери, курил и о чем-то думал. Сергей молча следил за его твердой поступью, видел темное от загара, суровое лицо, открытый лоб с частыми поперечными морщинками, жесткие и седые подковки бровей и ждал, что же он ему скажет.

— Я думаю вот о чем,— заговорил он, как бы отвечая на вопросительный взгляд Сергея и продолжая отмеривать шаги.— С того дня, как разъехался наш актив, прошла неделя. Эта неделя отмечена большим событием: мы только что подписали весьма важный документ. Но такие документы мы подписываем каждый год, и если говорить откровенно — наша личная заслуга в этом не велика. Мы имели бы право с большим основанием погордиться своими заслугами, если бы мы могли сейчас иметь практические результаты, которые принесло нам собрание актива. Как по-твоему, Сергей, что произошло в районе за эти семь дней? — Он спокойно уселся за стол, посмотрел на смутившегося Сергея с улыбкой, и в его веселом взгляде можно было читать: «Я вот походил по кабинету, обдумал, взвесил, и хотя мне теперь все ясно, но хочется знать и твое мнение». Короче говоря: можем мы подвести хотя бы первые итоги?

— По-моему, не можем,— потупя глаза, сказал Сергей.

— Почему же не можем?

— Можем, но итоги-то будут жидковатые. Ничего же существенного не сделано. Все, и мы в том числе, эти дни были заняты хлебом...

— А несущественное все же делалось? — щуря глаза, спросил Кондратьев.

— Мало. Например, в тех колхозах, где я бывал, только вчера начали составлять списки слушателей технических курсов, а подводка к фермам полевых электролиний по-настоящему начата только в «Красном кавалеристе».

— Да, это, конечно, плохо,— сказал Кондратьев, поглаживая пальцами самые краешки седых висков.— А какие, в связи с собранием актива, слышны разговоры?

— Чего, чего, а разговоров хоть отбавляй!

— Это хорошо.

— Животноводы, например, ждут аппаратуру. Ну, вокруг этого идут разные толки...

— Какие ж именно? Есть неверующие?

— Имеются и такие, но больше всего расспросов, когда же привезут и установят автодойки, как они будут действовать.

— Значит, необходимо ускорить установку... А какие пожелания или просьбы?

— В «Светлом пути» все доярки требуют, чтобы их записали на курсы механизаторов.— Сергей задумался, помял в жмене чуб.— И вообще, Николай Петрович, насчет технической учебы. Желающих учиться очень много. Собрать их всех в Рощенской — трудно, отказать в учебе — нехорошо... Я говорил на эту тему с Прохором Ненашевым. Старик настаивает, чтобы курсы были открыты не в одной Рощенской для всего района, как это было решено на активе, а в каждой станице.

— А твое мнение?

— По-моему, Прохор прав, но где взять преподавателей — вот беда! У нас вся надежда на Грачева...

— Если мы хотим удовлетворить просьбу доярок из «Светлого пути», то придется кое-что придумать.— Кондратьев вынул из кармана маленькую записную книжечку, вытряхнул из нее с десяток остюков и что-то записал.— А еще о чем люди говорят?

— Много разных суждений о марьяновцах.

— Вот это тоже хорошие итоги.

— Гости побывали во многих колхозах,— Сергей задумчиво усмехнулся,— и ты бы видел, как помогал их приезд, особенно в завершении хлебопоставок... Ну, больше всего говорят о том, чтобы послать и наших людей проверить марьяновцев. Даже уже есть готовые кандидаты.

— Вот как! — воскликнул Кондратьев.— Это весьма важно. Надо подсказать Стегачеву, чтобы выступил со статьей: к марьяновцам поедут только лучшие,— пусть идет борьба...

— Но самое интересное случилось в «Красном кавалеристе»,— продолжал Сергей, усмехаясь.— Там произошел настоящий переполох, нашего Хворостянкина прямо не узнать. Товарищ захотел быстро перестроиться, к приезду марьяновцев выбросил из кабинета свою сигнализацию и вообще, как рассказывала Татьяна, стал вежливым, с людьми обходительным... Должность своего секретаря упразднил, Антона Антоновича уволил и послал в полеводческую бригаду учетчиком... Электролинию на ферму стал вести в тот день, когда приехали марьяновцы.

— Не знаю, надолго ли эта перемена,— угрюмо проговорил Кондратьев, делая какие-то пометки в записной книжечке.

— Я тоже об этом думал, но сам факт все же интересен.

— Значит, по-твоему, сделано еще очень мало? Согласен, но для начала — неплохо и то, что уже есть. А что, по-твоему, необходимо предпринять? — Кондратьев вопросительно и быстро взглянул на Сергея, и опять его глаза говорили: я-то знаю, что и как нужно предпринять, но непременно желаю знать и твое мнение.— Какие нужны меры?

— Мне кажется, неплохо было бы послать на места наших уполномоченных.

— Ты хочешь сказать — толкачей с мандатами райкома и райисполкома?

— По опыту прошлых лет... Они бы помогли.

— Нет, Сережа, народ наш политически вырос, и сама жизнь показывает, что институт уполномоченных ныне уже не дает нужного эффекта.— И Кондратьев, перелистывая книжечку, нашел в ее листочках желтый колючий остюк, повертел его в пальцах, подул на него, а потом бросил в пепельницу и некоторое время сидел молча.— Нет, не толкачи, а актив — вот, Сергей Тимофеевич, и наша сила и наша опора. Прошло семь дней, как в Рощенской собиралась эта наша сила и опора. Были приняты очень нужные решения... Нам сейчас важно, конечно, знать и то, где начато составление списков будущих курсантов, и где оно еще не начато, где ставят столбы, и где их еще не ставят; но нам особенно важно знать, чем живет и чем дышит в эти дни актив и что изменилось в самом настроении колхозников после собрания актива. Вот эти итоги иметь бы на столе... А если мы не сумеем подвести такие итоги, взвесить все «за» и «против», а потом здраво оценить положение вещей,— грош нам цена даже в базарный день.— Он рассмеялся, встал и вышел из-за стола.— Но мы уже кое-что знаем: с марьяновцами борьба начата и закручивается она неплохо — теперь ее надо сделать более массовой; идет разговор о механизации животноводства — его необходимо подкрепить делом: надо начать хотя бы с «Красного кавалериста». Уже сейчас приступить к организации полезащитных звеньев... И вот я думаю так: мы еще послушаем Алешу,— у него уже собрана самая свежая информация, затем я поделюсь своими наблюдениями за эти семь дней, а вечером, уже имея более или менее полную и ясную картину, мы решим на бюро, что нам делать и какие меры предпринимать... Так что ли?

Сергей утвердительно кивнул головой, а Кондратьев позвал Алешу, предложил ему стул и сказал:

— Послушаем... Только давай не на выбор, а по порядку, о каждом колхозе...

И Алеша начал читать по порядку, дополняя прочитанное сведениями, которые были им получены по телефону. Опершись щекой на руку, Кондратьев то чуть заметно улыбался, то сладко закрывал глаза и прислушивался, то перебивал Алешу вопросом... А Сергей в

это время, слушая Алешу, не сводил восторженного взгляда с Кондратьева... Почему-то часто вот так, оставаясь наедине со своими мыслями, Сергей раздумывал все о том же: как бы ему, еще очень молодому руководящему работнику, уже в самом начале этого нового для себя жизненного пути, научиться и жить и делать все так, как Кондратьев. Сергей был рад, что встретил человека, с которым было легко работать и которому хотелось подражать; хотелось на практике познать его опыт, навыки, даже его манеру не только говорить с людьми, но и выслушивать людей так, как это умел делать Кондратьев; хотелось выработать в себе то постоянное спокойствие и ту непоколебимую уверенность при решении любых вопросов, которые имел Кондратьев. Ему нравилось в Кондратьеве решительно все: и та хитроватая усмешка, которая появлялась у него на губах, когда он что-то не досказывал или что-то знал наперед; и тот смелый вопросительный взгляд, которым, казалось, он видел своего собеседника насквозь; и даже то, как он легко, просто и спокойно проводит заседание бюро... Ему думалось, что именно таким и должен быть первый секретарь райкома; ибо он первый не только по должности и не только потому, что его избрали на пост не второго, а первого секретаря; нет, думал Сергей, он первый в районе исключительно потому, что во всем стоит на голову выше тех людей, которыми призван руководить, он начитан, всесторонне образован, и Сергей понимал: с годами — не только теоретически, но и на практике Кондратьев познал великое ученье Ленина и Сталина... «От этого ему и работать легко,— думал Сергей,— ибо он умеет видеть в жизни и хорошее и плохое не так, как видят все, а как-то по-своему, по-особенному — остро и точно...»

И еще Сергею казалось, что Кондратьев обладает какой-то притягательной силой, и поэтому к нему, как металлические частицы к магниту, тянутся люди со всякими своими неотложными делами, со своими думами, горестями и радостями; к нему сходятся, на нем скрещиваются и от него снова расходятся во все стороны те невидимые глазом нити, имя которым — повседневная, будничная жизнь Рощенского района.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Осень пришла рано, и выдалась она на редкость сырой и холодной. Дождь с ветром поливал поблекшие поля. Быстро пожелтели и осыпались листья в садах,— голые деревья грустно смотрели на остуженное, пасмурное небо. Луч солнца редко где проглядывал сквозь набухшие тучи; степь была мокрая, и может быть поэтому рядом с темносерой кукурузой уж очень ярко выступали просторные площади озими; всходы были свежие, умытые и зеленые-зеленые,— кажется, ни один художник не смог бы положить на полотно такую сочную краску.

Сергей Тутаринов любил кубанскую осень с ее то веселыми и ясными, то хмурыми и неприветливыми днями. Это время года почему-то всегда напоминало ему некую воображаемую черту, ниже которой сама жизнь, помимо воли людей, подводила итоги тому, что было сделано весной и летом... Думая теперь об этом, Сергей видел под условной чертой не только цифры, а и живые картины: то людную степь в горячие дни уборки; то шумные обозы с зерном, которые давно отгремели по пыльным степным дорогам; то списки колхозников, представленных к правительственной награде за высокий урожай,— в этом списке значилась и фамилия Алексея Артамашова; то колонки цифр сданного на государственные пункты зерна, молока, шерсти, яиц, мяса, овощей, фруктов; то недавние рапорты из колхозов о завершении осеннего сева; то

многочисленные собрания в станицах и на хуторах, которые состоялись в связи с опубликованием постановления Совета Министров и ЦК ВКП(б) о преобразовании природы; то пуск второй турбины; то свежую строчку столбов по степи от гидростанции до самой станицы Марьяновской,— словом, вся жизнь района проходила перед ним, как на экране.

И особенно нравилось Сергею то, что сама жизнь — хочешь ли ты этого или не хочешь — не только осенью, а в любое время года умеет рядом с итогами выставить и задачи, совсем еще новые, которые чаще всего бывают не легче, а тяжелее тех, какие уже вошли под условную черту.

Поэтому Сергей, сидя в своем кабинете и с грустью глядя на залитые дождем оконные стекла, думал не столько об итогах, сколько о том, что еще предстояло сделать: по примеру Кондратьева, он завел себе записную книжку, и в ней, помимо других заметок, были обозначены по пунктам эти новые задачи. Так, под пунктом первым значились лесные посадки, которые нужно было провести не раньше и не позднее первой половины ноября; чуть ниже этой записи стояла, обведенная в кружок, цифра 240,— она означала количество гектаров будущих лесных полос. Затем эта цифра делилась на 36 — по числу колхозов. «Провести совещание лесных звеньев. Докладчик — Никифор Васильевич Кнышев»,— было записано, очевидно для памяти. Под пунктом вторым шла запись о технической учебе колхозного актива. Этот пункт особенно беспокоил Сергея: начало занятий на курсах намечалось первого сентября,— на дворе уже стоял октябрь, а учеба еще не начиналась. «Курсы открыть в пяти станицах»,— гласила уже устаревшая запись, и тут же было дописано карандашом: «Первое занятие провести в понедельник. За Грачевым закрепить верховую лошадь — пусть ездит из станицы в станицу...» Пункт третий напоминал о механизации животноводства. Тут неполадок было много: закупленная аппаратура давно была завезена на фермы, но ни электродойка, ни автопоилки практически нигде еще не применялись. «Вызвать для беседы председателей и заведующих фер-

мами,— говорила последняя строка записи.— Поручить Полищуку проверить...» Четвертый пункт касался получения первых проектов реконструкции станиц Родниковской и Усть-Невинской. Сергей немного задержал взгляд на этой записи, сердито встряхнул чубом, а потом взял ручку и дописал: «Проекты нам очень нужны, а еще нужнее — специалисты, а когда они приедут? Запросить телеграфно «Крайпроект...» Далее шли очередные пункты с записями, которые как бы напоминали Сергею о таких важных и неотложных делах, как зимняя агротехническая учеба в полеводческих бригадах или ремонт тракторного парка и сельхозинвентаря; как работа школ, клубов, изб-читален,— да мало ли еще каких больших и малых хлопот приносит с собой осень, а вслед за ней и зима... Были в книжке и такие немногословные пометки: «Химия»—учебник В. В. Левченко и др. Где его взять?» Или: «Февраль — роды у Ирины». Или еще: «Породы леса: дуб, гледичия, ясень, акация белая, клен остролистый, клен полевой, клен татарский, шелковица белая. Кустарниковые: смородина золотая, скумпия, бирючина, кизил».

Сергей спрятал в карман записную книжку и только хотел было узнать у секретаря, кто из вызванных товарищей уже приехал, как в дверь просунулась косматая, промокшая папаха, сшитая, очевидно, из добрых двух овчин; затем показались широченные плечи бурки с острыми, лихо торчащими углами, а потом уже в кабинет не вошел, а как-то задом протискался Игнат Савельевич Хворостянкин.

«Ну, кажется, один уже ввалился. Э, какой здоровило!» — подумал Сергей.

А Хворостянкин уже сбросил с плеч влажную, тяжелую бурку и поставил ее «на-попа» — она балаганом возвышалась возле дверей; снял папаху, со всего размаху ударил ею о ладонь — густые брызги разлетелись по всему кабинету; широко и шумно ступая, делая грязными сапогами следы на полу, он горячо пожал Сергею руку своей жесткой и мокрой рукой.

— Эй, Сергей Тимофеевич! — заговорил он сиплым, простуженным басом.— За какое такое наказание

заставил ехать в страшную непогоду?! На коне — и то с трудом добрался. Дорога в горах плывет!

— Наказание, Игнат Савельевич, еще впереди,— смеясь, сказал Сергей.— Хочу знать точно: почему на ферме «Красного кавалериста» ничего не делается. Ведь ты же сам просил аппаратуру... Или ты только на словах герой?

— Делаем, но нет же специалистов,— Хворостянкин присел на стул, расстегнул полушубок, тяжело вздохнул.— Дай мне специалиста — и я в один миг все сделаю.

— Зачем же «в один миг»? — Сергей внимательно, с чуть заметной улыбкой посмотрел на мясистое, с мокрыми усами лицо Хворостянкина.— Игнат Савельевич, слыхал я, будто один человек в Родниковской бросил хвастать и выхваляться и от слов перешел к делу... Но только что-то ничего такого реального не видно...

— Кто ж он, тот человек? — спросил Хворостянкин, усмехаясь и приглаживая рукой мокрые усы.—Это не тот, которого всюду критиковали, а он, бедняга, все терпел, терпел, а потом у него терпение насчет критики лопнуло? Собой он такой верзило, первый усач в районе...

— Вот он и есть...

— А, знаю, знаю, в чей огород бросаешь камешки! — Хворостянкин хрипло рассмеялся.— Да, верно, после всей той критики, какая навалилась мне на голову, явилось у меня, Сергей Тимофеевич, желание перестроиться в лучшую сторону. Начал я было во всем строго придерживаться линии нашей партии, даже в самом моем поведении. С Нецветовой, да и вообще с людьми, стал обходиться вежливо. Скажу, правду, через это себе же в ущерб выбросил из кабинета такое удобство, как электрическую сигнализацию... А почему выбросил? Потому, что всерьез решил перемениться, думал, что теперь-то ни Нецветова, ни кто другой не будут меня критиковать, а на практике выходит — опять Хворостянкин не такой... К моей работе и вообще к моему характеру, ты слышишь, Сергей Тимофеевич, Нецветова подкопаться не может, так

она теперь схватилась обеими руками за мою культуру и опять не дает спокойно жить... День в день тычет меня носом в разные книги, заставляет романы читать, русскому языку обучает... Смех и грех,— будто я нерусский! «Я, говорит, за зиму обтешу тебя и подкую культурно и политически на обе ноги...» И ты пойми: кто будет меня обтесывать и подковывать? Баба, да и вдобавок молодая, в дочери мне годится... Да вот и к тебе по дождю прискакал, а что я хорошего услышал? Опять на меня критика, опять Хворостянкин сякой-такой...

— Значит, еще много слов и мало дела...

— Все мало, все мало,— продолжал Хворостянкин еще с большей хрипотой.— А какое ко мне отношение? Я все же руководитель, а меня сваливают в общую кучу... Разве это порядок?

— Да ты о чем? О какой куче?

— Взять ту же электрическую учебу,— Хворостянкину было жарко, и он, разговаривая, снял полушубок.— Я, конечно, не против изучения техники, без нее жить далее невозможно, но надо же, Сергей Тимофеевич, иметь подход к людям.— Он вытер папахой лоб, расчесал пальцами взъерошенные волосы.— Посуди сам. В нашей станице охотников изучать электричество набралось человек шестьдесят, а председателей колхозов среди них всего трое. А кто такие остальные? Человек десять будут парторги и бригадиры — тоже руководящие товарищи. Есть человек десять пожилых людей. А человек тридцать — это же станичные парни и дивчата, которые тут же технику изучают и тут же влюбляются... И вот я, председатель колхоза, должен сидеть рядом с этой молодежью и заниматься изучением электричества? Это же подрыв всего...

— Никакого подрыва не вижу... Да и что тут такого?

— А то, Сергей Тимофеевич, что мой авторитет...

— А-а... Старая песенка,— смеясь, проговорил Сергей.— Плохо, плохо ты перестраиваешься...

— Нет, послушай,— стоял на своем Хворостянкин.— Ты вот в армии был? Порядки армейские лучше меня знаешь? Почему, скажи, в армии строго соблю-

дается... это, как его... как же оно... ну, когда старший начальник...

— Ты хочешь сказать — воинская субординация? — подсказал Сергей.

— Во-во! Почему она существует?

— Потому что это армия,— сказал Сергей вставая.— А ты имеешь дело с колхозниками.

— А ежели, допустим, преподаватель вызовет к доске и спросит, а тут, как на зло, что-нибудь такое в технике забудешь и не сумеешь правильно ответить?— спросил Хворостянкин, печально склоняя голову.— А молодежь, известное дело, сразу на смех... Куда это годится?

— Да, это никуда не годится,— с усмешкой сказал Сергей.— Значит, надо отвечать так, чтобы никто не посмел смеяться...

— Тебе, вижу, смех, а у меня вот тут все это сидит.— Он ударил кулаком в грудь, потом встал, надел полушубок.— Все одно, рядом со всеми не сяду — так передай и Кондратьеву.

— Ежели сам не сядешь — заставим... Применим субординацию.

— Силой меня обучить нельзя.

— Да, Татьяна Николаевна права, подковать тебя нужно... а то споткнешься.

Хворостянкин злился и не стал отвечать. Он торопливо примостил на голову папаху, сердито покосился на Сергея, видимо хотел еще что-то сказать, но в это время в кабинет вошли Костя Панкратов и Кондратьев. Хворостянкин кивком головы поздоровался и, не надевая бурку, торопливо вышел.

— Сергей Тимофеевич, я не опоздал? — звонким голосом спросил Костя, поправляя на голове кубанку, из-под которой на лоб спадал влажный чуб.— Вот погодка для озими!

— Ну, как наш «перестроившийся»? — спросил Кондратьев, обращаясь к Сергею и поглядывая на стоявшую у дверей бурку Хворостянкина.— Беседовали?

— Был разговор и весьма откровенный... Я тебе потом подробно расскажу.

— Я догадываюсь: учиться не хочет? — Кондратьев внимательно посмотрел на бурку, как бы на ее месте хотел увидеть Хворостянкина.— Мне думается, что об этом новом виде увиливания от учебы надо поведать Стегачеву да и подсказать ему кое-какие мысли.

— Я с ним поговорю.

— Об этом надо выступить в газете уже потому, что Хворостянкин не одинок,— Кондратьев снова стал рассматривать стоявшую бурку, как будто это был сам Хворостянкин.— У меня есть два заявления: одно прислал Скиба, а другое — Волошин из колхоза «Свобода». Оба председателя, и оба категорически отказываются посещать технические курсы. И ты думаешь, какие мотивы? Очень простые: колхозом можно руководить, не зная электричества... Эту «теорийку» надо уничтожить в самом ее зародыше, а ее носителей предать широкой гласности.

Кондратьев еще раз посмотрел на бурку, прислушался, как бы поджидая ответа, затем подумал и сказал:

— Ну, о газете потом... А сейчас вот какая к тебе просьба. Скоро придет сюда Прохор Ненашев. Он специально приехал в Рощенскую. Я с ним беседовал и направил к тебе. Ненашев предлагает послать на фермы бригаду электриков, хотя бы двух человек, и этим ускорить монтажные работы. Он изъявляет желание ехать сам и просит себе в помощники — знаешь кого? Ирину... Это уж я не знаю, поедет ли твоя жена или кто другой, но послать людей нужно. Вот я и прошу: обсудите этот вопрос вместе с Прохором на совещании.

Сергей утвердительно кивнул головой, а потом вынул из нагрудного кармана записную книжку и что-то пометил в ней,— точно так же уверенно и спокойно, как это всегда делал Кондратьев.

— И еще запиши вот что,— сдерживая улыбку, сказал Кондратьев.— Ты этого молодца из «Дружбы» хорошо знаешь? — и он кивнул на Панкратова.— Ему нужна рекомендация для вступления в партию. Одна будет моя, и если ты дашь вторую, то третью он возьмет в комсомоле...

— Хорошо, я напишу,— сказал Сергей, снова что-то помечая в записной книжке.

— Ну вот и отлично,— Кондратьев встал и обратился к Косте: — после совещания зайдешь ко мне и возьмешь анкету...

II

Совещание закончилось еще в полдень, и, хотя люди давно разъехались, Сергей задержался в исполкоме дотемна. Он и проголодался и знал, что дома его ждет хороший обед — сегодня Ирина была свободна от дежурства, а уйти, хотя бы на время, не мог. Удерживали всякие дела: то он писал рекомендацию Косте Панкратову, то разговаривал по телефону с Семеном, то подписывал протоколы исполкома, письменные и телеграфные сообщения в крайисполком... После этого более часа говорил с Виктором Грачевым,— тот ездил в станицы по делам технических курсов и вернулся усталый, худой и промокший что называется до нитки.

— Ну, спасибо, Сережа, устроил ты мне службочку! — сказал он, приглаживая расческой мокрые темные волосы; по небритым пепельно-серым щекам, по лбу стекали капельки.— Помню, ты обещал мне не жизнь, а настоящий рай...

— Да так оно и будет.

— Когда же?

— Скоро,— и Сергей, поглядывая на хмурое лицо друга, сочувственно усмехнулся.— Как построим коммунизм — и пожалуйста...

— Нет, ты без шуток,— Виктор вынул из кармана влажный платок и рывком, как бы со злостью, вытер лицо.— Строить коммунизм — дело хорошее, но создавать курсы в каждой станице — нелепость. Такой «учебный комбинат» нам не под силу. Ведь преподаватель я один, не разорваться же мне!

— Какой же выход? — спросил Сергей, сурово сдвинув брови.

— Выход простой: создать курсы только в Рощенской.

— А у тебя списки желающих учиться есть?

— В портфеле, если не промокли... А что?
— Сколько человек записалось, скажем, в Родниковской?
— Шестьдесят три.
— В Белой Мечети?
— Пятьдесят шесть.
— А всего?
— Ну, более трехсот,— неохотно ответил Виктор.— А что ж из этого?
— А то, Витя, что в Рощенской этих трехсот человек негде разместить, посадить,— нет еще у нас такого класса, да и приезжать им сюда будет куда сложнее, чем тебе к ним.
— Мы сами и виноваты,— бурчал Виктор, потирая ладонью небритые щеки.— Зачем объявили свободную запись? Обучали бы только руководителей, по списку.
Сергей встал, зажег свет и, подойдя к Виктору, сказал:
— Вот уж тут ты совсем не прав. Обучать по списку и одних руководителей — это не наша задача... Именно в том-то и главная суть, чтобы привить элементарные технические навыки как можно большему числу колхозников... Ты подумай — и, я верю, поймешь. Это ты устал, продрог, я понимаю — под дождем приятного мало, от того и настроение у тебя чертовски плохое. Да, наверно, и голодный.— Он обнял друга за влажные теплые плечи.— Пойдем сейчас ко мне. У меня дома чудесный обед. Рюмка водки — для тебя — тоже найдется. Согреешься, отдохнешь, а потом мы поговорим, как нам лучше организовать работу курсов именно в каждой станице. И что за обед, если б ты только знал!.. Ну, пойдем!
Виктор не сказал ни слова и тяжело поднялся.
Предсказания Сергея оправдались. Ирина и в самом деле приготовила такой обед, какого Виктор, находясь на холостяцком положении, давно уже не видел. Сперва на стол вместе с рюмкой водки для сердитого, озябшего гостя были поданы овощи в разных видах: огурчики и свежие и малосольные — те, что еще пахнут укропом; помидоры неразрезанные, величиной с огромный кулак, сверху укрытые пучком зеленого лука; по-

мидоры ранней засолки, свежие-свежие, «как яблочки», с тонкой и прозрачной кожицей; снова помидоры свежие, но уже нарезанные на тарелку, с репчатым луком и с порезанным яйцом, залитые подсолнечным маслом. После этого, распространяя по всей комнате сладкий и прямо-таки душистый запах, появился борщ,— заметьте: именно тот румяный, с добротно зажаренным салом и луком украинский борщ, но уже сделанный на чисто кубанский манер,— в котором есть решительно все, начиная добрым куском свинины и кончая фасолью, пастернаком и петрушкой. За борщом появился картофельный соус с курятиной, слегка заправленный помидорным соком... Под конец Ирина принесла арбуз, и когда он развалился скибами по всему столу, удивительно сочный, с засахаренными семечками, Виктор весело посмотрел на хозяйку и сказал:

— А я не знал, Иринушка, что ты такая волшебница... Посидел у тебя за столом и сразу повеселел, настроение поднялось.

— Если у тебя еще будет плохое настроение,— ответила Ирина, краснея и пряча под фартук руки и этим как бы желая скрыть от Виктора свою всем уже заметную беременность,— то приходи к нам обедать.

— И верно, буду приходить.

— Пора бы, Виктор, и тебе обзавестись «волшебницей»,— и Сергей ласково посмотрел на жену, как бы говоря: «А ты не подымай фартук и не скрывай то, что у тебя есть,— пусть все смотрят».

— Волшебницы-то бывают разные,— уже весело смеясь, сказал Виктор.

Пообедав, они уселись на диван и закурили. Некоторое время оба сидели молча, каждый раздумывал о своем. На дворе разгулялся ветер, за окном порывисто шумели голые деревья, навевая грусть, и время от времени жалобно поскрипывали ставни.

— Да, верно, надо бы обзавестить «волшебницей»,— как бы о чем-то еще думая, заговорил Виктор и на полуслове умолк.

— Так что же мешает? — спросил Сергей.

— Соня тебя так любит! — вмешалась в разговор Ирина.

— Любит или ненавидит — не пойму.— Виктор ногтем сковырнул с папиросы пепел, а потом грустно посмотрел на Сергея и на Ирину.— Вы мои самые близкие друзья, и мне хочется поделиться с вами своими мыслями... Однажды я Соню оскорбил, так оскорбил, что мне и сейчас горестно об этом вспоминать... Оскорбил ни за что — и чувствую, что жить без нее мне скучно... С того времени, как я твердо решил остаться здесь, остаться не потому, что ты меня об этом просил,— это решение пришло не знаю откуда и когда,— я много думал и теперь смотрю на жизнь какими-то другими глазами... Может быть, поэтому и все мои прежние отношения с Соней кажутся в ином освещении...

— А она говорила, что вы уже помирились,— вставила Ирина.

— Помирились? — Виктор болезненно скривился.— Верно, я пришел к ней,— это было во время ее дежурства,— и не мириться, а просить прощения... Она была рада, но в глазах ее не было того огонька, который я так хорошо знал; она делала вид, что ей очень весело, а я этому не верил. В душе она меня проклинала, и сквозь ее веселость проглядывали горькие слезы.— Виктор поднял голову, расправил плечи, набирая полную грудь воздуха.— Вот у вас все как-то так хорошо и просто — позавидуешь!

— Знаешь, Витя, в чем твоя беда,— сказал Сергей,— только не обижайся, я говорю по-дружески.

— Говори, говори...

— Ты не любишь, а увлекаешься, и оттого и лезет тебе в голову всякая чепуха... А ты полюби Соню по-настоящему, то-есть так полюби, чтобы ее лицо и ее улыбка, вся она так бы всегда и стояла перед тобой, да женись на ней — вот тогда и у вас все будет и просто и хорошо.

— Попробую...

Виктор тяжело вздохнул и склонил голову. Сергей поспешил перевести разговор на другую тему и сказал:

— Виктор, как ты думаешь: если бы нам в понедельник открыть курсы?

Виктор молчал, попрежнему низко склонив голову,

и Сергей не мог понять: думает ли он в эту минуту о том, открывать ли в понедельник курсы или не открывать, а может о том — жениться ли ему на Соне или не жениться?

— Дни, Виктор, с твоего согласия, можно распределить так,— продолжал Сергей.— Начать хотя бы с Усть-Невинской — в районе это самая северная станица. Значит, так: в понедельник курсы работают в Усть-Невинской, во вторник — в Родниковской, в среду — в Белой Мечети, в четверг — в Яман-Джалге, в пятницу — в Краснокаменской, а в субботу — в Рощенской... Таким образом, за шесть дней ты переезжаешь по кругу весь район. Воскресенье дается тебе на отдых и на возвращение из Рощенской снова в Усть-Невинскую, где ты в понедельник с новыми силами начинаешь ту же поездку. Ездить ты будешь на коне. Я уже договорился с Иваном Атамановым, он подберет на своем конзаводе для тебя хорошего скакуна с седлом и даже с буркой.

— Так вот почему, думая о своей новой работе, я часто видел себя не в кабинете, а на коне,— мечтательно проговорил Виктор, а потом резко встал.— Хорошо, Сережа, давай коня, седло, бурку, буду ездить по кругу... А сейчас я хочу спать... Еще раз благодарю «волшебницу»,— и он крепко пожал Ирине руку,— пойду спать... Очень хочу спать!

Виктор ушел, пообещав завтра зайти в исполком, чтобы детально поговорить об открытии курсов. Когда за ним закрылась дверь и через короткое время послышался скрип калитки, Ирина подошла к Сергею, задумчиво посмотрела ему в глаза и сказала:

— Сережа, а мне его жалко... Какой-то он стал странный... Что-то в нем изменилось.

— Изменилось — это верно, и перемена эта к лучшему,— таким он мне очень нравится. Ты заметила — он уже думает, рассуждает, у него заговорила совесть, а главное — теперь он уже не дерет нос... Нет, Витька молодец! — воскликнул Сергей.— Триста человек курсантов! Да где же, в какое другое время здесь это делалось? Триста человек изучают электричество? И кто их обучает? Молодой инженер-электрик Виктор Грачев

из Усть-Невинской... Да я тебе скажу, что этот наш Виктор еще и сам не понимает, какой геройский подвиг он совершает...

— Сережа, а как ты думаешь: Соню он любит? — лицо Ирины, пополневшее, с темными пятнами на верхней губе, расплылось в доверчивой улыбке.

— Любит или не любит — не знаю, это не суть важно. Я знаю и твердо знаю: с понедельника откроются курсы в шести станицах — и этому радуюсь.— Сергей сел на диван и усадил подле себя Ирину.— Оставим Виктора и поговорим о тебе... Должен сообщить тебе одну очень важную новость.

— Нет, погоди, новость потом,— перебила Ирина.— Учебники достал?

— Не смог,— угрюмо проговорил Сергей.— Я даже себе в книжку записал, заходил в школу, в районо и нигде ничего нет.

— А как же без учебников?

— Будут, но не сразу,— уверил Сергей и, приглаживая на голове волосы сильно растопыренной рукой, сказал: — А новости такие. Было у меня короткое совещание. Говорили о том, чтобы быстрее установить на фермах закупленную аппаратуру. Нужна помощь специалистов, и вот Прохор Ненашев предложил послать бригаду электриков. Его поддержали... В чем беда с этими установками,— пояснил Сергей, как бы боясь того, что Ирина не поймет его, зачем нужно посылать помощь,— нужно установить электромоторы, которые нагнетали бы воздух... На совещании высказали такое пожелание — ехать Прохору и тебе... Видишь, какая новость... Поедешь?

— Поеду,— смело ответила Ирина.— А куда?

— В «Красный кавалерист», в «Светлый путь» и еще во «Власть Советов». Вот в этих колхозах большая неуправка.

— Когда же выезжать?

— Хоть завтра.

— О! Мы с дядей Прохором наведем порядки,— Ирина встала и подошла к полочке с книгами.— Кажется, я видела здесь брошюру по механизации ферм, она бы нам пригодилась.

Ирина просматривала книгу, а Сергей смотрел на нее и опять, как уже много раз, замечал в ее внешности какую-то странную, непривычную для него перемену. Он хорошо понимал, что причиной тут является не платье с крупными белыми и синими клеточками, нарочно сшитое с напуском спереди и с широкими боками, а сама беременность; она развивалась нормально и была в такой поре, когда молодая женщина расцветает от своего внутреннего счастья и бывает красива именно потому, что готовится стать матерью. Эта особенная красота пришла как-то сразу, и от прежней Ирины почти ничего не осталось. Она стала и полнее и выше ростом; походка ее была мягкая, движения осторожные; лицо подобрело, налилось здоровьем, хотя кое-где на нем и лежали темные метки. Сергей внимательно всматривался в жену, и его ласковые глаза спрашивали: «Почему ты такая?.. Вижу, и пополнела, и похорошела, и самочувствие у тебя отличное; но, может быть, все же следует поберечься; может быть, уже нельзя тебе ездить по району?»

— И чего ты так смотришь? — спросила Ирина, подходя с брошюрой.— Или не узнаешь?

— Узнаю,— улыбаясь, ответил Сергей,— но ты каждый день все меняешься.

— И буду меняться,— счастливо смеясь, ответила Ирина и села на диван.— Сережа, вчера я была на консультации... Врач — женщина, такая внимательная. Так вот, она мне очень советует находиться постоянно в движении... Так что эта поездка даже на пользу.

— Я тоже так считаю,— смущенно проговорил Сергей, беря из рук жены брошюру.— А ну, посмотрим, что тут пишут о механизации ферм.

И они склонились над раскрытыми листами.

III

Прошла неделя, давно уже установилась погода, дни стояли тихие и солнечные. За это время успели просохнуть поля и укататься дороги, а Ирина и Прохор все еще находились в Усть-Невинской — не на чем было

выехать. Стефан Петрович Рагулин, уже злой оттого, что Прохор надолго уезжал из колхоза, лошадей не дал и заявил, что пусть те, кто нуждается в помощи усть-невинских электриков, сами и присылают своих лошадей с тачанкой. В колхозах имени Кочубея и имени Ворошилова, как на беду, все выездные лошади были в разгоне. Прохор пошел с жалобой в стансовет, показывал свое командировочное удостоверение за подписью Тутаринова и требовал лошадей. Затем начал звонить в райисполком, и, наконец, все хлопоты кончились тем, что Савва вызвал к себе в кабинет Дорофея и сказал:

— Запрягай... Отвезешь в «Светлый путь» наших электриков и сразу возвращайся — повезешь агрономов на лесополосу.

Кто хотя бы немного знает Дорофея, этого молодцеватого стансоветского кучера, тот, разумеется, и без наших пояснений поймет, что означали для него даже не вся фраза, сказанная Саввой, а только два слова: «запрягай» и «отвези»... Для Дорофея, привыкшего быть исполнительным, слова эти имели такой же определенный и точный смысл, как, скажем, дважды два — четыре; поэтому не прошло и получаса, как тачанка, покачивая наших электриков, лихо гремела по сухой дороге прямым курсом на закубанский колхоз «Светлый путь».

IV

По-своему хороша бывает кубанская степь даже в пору увядания. Лето давно ушло. Нигде уже не лежат цветы, и поля не радуют вас пестротой красок; не слышно звуков машин, людского говора, цокота бричек, и не разливаются, как бывало летом, птичьи голоса; вся степь стала по-осеннему тихой и просторной, и куда ни взгляни, повсюду увидишь все ту же знакомую печать довольства и покоя.

Обычно только в дождливую погоду вид степи бывает мрачным и неприветливым,— ничто тогда не манит и не ласкает взгляд... Зато в такой ясный день, какой выдался сегодня, низкое небо с утра было окрашено в нежнейшие синие тона, а солнце светило хотя и не

жарко, но щедро,— степь ожила и сделалась нарядной и красивой. Чего, например, стоил один вид озими: зеленые краски, чуть поблескивая, разливались от горизонта к горизонту; а каким пламенем вспыхивали на солнце далекие изгибы Кубани; а какими нарядными казались за Кубанью кустарники и лески,— багряно-красные, они кострами горели по всему закубанскому взгорью...

А взгляните на приметы «бабьего лета»; неведомо откуда взявшись, в воздухе заблестело такое обилие «летучего шелка», что он рябил в глазах. Тончайшие нити летели во все стороны, исписав все небо, и цеплялись ко всему, что встречалось им на пути; там, близ дороги, они опутали высоченный, старый и сухой татарник, и он белел, точно укрытый парашютом; там паутинки облепили копну сена,— издали казалось, что она осыпана инеем; там, смотришь, низко над землей пролетела ворона и на ее прижатых к хвосту матово-черных лапках развеваются белые ленточки; там, плавно опускаясь на землю, паутина цеплялась лошадям за гривы, на козырек тачанки и даже Дорофею за ухо...

— Дядя Прохор, вот вы человек пожилой,— как всегда рассудительно заговорил Дорофей, поймав кнутовищем довольно толстую паутину,— поясните мне: отчего эти липучки летают и где они берутся?

Прохор кашлянул, снял двумя пальцами со своих усов паутинку, подул на нее, потом взглянул на веселую Ирину и тогда уже с достоинством проговорил:

— Отчего оно летает и где оно берется? Где берется — не могу сказать,— может, его на небе какой святой прядет, не знаю... А вот ежели рассмотреть теоретически, то в народе оно зовется «бабье лето». А почему так зовется? Стало быть, по той причине, что, по старорежимному понятию, нашим бабам завсегда доставался самый краюшек лета... А почему такое было? Несправедливость существовала при царском режиме,— бабам житуха была горькая... А еще скажу: в народе эта паутина зовется тенетник, а ежели этого самого тенетника в небе много, жди ясную погоду... Примета верная! Старые люди так и говорили: тенетник на ус садится — будет тепло...

— И откуда вы, Прохор Афанасьевич, всю эту научность знаете? — искренне восторгался Дорофей ответом Прохора.

А Прохор, делая вид, что такая откровенная похвала кучера мало его трогает, поглаживал усы и скупо усмехался; тут неожиданно на ус ему прилипла паутинка, он смачно сплюнул и вытер рукавом губы.

— Поживешь с мое, Дорофей,— еще более узнаешь,— сказал он, скатывая в пальцах мокрую паутинку.

Ирина в разговор не вмешивалась,— она любовалась видом долины, по которой текла Кубань, и теми кустарниками, которые пламенели вдали. А Дорофей, решив вволю поговорить с Прохором, уже привязал вожжи к ноге чуть ниже колена, дал лошадям свободу и, полуобернувшись к заднему сиденью, вынул кисет, набитый махоркой.

— Дядя Прохор,— заговорил он, когда они уже закурили и махорка весело потрескивала, а над головами таял дымок,— а вы не сможете ответить мне еще на один вопрос?

— Спрашивай, ежели смогу — отвечу.

Прохор откинулся на спинку сиденья и с гордой улыбкой посмотрел на Ирину, и его маленькие, затянутые в морщинки глаза, точно спрашивали: «А ты, молодка, чего молчишь? Спрашивай и ты, Прохор ответит на любые вопросы...»

— Этот мой вопрос, можно сказать, политический,— продолжал Дорофей, натягивая ногой вожжи и этим давая знать лошадям о себе.— Повсюду говорят и в газетах пишут, что социализм мы построили, но что этой жизни для человека опять недостаточно, а потому надо итти вперед и строить коммунизм... И мы его, как я уверенно понимаю, строим,— это мне не надо пояснять, я сам все вижу.

— Тогда что ж тебе еще пояснять? — Прохор развел руками и посмотрел на Ирину, как бы ища у нее сочувствия.— Ты ж комсомолец?

— Недавно вступил.

— Так вот ты, как молодой комсомолец,— поучал

Прохор,— и обязан твердо знать, что коммунизм мы строим и построим... Вот тебе и весь ответ! — и Прохор, поглядывая то на Дорофея, то на Ирину, самодовольно усмехался.

— Да не в том цель моего вопроса,— заговорил Дорофей, счищая пальцем шелушинки на своем шишкастом носу.— Что мы построим — это я тоже знаю. А как в нем жить будем? Вот что я хочу знать...

— Ишь ты, какой вопрос придумал! — Прохор опять взглядом просил у Ирины сочувствия.— А зачем тебе об этом знать?

— Хочу заранее все уяснить.

— Отвечу... Жить будем хорошо — это же ясно!

— А разве мы зараз плохо живем?

— Неплохо, а что ж из этого? Люди хотят жить еще лучше.

— А как это «еще лучше»? — допытывался Дорофей.— Я думаю, думаю: как же это — еще лучше,— а придумать не могу.

— Пойди, лектора послушай,— сдерживая улыбку, посоветовал Прохор.

— Слушал... А лектор тоже говорит, что надо строить новую жизнь, а какой эта наша жизнь будет на практике — не говорит... А я хочу знать: как мы тогда жить будем?

— И чего ты пристал: жить да жить! — Теперь уже Прохор не мог скрыть своего недовольства такими назойливыми вопросами.— Тебе же сказано, что жить будем самым наилучшим образом — чего ж еще? И чему вас там в комсомоле учат...

— Прохор Афанасьевич,— заговорила Ирина, желая смягчить гнев старика,— а вы расскажите Дорофею о той высокой технике. Помните, Грачев рассказывал...

— А что кучер смыслит в технике? Ему кнут да вожжу давай... При коммунизме, Дорофей, все будут делать машины... А ты технику изучаешь? Молчишь? А разные вопросы задаешь...

После этого Прохор умолк и, склонившись набок, стал внимательно смотреть на серую бровку дороги.

Дорофей, оставшись недовольным таким ответом, уже больше не спрашивал; он поудобнее уселся на козлах, натянул вожжи, показал кнут, присвистнул, и тачанка снова закачалась на мягких рессорах.

Лениво помахивая кнутом, Дорофей то и дело посматривал на Прохора, при этом глаза у кучера блестели, и с его толстых губ так и хотели спорхнуть какие-то слова; надо было ожидать, что вот-вот возобновится прерванный разговор, но тут тачанка поднялась на пригорок, и взору кучера и пассажиров предстало нечто такое, чего они никак не ждали увидеть в этой блекло-серой, обезлюдевшей степи...

Перед ними, немного правее от дороги, вырос всем хорошо известный Качкачев курган,— старик чуял зиму и уже покрылся седым ковылем и толстым слоем, как войлоком, слежавшейся травы. Этот высокий могильник с лысой и плоской, как стол, вершиной, издавна служил обозначением границы между землями станиц Усть-Невинской и Родниковской, и к его подножью подходили лишь пастухи, да и то редко. Теперь же возле Качкачева кургана почему-то собралось много народа,— мужчины были кто в бурке и в башлыке, кто в потертой армейской шинели и в кубанке с синим или красным верхом; женщины в полушубках и в ватниках, повязанные белыми теплыми шалями; стояли машины,— тут и грузовые и легковые, тачанки, линейки, разномастные лошади под седлами,— все это напоминало собой лагерь какой-то весьма важной экспедиции. На вершине Качкачева кургана несколько человек, стоя на коленях, что-то рассматривали на раскинутой, величиной со скатерть, карте; в сторонке от той группы стояли двое в бурках,— один высокий, очень похожий на полководца гражданской войны, каких рисуют на картинах, что-то рассматривал в бинокль.

Ирина смотрела в сторону Качкачева кургана и улыбалась,— она их узнала: тот, кто держал у глаз бинокль и напоминал собой полководца, был Николай Петрович Кондратьев, а стоял с ним рядом Сергей... Вот Сергей жестом позвал кого-то снизу, и в ту же минуту на курган побежал, спотыкаясь о траву, падая и снова быстро подымаясь, стройный парень в шинели

и в кубанке с красным верхом. Кондратьев, не отрывая бинокля от глаз и куда-то показывая рукой, что-то сказал парню, и тот, придерживая кубанку, стремглав помчался вниз. Он с разбегу вскочил в седло и погнал коня галопом. Вскоре к Кондратьеву подошли те, кто стояли на коленях у карты, развернули ее перед ним, держа на руках... В той же стороне, куда ускакал парень с каким-то донесением, маячили вехи с пучками соломы на шпиле, двигалась по полю линейка, а чуть дальше двое подростков тянули рулетку,— стальная лента, блестя на солнце, змеей извивалась по стерне.

— А сколько людей! Да верховые! — первым нарушил молчание Дорофей и, виновато улыбаясь, обратился к Прохору.— Дядя Прохор, а что они такое делают?

— Ага! Опять — дядя Прохор? — переспросил Прохор и нарочно промолчал, помял усы, кашлянул.— Знать, без Прохора ничего не смыслишь? А Прохор все знает, и могу тебе в точности ответить: это агрономы со всего района степь планируют... Понятно?

— А для чего же ее планировать? — спрашивал Дорофей, любуясь и лагерем, и подскакавшим к кургану всадником.

— А для того,— все так же гордо отвечал Прохор,— чтоб вся степь имела севооборот с травами и с черными парами...

— Севообороты, Прохор Афанасьевич, еще не все,— вмешалась в разговор Ирина, не сводя глаз с вершины кургана и видя там одного лишь Сергея в широченной бурке и в кубанке с синим верхом.— Главное — показать будущие полезащитные полосы. Видите эти вехи? А еще мне Сергей говорил, что как раз через этот Качкачев курган пройдет главная лесная линия — та, что идет от Сталинграда... Вот они тут все и размеряют.

— Леса-то само собой,— буркнул Прохор,— а севооборот тоже важно.

В это время они поровнялись с курганом, и Сергей, узнав Ирину и Прохора, приветливо помахал им кубанкой и потом еще долго смотрел вслед удалявшейся тачанке.

V

Библиотека колхоза «Красный кавалерист» находилась в том же доме правления, только на первом этаже — рядом с комнатой партбюро. Ее книжный фонд еще не исчислялся десятками тысяч томов, она существовала всего только второй год, и в ней пока что были собраны лишь последние новинки,— это были книги и брошюры, большей частью написанные и изданные уже после войны, и если бы потребовалось какое-нибудь образное сравнение, то можно было смело сказать: колхозная библиотека была такая же молодая, как и ее хозяйка Лида Чебанюк, девушка собой миловидная, но до крайности скромная; она недавно приехала в свой колхоз с дипломом Ессентукского библиотечного техникума.

Лида Чебанюк любила книги какой-то особенной, я бы сказал — чисто профессиональной любовью, ибо испытывала наслаждение и удовольствие не столько в самом чтении книг, сколько в том, чтобы подержать их в руках, прочитать вслух фамилию автора, посмотреть год издания и выходные данные — кто редактор, в какой типографии отпечатана, какой тираж; затем записать на титуле инвентарный номер, поставить на полку именно в том месте, где этой книге и надлежало стоять; выдать читателю, а потом принять от читателя, при этом ласково спросить у него — нравится ли ему эта книга или не нравится, и ответ записать в тетрадь...

Лиде казалось, что быть библиотекарем суждено далеко не каждому, а тем более в своем колхозе, где и ты всех знаешь, и тебя все знают с детских лет, и теперь приходят за книгами читатели, смотрят на тебя с чувством глубокого уважения и, наверное, думают: «Вот тебе и Лидочка Чебанюк, все мы ее помним,— была такая щупленькая девчушка, а погляди ты на нее, как здорово книгами ворочает, сколько у нее этих книг, и все она читала...»

В этот день первый в библиотеку вошел Антон Антонович Бородулин, и Лида улыбнулась ему. А почему улыбнулась? Да потому, что знала Антона Антоновича очень хорошо, еще с тех пор, как однажды зимой она

шла из школы, а дядя Антон тащил салазки; Лида не хотела, а он силой посадил ее в салазки и привез прямо ко двору; знала даже, что у него ровный и красивый почерк, что все протоколы заседания правления и общего собрания написаны этим почерком...

У порога Антон Антонович снял запотевшее пенсне, и Лида заметила на переносье вдавленный синеватый след. «Там, наверное, и мозоль выросла»,— подумала она, и ее большие серые глаза смеялись...

Антон Антонович принес книгу «Алитет уходит в горы», тут же, не дожидаясь расспросов, высказал о ней самый похвальный отзыв, даже изъявил желание побывать на Севере. Он охотно разговаривал и был учтиво-любезен, сказал, что ему хочется прочитать что-нибудь увлекательное, и выбрал «Остров сокровищ». Затем, собираясь уходить, он не спеша и старательно протер платочком стеклышки, приложил их к носу, и они тотчас цепко прилипли к переносью...

Вторым посетителем был Игнат Савельевич Хворостянкин. Он вошел твердым и смелым шагом,— так обычно входил в свой кабинет или в кладовую. Придирчиво-строгим взглядом посмотрел на полки и на шкафы с книгами, как бы хотел убедиться, все ли здесь стоит на месте; так же строго осмотрел стены, как будто желал узнать, правильно ли развешаны плакаты и портреты... Лиду удивило не то, что Игнат Савельевич так внимательно все осматривал, и не то, что председатель еще никогда не был в библиотеке, а то, что пришел он так рано и принес какие-то две книги.

«Книги из библиотеки — это я вижу, но как они к нему попали?» — с тревогой думала Лида и все же встретила Хворостянкина своей девичье-скромной улыбкой.

— Лидия Борисовна,— начал Хворостянкин, задумчиво поглаживая усы,— как оно работается? Может, есть какие жалобы? Или нужна помощь?

— Все хорошо, Игнат Савельевич,— отвечала Лида,— и жалоб никаких нет.

— Добре, добре... А может, литературы маловато?

— Да, это верно, книг у нас еще мало.

— А можно сделать так, что их будет больше?.

— Если бы правление помогло.

— Напиши мне лично.— Хворостянкин помолчал, пожевал кончик уса.— Напиши просьбу лично на мое имя — поможем. Есть у нас кое-какой фонд... Тебя командируем в Ставрополь — закупишь книги. Без книг нынче жить нельзя.

— Это верно, Игнат Савельевич,— отвечала Лида, и ее большие серые глаза блестели от счастья.— В техникуме директор нам всегда говорил, что увеличение книжного фонда...

— Меня вот директор хотя и не обучал, но я и сам знаю,— продолжал Хворостянкин,— я хотя на библиотекаря не учился, а с партийной линии все понимаю.— Он положил на столик книги.— Возвращаю с благодарностью романы — Тургенева «Отцы и дети» и Лермонтова «Герой нашего времени».

— Ну как, Игнат Савельевич, понравились вам эти книги? — ласковым голосом спросила Лида.

— Как тебе сказать? — на лбу у Хворостянкина появились морщины, правая бровь приподнялась.— Конечно, художественность в них имеется, а так же, сказать, всякие любовные романы — тоже все как полагается... А только лично мне, как руководителю, такая литература не подходит. Мне дай такое, чтобы в один раз подковать себя можно было... А разве разными любовными романами себя подкуешь? Вот ты, Лидия Борисовна, подбери мне такую книжку, чтоб там большевистская идейность была и чтоб можно было поучиться...

— Игнат Савельевич, а вы читали «Кочубея»?

— «Кочубея» давай! Это как раз мне подойдет.

— Игнат Савельевич, а откуда у вас эти две книги? — спросила Лида, когда записала и вручила Хворостянкину «Кочубея».— Вы ж у меня их не брали.

— Верно, не брал,— Хворостянкин рассмеялся.— То мне их одна женщина дала... А вот и она, Татьяна Николаевна... Да ты напиши, прямо на мое имя напиши насчет литературы.

Лида обрадованно кивнула головой, а Хворостянкин уже протянул сильную руку с широкой ладонью, поздоровался с Татьяной и, весело скосив плутоватые глаза, говорил:

— Литературы у нас маловато, так вот мы с Лидией Борисовной обсуждали, как бы это дело поправить... Как по-твоему, Татьяна Николаевна, если мы весь наш культфонд истратим на литературу?

Вместо ответа, Татьяна с улыбкой посмотрела на Хворостянкина и спросила:

— Принес книги?

— Принес... А что ж? И еще взял «Кочубея»...

— А эти прочитал?

— А то как же! — бойко ответил Хворостянкин.

— Что-то очень быстро...

— Да я же всю ночь читаю... Жена спит, а я читаю.

После этого Хворостянкин и дергал усом и моргал, как заговорщик, видимо хотел этим что-то сказать Татьяне, а та, как на грех, или ничего не могла понять или не хотела и продолжала расспрашивать о прочитанных книгах. Тогда Хворостянкин быстро вышел в коридор и позвал Татьяну таким властным голосом, точно их ждало какое-то неотложное дело. Когда она вышла, Хворостянкин указал на лестницу. Они молча поднялись наверх и вошли в кабинет.

— Ох, и беда ж с тобой, Татьяна Николаевна! — со стоном вырвалось у Хворостянкина.— Ну что ты есть за женщина? Никакой у тебя логики нету... Татьяна Николаевна, ты ж меня не то что не жалеешь, а прямо-таки не щадишь, извини за выражение, заживо угробляешь...

— Да что такое? — спросила Татьяна, догадываясь и не в силах сдержать улыбку.— Что случилось?

— И чего ты задумала перед этой девчушкой меня в стыд вводить! — почти крикнул Хворостянкин.— Она хоть и техникум прошла, а кто такая эта Чебанюк и кто есть я? Ну, почему ты это завсегда забываешь?

— А-а... Вот ты о чем! — Татьяна рассмеялась и подошла к окну, а для Хворостянкина ее смех был острее бритвы.— Сам же виноват... Дал мне слово, а не читал... Ведь так же, Игнат Савельевич?

— И не буду читать эти романы.

— Почему?

— Ты хочешь знать, почему? Взяла надо мною верх и теперь требуешь? — Хворостянкин сел за стол, тяжело откинулся на спинку стула.— Так я зараз отвечу...

Скажи по совести: какая от тех книг польза лично для меня, как руководителя? Что в них поучительного лично для меня, как председателя крупнейшего колхоза? У меня, ты же знаешь, какой размах в работе, какими планами я ворочаю, какое хозяйство лежит на моих плечах, а ты заставляешь читать про то, как жили помещики при царизме, как они на курорты приезжали да влюблялись от нечего делать. Меня лично это мало интересует... Мне идейность нужна!

— Игнат Савельевич, кого ты обманываешь? — Татьяна повернулась спиной к окну, оперлась руками о подоконник, и ее стройная фигура, освещенная сзади, показалась Хворостянкину строгой и величественной.— Себя же обманываешь... Я просила прочитать «Поднятую целину», ты взял, обещал и не прочитал под тем предлогом, что, дескать, сам строил колхозы и все это тебе известно... Попросил романы великих русских писателей — я это желание удовлетворила... А что получилось? Не читал, обманул... Обещал показать конспекты по истории партии, а где они? Не показал! Обманул! — Она подошла к столу и тихонько постучала ногтем о толстое стекло, а у Хворостянкина от этого стука звенело в висках и за воротником проступил пот.— Так дальше, Игнат Савельевич, продолжаться не может. Мне уже надоело говорить о тебе и на бюро и на общем собрании. В райком я жаловаться не буду, а вот мое тебе последнее мирное слово: либо завтра ты принесешь конспекты, чтобы я увидела, как ты учишься, и начнешь читать самым честным образом те книги, которые я буду тебе рекомендовать, либо я высмею тебя не только перед Лидой Чебанюк, а перед всем районом. Даю честное слово, Игнат Савельевич, напишу о тебе в газету такую злую статью, что всю жизнь будешь помнить...

— Пиши, Стегачев охотно напечатает,— пробурчал Хворостянкин.

— А я пошлю эту статью не Стегачеву, а в краевую газету.— Татьяна снова застучала ногтем о стекло, а Хворостянкин еще ниже наклонил голову.— Пусть по всему краю узнают, какой ты есть председатель...

Она нарочно не досказала и быстро, в упор, посмотрела в глаза вспотевшему и покрасневшему Хворостян-

кину, как бы желая без слов, во взгляде его, увидеть: и почему ему так жарко, и есть ли у него еще хоть капля совести, и понимает ли он, какая это будет статья... Под взглядом Татьяны его могучая фигура с широкими плечами наклонилась к столу; он, точно желая укрыться от удара, голову опустил на грудь, а усатое и бровастое лицо из красного сделалось пепельно-серым.

— Погоди в газету писать,— проговорил Хворостянкин и встал, но поднять глаза боялся.— Не щадишь ты меня, Татьяна... Тяжело, понимаешь, тяжело... и через то кипит у меня тут! — Он сильно размахнулся кулаком, но к груди приложил его тихонько и мягко.— Ежели б кто другой такое со мной творил, я бы ему показал... А с тобой не могу... И не боюсь я тебя, а не могу... И ты погоди писать... До весны погоди... и конспекты будут... Я сдержу свое слово...

— А от курсов увиливать тоже перестанешь?

— Эх, опять ты свое! — Хворостянкин вытер лоб кулаком.— Сказал же! Чего ж еще?

— Хорошо, в последний раз поверю на слово...— Татьяна подсела к Хворостянкину.— А теперь давай поговорим о молочной ферме. Как тебе известно, второй день у нас на ферме находятся электрики из Усть-Невинской, а делать им нечего: нету провода. Наряды ты получил, и нужно сегодня выслать подводу...

Хворостянкин хмурился, сопел и что-то записывал на листке бумаги; забывшись, он по привычке откинулся на спинку стула, потянулся к тому месту, где были устроены кнопки сигнализации, и тотчас отдернул руку, точно она прикоснулась к чему-то горячему. А Татьяна, видя все это, смотрела на Хворостянкина, и в ее молодых глазах играли веселые искорки.

VI

После короткой, но теперь уже дружеской беседы о всяких текущих делах в колхозе, Хворостянкин, приятно улыбаясь и подпушивая усы, пообещал сегодня же послать подводу за электропроводом и даже любезно проводил Татьяну до порога... Когда же дверь

закрылась, он тяжелым шагом снова подошел к столу и, грузно усевшись на стул, развернул книгу, смотрел в нее, но читать не мог.

«Так-то, Игнат Савельевич, кажись, она тебя совсем заарканила,— думал он, кривя в улыбке губы.— Придется подчиниться... И хоть я еще не знаю, лучше после этого мне будет или хуже, а вижу — надо подчиниться...»

В это время Татьяна, тихонько напевая песенку, в хорошем настроении спускалась по лестнице. Ее доброе, мягкое сердце давно отошло, и ей казалось,— нет, теперь уже не казалось, а глубоко верилось,— что только на этот раз Хворостянкин понял ее так, как она давно того хотела, и что теперь-то, наконец, в характере его произойдет желанная перемена. Пройдет еще немного времени — и Татьяна с гордостью скажет Кондратьеву: «Вот видите, Николай Петрович, как у нас хорошо обернулось дело!»

Ей хотелось закрыться в комнате партбюро и одной все обдумать, записать кое-какие мысли в свою тетрадь, но в коридоре она неожиданно встретила Григория Мостового, и все ее веселое настроение разом куда-то исчезло.

Григорий только что вышел из библиотеки со стопкой книг — они были перевязаны пояском. Он первый заметил Татьяну и растерянно остановился, краснея и, видимо, не зная, как ему быть: спрятаться ли снова в комнату Лиды Чебанюк, стоять ли вот так, пока Татьяна пройдет, или же самому подойти к ней и заговорить? Одет он был несколько странно — не по-домашнему и не по-степному: большие сапоги, сухие и серые от пыли, комбинезон с нашивными карманами, которые были уже до блеска замаслены, говорили, что Григорий находился в поле и пришел в станицу за книгами; а вот его серая, совсем еще новенькая кубанка,— та самая с серебряными галунами кубанка из мельчайшего курпея, которая нравилась не только ему, но и Татьяне, и которую он надевал только по праздникам,— доказывала, что Григорий был дома и пришел сюда нарочно, не иначе, чтобы повидаться с Татьяной...

Все еще не решаясь сойти с места, Григорий лихо

сбил на затылок кубанку, и ему на лоб так же, как и в ту ночь, когда он пьяный спал на диване, упал белесый, под цвет курпея, чуб. От этого у Татьяны снова защемило сердце, и ей вспомнилось то утро... Он тогда поднялся злой, с воспаленно-красными глазами, и, ничего другого не говоря, стал проклинать и свою жизнь и Стегачева. Татьяна не слушала, а молча отворила в сенцы дверь и негромко сказала: «Не бурчи, не кляни себя, а иди, иди, и чтобы я тебя больше таким противным не видела!» Он ушел, продолжая ругать Стегачева: «Он тебе дороже... Тянешься к нему, заезжаешь... Я еще побываю у него, поговорю с ним...»

Вот и тогда так же болело ее сердце и к горлу подкатывался такой же острый комок. В то утро она еще долго стояла у раскрытых дверей, смотрела ему вслед и за слезами ничего не видела.

«Как же все это больно и противно,— думала она, провожая взглядом Григория.— Нет, видно, не найти мне такого, каким был у меня Андрей... Андрюша, Андрюша, где ж ты теперь?...»

— Привет, Татьяна Николаевна! — сказал Григорий, переступая с ноги на ногу.— А я только сейчас из бригады,— добавил он, точно оправдываясь.— Мои машины распахивают землю под лесные посадки, начали от Качкачева кургана. А я пришел за книгами для рулевых... Читают хлопцы все подряд.

— А сам ты что читаешь? — спросила Татьяна.

Григорий подошел к ней, пристально и как-то жалостно посмотрел ей в глаза и сказал:

— Читал я, Танюша, одну книгу... Читал, читал, а понять ее так и не смог... И вот сейчас смотрю на нее...

— А-а! Вот ты о какой книге,— перебила Татьяна и хотела улыбнуться так, как всегда она ему улыбалась, но сдержалась и только прикусила нижнюю губу.— Говоришь, читал книгу и не смог понять? Нет, Григорий, ты ее не читал, а только перелистывал... Эх, видно, не умеешь ты читать хорошие книги, вот что я тебе скажу.

Она с гордой усмешкой взглянула на Григория и быстрыми шагами пошла в комнату партийного бюро. Григорий молча поплелся следом за ней.

Татьяна остановилась у стола. Не оборачиваясь и не видя Григория, но чувствуя на себе его умоляюще-ласковый взгляд, она выпрямила свою стройную спину и так, не поворачиваясь, продолжала стоять.

— Значит, читал-читал, а понять так ничего и не смог? — с усмешкой спросила она, глядя в окно и видя по ту сторону улицы школу и игравших во дворе детей.— Видно, не для тебя она написана, вот и не понял...

— Танюша, не надо смеяться.

После этих слов Григорий осторожно подошел к Татьяне и легонько, одними лишь пальцами, прикоснулся к ней; она и тут не обернулась и ничего не сказала, хотя ей и хотелось и обернуться и заговорить; как бы преодолевая это желание, вся она, а особенно ее плечи так сердито вздрогнули, что Григорий снова отступил назад, и эта дрожь ее тела как бы говорила ему: «Не смей даже подходить ко мне!»

— А я не шучу... Твое поведение в ту ночь...

— Танюша, понимаешь, не мог... Когда мне сказали, что ты отправила машину с людьми домой, а сама пошла со Стегачевым... даже, говорили, под ручку пошла, я точно сбесился... Всю дорогу меня лихорадка била...

— Пусть бы била, а зачем же напился?

— Разве я тогда что-нибудь соображал? Ты же знаешь, как я люблю...

— Люблю? — Татьяна горестно рассмеялась.— Так, Гриша, не любят.

Она села на стул и не взглянула на Григория, а продолжала любоваться детской беготней, как бы прислушиваясь к их разноголосому крику.

— Поговорим, Гриша, всерьез,— сказала она, точно обращаясь к тому учителю, который только что вышел из школы и тоже залюбовался детьми.— Что случилось? Ты напился пьяный и оскорбил меня, еще не будучи моим мужем. А что же можно ожидать от тебя, если бы и вправду случилось нам быть мужем и женой? Да это была бы мука, а не жизнь...Стыда не обобраться. Пойми, Григорий, что я уже знаю, что такое по-настоящему хороший муж: он у меня был... Боюсь, что такого второго уже не будет, и это меня печалит.

— Я смогу быть таким, верь, Танюша.

Теперь она оторвалась от окна и посмотрела на Григория, через силу улыбнулась, облизывая засохшие губы; глаза ее вдруг заблестели, видно было, что она хотела что-то сказать, но в эту минуту — и надо же было тому случиться! — вошел Илья Стегачев. Григорий метнул на Татьяну укоряющий взгляд, как бы говоря: «А, вот он, тот, кого ты ждала!» — и, споткнувшись о порог, выскочил из комнаты.

— Извиняюсь, кажется, помешал? — сказал Илья таким восторженным голосом, точно как раз и был этому рад, и его горбоносое лицо, покрываясь мелкими морщинками, расплылось в добродушной улыбке.

— Не печалься, Илья Васильевич,— в тон ему отвечала Татьяна.— Редактор — всюду желанный гость.

— А если не редактор?

Татьяна, предлагая гостю стул, промолчала и посмотрела в окно на уже опустевший и тихий двор школы.

— Татьяна Николаевна, мне кажется, что мы не виделись целый год,— заговорил Илья, продолжая радостно улыбаться, и морщинки на его худом лице то появлялись, то исчезали.— И в этом ты повинна.

— Почему же я?

— Мне побывать в Родниковской не доводилось, а ты приезжала сколько раз в Рощенскую, а в редакцию не заходила.

— Все как-то не было свободного времени.

— Обманываешь... Тут дело, как я понимаю, не во времени.

— А в чем же?

Татьяна смотрела в окно и видела, как из широких дверей школы вышла женщина, на минутку остановилась, расстегнула сумку, мельком, как бы кого-то боясь, посмотрела в зеркальце и быстрыми шагами вышла на улицу.

— Лучше скажи мне правду: выходишь замуж?

— И не выхожу и не думаю,— сказала Татьяна и подошла к Илье.— Ну, а теперь говори: по какому делу приехал?

— По какому делу?—понизив голос с грустью переспросил Илья.— Меня интересуют технические курсы.

— Что конкретно?

— Все.

— Пока что прошло только два занятия.

— Посещаемость? — Илья по привычке вынул записную книжку и, рисуя карандашом какой-то крючок, еще долго ничего не записывал.

— Хорошая... Даже в одном классе не помещаются...

— А как учится Хворостянкин?

— Почему тебя интересует именно Хворостянкин?

— О, тут, Татьяна Николаевна, есть важная причина! — снова восторженным голосом заговорил Илья, даже причмокнул языком.— Наклевывается интересный фельетон.

— Илюша, я прошу тебя этого не делать.

— Почему? Защищаешь?

— Нет, но писать пока не надо.

— Но он же не учится, а ты знаешь...

— Все знаю, а писать фельетон не следует.— Она взяла его за руку.— И почему ты такой...

— Какой? Договаривай!

— Все ищешь фельетоны.

— Такая у меня должность,— с улыбкой сказал Илья.

— А почему бы тебе не написать очерк о нашей агролаборатории? Там есть и хорошие люди и интересные опыты.

— Очерк тоже меня интересует, а без фельетона нельзя.— Он встал, потер руки и сказал: — Какая же газета без фельетона! А на Хворостянкина, скажу тебе по секрету, у меня давно рука чешется... Это же готовый тип — бери и пиши. И напишу. Посмотришь, очень будет ко времени.

— Илюша,— сказала Татьяна, ласково посмотрев на редактора,— ты меня хоть немного уважаешь?

— Мало сказать — уважаю, ты это знаешь.

— А все же покамест не пиши о Хворостянкине... Я тебя прошу.— И, желая перевести разговор на другую тему и зная, о чем надо поговорить с Ильей, она спросила: — Илюша, а как твоя повесть?

— Танюша, радуйся: закончил! — оживленно ответил Илья, очевидно сразу забыв о Хворостянкине.— Все

дописал и послал прямо в Союз писателей, пусть посмотрят и оценят. Там я и тебя немного описал.

— Да ну?! — воскликнула Татьяна.— И не прочитал?

— С удовольствием, если будешь слушать.— Илья расстегнул портфель.— Вот черновой экземпляр, я его всегда ношу с собой. Могу читать хоть все сразу.

Не успела Татьяна ответить, как отворилась дверь и в комнату вошел Прохор Ненашев, а за ним Ирина. Прохор снял шапку-ушанку, погладил лысину, протер слезившиеся глаза и сказал:

— Татьяна Николаевна, у нас все готово, остановка за проводом.

— Дядя Прохор, завтра провод будет,— сказала Татьяна и подошла к Ирине, с какой-то неуловимой, чисто женской завистью посмотрев на ее располневшую фигуру.— Иринушка, ну как наша ферма, нравится? — И тут же подумала: «Вот оно, наше женское счастье. Вся она такая спокойная, смотришь на нее — сердце радуется».

— Ферма-то хорошая,— сказала Ирина,— а вот с механизацией дело затянулось... Нам с дядей Прохором уезжать пора.

— Еще дня два побудьте у нас,— сказала Татьяна и обратилась к Стегачеву: — Илья Васильевич, а что если бы нам организовать читку твоей повести вечером, в клубе? Пусть бы все послушали, да и гости наши в этом приняли бы участие. Прохор Афанасьевич, вы очень любите громкую читку?

— Люблю всякую,— ответил Прохор,— и громкую и тихую...

— Если всем будет интересно послушать, я готов,— с чисто авторской гордостью проговорил Илья.

— Конечно, интересно,— проговорила Ирина, и по ее спокойному лицу было видно, что сказала она правду.

— Ну вот, мы так и порешим,— заключила Татьяна.— А теперь все пойдемте ко мне обедать.

Они вчетвером прошли по улице, завернули в переулок, и когда входили во двор со знакомым низеньким плетешком, Татьяна заметила на углу стоявшего Григория, и на сердце у нее снова защемило.

VII

Час был уже поздний, когда кончилось заседание бюро и Кондратьев, расправляя плечи и глубоко дыша, вышел из душного, накуренного кабинета.

«Да, все хорошо,— думал он, направляясь к дому по мокрому и скользкому тротуару,— и народ мы, кажется, во-время подняли и вопросы решаем важные, но заседаем подолгу и курим помногу...»

Станица давно спала, вдали слышался одинокий лай собаки. Ночь была сырая и холодная. Небо моросило и моросило, дождь пробивался сквозь мельчайшее сито; с юга тянуло зыбкой свежестью,— видимо, в горах уже выпал снег — в остуженном воздухе пахло молодым и близким морозцем.

Вдыхая полной грудью и ощущая знакомую боль в висках, Кондратьев подымал голову и поглядывал в сторону гор,— колючие, как льдинки, капельки приятно освежали лицо, проникали за воротник.

«Мы заседаем,— с улыбкой думал Кондратьев,— а зима нас не ждет, она вот, совсем близко... Как бы нам поспеть леса посадить до белых мух. Посплю часа два-три — и в поле...»

На рассвете, когда Кондратьев еще спал, а Наталья Павловна зажгла свет и начала собирать мужа в дорогу, под низкие дождевые тучи подплыл косматый туман и вся станица точно укрылась лохматой серой буркой. Наталья Павловна выходила из дому разузнать, какая погода, и видела размокшие улицы, голые сады, серые плетни и тяжело падающий на площадь дым из труб,— на всем, на что ни взгляни, лежала нерадостная печать поздней осени.

В калитку четким, почти строевым шагом вошел Алеша и, стуча каблуками, быстро поднялся в коридор. На нем были керзовые сапоги с железными подковами, совсем еще новенькая офицерская шинель, подтянутая широким ремнем, так что под него и палец не проденешь; через правое плечо лежала портупея, на голове кубанка, а за плечами висел не башлык, а раскинутое по ветру пламя.

— Наталья Павловна,— сказал Алеша молодым и

звонким голосом,— согласно приказанию, я уже подал машину... Как там Николай Петрович, на ногах?

— Алеша, и куда ты все торопишься? — заговорила Наталья Павловна, строго, как мать на непокорного сына, глядя на молодцевато подтянутого Алешу.— Погоди подавать машину, пусть еще малость поспит...

— Рад бы не беспокоить, а не могу,— почти отрапортовал Алеша.— Была команда подать машину,— и он отвернул край рукава шинели, посмотрел на часы.— Все точно, по команде...

— Алеша, и когда ты отвыкнешь от этих слов? — Наталья Павловна укоризненно покачала головой.— Ты ж находишься не при генерале... Теперь же ты помощник секретаря райкома, и язык у тебя должен быть чистый, красивый... А ты: «команда», «есть», «точно»... Да кто ж теперь так говорит?

— Так точно, теперь так не говорят! — отчеканивая каждое слово, весело ответил Алеша.— А я не могу: привычка! Так прикажете разбудить Николая Петровича?

— Обойдется и без приказа, сама разбужу,— сказала Наталья Павловна, направляясь в соседнюю комнату.

Спустя некоторое время из спальни следом за Натальей Павловной вышел и Кондратьев, на ходу застегивая подтяжки и устало щуря припухшие глаза. Кивком головы он поздоровался с Алешей,— тот ловко притронулся пальцем к курпею кубанки и звонко прищелкнул каблуками.

— Алеша приехал к тебе с командой,— сказала Наталья Павловна, наливая в таз теплой, заранее приготовленной воды.— Говорит была команда, буди — и все!

— Правильно,— сказал Кондратьев, одобрительно подмигнул Алеше,— так и надо... Алеша, ты все бумаги захватил? У меня в столе лежала карта лесных полос.

— И бумага и карта — все в машине,— ответил Алеша.— Советую, Николай Петрович, прихватить сапоги. В пути, да и на местности ожидается жуткая грязища!

— Возьмем и сапоги.

Перед зеркалом Кондратьев с удовольствием потянулся, потрепал взъерошенные волосы, разгладил у глаз морщинки. «С каждым днем не молодею, а старею, вот что обидно»,— подумал он и пошел умываться. Умывшись и вытирая лицо и шею, он опять остановился перед зеркалом, причесал мокрый, теперь уже мягкий седой чуб, затем надел гимнастерку и, застегивая пуговицы и подымая голову, сказал:

— Вот я и готов... Алеша, цепи на колесах есть?

— Так точно, достал вчера вечером. Думаю, что маршрут преодолеем успешно.

— Дело идет к зиме,— заговорила Наталья Павловна, готовя на стол чай.— Может, Николенька, и валенки положить?

— Нет, обойдусь без валенок,— смеясь, отвечал Кондратьев.— Алеша, садись с нами чай пить.

— Благодарю, с заправочкой у меня полный порядок! — И Алеша ударил ладонью о ремень.— Жена своевременно побеспокоилась — и чай пил и завтракал... Так что разрешите мне отбыть к машине.

Любуясь и выправкой и молодцеватым видом своего помощника, Кондратьев только кивнул головой, и Алеша, умело повернувшись на каблуках, вышел из комнаты, стараясь как можно тише стучать подковами.

— Что-то не нравится мне твой помощник,— сказала Наталья Павловна, наливая мужу чай.

— Почему ж он тебе не нравится? — спросил Кондратьев, намазывая на хлеб масло.— Парень он честный, исполнительный, слову своему хозяин, а главное — боевой и вечно неунывающий. Дай ему любое поручение — и он его выполнит с удивительной точностью. Я еще не знаю случая, чтобы он сказал: «Нельзя сделать, не могу сделать...»

— Все это так,— согласилась Наталья Павловна,— но уж очень он все делает на военный манер. «Была команда подавать машину». А почему не сказать проще и красивее: «Меня просили подать машину»? У меня он спрашивает: «Прикажете разбудить Николая Петровича?» Да что я ему, генерал какой, что он ждет моего приказа...

— Верно, это у него есть,— сказал Кондратьев, звеня ложечкой в стакане.— Пять лет работы в крупном оперативном штабе дают себя знать.

— В штабе так нужно,— возразила Наталья Павловна,— а в райкоме требуется другой язык.

— О деталях, Наташа, не спорю,— согласился Кондратьев, прихлебывая чай из стакана,— но, я вижу, Алеша приобрел на войне такое замечательное качество характера, какому может позавидовать не один наш партийный работник... Ну, так вот.— Он встал, подтянул пояс.— Две недели я не буду в Рощенской. Если станут звонить из райкома на квартиру, так и скажи: «Лес сажает...» Скажи, для шутки, что заделался лесоводом...— Он обнял Наталью Павловну за плечи, ласково прижал к груди, поцеловал в щеку.— Ну, оставайся. А Алеша парень славный! Ты его еще узнаешь и полюбишь...

Дождик все еще моросил, как бы стараясь промочить землю насквозь; утро выдалось хмурое, даль была скрыта, над мокрой станицей низко-низко нависли тучи. Кондратьев уселся в машину (это был «газ-67»), закутался в бурку, взглянул на молчавшего шофера,— на его суровом лице было написано: «Я готов ехать куда угодно, колеса укручены цепями, мотор сильный, руль в крепких руках».

— Яша, сперва поедем в Белую Мечеть,— сказал Кондратьев и посмотрел назад: там сидел Алеша.

От Рощенской до Белой Мечети лежала старенькая гравийная дорога, за лето изрядно побитая, с частыми выбоинами, в которых небольшими зеркалами блестела вода. Дождь все припускал и припускал, вода уже стекала бугорками по смотровому стеклу. «Да, погодка такая, что только лес сажать»,— подумал Кондратьев, сильнее закутываясь в бурку. А машина, казалось, не замечала ни дождя, ни калюжин и мчалась так, что только грязные брызги заливали капот и смотровое стекло; когда передок слишком сильно подбрасывало вверх и фонтан брызг взлетал даже на тент, шофер на секунду закрывал глаза и, улыбаясь так, чтобы никто не заметил, снова нажимал на ножной рычаг, или, как говорят шофера, «на всю железку».

Проехали еще несколько километров, и вдруг сквозь мутное стекло Кондратьев увидел причудливые высокие и темные силуэты,— то ли это были копны, кем-то расставленные прямо на дороге, то ли это верблюды шли навстречу машине.

— Алеша, а присмотрись: что это чернеет?

— Кажется, верховые,— Алеша наклонился к стеклу.— Так точно, два верховых в бурках.— Это, верно, Тутаринов и Стегачев.

— Яша, останови,— сказал Кондратьев, обращаясь к шоферу.

В тот момент, когда всадники посторонились, свернули на обочину, Яша потянул ручной тормоз, задние колеса поползли в сторону, точно их сдуло туда ветром, и машина остановилась поперек дороги.

Кондратьев приоткрыл дверку,— лошади, по живот забрызганные жидкой грязью, с куце подвязанными хвостами подплясывали перед машиной на своих тонких, мокрых и грязных ногах. В седлах, укрывая бурками лошадей, сидели не Тутаринов и не Стегачев, а партийный и комсомольский руководители колхоза «Рассвет». Павел Павлович Алешкин был мужчина пожилой, грузный, с постоянно веселыми серыми глазами; он курил, но лицо у него, всегда чисто выбритое, было таким свежим, какое бывает чаще всего у людей некурящих. Его спутник, еще молодой парень, чернолицый и суровый, был Сенька Скворцов.

— Здорово, кавалеристы! — Кондратьев, подбирая полы бурки, вышел из машины.— Далека путь-дорога?

— Скачем к вам в Рощенскую,— ответил Алешкин.— Погода, Николай Петрович, незавидная... У вас тоже сильно задождило?

— Все люди едут из Рощенской, а вы в Рощенскую? — спросил Кондратьев, хитро сощурив глаза.

Алешкин соскочил с коня так умело и так легко, точно чья-то невидимая рука сняла его и поставила перед Кондратьевым. Повод он передал Сеньке, а сам схватил руку Кондратьева обеими руками, теплыми и влажными, и сказал:

— Прежде всего — жму вашу руку, Николай Петрович.

«Опять будет каяться, по рукопожатию вижу»,— подумал Кондратьев, сердито хмуря брови.

— Какое дело в Рощенской?

— Спешу, Николай Петрович, насчет кинопередвижки... Эта же контора кинопроката... ну просто черт знает что такое...

— А в чем дело? Все передвижки еще вчера выехали на лесопосадки.

— Моя вина, я этого не знал.

— Ваш «Рассвет» начал посадку леса? — строго спросил Кондратьев.

— Если говорить откровенно, то мы, Николай Петрович, так сказать, намереваемся все сделать по-настоящему...

— А как это понимать?

— Размах уже взяли крепкий.

— А если исключить «крепкий размах»?

— Тоже дела идут неплохо. Беспартийная масса...

— Нет, погоди... В чем же конкретно дела идут неплохо?

— Готовимся... Политмассовая работа в полевых условиях... Сказать, в условиях осени...

— Погоди, погоди с полевыми условиями,— перебил Кондратьев, усмехаясь.— Известно ли тебе, что по всему району второй день идет посадка леса?

— Известно, но я признаю,— светлые, веселые глаза Алешкина потускнели.— Моя вина, Николай Петрович...

— Да ты погоди каяться... Что делается в «Рассвете»?

— Делается, в общем, я бы сказал...

— Лес сажать начали?

— Николай Петрович, вину свою я признаю целиком и полностью,— не задумываясь, сказал Алешкин, и теперь светлые его глаза снова заиграли веселостью.— Тут мы, Николай Петрович, надо прямо сказать, недосмотрели, и в первую очередь я недосмотрел.

— Да какой в этом толк, ты недосмотрел или кто другой! Дело-то стоит?

— Я виноват и, как секретарь парторганизации, сознаю...

— Павел Павлович, ну куда это годится! Да ты же неделю тому назад тоже и сознавал, и признавал, и каялся... А что изменилось на деле? Ошибки признаешь — и снова те же ошибки допускаешь? Карусель — вот что это такое.

— Я никогда критику не отвергал... Я все признаю.

— Да это же легче всего — и не отвергать критику и признавать ошибку, каяться и опять ничего не делать.— Кондратьев приоткрыл дверку, посмотрел на молчаливо-строгое лицо Алеши.— Там у нас местечко найдется? — обратился к Алешкину.— Вручи коня Скворцову, а сам поедешь со мной. Сегодня же «Рассвет» начнет посадку леса.

Покрякивая и не говоря ни слова, Алешкин покорно забрался на сиденье, умостился рядом с Алешей, и машина тронулась.

«И что мне делать с этим кающимся грешником,— подумал Кондратьев, устало закрывая глаза и прислушиваясь к звяканию цепей на шинах.— Заменить? Нет, выход один — научить не словами, а делом исправлять свои ошибки...»

Впереди одна выбоина следовала за другой, и колеса, попадая с разгону в лужу, вскидывали столбы грязной воды. Кондратьев вынул записную книжку, нагнулся и что-то пометил слабой, дрожащей рукой.

VIII

В эти дождливые дни на равнине между Белой Мечетью и Яман-Джалгой среди обычного осеннего пейзажа появились незнакомые глазу тона и окраски. По всему полю — два раза поперек и один раз в длину — протянулись сизо-черные пояса, а что это за пояса, издали нельзя было распознать. Очень они напоминали дороги, но почему бы там быть дорогам, когда невдалеке, по берегу Кубани, пролегает Беломечетенский тракт. Скорее всего это лежали незаконченные прогоны зяблевой вспашки; видимо, тракторы прошли раз по шесть, а потом бросили и переехали на другое место. Но почему же по этой пахоте краснова-

тыми, чуть приметными рядочками тянулись какие-то посадки с подпорками в виде таркал? А может, это виноградники? Но кто же тут, на черноземе, станет сажать виноградники?.. И только когда подъедешь ближе, посмотришь и невольно улыбнешься: да, точно, это дороги, только не шоссейные, а лесные; молодые дубки и ясени переехали из Чурсунского острова и удобно поселились на этом просторе. Деревца были еще так юны, что покачивались от маленького ветра, а некоторые даже не могли обходиться без подпорок, а все же стояли они стройно и гордо; по желтым, с красноватой подпалиной листьям было видно, что и место им пришлось по нраву да и корни уже покойно и тепло улеглись в сырой почве в ожидании весеннего солнца.

Именно эти юные «степные жители» и те, казалось бы, совсем еще незначительные изменения осеннего пейзажа, служили предметом живых бесед, скажем, на тему: «Наши степи в настоящем и в будущем...» Одну такую беседу проводил председатель колхоза «Дружба земледельца» Костя Панкратов. Со своей лесоводной бригадой он находился на участке Белая Мечеть — Яман-Джалга и по поручению райкома являлся там агитатором. О нем в записной книжке Кондратьева были такие слова: «Перед вступлением в партию пусть еще поработает агитатором,— полезно. Парень он достаточно начитанный. Говорил с ним, выяснилось — знает всего Докучаева. Молодой и хватка хорошая...» И тут же, как бы к слову, была прибавлена и такая существенная деталь: «Пока еще беседу ведет нескладно... Со временем научится...»

Костя, или, как его из уважения называли колхозники, Константин Павлович, начал беседу, когда лесоводы — несколько звеньев — посадили первые шесть рядков леса и поджидали подвоза саженцев. Женщины приморились и сели у дороги отдохнуть,— тут же перед ними лежала только что народившаяся лесная полоса.

— В Кремле есть такая особая карта,— начал Костя, подсаживаясь ближе к кругу,— на которой обозначена и вот эта наша лесная полоса, и лежит та карта на столе у товарища Сталина.

После такого начала уже было видно, что и эта фраза, сказанная уверенно, голосом ровным и спокойным, а особенно слова: «на которой обозначена и наша лесная полоса», обещали беседу интересную и даже поучительную. Очевидно, по этой причине женщины, покоряясь воле агитатора, не только прислушались, но и посмотрели на Костю доверительно-ласково, как бы говоря этим взглядом: «Ну как же, Константин Павлович, тебя не послушать, если ты знаешь о той карте, которая лежит на столе у товарища Сталина, если ты умеешь так складно говорить!»

А Костя, казалось, только этого и ждал. Увидев, что внимание колхозниц в его руках, он еще немного задержался на той карте, которая находится в Кремле, и тут же обратился к полезащитной трассе Сталинград — Степной — Черкесск.

— Все вы хорошо знаете наш Качкачев курган,— продолжал Костя, указывая рукой туда, где находилась Родниковская.— Так вот, мимо этого кургана и через все Ставрополье косматой шалью раскинутся зеленые массивы.

Употребив такую красочную и такую смелую метафору, к тому же для пущей убедительности употребив такие слова, как «надежный заслон от каспийского суховея», «громадная кладовая влаги», «барьер против засухи», Костя не только рассказал о том, какую в недалеком будущем службу сослужат эти молодые леса в борьбе колхозов за высокий и стабильный урожай, но и сумел нарисовать картину будущей, обновленной руками людей, ставропольской земли.

— Это такое грандиозное озеленение степи,— сказал он, снимая кубанку и приглаживая светлые мягкие волосы,— о котором ни деды наши, ни прадеды не могли и мечтать... Но одни леса, без воды, не в силах побороть засуху и преобразить природу так, как того мы желаем. И вот рядом с лесами нашу степь украсят водные бассейны...

Костя, уже не пожалев красок, снова обратился к смелому сравнению:

— Эти степные моря, созданные народом по воле нашей родной коммунистической партии, будут гореть

на солнце, как зеркала в зеленых рамах, и влага от них разольется по всей степи...

Тут в качестве близкого примера Костя сослался на планы Рощенского района, где «этих самых зеркал будет шестнадцать...» Затем он задумчиво посмотрел на поля и продолжал рассказывать о реконструкции станиц, о том, что в Родниковской и Усть-Невинской уже начата распланировка улиц и площадей; привел небольшую справку о значении кубанской воды, которая течет по Невинномысскому каналу на Ставрополье.

— Мы обновляем наши степи и станицы, переделываем природу не только для того, чтобы получать высокие урожаи,— продолжал Костя,— нет, мы люди хозяйственные, сказать — предусмотрительные, хотим все прекрасное, что таит в себе природа, взять с собой в коммунизм!

Он мечтательно посмотрел на строгие лица колхозников и хотел было поподробнее рассказать о том, какой красивой будут не только станицы и жизнь людей, но даже самая природа,— но в это время совсем близко загремела арба в бычьей упряжке; на арбе желтели молодые деревца,— они стояли один к одному, напоминая собой кустарник... Костя вынужден был прервать беседу, как показалось женщинам, на самом интересном месте, пообещав, однако, продолжить ее вечером.

— Эй! Подходи! Разгружай! — прокричал возница, становясь на дышло и соскакивая на землю.

После такой решительной команды никто уже не мог оставаться на месте. Бригада быстро поднялась, разделилась на звенья и занялась привычным делом; человек десять, среди них Костя Панкратов и еще четыре дюжих мужчины, окружили арбу и начали снимать саженцы, осторожно складывая их корень в корень, боясь, чтобы не обсыпалась желтоватая чурсунская почва; затем мужчины, загребая в оберемок целый куст, уносили деревца туда, где для них уже были приготовлены лунки — небольшие углубления рябели бугорками свежей земли; человек двадцать, большей частью женщины, растянулись по вспаханной ленте на километр и заготовляли все новые и новые местечки для дубков и ясеней,— от лопат отлетали комья, влажные и до

блеска черные. Посадку производили обычно попарно: одна женщина ставила в ямку веточку, становилась на колени и любовной рукой расправляла корешки, слегка присыпая их размельченным черноземом; затем выравнивала стебелек по натянутому шнурку, зорко всматриваясь в рядок; вторая женщина, низко нагибаясь, быстро-быстро, как бы боясь, чтобы это крохотное деревцо не убежало снова на Чурсунский остров, засыпала землей и притаптывала ногами.

— Ого! Харитон Егорыч — силач!

— Ты погляди, сколько лесу поднял!

— Бревен сто, не меньше!

— Великан!.. Вот тут и клади! Девки, разносите по рядкам!

— А ты слушал беседу Константина Павловича?.. Мы же и есть настоящие великаны!

— Тетя Фекла, не коси глазом.

— У нее глазомер плохой.

— Ровнее ставь деревцо. Видишь — шнур!

— Красота в чем, знаешь?

— В стройности.

— Вот-вот...

— Насчет той красоты я чего-сь недопонимаю,— сказала тетя Фекла, выравнивая стебелек.— Костя очень складно говорил, что все красивое мы заберем с собой.

— А разве ты против того, чтобы забрать?

— Да я не против, но как же это — заберем? Разве мы будем куда переселяться?

— Обязательно.

— А куда ж?

— Из одной жизни в другую.

— А ты, Серафим, без шуток.

— Да при чем тут шутки!

— А как надо понимать слова Константина Павловича?

— Скажу... Их надо понимать иносказательно... Вот ты, тетка Фекла, сажаешь это деревцо — и не как-нибудь сажаешь, а выравниваешь по этой линии, корешочки расправляешь... А что это такое? Иносказательно — это и есть взять с собой красоту природы...

В другом конце лесной полосы слышался раскатистый смех. Там деревца сажала Ефросинья Ивановна, молчаливая, уже немолодых лет женщина из Яман-Джалги; ее обступили девушки и от души смеялись. Дело в том, что пожилая женщина ставила саженец в ямку и, поворачиваясь своим грузным телом так, чтобы укрыться от людских глаз, засыпала корешки и тут же украдкой крестила деревцо.

— Ефросинья Ивановна! — крикнула девушка, давно заметившая, как та крестила саженцы.— И зачем вы их крестом осеняете?

Вот тут и поднялся смех и послышались выкрики:

— Эти же деревца пойдут в будущую жизнь, а вы их крестите.

— Вы б их еще сбрызнули святой водицей!

— Чего зубоскальничаете? — сердито сказала Ефросинья Ивановна.— Хоть вы и молодые, а не ваше дело мне указывать... Крестить я их не крестила, а вот слова им такие ласковые шептала.

— Какие ж это слова?

— А такие... радостные. Вы, зубоскальницы, слушали Костю? Так вот я его словами и деревцу нашептывала...

По трем полосам работа спорилась, приехали еще три брички с саженцами, но по всему было видно, что ждать до вечера начала прерванной беседы никому не хотелось, да к тому же люди здесь собрались такие, кто не умел молчать. Поэтому беседа о будущем продолжалась уже без Кости Панкратова: как зерна, брошенные по весне в плодородную почву, быстро начинают прорастать, так и сказанные в народе слова агитатора продолжают жить и развиваться. До конца дня на лесных посадках слышался оживленный разговор,— люди излагали свои мысли, как могли.

IX

Николай Петрович Кондратьев больше всего любил лето, а точнее — разгар уборочной страды. Да и как же можно не любить это жаркое время, когда в стани-

цах пусто и тихо, а на полях людно и шумно, когда в знойном воздухе непрерывно слышатся то звон птичьих голосов, то стук и рокот машин,— степь в эту пору как бы набирает скорость, а сам темп жизни становится четче и быстрее...

Теперь же была осень, дни стояли короткие, небо хмурое, дождливое, однако и в это время нечто схожее с летней страдой замечалось на полях; станицы и хутора снова опустели,— на большом пространстве от Усть-Невинской и до Яман-Джалги люди сажали леса. И Кондратьеву отрадно было находиться вместе с теми, кто своими руками обновлял степь; было приятно вблизи видеть их труд: и то, как под сильными ногами тысячи лопат легко врезались в распаханную, мокрую почву,— она блестела черным глянцем; и то, как женщины, наклонившись над лунками, заботливо расправляли темные ниточки корешков, а натруженные их ладони сжимали стебельки, желая, чтоб росли они стройно; и то, как двигалась по степи вереница подвод, а на подводах желтели кусты, а за кустами торчали шапки погонычей — молодой лесок уезжал из Чурсунского острова. И еще приятно было слышать то песни — мощный хор мужских и женских голосов оглушал степь и эхом откликался в горах; то людской говор вперемежку со смехом и шутками; то покрикивание погонычей, скрип ярма, стук колес,— тут все перед ним вставало, как говорят художники, крупным планом.

План же мелкий или второй, а лучше сказать — фон, на котором сочно рисовалась вся картина лесных посадок, был еще более привлекательным,— он всегда вызывал чувство душевной радости. Поэтому Кондратьев, подымаясь на возвышенность, часто выходил из машины и подолгу, как зачарованный, смотрел вдаль и не мог насмотреться. Перед ним вчерашние мечты людей облекались в осязаемые формы; куда бы он ни смотрел, всюду, от станицы к станице, лежали лакированные пояса земли, и по ним рассыпались люди, подводы, тракторы с огромными плугами; стояли небольшие балаганы, наскоро сделанные из соломы, горели костры,— по степи расплывался горьковатый запах дыма; во многих местах пояса уже покрывались точеч-

ками или крапинками: это стоял молодой, только что посаженный лес... Да, да, помнит Кондратьев, все это еще совсем недавно было обозначено только в плане, помечено в чертежах и записано в протоколах,— теперь же перед ним лежали не планы и не чертежи, а живые и ощутимые дела...

Однажды на рассвете Кондратьев стоял на возвышенности, холмистым, давно знакомым взгорьем открывалось перед ним почти все верховье Кубани... И тут его пылкое воображение, почуяв простор, широко расправило крылья и легко опередило время, и то, чем жил все эти дни Кондратьев и что было его лишь обласканной мечтой, вдруг преобразилось в реальные картины, и он увидел над всей степью зеленые гривы лесов. И еще видел он: там, на десятки километров по берегу Кубани, курганчиками лежали камни, сновали грузовики с гравием, дымились громадные котлы со смолисто-черным варевом, жуками ползали грузные катки, возвышались насыпи; Кондратьев хорошо помнит, было все это в плане, и как только он подумал об этом, перед ним уже не было ни катков, ни дымящихся котлов,— мимо станиц и хуторов, блестя и лоснясь асфальтом, убегало шоссе, обсаженное шеренгой тополей; там, между Белой Мечетью и Родниковской, берег был запружен народом,— вырастала дамба, вокруг нее гусиной стаей белели бочки с цементом, темнели штабеля леса,— как же, как же и это по плану; и вот уже не видит Кондратьев ни белых бочек цемента, ни бревен, а в том месте, где вставала дамба, образовалось озеро,— горело под солнцем зеркало воды, обрамленное вербами, как зеленой рамой; там видятся ему улицы станицы, все исписанные рвами; повсюду разбросаны серые трубы,— их укладывают и зарывают, а следом идут планировщики, тянут звенящую ленту, ставят треноги, всматриваются, приглядываются, выверяют, записывают,— да, точно все это по плану, и вот уже Кондратьев не узнает станицу: на площади выросли новые дома, раскинулись парки, летний театр, а от площади, убегая во все стороны, протянулись прямые улицы с тротуарами, обсаженные белой акацией... Кондратьев легко представил себе Усть-Невинскую такой, какой

она будет. Станица как бы раздвинулась и помолодела, а ее улицы, ставшие и ровными и просторными, украсились тротуарами, домами под жестью, паутиной электрических проводов, водопроводом, садами, убегающими зеленым пологом от площади до окраин,— все, все придавало ей схожесть с небольшим степным городом на живописном речном берегу! Именно такими самобытными, красочно-светлыми колхозными городами и вставали в его воображении все станицы верховья Кубани, и в облике каждой было что-то свое, неповторимое... Так, Усть-Невинская отличалась от своих соседок уже тем, что на ее площади стояло окнами на юг двухэтажное здание, высокое и светлое,— ни в Белой Мечети, ни в Яман-Джалге, ни в Рощенской не было здания именно такой архитектуры. Были, но только не такие. А почему же не такие? Тут есть небольшой секрет. По плану реконструкции станиц в Усть-Невинской, вблизи гидростанции, основан центр электротехнической мысли,— вот эту идею и выразил архитектор, создавая проект Дома механизаторов. В станице Родниковской, славящейся скотом, лошадьми, овцами, Кондратьев видел Дом зооветеринарии, с лабораторией и с научной библиотекой... В Рощенской белело здание с многочисленными пристройками, с оранжереей, с залами для хранения ценнейших экспонатов современного земледелия,— это Дом агротехники. И еще видится ему Дом мичуринцев, светлый и высокий: он возвышается у въезда в Белую Мечеть, весь утопая в зелени...

— Да, это и есть наше будущее,— мечтательно проговорил Кондратьев, глядя на пламенеющий восток.— Эх, как же хорошо мечтать!.. А дела насущные так и лезут в голову.— Он приложил ладонь щитком к глазам и долго смотрел молча.— И что там такое в этой долине? Будто обоз с саженцами, так почему же он стоит? На стоянке? Так быки не выпряжены? И эти верховые чего-то кружатся?.. Яша, а сумеем ли мы проскочить вон в ту долину? — спросил он у шофера, усаживаясь в машину.— Выехать бы прямо к этому обозу...

— А почему же мы не сумеем? — рассудительно заговорил Яша, сворачивая машину на дорогу.— Сумеем проскочить и прямо к обозу.— Спускаясь с горы и ча-

сто нагибаясь к ручному тормозу, он добавил: — Николай Петрович, а вы знаете, по-нашему, по-шоферскому, жизнь похожа на дорогу...

— Это как же так — похожа?

— А очень просто,— Яша потянул ручку, и колеса с писком поползли по песчаной почве.— Как в жизни бывает всякое — и хорошее и плохое, так и на дороге: бывают прогоны отличные, едешь, и сердце радуется, а бывают подъемы, спуски — вот так зараз... А как живет человек? То у него жизнь катится гладко, как по асфальту, а то, смотришь, налетел на выбоины, и пошло его трясти... Я знал одного шофера, он был мне даже другом...

И не успел Яша поведать о жизни своего друга шофера, как машина уже выскочила на дорогу и подкатила к подводам. Да, Кондратьев не ошибся: бычий обоз в пять подвод был нагружен саженцами. Деревца, одни совсем голые, как хворостинки, с тонкой, лоснящейся коркой, другие еще в красноватых и желтых листьях, лежали наискось, верхушками на боковины ящика; корешки, слегка присыпанные землей, сходились на дне подводы. Возчики — три молоденькие девушки, в коротких ватниках и в теплых платках — держали налыгачи в руках и сердито посматривали на всадников; две пожилые, угрюмые на вид женщины с кнутами в руках, как бы преградили всадникам путь и о чем-то с ними спорили; одну из них Кондратьев сразу узнал: это была Лукерья Ильинишна Коломейцева.

Выйдя из машины, Кондратьев внимательно присмотрелся к всадникам и невольно усмехнулся,— на конях сидели Хворостянкин и Павел Павлович Алешкин. Ни женщины, ни кавалеристы, увлекшись горячим спором, сразу не заметили появление Кондратьева и продолжали разговаривать громко и довольно-таки бойко.

— Давай дорогу! Все одно не подчинимся и не повернем на ваш участок! — слышался грозный голос Лукерьи Ильинишны.— И ты нам не грозись коммунизмом: понятно?! Ей, дивчата, погоняйте быков!

— А я требую,— гудел Хворостянкин,— ты сперва дай ответ, по какому такому наряду получили посадоч-

ный материал и почему ты его заворачиваешь в свой колхоз?

— А мы получили без наряда.

— На Чурсуне брали?

— Да тебе, чертовому усачу, сказано, что были мы не на Чурсуне, а ездили за гору Очкурку и там накопали деревцов.

— А куда везете?

— Опять свое! Домой, в колхоз «Светлый путь».

— Тогда заворачивай! — не унимался Хворостянкин.— В данную минуту я не признаю никаких «Светлых путей» и ни за что не поверю, что вы не были на Чурсуне.— Он привстал на стремени, помахал у себя перед глазами плеткой.— Женщины боевые, а стыда у вас нету! Где зараз весь наш народ? На главной трассе! Там коммунизм строится! А вы везете готовые саженцы черт знает куда, а этих саженцев как раз и не хватает на главной трассе... Заворачивай без разговору! Павел Павлович, слезай с коня и бери у девок налыгач!

— Девки, хватайте лопаты! — скомандовала Лукерья Ильинишна.

Возможно, этот горячий спор кончился бы дракой, но тут все вдруг увидели Кондратьева,— он стоял невдалеке и, поглаживая пальцем седой висок, кривил губы в улыбке. Видя смущенные лица, он со всеми поздоровался за руку и так любезно, точно и не слышал этой словесной перепалки.

— О чем спор, да еще и среди дороги?

— Николай Петрович, и где ты взялся?

— Товарищ Кондратьев, заступитесь!

— Задержали в степи и незаконно требуют...

— Дайте я скажу,— заговорил Алешкин, виновато поглядывая на Кондратьева.— Наш «Рассвет» при тебе, Николай Петрович, выехал в поле, а саженцев не хватает... Мы с Игнатом Савельевичем на коней...

— Насильники!

— Напали на баб!

— А вы не все сразу,— проговорил Кондратьев, строго взглянув на Коломейцеву.— Лукерья Ильинишна, что тут случилось? Только спокойно, не волнуйся...

— Да как же тут можно спокойно разговаривать! — Лукерья Ильинишна выставила вперед ногу, обутую в сапог, расстегнула полушубок, как бы собираясь померяться силой с Хворостянкиным.— Николай Петрович, мы же свой «Светлый путь» благоустраиваем... Это же тоже по плану! — Тут она хлестнула кнутом коня; тот отскочил в сторону, чуть не сбросил Хворостянкина.— Зараз я успокоюсь...

— Ты, дьявольская баба, с кнутом на коня не кидайся! — крикнул Хворостянкин, гарцуя на коне.

— Так ежели говорить спокойно,— продолжала Лукерья Ильинишна,— то тут дело такое... На главную трассу мы послали шесть подвод и людей, все честь по чести, как требовалось! Ну, а тогда Глаша позвала меня... Вы же хорошо знаете нашу Глашу Несмашную? Когда она вступала в партию, то обещание дала — хутор свой обновить... И вот позвала она меня и говорит: «Пока там будет сажаться главная трасса, а ты, как мой завхоз, со своими девками не сиди сложа руки да поезжай в горы; там в леску накопаешь и дубочков и ясенечков, да и давай хутор украшать...» Ну, мы собрались, поехали, набрали в горах вот этого добра,— она указала рукой на брички,— и едем себе домой... Едем мирно, спокойно... А тут, откуда ни возьмись, скачут нам наперерез эти абреки и требуют заворачивать... И не то чтобы по-хорошему попросить, а кричат, угрожают... Коммунизмом нас стыдят... Мы сумеем жить при коммунизме, а вот вы, бесстыжие морды...

— А все же спокойно не можешь говорить,— перебил Кондратьев.

— Да Хворостянкин меня распалил!

— Ну, Игнат Савельевич,— обратился Кондратьев к Хворостянкину,— так было дело?

— Так, да не совсем,— начал Хворостянкин, успокоив коня.— Это же безобразие, Николай Петрович! Мы все беспокоимся о государственных интересах, а они себе тащат, на манер единоличников! На трассе зараз люди простаивают из-за недохватка саженцев, а они везут пять подвод готового материала... И ты им не верь! Не в горах они были, а на Чурсунском острове... А кто им разрешил? Вот мы с Пал Палычем и ре-

шили завернуть их на главную трассу,— уже негромко и как-то виновато добавил Хворостянкин.— А насчет коммунизма, так я им только сказал, что так сознательные женщины не поступают...

— И не то ты говорил! — вмешалась подруга Коломейцевой.

— Вот что! — сказал Кондратьев.— Ты, Игнат Савельевич, сейчас поезжай на трассу... И ты, товарищ Алешкин...

— Свою вину я, Николай Петрович, признаю...

Кондратьев усмехнулся:

— Не торопись! Вот что, я скоро буду на трассе, и если увижу, что люди сидят из-за того, что нет саженцев,— будет беда. Об этом помните и передайте другим председателям... Ну, чего стоите?

«Так мы же стараемся»,— хотел было возразить Хворостянкин, но увидел сердитый взгляд Кондратьева, тронул каблуками коня и тихонько отъехал.

Следом за ним последовал и Алешкин, красный, точно он все это время подымал чувалы.

Лукерья Ильинишна и ее подруга были обрадованы,— они улыбались, чувствуя себя победительницами. Они повели Кондратьева осмотреть саженцы: им хотелось, чтобы он сам убедился, что все эти деревца выкопаны не на Чурсуне, а в горах.

— Да, хорошие саженцы,— согласился Кондратьев, приподымая рукой одну веточку дуба.— И много их там?

— Да хоть вагон грузи!

— И далеко отсюда?

— Сказать — не очень. Гору Очкурку знаете? Так от нее надо ехать влево,— там есть такая ложбина, и вся она поросла кустарником...

— Лукерья Ильинишна,— заговорил Кондратьев, опершись спиной о ящик брички; веточки лезли ему на голову,— как ты думаешь, нехорошо, если на главной трассе не хватает саженцев?

— Да кто ж говорит, что это хорошо? — согласилась Лукерья Ильинишна.— Сидят там вот такие лупоглазые, как этот Хворостянкин! Им только баб среди

степи ловить да знущаться... А нет того, чтобы послать людей и подводы в горы,— сколько там леса!

— Так вот я и говорю: нехорошо, что на государственной трассе не хватает саженцев и дела наши идут плохо,— продолжал Кондратьев.— Я думаю, как бы там все обрадовались, если бы вы со своим обозом подъехали?

Женщины переглянулись, а потом посмотрели на брички, на быков, как бы говоря: «Порадовать бы и можно, но жалко: себе ж везем...»

— Ну, так как, Лукерья Ильинишна? — спросил Кондратьев.— Обрадуем народ? Я подскочу на машине, и там мы вам встречу организуем, даже сам я приветственное слово скажу...

— Да оно бы и можно было,— сказала Лукерья Ильинишна,— а только как же мы перед Глашей Несмашной? Она же нас ждет...

— А чего — с Глашей? Я заеду на машине в «Светлый путь», захвачу и Глашу на трассу, пусть со всеми тоже порадуется.

— Ну, ежели так — поедем! — Лукерья Ильинишна застегнула полушубок, поправила на голове цветастый платок.— Эй, команда! Заворачивай!

Скрипнули ярма, захлопали кнуты, загремели колеса, и обоз, развернувшись, потянулся по дороге в ту сторону, где лежала главная лесная полоса.

X

— Николай Петрович, а посмотрите: это же и есть «Светлый путь»?

— Да, это он самый. С этой стороны мы к нему еще не подъезжали.

— А теперь подъедем — и, вижу я, очень удачно. Влетим прямо в переулок к дому Несмашной.

— Может, лучше проехать в правление?

— Если это лучше — можно и в правление.

Так разговаривали Кондратьев и Яша, а перед ними на обширной равнине близ Кубани уже лежал по-степному просторный хутор. Был он небольшой и имел

всего одну улицу, разрезанную тремя или четырьмя переулками — узенькие прогоны в степь и к реке...

Да, точно, хутор имел всего лишь одну улицу,— но зато какая это была улица! Станешь посредине, посмотришь в ту и в другую сторону и залюбуешься: и там и здесь степь да степь лежит до горизонта! Дома выстроились двумя рядами, и стояли они, как по линейке,— ни плетень, ни ворота, ни там какая-нибудь калитка не выпирали вперед и не ломали строй; кажется, чья-то заботливая рука сперва протянула по степи два шнура, а тогда уже по этим шнурам воздвигались постройки и постепенно вырастал хутор. А какая ширина улицы,— это же проспект да и только! Если бы, скажем, случилось двигаться степью табуну, хоть в десять тысяч коней, и табунщикам вздумалось бы прогнать его через хутор, то вся эта конница прошла бы по улице свободно, даже на рысях.

Между тем, Кондратьева, много раз бывавшего в «Светлом пути», привлекала как раз не сама улица, широкая и ровная, а то, что происходило на улице в тот час, когда к правлению подкатил «газ-67», весь в грязи, напоминая собой скаковую лошадь после того, как она, чувствуя шпоры всадника, под дождем и по хлюпкой дороге галопом пронеслась километров десять...

Кондратьев сошел с машины, смотрел, смотрел на хутор и не мог насмотреться. Улица теперь казалась не такой широкой, как обычно, а все это произошло оттого, что ее запрудили люди, брички, плуги, тачки; очевидно, жители «Светлого пути» все до единого вышли из своих домов как на праздник; они уже вволю поплясали и попели песен, а затем в хорошем настроении взялись за дело: кто работал лопатами, кто кирками, кто подвозил бричками кубанский камень-голыш. Но ничто так не удивило Кондратьева, как то, что посреди улицы и понад дворами шла самая настоящая пахота: по пять пар быков были запряжены цугом в однолемешные плуги, в те самые высоченные, с широкими чепигами, плуги, которые легко врезались в землю и оставляли за собой не борозды, а канавки глубиной в колено.

— Николай Петрович, что это они — или зябь возле

двора подымают? — поинтересовался Яша и, не дожидаясь ответа, начал старательно протирать тряпкой фары.— Эх ты, горе — все глаза тебе заляпало.

— А вот мы расспросим у хозяйки,— сказал Кондратьев, ласковым взглядом встречая Глашу Несмашную.— В самом деле, Глаша, что это у вас такое делается?

— Наводим красоту,— бойко ответила Глаша,— обновляемся... Помните, на том заседании бюро, когда меня принимали в партию, я давала обещание...

Она как-то боязливо посмотрела на Кондратьева; светлые ее глаза лукаво смеялись, губы вздрагивали; казалось, ей стоило немало усилий, чтобы сдержать улыбку и быть серьезной. Ее лицо с такими белесыми бровями, что их в соседстве с белой косынкой почти не было заметно, сделалось таким веселым, точно ей только что сообщили необыкновенно радостную новость; жаркая краска, какая выступает у молодых женщин от сильного волнения, лежала и на щеках и даже на мочках ее маленьких ушей... И ее смеющиеся глаза, и вздрагивающие губы, и белесые, неприметные брови, и румянец на щеках, и даже красные мочки, похожие на серьги, как бы говорили: «Ой, Николай Петрович, и зачем же вы меня о хуторе расспрашиваете! Вы лучше спросите, что у меня в эту минуту на уме, а на уме у меня такое, что никакими словами нельзя высказать, оттого-то я всегда веселая...» «Все такая же — цветет молодка,— подумал Кондратьев.— Вот это председатель — никогда не унывает... А ну, каким станет твое лицо, когда я скажу насчет обоза... А может, и не говорить и не огорчать?.. Нет, сказать нужно. Повезу ее на трассу, и по дороге мы поговорим...»

Как раз в это время мимо них вереница быков, звеня туго натянутой цепью и шумно поскрипывая ярмами, тянула плуг; погонычи — девушки и парни-подростки — помахивали кнутами, покрикивали: «Цоб, цоб, цобе, рябый! Цобе, серый!» — а по свежей, комковатой борозде, ухватившись сильными руками за чепиги, раскорякой шел рослый усатый мужчина; припадая всей грудью на плуг и как бы силясь остановить быков, он усмехался в усы и задорно посматривал своими боль-

шими глазами то ли на Кондратьева, то ли на Глашу...

— Глаша,— заговорил Кондратьев, провожая взглядом плугатаря,— а на лесопосадках ваши люди тоже такие старательные?

— Там у нас только транспорт и немного людей... Такое было указание,— виновато скривив губы, добавила она.

— И как работают?

— По правде сказать, не знаю,— ответила Глаша и больше уже не могла ни сдерживать улыбку, ни казаться серьезной.

— Тогда поедем со мной на трассу, посмотришь своих транспортников... Я и завернул к вам из-за этого.

«Ой, Николай Петрович, какой же вы хитрый! — подумал Яша, все еще протирая фары и делая вид, что к разговору не прислушивается.— Я же знаю: не за тем мы сюда завернули, не за тем...»

— Я бы поехала... Но как же так, сразу, уезжаете? — Она развела руками, как бы желая показать весь хутор сразу.— Вы хоть посмотрите, что мы тут роем и для чего роем. Вот видите, посреди улицы чернеет пахота,— это будет у нас свой бульвар с аллеей, летом от деревьев протянется холодок из конца в конец. По-над дворами тоже посадим деревья. Всю середину засадим только кленами, а у дворов — только орешниками... И вы думаете, мы будем брать посадки на Чурсуне? Нет, мой завхоз Лукерья Ильинишна разведала одно место в горах, там растут такие чудные деревца клена и орешника... Наши люди туда еще вчера поехали...

Уже сидя в машине, Глаша наклонилась к переднему сиденью и мечтательно говорила Кондратьеву о том, какой красивой и зеленой по весне будет улица «Светлого пути». Кондратьев охотно соглашался, говорил, что и в самом деле «Светлый путь» через какой-нибудь год или два нельзя будет узнать, а потом повернулся к сидевшей в задке Глаше и сказал:

— Характеру твоему позавидуешь... Всегда ты веселая, а я вот сейчас такое тебе скажу, что ты сразу загрустишь. И хотя мне не хочется...

— А если не загрущу? — смеясь, перебила Глаша.— Ну, говорите: что там такое страшное?

— Конечно, не страшное... Но вот сегодня по дороге в «Светлый путь»,— начал Кондратьев басом и так протяжно, точно собирался рассказать сказку,— я встретил ваших людей, тех, кто ездил в горы. Обоз был нагружен и теми кленами и тем орешником, какие должны были украсить и озеленить ваш хутор. Так вот, встретились мы, поговорили по душам, я рассказал Лукерье Ильинишне и ее подругам, что в тот самый момент, когда они направляют свой обоз к себе в хутор, рядом, на государственной трассе, не хватает саженцев и люди сидят без дела. А почему не хватает? Потому, что Чурсунский остров далеко, а дорога грязная, ехать можно только подводами,— какая это езда, ты знаешь... Да, так вот, после нашей беседы женщины взяли налыгачи, повернули быков, и обоз «Светлого пути» загремел на главную трассу... Там его будет встречать духовой оркестр, люди станут приветствовать и благодарить... Я тоже выступлю и поприветствую колхозников «Светлого пути»...

— Николай Петрович,— сказала Глаша, растерянно мигая глазами,— это же вы их уговорили...

— Кого уговорил? Женщин? Да нет, они сами согласились помочь общему делу.

— Общее-то общее,— грустно проговорила Глаша,— а как же мы? Весь же хутор изрыли...

— А я думаю, что ваши женщины поступили правильно: хутор же ваш, он подождет, а вот главная лесная полоса — она общая и ждать не может.— Кондратьев ласково посмотрел на заскучавшую Глашу, так внимательно, точно ему было грустно оттого, что она загрустила.— Вот видишь, новость моя и не страшная, а ты уже стала сумрачная... Не печалься, Глаша! Ты же подумай, какую ваш «Светлый путь» оказал неоценимую услугу всему району. И не этим обозом из пяти подвод, а тем, что последует после этого обоза. Вы же нашли новый «лесной питомник», который лежит вот тут, рядом с посадками. Сегодня же туда мы отправим не пять подвод, а сотни... Никифора Васильевича Кнышева повезем... И кому за это люди должны сказать

спасибо? Вашему «Светлому пути». А кто стоит во главе «Светлого пути»? Вот эта грустная женщина... А ты не грусти, а обдумывай свою речь. Выступишь на митинге и скажешь: «Старалась, всем колхозом думали, как бы помочь общему делу, и придумали — нашли в горах «лесной питомник»... А-а-а! Опять повеселела — значит понимаешь, о чем я тебя прошу!

Глядя на Глашу и видя ее взволнованные глаза, Кондратьев никак не мог понять, слова ли его ее так обрадовали или же она заулыбалась и снова вся расцвела от того, что увидела в степи... Как раз в это время машина свернула с шоссе и, то разминуясь со встречными подводами, то обгоняя их, ехала по узкой и тряской дороге, которая была изрезана колесами и исписана коваными копытами. Эта дорога образовалась недавно, ее укатали прямо по жнивью, и лежала она рядом с широкой лентой земли, видимо распаханной тракторами. Лента была длинная,— черным кушаком растянулась она через многие холмы и ложбины, образуя собой наглядную границу землям Родниковской и Усть-Невинской. Никогда еще за всю многолетнюю историю этих станиц не съезжалось сюда столько народу, сколько его приехало в эти дни,— по обе стороны будущей трассы раскинулись временные таборы; тут стояли балаганы, брички с навесами, треноги над кострами, бочки с водой; сколько не смотри вдаль — повсюду, до самого горизонта, маячат все те же брички и люди группами и в одиночку, и то там, то тут расцветали на солнце алые флаги.

XI

Все эти дни по грязным и разбитым дорогам на Чурсун и из Чурсуна вереницами тянулись обозы конных и бычьих упряжек. Ни днем, ни ночью не смолкали покрикивания погонычей, скрип ярм, стук колес, шлепание по грязи копыт. На бричках стояли деревянные ящики и хворостяные корзины; в эти ящики и корзины вместе с чурсунским суглинком тесными кустами усаживались однолетки дуба, ясеня, карагача. Увозили

их бережно, лесовод Никифор Васильевич Кнышев строго наказывал возчикам ехать шагом.

— Корешочки, корешочки не повредите! — кричал он им вслед.

В лесу с утра и до позднего вечера шла копка саженцев. Звенели лопаты, разносился глухой стук тяжело нагруженных бричек, говор, смех, цобкание; казалось, люди собрались сюда для того, чтобы с шумом и под веселую руку вырыть и увезти все, что росло на Чурсуне.

Лесовод Никифор Васильевич Кнышев, мужчина рослый, плечистый, твердым и широким шагом, с видом рачительного хозяина расхаживал по лесу, и под ногами у него шумно потрескивал сушняк. Он мало спал, редко обедал, но всегда был в превосходном настроении, даже бубнил под нос какую-то свою песенку. С тех пор как вслед за Кондратьевым на Чурсун все чаще и чаще стали приезжать гости с лопатами, Никифор Васильевич изменился так, что даже его жена — и та диву давалась: он как-то подбодрился, стал чище одеваться, а однажды, по совету своего старшего брата, начисто сбрил пышную, с густым серебром бороду, ту самую бороду, которую кохал и растил столько лет; после этого лицо его, скуластое, с крупным, с добрую луковицу, носом заметно помолодело, и в глазах, прежде суровых и нелюдимых, заиграла добродушная веселость.

Прохаживаясь по лесу и как бы прощаясь с молодыми деревцами, Никифор Васильевич останавливался то у одной подводы, уже нагруженной и готовой к отъезду, то у другой,— помогал укладывать выкопанные саженцы, учил, как нужно присыпать землей корни и как лучше делать посадку, чтобы ни один стебель не пропал.

— Обратите особое внимание на такой, казалось бы, пустяшный предмет, как вот эти корешки-ниточки,— поучающим тоном говорил Никифор Васильевич.— Они хотя и тоненькие, и на вид как будто слабые, а сила в них таится огромная. Даю вам совет и наказ: сохраните вокруг этих ниточек влагу, чтобы корешочки всегда были в мокроватом пушку...

Проводив последнюю подводу, Никифор Васильевич возвращался к себе в дом, зажигал лампу и садился ужинать. Жена, радуясь за мужа, с улыбкой спрашивала:

— Никифор, а сколько деревцев уехало сегодня от нас?

— Более двух тысяч... Да, Настенька, едут, покидают нас молодые поросли. Ну, то ничего, то все к добру человека.

Домик лесника своим грустным видом напоминал церковную сторожку. Прятался он в глубине леса, и ночью, особенно в дождливую осень, над его крышей тревожно шумели деревья; этот шум Никифор Васильевич полюбил с детства, и ему всегда казалось, что во всякую погоду деревья жмутся друг к другу и о чем-то своем разговаривают.

Ранним утром, как обычно, Никифор Васильевич вышел из своей хаты, постоял у ствола белолистки, прислушался,— тихий шум раздавался над островом: то пел свою протяжную и заунывную песню перекат. Что такое? Не гремит колесами Чурсун, не слышно людского говора. Над лесом клубились серые и уже по-зимнему холодные тучи,— иссиня-черные гряды, покачиваясь и вздымаясь, тянулись на Ставрополье и где-то там, на полях, оседали. Грачи точечками сидели на верхушках, покачивались и тоже молчали. Никифор Васильевич прошел по острову,— на месте вырытых деревьев повсюду зияли неглубокие воронки, желтели бугорки свежего суглинка; лес, куда ни посмотри, был изрыт лопатами и исписан колесами. С грустью поглядывая на уходящие тучи и на качающихся на ветках грачей, Никифор Васильевич опять прислушивался к воркотанию переката и ничего не мог понять: почему на остров не ехали обозы?

В середине дня, когда лесовод, сбиваясь в догадках, окончательно загрустил, на остров приехал Сергей Тутаринов, не на машине, а на коне, и не один, а с Иваном Атамановым, который рядом со своим резвым скакуном вел на поводу оседланную гнедую кобылицу с куце подвязанным хвостом.

«Это еще что за кавалерия? — подумал Никифор Ва-

сильевич, когда всадники переезжали вброд речонку.— Э, да это сам хозяин района... Ко мне?»

В это время конники, сдерживая рвавшихся на рысь лошадей и красиво рисуясь бурками на фоне косматых туч, подъезжали к домику лесовода.

— Никифор Васильевич,— сказал Сергей, соскакивая с коня и здороваясь с лесоводом,— а мы за тобой! На машине сюда не доберешься, так вот Иван Герасимович выручил... Так что готовься в дорогу.

— А что такое случилось? — спросил Никифор Васильевич.— И обозы ко мне не идут? Почему, Сергей Тимофеевич?

— Твой Чурсун пока оставим в покое,— весело сказал Сергей.— Пусть он, бедняжка, немного оживет; гляди, как его поклевали! — Он приблизился к хмурому лесоводу: — А я к тебе с просьбой Николая Петровича. По соседству с главной государственной трассой, за горой Очкуркой, найден хороший лесок — готовый питомник. Туда уже потянулись обозы, уехали автомашины, но Николай Петрович говорит, что без лесовода Кнышева копать саженцы нельзя... Так что вот лошадь, собирайся и поскачем!

— Да, конечно, Николай Петрович, товарищ Кондратьев правильно рассудил,— с самодовольной улыбкой сказал Никифор Васильевич.— В лесном деле требуются знания... А какая там растет порода?

— Разная. Есть даже пихта,— ответил Иван Атаманов и тут же обратился к лесоводу с вопросом: — Деревьями ты интересуешься, а на седле ездить умеешь? Мы для тебя поседлали резвую кобыленку — понесет!

— Как же ему не уметь! — сказал Сергей.— У него же брат знатный коневод. Есть даже новая порода лошадей — «кнышевский скакун». Гордость!

Сейчас же за речонкой три всадника взяли путь на Яман-Джалгу. Ехали напрямик, то по жухлой, прибитой дождями стерне, то по ложбинам и кустарникам, зеленеющим сочной и росистой отавой; вот уж где выкупались лошадиные копыта!

Иван Атаманов, развевая бурку и выскакивая вперед, держался в седле не то чтобы просто или привычно, а красиво, даже можно сказать — картинно. По тому,

как он весело поглядывал по сторонам, улыбаясь и сбивая на затылок кубанку; по тому, как он легко собирал в пальцах одной руки поводья, а в другой держал, помахивая, плетку; по тому, как он легко приподымался на стременах и подбадривал вороного коня шпорами, было видно, что верховая езда являлась для него одним лишь наслаждением.

У Сергея, разумеется, не было атамановской посадки, но рысил он тоже легко и конь его бежал весело. Рядом же с Иваном Атамановым лесовод на гнедой резвой кобыле являл собой жалкую картину. Он, бедняга, не ехал, а страдал физически и духовно: то тянул к себе поводья, то сгибался, хватаясь рукой за луку, то стремя ускользало у него из-под ноги,— кобыла, закусив удила, злилась и, как бы желая поскорее избавиться от такого вялого кавалериста, часто срывалась в галоп.

— Эй, лесник! Держись не руками, а ногами! — поучал Иван Атаманов, сдерживая своего горячего коня.— Тверже, тверже сиди в седле!

Никифор Васильевич вытирал рукавом полушубка пот на горячем, потемневшем лбу и пристыженно молчал. Когда же лошади, выскочив на пригорок, вступили на сырую, глубоко вспаханную землю и пошли шагом,— это был первый край будущей лесной полосы,— Никифор Васильевич и Иван Атаманов как бы поменялись ролями: лесовод, увидев людей, сажавших деревца, расцвел в доброй улыбке, точно сразу забыв о всех горестях верховой езды, все его лицо подобрело и посветлело; конник же, не любивший ехать шагом, понял, что тут не скоро придется пустить коней рысью, оттого и заскучал и, грустно поглядывая на веточки, вынул кисет и стал закуривать.

Никифор Васильевич, желая посмотреть, правильно ли сажают молодой лес, упросил Сергея поехать на Яман-Джалгу не через ложбину, а в объезд вдоль всей лесной полосы. Лошади пошли еще медленнее, лениво тянулись к голым веточкам, всхрапывали,— это окончательно опечалило Ивана Атаманова.

«И надо же такое придумать! — насмешливо думал он, докуривая цыгарку и пошатываясь в седле.— Беда!

Рысью ему ехать трудно, так через это захотелось осмотреть посадку, будем теперь плестись до ночи...»

А тут еще, как бы желая позлить Ивана Атаманова, лесовод подъезжал к группе женщин, сажавших деревья в готовые лунки, останавливал коня и, устало выгибаясь в седле, спрашивал:

— Откуда саженцы?

— Чурсунские.

— А ну, молодка, покажи корешочки.

Молодая женщина с горячим, разогретым работой лицом, недоверчиво и с усмешкой покосилась на кавалеристов. Одета она была в ватник, подвязанный шерстяным платком, на ногах — сапоги в липком черноземе; ладони ее, на которых она бережно приподняла саженец дубка, были испачканы землей.

— А скажи,— строго спросил Кнышев,— какое ответвление на корнях этого дубочка самое сильное?

— Да кто ж этого не знает? Вот этот пучочек.

— Правильно! А в какую сторону должен лечь этот пучочек?

— Никифор Васильевич,— сказал Сергей,— это похоже на экзамен.

— Ничего, ничего, хочу убедиться,— ответил Кнышев, поворачиваясь в седле.— Отвечай, любезная.

— Самый сильный пучочек должен лечь на юг,— отрапортовала молодая женщина.— Южная сторона богата солнцем, и если взять...

— Так, так! — перебил ее Кнышев.— А как надо присыпать почвой?

— Ой, дядя Никифор! — женщина не удержалась и весело рассмеялась.— Да вы же нас еще летом всему этому научили... Я у вас на курсах обучалась: разве не помните Марусю Сорокину?

— То-то я и вижу: моя школа,— Никифор Васильевич хотел, по привычке, самодовольно погладить бороду, но, вспомнив, что ее уже нет, почесал пальцем подбородок.— Видал, Сергей Тимофеевич, какие кадры выросли на Чурсуне... Так что Чурсун богат не только саженцами...

— Давайте все же ехать,— скучающе-грустно проговорил Иван Атаманов.— Надоело уже.

Ехали снова шагом и с частыми остановками... И покамест Никифор Васильевич, неловко раскорячивая ноги, слезал с коня и осматривал в одном месте только что посаженные деревца, приглядывался к ним со всех сторон, ощупывал стебельки, в другом вымерял глубину свежеразрытых лунок, приготовленных для саженцев; покамест Сергей встречался с бригадирами и председателями колхозов и выслушивал их жалобы на нехватку посадочного материала,— тем временем короткий ноябрьский день завечерел, и всадники приехали на место уже в темноте.

В предгорье светляками маячили огни,— то костры были разбросаны по широкой поляне; на фоне неярких отблесков силуэтами выступали то широченная спина бурки или голова в башлыке, то угол кузова или дышло с ярмом... Ночь стояла непроглядная и сырая; те же влажные, разлохмаченные тучи, которые днем плыли и плыли себе на запад, теперь, казалось, остановились и прижались к мокрой и уже холодной земле.

— Эй, чумаки! — выкрикивал Сергей, подъезжая к первому костру.— Что ж это вы греетесь, а шашлык не жарите?

— Еще барашка не освежевали.

— Жарок приготовляем!

— А у какого ж огонька греется Николай Петрович?

— Чуток подальше.

— Смотри под ту гору!

— Видишь, пламя озаряет лысую конскую морду.

— Медные бляхи аж блестят.

— Возле Кондратьева все начальство.

— Сергей Тимофеевич, а лесовода привез?

— А как же, приехал.

— Глянь, на коне сидит.

— Да то Иван Атаманов, по посадке вижу.

— А третий.

— А-а! Значит, утром начнем!

Вокруг того костра, который так красиво освещал лысую морду лошади, собралось столько народу, что впору было избирать президиум и открывать собрание. Тут кого только не было: и бригадиры, и председатели, и шоферы, и ездовые — мужчины, женщины, де-

вушки, парни. Обнимая пламя кольцом, они расположились, кто как мог: одни, расстелив полы бурок или шуб, удобно прилегли на бок, придвинув к огню мокрые сапоги — пусть подсыхают; другие приседали на корточки или становились на колени; третьи, главным образом молодежь, стояли гурьбой. Позже всех подошедший сюда Хворостянкин остановился чуть в сторонке, держа на поводу лысого коня,— эта лошадиная морда и была озарена костром.

Николай Петрович Кондратьев, удобно усевшись на седло с мягкой кожаной подушкой, находился в центре; он резко взмахивал рукой, точно хотел отрубить кусочек пламени, и что-то взволнованно рассказывал; видимо, этот рассказ и явился причиной того, что сюда собралось столько народу... Незаметно выступив из темноты, наши всадники остановились,— до них долетел знакомый голос:

—... проходят годы, столетия, и у каждого века есть свои неповторимые приметы. Есть они и у нас, и плохой тот руководитель, большой или малый, который не видит примет своего времени. Если же он их не видит, стало быть, как руководитель, он слепой и не сможет указать правильную дорогу тем, кто избрал его своим вожаком. Самой яркой приметой нашего времени является то совершенно новое отношение миллионов людей к труду, которого еще не знала история... К примеру, возьмите нас всех, вот этот весь наш ночной лагерь, все наши дела — нашу Усть-Невинскую гэс, наши лесные посадки, наши урожаи, наших передовых людей — и посмотрите, чем все это похоже... ну хотя бы на жизнь наших отцов? — Кондратьев посмотрел в темноту и увидел трех всадников.— А! Вот и наши долгожданные гости! Чего ж сидите на конях, как три русских богатыря? Никифор Васильевич, идите сюда,— без вас мы и шагу ступить не можем...

Пожимая лесоводу руку, Кондратьев спросил:

— Как по-вашему, Никифор Васильевич, дело начнем с утра?

— А почему ж его и не начать с утра? — вопросом отвечал Кнышев.— Начнем. На рассвете я осмотрю породу леса, ознакомлюсь — и в добрый час.

Нет, видно, не суждено было сбыться словам лесовода. С полуночи, засыпая костры, повалил сырой снег, а к рассвету все вокруг — лесок, горы, берег реки, брички, лошади, быки — было белым-бело. Игнат Савельевич Хворостянкин вылез из-под брички, как медведь из берлоги, болезненно сожмурил глаза,— смотреть было невозможно.

— Вот тебе и примета времени! — бурчал он, протирая заслезившиеся глаза.— Сумей ее, чертяку, распознать... Руководитель думает, планует одно, а погода — она никаких тебе решений не знает и ворочает в свою сторону... Эх, приметы, приметы!

Через час обозы, гремя пустыми бричками по мерзлой дороге, тронулись в обратный путь.

XII

Следом за снегом пришли морозы с ветрами. Берега реки затянулись в хрупкие пояски, обмелевшая вода неторопливо уносила островки крупчатой кашицы льда. Снег, теперь уже сухой и колкий, заметал ложбины; в степи, там, где еще вчера сажали молодой лес, гуляла вьюга, закрывала озябшие веточки саженцев, как бы желая потеплее упрятать их в свою белую шубу,— все теперь видели, что зима не на шутку улеглась в верховьях Кубани.

В станицах приход ее был встречен, как всегда, радушно. Улицы были людные. Появились, как по заказу, свадьбы,— не было такого воскресенья, чтобы через площадь вихрем не пролетали свадебные поезда из трех-четырех саней в резвой конной упряжке. Обычно на передних санях, как раз над головами жениха и невесты, трепетало знамя, а лошади были в таком разноцветном убранстве, что диву даешься: вся сбруя в самодельных бумажных цветах, а в гривах, как в косах, в шесть рядов заплетены ленты; песни, пляски под гармонь не умолкали до вечера. А вечером к родителям жениха степенно сходились гости, несли буханки хлеба в рушниках, и какой-нибудь усатый дядько, полевод или бригадир, проработавший со своей женой в колхозе

добрых двадцать лет, подавал хозяину перевязанную рушником буханку и говорил басом:

— Люди добрые! Вот вам мое и моей жены заявление — прошу принять нас в колхоз. За нашу характеристику не беспокойтесь: мы люди старательные, работящие.

Под веселый смех раздавались выкрики:

— Принять единогласно!

— Пишите в протокол!

— Пусть они сперва устав нашей жизни изучат!

— Мы этот устав на практике знаем!

— Принять, какой разговор!

Затем усатого дядьку и его жену сажают к столу, уже уставленному всяким съестным добром.

С приходом зимы широкой и хорошо утоптанной лежала снежная дорога в станичный клуб; сегодня тут кино или лекция, завтра — спектакль с танцами или собрание; не было такого вечера, чтобы в клубе не толпился народ,— уместить всех здание не могло.

Все это, разумеется, было явлением обычным,— и свадьбы, и кинокартины, и лекции, и собрания повторялись из года в год. Однако нынешняя зима вместе с первым снегом принесла в станицы новшество: были установлены «электрические дни», популярность которых росла все больше и больше. У одних, как, например, у усть-невинцев, таким «электрическим днем» был понедельник, у других, как у яман-джалгинцев,— среда и т. д. В эти дни, один раз в неделю, проходили занятия технических курсов. В каждой станице к ним готовились так, как обычно готовятся к какому-нибудь празднику. Накануне в том классе школы, где собирались курсанты, мылись полы, в патроны завинчивали стосвечовые лампы. Приезда инженера Грачева поджидали с утра. Он же обычно появлялся у крайней улицы на своем сером коне перед вечером, и станичная детвора гурьбой провожала его до школы.

В класс, освещенный двумя лампами, пропускали только курсантов по списку; они чинно усаживались за парты, раскладывали тетради, книги, вынимали карандаши,— движения их рук, задумчивый взгляд, весь их независимый вид говорил о многом. Те же, кто не чис-

лились в списках и приходили сюда из любопытства, вынуждены были оставаться в коридоре и оттуда в открытую дверь слушать лекцию Грачева. Большей частью это были старики. В коридоре они чувствовали себя свободно,— можно было, распахнув тяжелые полы тулупа, присесть к стенке или на подоконник и покурить и перекинуться словами по поводу услышанного. Однако живое и детальное обсуждение очередного занятия старики начинали уже по пути к дому.

— Эх, научность, научность! И где ж ты была в ту пору, когда я был молодым?

— А у меня, сват, и зараз есть к тому тяга.

— Да тяга-то она есть и у меня, да сил уже нету. Это как один старик, совсем уже древний, решил жениться... Так вот тяга у него тоже была...

— Да брось ты про ту женитьбу...

— Слыхали! Ты лучше скажи, какие это он бублики мелом рисовал?

— То, Аким Иванович, не бублики, а кольца.

— Хоть и кольца, а к чему же они?

— Такое сцепление... Цепь видал?

— А я так понимаю: выговорить чего-то Грачев не смог,— так взял, для наглядности, и нарисовал.

— Чудак, Савелий Кузьмич! Те кольца показывали, как электричество идет... Оно ж невидимое, а нарисовать его все же можно.

— Ишь ты, какая штука!

— Сват, а скажи на милость: ежели всю нашу жизнь, к примеру, перестроить на электрический лад, и чтобы люди,— стало быть, все мы — никакой тяжести не подымали, и за них все машина делала...

— Что ж тут отвечать? К тому идем.

— Да я вижу, что идем, а что будет, когда придем?

— Будет облегчение, известно.

— Ну, сказать, как же без быков?

— И чего ты за чертей рогатых цепляешься — не надоели они тебе?

— Есть у меня внук, на шофера учится. Собой еще молодой, но до чего по технике идет здорово! Поговори с ним — это же какая жизнь ожидается!

В Усть-Невинской таких любопытных тоже было много, и среди них постоянно находился, в валенках и в шубе с огромным воротником, Тимофей Ильич Тутаринов. Он, не в пример своим одногодкам, входил в класс смело, запросто разговаривал с Виктором Грачевым, даже спрашивал у него, скажем, о том: вовремя ли приезжают хуторяне, нет ли опаздывающих, кто из усть-невинцев не посещает занятия,— словом, старик чувствовал себя не гостем, а хозяином и не без причины.

Дело в том, что с той поры, как, по приглашению Кондратьева, Тимофей Ильич побывал на собрании в Рощенской, он считал себя активистом райкома партии. Оно так и было, но старик, сказать правду, слишком преувеличивал этот факт. Поэтому и вид у него был постоянно сосредоточенный, и глаза не в меру задумчивы, и седые усы с застаревшим налетом табачной желтизны подрезаны уж очень аккуратно. В эти дни старик почти что не бывал дома — все расхаживал по станице, появлялся на фермах не только своего, но и соседнего колхоза; носил в нагрудном кармане записную книжку, что-то туда записывал, ко всему присматривался, первым являлся на всякое собрание или заседание.

— Меня в те активисты записал сам товарищ Кондратьев,— хвастался он, встречаясь с такими же стариками, как и сам.— «У тебя, говорит, Тимофей Ильич, глаз верный, и раз ты теперь имеешь от всей нашей партии такое великое доверие, то во всякую жизнь станицы должон вникать по-партийному и за всеми станичными порядками присматривать...»

Его слушали затаив дыхание, с огоньком зависти во взглядах, и Тимофей Ильич, замечая этот огонек в чужих глазах, еще с большей гордостью продолжал:

— Хочу вам малость пояснить. Допустим так. Во всяком деле есть разные активисты. Сказать, активист стансовета, или колхоза, или там кооперации — тоже, конечно, важно. Но у меня активность совсем иначе: я в доверии всей нашей родной коммунистической партии... Вот как!

Старики с минуту молчали.

— А скажи, Тимофей Ильич, в партию ты поступить можешь? — спросил Игнатий Каргин.

— А почему ж и не могу? — отвечал вопросом Тимофей Ильич.— Для партии я подхожу по всем статьям, только надо мне малость подучиться, заиметь кругозор.

— Само собой,— задумчиво проговорил Евсей Семенович.— Тимоша, а скажи: лично Сталин тебя знает?

Все прислушались. Тимофей Ильич, приглаживая валенком снег, некоторое время стоял молча, зажав шершавой ладонью куцые усы.

— Лично с товарищем Сталиным, конечно, мне повстречаться еще не довелось, а насчет того, что ты, Евсей, спрашиваешь, то могу, сказать: он-то меня знает хоть бы по сыну моему или потому, что мы с ним одногодки,— должон знать непременно... Я частенько в ночи не сплю и про него думаю, и думы те такие близкие до сердца...

Обычно в тот момент, когда Тимофей Ильич появлялся в школе, ему хотелось, чтобы курсанты, а особенно молодежь, замечали бы его присутствие. С этой целью он садился за парту — его сухая, костлявая фигура горбилась — и говорил:

— Посижу с вами, пока Грачева нету. Хотя пришел сюда только посмотреть, все ли у вас тут в порядке, а посидеть за партой всякому охота...

— Тимофей Ильич, а мы думали, что вы тоже решили малость подучиться?

— А я уже грамотный,— с достоинством отвечал старик, посматривая вокруг ласковыми глазами.— Николай Петрович, товарищ Кондратьев, просил посещать, как бы от райкома.

— А вы член партии?

— Да разве в том дело, член я или не член? — с обидой в голосе спросил Тимофей Ильич.— Ты не на членство мое смотри, а на деятельность... Я свою партийность, парень, на деле доказываю. Недавно я был в кабинете товарища Кондратьева. Пригласил на совет. Поговорили о всяких делах... «Вы, говорит, Тимофей Ильич, бывайте на электрических курсах,— может, потребуется какая помощь или дельный совет...» Вот в чём, сынок, моя партийность...

— Тимофей Ильич,— заговорил Стефан Петрович Рагулин, подсаживаясь к старику,— был бы ты председателем или бригадиром, заставили бы и тебя изучать эту науку...

— Да разве я против,— Тимофей Ильич развел руками.— Меня тоже можно заставить по партийной линии, но годы мои для этого не подходят.— Тимофей Ильич наклонился к Рагулину и негромко спросил: — А тебе тяжеловато? Побаливает голова?

Поглаживая бородку и, как всегда, хитровато усмехаясь, Рагулин хотел что-то сказать, но в это время на пороге появился Виктор Грачев. В руках у него был пухлый портфель, а голова так завязана башлыком, что виднелись один посиневший нос да обледенелые брови. Он со всеми поздоровался, а Тимофею Ильичу подал руку и сказал:

— Спасибо, Тимофей Ильич, что вы нас навещаете, но у меня и сегодня никаких жалоб нету, все идет нормально... Вот только озяб на коне!

Он разделся, вынул из портфеля кипу книг, тетрадей, палочку мела, и занятия начались.

В этот вечер Тимофей Ильич, отстав от стариков, шел домой вместе с Рагулиным. Всю дорогу говорил о том, о сем. У калитки тутариновского двора, когда надо было расставаться, Рагулин остановился и сказал:

— Ты, Тимофей Ильич, интересуешься: тяжело ли мне? Одному тебе могу сознаться, ты, знаю, не осудишь,— тяжело, и еще как тяжело! Пожаловаться я никому не могу: стыдно,— Герой Труда, нельзя отставать.

— А то как же! Человек ты видный.

— Оно бы и ничего: на словах, когда слушаешь Грачева, веришь, все понятно... Когда же коснется дело всяких там вычислений, и все это делается не цифрами, а буквами,— беда!

— Ты погляди, какая штуковина — буквами!

— Никите Мальцеву легко: молодой, в семилетке учился... А меня же в молодости батько не учил, не думал, что его сын Тимофей доживет до такой жизни... Эх, трудно!

— И как же ты обходишься? — участливо спрашивал Тимофей Ильич.

— Выручает Прохор... Он же по электричеству спец.

— Да, Прохор — башка!.. Покурим напоследок? Держи кисет...

Они закурили молча. Ночь плыла темная и сырая. Из-за Кубани веяло морозной свежестью, холодными капельками липли к лицу снежинки; клочковатые тучи низко-низко повисли над станицей.

XIII

За Верблюд-горой скрылось солнце, и тогда белое-белое подножье заискрилось и сделалось багрово-сизым,— в небе, в окнах станичных домов, на заснеженных крышах еще долго пламенело зарево заката.

В это время через знакомую нам площадь Усть-Невинской неторопливо проходил Прохор Афанасьевич Ненашев, в коротком полушубке, подтянутом монтерским, в ладонь шириной, поясом, на котором висели и крючки и пряжки. Сбивая на затылок заячью капелюху и прикладывая ладонь к глазам, он пристально поглядывал то на столбы в тонкой ледяной корке, то на провода, запушенные теперь уже не белым, а розовым инеем,— на нем играл яркокрасный отблеск спрятавшегося за гору солнца.

Гарцуя на низкорослом коне, к Прохору подъехал Алексей Артамашов.

— Прохор Афанасьевич! — крикнул он, как обычно рисуясь на седле.— Далеко путь держишь?

— К Рагулину поспешаю.

— А что там такое? Может, угощение?

— Разве ты не знаешь, я ему помогаю по электрической части. Надо своему Герою подсоблять.— Прохор сунул руку за полушубок на груди и вынул сложенную вдвое зеленую брошюру.— Вчера был в Рощенской, зашел в магазин и вот нужную книжку купил. Погляди, какое важное название: «Электромонтер электрических станций и подстанций». Сурьезная книга, с чертежами.

— Неужели Рагулин собирается стать монтером?— удивился Артамашов, поворачиваясь в седле так, что поскрипывала кожаная подушка.

— Не собирается, верно,— сказал Прохор.— Ему, как и тебе, и всем курсантам, надо изучить всего только электрический минимум. А мне же, ты, Алексей Степанович, сам понимаешь, требуется знать поболее... Вот я и обзавожусь надежной литературой. И тебе, как ты тоже изучаешь электричество, скажу: то, что инженер по понедельникам рассказывает, слушай в оба уха, а потом еще и в книжки заглядывай,— тогда техника войдет в тебя и уже обратно не выйдет... Сказать, по крови она разойдется. Вот как! А ты куда это на коне?

— Савва к себе пригласил,— с улыбкой на смуглом, чисто выбритом лице ответил Артамашов.— И ты думаешь, по какому делу? Не слыхал? Да неужели не слыхал? Награду от правительства за урожай получил Алексей Артамашов. Вот какая новость!

— Золотую Звезду?

— Малость не дотянул.

— Орден Ленина?

— Бери еще немного ниже. «Знак почета».

— Маловато,— посочувствовал Прохор.— Обещал же Рагулина догнать. А все-таки здорово! Поздравляю, Алексей Степанович!

— Поздравить, безусловно, можно, но это еще не мой предел.— Артамашов натянул поводья.— Это же только первый год. А вот в нынешнем году я Рагулину докажу.

Возле станичного совета Алексей спешился, привязал у старенькой, искусанной коновязи свою лошадь и, поправляя на ходу кубанку, живо поднялся на крыльцо. В другое время он прошел бы проворно, ни на кого не глядя, прямо в кабинет Остроухова. Теперь же невольно уменьшил шаг,— радость была еще так свежа, а в груди то возникал сердце сжимающий холодок, то разливалась сладостная теплота... А почему же Алексей не смог своей привычной походкой пройти в кабинет? Почему же он так неожиданно уменьшил шаг? Надо сказать правду: всему виной тут была маленькая человеческая слабость — желание вызвать у своих знако-

мых и улыбку на лицах, и удивление, и даже зависть...

Дело в том, что в передней, сильно прокуренной комнате, где обычно коротают время посыльные и встречаются за разговорами те, кому некуда торопиться, стояли, о чем-то оживленно беседуя, человек десять казаков. При виде их Алексей инстинктивно выпрямился и стал еще стройнее; через всю комнату он нарочно прошел медленно, даже два раза кашлянул,— так ему хотелось обратить на себя внимание! Ему виделась заманчивая картина: его окликают, а потом все сразу обнимают, пожимают руки и поздравляют. Ему даже слышался такой диалог:

«— А! Алексей Степанович! Гордость Усть-Невинской!

— Добился своего!

— У него слова не расходятся с делом!

— Хоть еще и не Герой, а уже близок к тому?

— Рагулина он непременно догонит!

— А за что такая ему награда?

— Да за пшеницу.

— Поработал, Алексей Степанович, вот тебе и почет!

— И народ тебя благодарит!»

Однако казаки, весело смеясь и не прерывая беседу, даже не взглянули на Алексея.—«И понятно, почему,— думал Алексей, отворяя дверь и входя к Остроухову.— Уже вечер, в комнате темновато, сумрачно — вот и трудно заметить...»

— Алексей Степанович,— сказал Савва, устало подымаясь из-за стола и протягивая руку,— от лица всей Усть-Невинской горячо поздравляю с правительственной наградой. На правильную дорогу выходишь, Алексей. Честно взялся за труд, а это великая сила! Ну, садись, расскажи, как живешь?

— Спасибо, Савва Нестерович, за теплые слова,— Алексей сел к столу, снял кубанку.— Живется, Савва, не знаю, как кому, а мне хорошо. Ты говоришь, стал я на правильную дорогу. А я другое думаю. Мне сдается, что я себя будто бы почистил, сказать, в душе своей порядок навел, и вот то, что я радуюсь... ну, как бы тебе

понятнее... Нет, не могу я выразить.— Он смял кубанку и, сжимая ее в кулаке, сказал: — Понимаешь, взгляд на жизнь у меня стал другой...

— Ты что-то задержался... Я уже тебя давно поджидаю.

— И вот — задержался,— живо отвечал Алексей.— А почему? Раньше бы не задержался, а теперь задерживаюсь... Потому задержался, что другой стал Алексей. Вот его все и замечают и останавливают. Еду я на коне по станице, и все, кто встречается, приветствуют, расспрашивают, вопросы задают... А разве я раньше на коне по станице не ездил? Ездил. И на тачанке ездил. Так почему же меня тогда никто не останавливал и ни о чем не расспрашивал? А потому, что не тот был Алексей. Вот и Прохора Ненашева встретил — с трудом разошлись. Разговору хватило бы на всю ночь. Там еще повстречался мне Тимофей Ильич. Старик так обрадовался, что не утерпел, веришь, обнял меня, как сына, а по щекам у него слезы... Вот оно какой нынче Алексей Артамашов.

— Все это хорошо,— согласился Савва, и его большие светлые глаза сделались задумчивыми.— Я позвал тебя, Алексей, по важному делу. Хочу спросить...

— Спрашивай.

— Как у тебя «электрический день»?

— Ничего, учусь.

— Отстаешь?

— Стараюсь, но трудновато. Туповат я на технику.

— Да, трудновато,— повторил Савва, и по задумчивому взгляду было видно, что в уме у него таилась какая-то важная мысль.— А как ты смотришь, Алексей Степанович, если бы вернуться тебе к прежней работе?

— Председателем? — Алексей снова смял в кулаке кубанку, и мускул на его смуглом лице дрогнул.— Так сразу?

— Конечно, не сразу.— Савва поднялся, отошел от стола.— От тебя я ничего не утаю. Не так давно я был у Кондратьева. Разговаривали о всяких делах, о людях... Между прочим, Николай Петрович о тебе спрашивал.

— Значит, не забыл?

— Спрашивал меня: «Как, говорит, по-твоему, если мы пошлем Артамашова на годичные курсы председателей колхозов?»

— И ты что же?

— Промолчал, не знал, что ответить.

— И еще что говорил Кондратьев?

— Попросил побеседовать с тобой и узнать, что ты об этом думаешь. И вот я тебя прошу: говори определенно, а я скоро поеду на районную партийную конференцию и доложу Кондратьеву.

— После курсов возвращаться в свой колхоз?

— То дело будущего. Ты отвечай на мой вопрос: учиться хочешь?

— Да это... чего ж тут... хочу, конечно.

— Вот ты говорил, что появился новый Артамашов,— Савва подошел к Алексею, похлопал по плечу.— А скажи: тот, старый Артамашов, случаем, заново не оживет в тебе? Запомни: и твоя и наша задача — старого Артамашова похоронить навечно, а нового послать учиться...

— А! Друзья-приятели! О чем беседа?

С этими словами в кабинете появился Никита Мальцев,— молодое его лицо раскраснелось на морозе, пепельные усы при ярком свете были золотистыми.

— Савва, я заехал за тобой,— сказал он, здороваясь с Алексеем.— Мои сани у подъезда. Поедем, а то уже поздно.

— А куда это вы? — спросил Алексей у Саввы.

— Да тут недалеко, по делу.— И Савва начал одеваться.— Значит, так, Алексей: будем считать, что мы договорились?

Савва и Никита уселись в сани и умчались, только искорки из-под копыт коней упали на снег. «И куда они так поспешили?» — глядя вслед саням, подумал Алексей Артамашов.

Он неторопливо подошел к коновязям, отвязал повод и долго стоял, задумавшись и положив руку на подушку седла. Его конь скучающе косил зеленоватые яблоки глаз, блестевших на свете электрической лампы, и поворачивал голову, и вздыхал, и ловил упругими гу-

бами то полу шубы, то колено хозяина, как бы говоря: «Не дразни. Если отвязал повод и протянул руку к седлу, то садись...» А Алексею Артамашову не хотелось садиться в седло, и если бы конь смог понять, о чем в эту минуту думал его хозяин, то стоял бы покорно и смирно.

«Так, так... Значит, мною уже интересуется Кондратьев, это же очень здорово,— с улыбкой размышлял Алексей.— Партия меня наказала, и партия опять желает сделать из меня человека... Желают вернуть на прежнюю работу. Э, теперь бы иначе руководил,— хватит, нынче я ученый... А все же лучше мне быть бы бригадиром: дело и живое и ощутимое. Поработал, приложил руки — и результат налицо. Вот я уже и отмечен наградой, а там еще постараюсь и более возвеличусь. Люди меня поздравляют, старик Тутаринов, тот самый Тутаринов, кто съедал меня глазами на том собрании, теперь обнял и прослезился. А почему? Трудом я себя перед ним оправдал... И Рагулин тоже должен поздравить. А как же! Такое событие! Были мы когда-то врагами, а нынче пора становиться друзьями...»

В голове его родились такие волнующие мысли, что тут надо было либо оставить коня у коновязи и уйти бродить по станице, либо вцепиться в седло и ветром улететь куда-либо в степь, на простор, так улететь, чтобы дух захватывало...

Глядя через седло затуманенными глазами, Алексей понимал, что еще ни разу в своей жизни он не испытывал такого волнующего чувства; поэтому все, что его окружало и на что он смотрел,— и чистое, по-зимнему звездное небо, и темный силуэт Верблюд-горы, и огни в станице — казались ему необыкновенно красивыми. Много-много раз он видел звездную зимнюю ночь, а вот такой, как сегодня, еще не было; много-много раз ночью смотрел он на Верблюд-гору, на сочную тень от нее, а вот такого дивного очерка горы, кажется, еще не видел; много-много раз любовался он переливами огней на площади, а вот в эту ночь Усть-Невинская почему-то светилась и ярче и радостнее. «Старого Артамашова надо похоронить навечно,— думал Алексей, а фонари перед глазами подпрыгивали, расплывались и вся пло-

щадь заливалась светом.— Надо побывать у Стефана Петровича Рагулина... Пусть старина пожмет руку и поздравит...»

Эта мысль точно подбросила его, и он в один миг очутился в седле. Конь, уловив настроение своего седока, с места пустился галопом,— взлетели к небу комья снега, а по станице полетели четкие выстуки копыт...

У ворот Рагулина Алексей соскочил с седла, отворил калитку и завел во двор горячего, тяжело дышащего коня. В доме Рагулина ярко горел свет. «Значит, еще не спит,— подумал Алексей.— Наверное, газеты читает... Ну вот мы и посидим вдвоем...»

Оставив коня у ворот, Алексей прошел по расчищенной дорожке в палисадник и заглянул в окно, заглянул и не знал, что ему делать, уходить или оставаться. За столом, недалеко от окна, сидели: сам хозяин дома в белой нательной рубашке, Савва Остроухов, Никита Мальцев, Иван Атаманов и Прохор Ненашев в очках и с книгой в руках,— не сидел, а стоял. Перед каждым из них лежали тетради, книги, карандаши.

«Так вот они где,— подумал Алексей.— По всему видно — «электрический день» наверстывают, подучиваются. А мне, черти полосатые, не сказали... Хитро делается».

Уходить ему не хотелось. Он стал спиной к стенке, так, что правое ухо почти касалось чуточку приоткрытой форточки, прислушался.

— Далее можете не записывать,— говорил Прохор,— это я вам от себя поясню для понятливости... Значит, в том аппарате имеется такой стакан, который мягко, совсем как вот пальцами, берет у коровы сиську и начинает ее выдаивать. От нажима, стало быть, молоко сюрчит в тот стакан, а из него по такой трубочке течет в доильное ведро... Все очень просто... Но какую тут роль имеет электричество — вот это прошу записать. Известно, что электромашинную дойку коров производят трехтактным доильным агрегатом,— Прохор поправил очки, посмотрел в книжку и продолжал,— агрегатом, состоящим из вакуум-насоса и вакуум-баллона. Какие нужно знать расчеты? Во-первых,

надо нам знать, что потребная мощность электродвигателя для вакуум-насоса всего два с половиной киловатта. Во-вторых, расход электроэнергии на одну дойку одной коровы составит шестьдесят или восемьдесят ватт-часов. Если все это вместе суммировать, то получится: на одну корову в год потребуется электроэнергии всего около пятидесяти киловатт-часов... Записали?

Алексей отошел от окна, постоял среди двора, раздумывая, входить ли ему или не входить в дом; потом решительно пошел к коню, вскочил в седло и ускакал по притихшей улице.

XIV

На площади Родниковской, в глубине просторного двора с абрикосовым садом, стоит каменное здание школы. Даже в самые холодные зимние вечера, ну хотя бы в такие, как сегодня, высокие окна залиты светом. Встав в ряд, они смотрят на юг, а перед ними в пышном инее, как в цвету, возвышаются лапчатые деревья; кажется, встряхни ствол — и метелью посыплются на землю бело-розовые лепестки... Но сад стоит спокойно,— на снегу не лежат лепестки, а отчетливой тенью печатается рябчатое сплетение веток и веточек. Станичники, проходя мимо школы, знают: за окнами — большой класс, и оттого льется на снег свет, что в этот вечер здесь проходит очередное занятие электротехнических курсов.

Парты стояли тремя рядами, слушатели — мужчины, женщины, молодежь — сидели тесно; лишь одно место на низенькой парте возле дверей было свободно: это Игнат Савельевич Хворостянкин и на этот раз опоздал. В классе тишина, слышались то шелест перелистываемой книги, то скрип парты, то тяжелый вздох. Виктор Грачев излагал тему урока; говорил он спокойно, иногда делал паузу,— видимо, ему хотелось подобрать нужные и точные слова; он и подходил к доске, чертил линии, как бы желая этим пояснить свою мысль, и снова останавливался у стола,— тогда взгляд его задерживался на знакомых лицах.

Вот в среднем ряду на одной парте уместилось трое: председатель колхоза «Власть Советов» Иван Герасимович Родионов, мужчина грузный, с красивыми усами,— опершись щекой на руку, он слушает так внимательно, что усатый его рот чуточку приоткрылся; рядом с ним наш старый знакомый Никита Никитич Андрианов, в праздничном черном костюме, с подмасленной лысиной,— взгляд его слезливых глаз обращен к доске, на которой белели какие-то линии; его сосед, животновод колхоза «Волна революции» Матвей Кириллович Сотник, с густыми, нависшими над глубокими глазницами бровями, что-то мучительно записывал в тетрадку. В крайнем от стенки ряду одни женщины. Среди них с белой пуховой шалью на плечах Варвара Сергеевна Аршинцева. Настенька Вирцева с замысловатой прической на красивой маленькой голове, Глаша Несмашная, приехавшая с хутора, в теплой стеганке и в платке, сползающем ей на плечи. В слабо освещенном углу сидел чубатый паренек, а по бокам у него девушки с веселыми и беззаботными лицами; они слушали Виктора, и то одна, то другая тянулась к уху чубатого парня, видимо, хотели ему шепотом что-то сказать, а он не слушал и злился...

Занятия уже подходили к концу, когда Игнат Савельевич Хворостянкин, воровато приоткрыв дверь, уселся на своем месте. В этот момент Виктор Грачев, вытирая о тряпку сильно испачканные мелом пальцы, уже в последний раз отошел от доски и сказал:

— А теперь подведем итоги. Что мы сделали сегодня и что мы узнали? Во-первых, повторили прошлый урок и уяснили, что всякая сельская электростанция состоит из силовой части — будь то тепловой или гидравлической, электрического генератора и распределительного устройства. Мы изучили такие распределительные устройства, посредством которых производится все управление электрической частью станции.— Виктор не удержался и посмотрел на Хворостянкина, увидел его большую, низко склоненную голову, чуть заметно усмехнулся и продолжал: — Предметом же нашего сегодняшнего занятия была тема: «Измерительные приборы». Кто еще не успел записать, советую это

сделать теперь... Этот мой совет особенно относится к Игнату Савельевичу Хворостянкину.

По классу ветерком прошумел смех. Послышались голоса:

— Он и без записей все знает.

— Если бы не знал, так не опаздывал.

— Ему Нецветова поможет.

— А, по-моему, чего опаздывать? Будто нынче никаких заседаний нету.

— У кого их нету, а у Игната Савельевича они завсегда есть.

— Тогда дело другое.

— Тихо, тихо! — Виктор приподнял руку.— Так какие ж нам нужны измерительные приборы? Во-первых, нужен прибор для измерения силы электрического тока. Здесь применяется... Кто мне подскажет? Варвара Сергеевна, вы хотите сказать?

— Для измерения силы электрического тока,— волнуясь, негромким, охрипшим голосом заговорила Аршинцева,— применяется амперметр.

— Правильно. Садитесь.— Виктор снова покосился на Хворостянкина: тот лег широкой грудью на парту, что-то с трудом записывал, по лбу у него катились, поблескивая на свету, крупные капли пота. «Вот кому жарко»,— подумал Грачев и обратился к слушателям.— Во-вторых, нам нужны приборы для измерения напряжения электрического тока.

— Я скажу!

— Прошу, товарищ Родионов.

— Для измерения напряжения электрического тока,— поглаживая усы, свежим басом заговорил Родионов,— применяется вольтметр.

— А как по-вашему, Игнат Савельевич? — спросил Грачев, теперь уже не в силах скрыть насмешливую улыбку.

— Точно так и по-моему! — ответил Хворостянкин, смахнув рукавом капельки со лба.

Снова смех в классе.

— Хорошо, пойдемте дальше.— Виктор посмотрел в темный угол, на чубатого парня и на его соседок.— В-третьих, нам нужны приборы для измерения мощно-

сти электрического тока. Из беседы мы узнали, что мощность в цепи постоянного тока равна произведению тока на напряжение, а поэтому ее можно определить по показаниям амперметра и вольтметра. И еще нам нужен прибор для измерения количества израсходованной энергии. Допустим, что в течение месяца в колхозе «Красный кавалерист» работали механические кузницы, электродойки, пилорама... Как же нам узнать, какое количество электрической энергии мы израсходовали?

Почти все курсанты подняли руки.

— Могу я ответить? — послышался слабый голос Хворостянкина.— Такой приборчик уже висит у меня в доме.

— А как же он называется?

— Называется просто — учетчик.

— Это у тебя в конторе учетчики!

— Счетчик!

— А какие счетчики бывают?

— Тише! — Грачев постучал по столу.— Кто еще не успел записать? Все записали? И Игнат Савельевич? Хорошо... Тогда советую до следующего нашего занятия повнимательнее прочитать книжку Златковского и Шустова,— она у вас есть...

После занятия, выходя из школы, Игнат Савельевич Хворостянкин взял Виктора Грачева под руку, подстроился под ногу и угостил папиросой.

— Виктор Игнатьевич,— заговорил Хворостянкин, когда они вышли за ворота,— на эту ночь прошу ко мне, буду очень и очень рад. Жене уже дано задание — изготовиться и быть на часах. По этой домашней причине я малость припозднился... Но записи успел сделать, это я смог.

— А мне все равно, у кого ночевать,— с грустью в голосе ответил Виктор.— С помощью моего друга Сережи я уже привык к такой скитальческой жизни, и, вы знаете, кажется, она мне на пользу. А далеко ваш дом?

— Не очень. Через три переулка, на четвертом.— Игнат Савельевич с таким старанием топтал мерзлый снег, что под подошвами его больших сапог сухо потрескивал мороз.— Виктор Игнатьевич, прошу тебя по-то-

варищески... Ты хотя человек беспартийный, но меня ты поймешь...

— А в чем дело?

— Да, понимаешь, прошу тебя: ты меня не очень спрашивай на людях. Человек я стеснительный, и тут еще, понимаешь, как руководителю, необходима настоящая авторитетность,— это же всякому понятно.

— А мне не понятно,— чистосердечно признался Виктор.— Если я вас не буду спрашивать, то как же я смогу дать оценку вашим знаниям?

— Да ты спрашивай, не давай мне никакой пощады, только не на людях, а так, со мной один на один. На людях, понимаешь, лучше обойти...— Хворостянкин приостановился.— А вот и мой домишко! Прошу в калитку... Сядем за стол, и я тебе все поясню, так ска́зать, с нужных позиций... Антонина Федоровна, открывай!

За ужином прерванный у калитки разговор почему-то не возобновлялся,— очевидно, причиной была хозяйка дома. Она приветливо посматривала на Грачева, пододвигала к нему лучшие блюда,— по глазам ее, светлым и по-женски ласковым, было видно, что ей нравится этот белолицый, с льняными волосами инженер.

Игнат Савельевич угощал гостя настойкой, приглашал закусывать жаренной в сметане курятиной; сам и пил и ел охотно, поглаживая замасленные усы и рассказывал о погоде, о значении снегозадержания, о зимовке скота, об охоте на волков.

— Да, Виктор Игнатьевич, если присмотреться,— сказал он, важно откинувшись на спинку стула,— то можно заметить — жизнь у председателя хлопотная... А сколько тебе разных беспокойств, нервы так прямо трещат! А тут еще, как на грех, не везет мне с партийным руководством. Изберем одного секретаря па́ртбюро, только привыкнет к нашим делам, поймет и уяснит мою хозяйственную линию, тут бы только и работать дружно,— ан нет! Забирают, переводят. Так случилось и с Татьяной Нецветовой.

— А что с ней? — спросил Виктор, обсасывая косточку.

— Да разве ты не слыхал? — Хворостянкин рас-

смеялся и, поглаживая изрядно блестевшие жиром усы, еще больше откинулся на спинку стула.— А-а! Да я и забыл: ты же беспартийный! Ну, ничего, я тебе поведаю, тут никакого секрета нету! Позавчера на районной партийной конференции Татьяну Николаевну избрали секретарем райкома.

— А Кондратьев? — удивился Грачев.

— Да нет же, не первым,— Хворостянкин даже сочувственно покачал головой,— и не вторым, а просто секретарем. Наш второй секретарь Петр Петрович Кучеренко уехал учиться в академию,— умнейшая была голова! Так теперь вторым избран Алдахин Павел Степанович; был он до этого просто секретарем, а на его место утвердили нашу Нецветову... Эх, беда! Всем радость, а Хворостянкину опять горе.

— Игнат,— вмешалась в разговор Антонина Федоровна,— а давно ты проклинал Татьяну Николаевну: она ж тебе жизни спокойной не давала! Разве забыл?

— Помню, помню... А потом она мою линию все же уяснила.

— А может, не она твою, а ты уяснил ее линию?— с усмешкой спросила жена.

Хворостянкин тяжело вздохнул:

— То все одно... А теперь она секретарь райкома, тоже надо понимать!

— Ох, смотри, будет она тебя еще гонять, попомни мое слово.— Поглядывая на Виктора и улыбаясь, Антонина Федоровна добавила: — Теперь она и совсем жизни тебе не даст.

— Тоня, а ты в это дело не вмешивайся. Побеспокойся насчет чайку.— Хворостянкин наклонился к столу.— Виктор Игнатьевич, вот к этой славной куриной ножке присовокупи огурчик — не пожалеешь!

XV

Поднявшись из-за стола, Хворостянкин сказал жене, что гость за день намаялся, пора ему и на отдых. Антонина Федоровна, все так же ласково, а в какие-то минуты даже обворожительно-ласково посматривая на

Виктора, проводила его в соседнюю небольшую комнату, где постель уже была готова, и, пожелав спокойной ночи, вышла.

«Вот тут я один полежу, пораздумаю. Что-то неспокойная стала у меня голова»,— размышлял Виктор, снимая пиджак и вешая его на спинку стула.

Но не успел Виктор раздеться и подлезть под толстое прохладное одеяло, не успел подумать о том, что каким-то странным кажется для него Хворостянкин, как вошел, легкий на помине, хозяин дома, уже в одной нательной рубашке и с расстегнутым на брюках поясом. Поставив поближе к кровати стул, он грузно уселся, положил на колени широкие ладони,— на суставах толстых пальцев пучками росли рыжеватые волосы.

— Так я, Виктор Игнатьевич, не досказал свою мысль,— начал он, рассматривая свои пальцы,— а досказать должен.

«Ну, считай, ночь пропала,— с горечью подумал Виктор.— И зачем я согласился у него заночевать!..»

— Да, так в чем же моя главная мысль? — сам себя спросил Хворостянкин и выжидающе посмотрел на Виктора.

— А я не знаю,— с иронией в голосе ответил Виктор, поправляя за спиной одеяло.

— Так слушай и разумей. Всякая учеба, если на нее смотреть с определенных позиций, дело, конечно, хорошее, нужное. Но притом же,— тут Хворостянкин помолчал, пошевелил большим пальцем,— притом же, сказать, если вдуматься, то зачем вся эта электрическая премудрость хлеборобу, одним словом, тому человеку, каковой знает свое дело — растит хлеб? Я понимаю так...

— Да что же тут понимать? — перебил Виктор.— Хлебороб-то другой стал — вот и весь ответ.

— Погоди...— Хворостянкин насмешливо скосил глаза.— Это еще не факт...

Виктор приподнялся на локте, оголив костистое плечо, и взволнованно заговорил:

— Нынешний хлебороб похож на того прежнего кубанского хлебороба, о котором вы печалитесь, примерно

так, как усть-невинский казак Сергей Тутаринов на своего батю или я на своего покойного папашу... Сама жизнь изменила людей, и вот пришло такое время, что без технических знаний мы не можем обходиться...

— Хорошо, с хлеборобами в общем и целом согласен. И ты на своего батька не похож, и Сергей тоже не похож — верно. И техника растет — тоже верно, и учеба идет людям на пользу, а особенно тем, кому поручено ведать электричеством, по столбам лазить... Ну, а мне, как руководителю, от которого требуется идейность, скажи — мне для чего забивать голову электричеством? Разве у председателя других дел или забот нету? Есть, и немало! И разве в том моя сила! Мне надо знать то, как провести заседание правления, как с народом поговорить, там речь или какой доклад произнести, или как дать верное направление тому или иному вопросу... Вот в чем сила председателя колхоза... Без беленьких чашечек он обойдется, а вот без твердости в руководстве, без того, чтобы давать направление основной линии...

— Вот уж с этим я не согласен,— не выдержал и со смехом сказал Виктор.— Какой же это в теперешних условиях руководитель, если он технически слепой...

— Нет, дорогой товарищ, ежели председатель не умеет возглавить массы, то ни ампельметры, ни вольтельметры ему не помогут. Ему подавай политическую подкованность...

— Тогда я не понимаю,— глядя в потолок, проговорил Виктор,— зачем же посещаешь курсы?

— Да, это вопрос,— Хворостянкин тяжело вздохнул.— Партийная дисциплина.

— А зачем же двурушничаешь?

— Ай, шутник, ей-богу!— Хворостянкин рассмеялся хрипло и с кашлем.— Ну, шути, шути... Вижу, у тебя голова уже не работает... Отдыхай, поспи, а завтра мы продолжим нашу беседу.

«Или в самом деле дурак, или же притворяется, валяет дурака,— подумал Виктор, когда Хворостянкин ушел.— «Я то да я это, идейность нужна, направление...» Эх, какой болтливый гусак!»

Виктор повернулся на бок, натянул одеяло на голову и, ощущая на груди теплое дыхание, хотел уснуть, но не смог. Самочувствие было скверное, голова разболелась. А отчего? Кажется, чего бы еще? И вкусный ужин с вишневой наливкой, и чистая постель, в которой он уже согрелся, и ласковый взгляд хозяйки, и разговорчивый Игнат Савельевич,— словом, решительно все в этом доме должно было только радовать и приносить успокоение. Но ничего этого не было, и Виктор, ворочаясь в нагретой постели, не мог понять: почему же после такого трудного дня нет сна и почему вместо радости на сердце у него лежали тревога и тоска?

Да, конечно, в двух словах ответить на этот вопрос было бы не трудно, ибо Виктор понимал — всему виной явился разговор с Хворостянкиным; а вот почему именно этот разговор нагнал такую тоску, причинил душевную боль и вызвал бессонницу,— этого он объяснить себе не мог.

«Ну, хорошо,— думал Виктор, глядя на белевшее в темноте окно,—Хворостянкин человек недалекий, и все, о чем он тут молол, исходит не от ума, а от зазнайства и высокого самомнения,— это видно даже невооруженным глазом. А мне-то какое дело и до Хворостянкина и до его изречений? Коммунист, а рассуждает похлеще всякого обывателя. К сожалению, такие экземпляры еще существуют и переведутся, видимо, еще не скоро. Но мне-то до всего этого какое дело? Почему я стал его поучать, злиться, доказывать? — Тут он тихонько рассмеялся.— Ого, да я уже, кажется, вхожу в роль моего друга детства... Вот бы Сережа послушал, как я тут поучал этого усатого дядьку... Ну, спать, спать, а завтра снова шататься в седле... Степь в снегу — безмолвна, а среди этой степи Виктор Грачев на коне один, как птица... Спать, спать...»

А сна не было. Перед усталыми глазами белым квадратом стояло заснеженное со двора окно, от него веяло морозной свежестью. Мысли переполняли голову, и от случая с Хворостянкиным Виктор невольно обратился к тому, что его волновало уже много дней и ночей, а именно: он замечал в себе странную перемену

и никак не мог решить, радоваться этому или огорчаться.

Разумеется, такая перемена не могла случиться из ничего и вдруг, возможно, ее и вовсе не было бы, не случись в станицах таких массовых электротехнических курсов. Виктор Грачев, инженер-монтажник, собирался всю жизнь иметь дело только с машинами — и вдруг, как говорят — волею судьбы, сделался инженером-педагогом, и надо сказать правду — педагогом несколько необычным. Более трехсот человек прислушиваются к его словам, им он прививает любовь к технике; и хоть трудные бывают переезды из станицы в станицу в холод и метель, но зато приятно сознавать: он обучает техническим знаниям людей, из среды которых вырос сам. Виктор видел, как с каждым новым его приездом в станицу у его земляков все больше и больше просыпались любознательность и та природная пытливость ума, от которой у человека светлячками горят глаза... Вся эта перемена в людях отражалась, как свет от зеркала, и на нем, оттого и менялся его характер, и Виктор понимал: да, важно, конечно, смонтировать на Кубани гидростанцию; да, важно, конечно, по строгим техническим правилам установить турбину, генератор с возбудителем и распределительный щит; но во много раз важнее — монтировать такое сознание у колхозников, которое порождает новое отношение к жизни...

Помнится, в Белой Мечети после окончания занятия к Виктору же на улице подошел бригадир-полевод Терентий Гаврилович Очеретько, мужчина рослый, с красивым неможожавым лицом. В эту ночь над станицей гуляла полная луна, снег на крышах домов искрился бисером.

— Дозвольте, Виктор Григорьевич, спросить,— сказал Очеретько, заходя немного наперед, как бы боясь, что его не захотят слушать.— Есть один важный вопрос.

— Спрашивайте.

— Какой длины трос у электрического трактора?

— А зачем это вам знать? — Виктор двинул плечами.— На уроке мы об этом не говорили.

— Верно, на уроке не говорили, но думки мне не

дают покою. Важно узнать, какова длина того троса. Ведь трактор же ходит на тросе, как на привязи.

— В Белой Мечети вообще пока электротракторная пахота не предполагается. — Виктор с улыбкой посмотрел на суровое лицо Очеретько, на его воротник, поднятый поверх кудлатой папахи. — Рано об этом задумались.

— Нет, не рано,— стоял на своем бригадир.— Сегодня тех машин нету, а завтра будут... Так вот меня интересует главным образом трос.— Он выломил из плетня хворостину и стал чертить ею по ровному настилу снега.— Обратите внимание. Вот так тянется земля нашей бригады. Протяженность порядочная, а ширина тысяча четыреста метров. Так вот как же трактор пройдет из конца в конец? Подпустит ли его трос, сказать, к этому краю? — И он вонзил палочку в снег.

— Сейчас поясню наглядным примером,— сказал Виктор, и палочка очутилась в его руке.— Вот тут пройдут столбы с электролинией высокого напряжения,— условное поле бригадира Очеретько было расчерчено напополам.— Значит, в ту и в другую сторону от столбов будет расстояние по семьсот метров. В пролете между столбами — об этом я вам уже как-то рассказывал — будет стоять специальная передвижная трансформаторная будка, питающая энергией трактор. А так как кабель — не трос, а кабель — имеет длину семьсот пятьдесят метров, то на твоем загоне электротрактору очень даже хорошо будет разгуливать.

— Так, так, значит, ход свой начнет с середины, а трос или кабель достанет в оба конца — сюда и сюда.— Он тыкал палочкой в снег.— Понятно! Ну, спасибо, теперь моя душа будет спокойная.

...Лежа в постели и в деталях припоминая этот разговор, Виктор облегченно вздохнул. Перед ним стояли Хворостянкин и Терентий Очеретько. Вначале Терентий Очеретько только слегка плечом отодвинул Хворостянкина, а затем и вовсе заслонил его своей могучей фигурой в тулупе и в косматой папахе... Вскоре потемнело окно и совсем незаметно наступил сон.

XVI

В субботу Виктор Грачев был в Рощенской,— на этой станице замыкался круг его недельной поездки по району. Занятия курсов, как обычно, затянулись и кончились поздно вечером. Виктор направился на квартиру к Сергею; давно они не виделись,— хотелось и побыть вместе и поговорить.

Знакомый небольшой дворик был завален сугробами,—ночью они напоминали крохотные утесы и снежные перевалы. В комнатах горел свет, но Сергея дома не оказалось,— он был на заседании бюро. Ирина встретила Виктора ласковой улыбкой на лице, заметно пополневшем и потемневшем от беременности; просила остаться и подождать Сергея, обещала напоить чаем, но Виктор отказался и ушел. В другое время он и остался бы, и пил бы чай, но на этот раз случилось нечто необычное: он смотрел на Ирину, а перед ним почему-то стояла Соня, грустная, но с гордым взглядом. И вот тут, неожиданно для самого себя, он решил сейчас же ехать в Усть-Невинскую и во что бы то ни стало повидать Соню. «Все одно,— размышлял он, входя в райисполкомовскую конюшню, где стоял его конь,— оттуда в понедельник начнется новый круг моего недельного странствия, так что лучше поехать в Усть-Невинскую не завтра, а сегодня в ночь...»

С твердым намерением непременно повидать в эту ночь Соню и сказать ей что-то такое, чего еще вчера бы он не смог сказать, Виктор вскочил в седло и ускакал в степь,— белая и озябшая, лежала она под холодным лунным светом; морозный ветерок обдувал ее со всех сторон... А часа через полтора, нагревшись сам и хорошенько разогрев коня, он въехал в Усть-Невинскую,— станица давно спала, а над ней, как бы оберегая ее покой, частыми огнями горели фонари.

К Сониной хате коня подвел на поводу, постоял, осмотрелся,— хотелось успокоить дыхание, а сердце билось часто и сильно. Виктору казалось, что вот-вот откроется сенная дверь и на пороге появится Соня... Окна не светились, в затянутых ледком стеклах блестела луна. Всхрапнул конь. Виктор вздрогнул:

на носках, крадучись, подошел к двери и постучал рукоятью плетки. Загремел крючок, послышались шаги — Виктор затаил дыхание и ждал... И вот отворилась дверь, и перед ним, кутаясь в шубчонку, в валенках на босу ногу, стояла не Соня, а ее мать.

— Ой, господи! Виктор Игнатьевич! — воскликнула она слабым, сонным голосом.— Откуда ты явился? А Сони дома нету. В Ставрополь, на учебу, поехала... Разве ты не знаешь? Ну, заходи в хату...

Виктор ничего не сказал, молча потянул повод и повел коня на улицу.

«Уехала... Куда ж теперь мне? — думал он.— И кому я расскажу все то, что хотел рассказать только ей одной?..»

Он неторопливо вел коня по улице,— огни на площади Усть-Невинской манили к себе.

XVII

Звякнула щеколда, и в сенцах кто-то так старательно зашуршал смерзшимися валенками, точно выбивал чечетку.

— Сережа, встречай деда-мороза! — послышался простуженный басок.

Сергей открыл дверь и в густых клубах пара увидел Савву Остроухова; голова его была замотана башлыком — виднелись одни лишь заиндевелые глаза, а бурка на нем, залепленная снегом, казалось, была сделана из ваты.

— Эх, и разгулялась же зима! — сказал Савва, развязывая башлык и сбрасывая с плеча белую и мерзлую бурку, которая не сгибалась даже снизу.—Сережа! Это же только подумать: у нас на Кубани — и такие холода! По радио слышал — в Архангельске и то зараз теплее, чем у нас!.. Дай мне веничек...

— Ничего веничком не сделаешь, ты ее поставь в угол, пусть оттает,— Сергей взял из рук Саввы тяжелую бурку и поставил ближе к печке.— Ну, что там, в степи? Не заметил, как там наши лесные полосы?

— Э, замело до самых верхушек,— Савва расстегнул полушубок, снял кубанку.— Сережа, как же мы до Ставрополя доберемся?

— Поедем поездом. Из Минеральных Вод идет целый состав с делегатами, вот он и нас заберет. А на станцию подвезет твой Дорофей... Ну, проходи, еще успеем чаю попить.

Савва снял полушубок, повесил его на гвоздь, коекак смел веником снег с мерзлых валенок, поправил под поясом гимнастерку, достал из нагрудного кармана расческу и причесал повлажневший чуб, и только после этого пошел следом за Сергеем, в соседнюю комнату. Навстречу ему шла Ирина, улыбаясь той ласковой и стыдливой улыбкой, которой обычно улыбаются молодые беременные женщины, как бы желая сказать: «Смотреть на меня смотри, но не пугайся и не удивляйся: это я такая временно, по обязанности...» Но кого-кого, а Савву нельзя было ни удивить, ни испугать: именно такой располневшей он уже привык ежегодно видеть свою Анюту, и теперь был даже рад, глядя на жену своего друга. Он посмотрел и на мать Ирины Марфу Игнатьевну и понял, почему она находилась не на птичнике, а у зятя.

— Молодцом!— воскликнул Савва, пожимая Ирине мягкую руку.— Вот теперь, Сережа, я вижу, что идет успешное выполнение послевоенного задания,— Савва подмигнул Марфе Игнатьевне.— Только от нас с Анютой вы еще сильно отстаете... Верно я говорю, Марфа Игнатьевна?

Марфа Игнатьевна скосила повеселевшие глаза, кивнула в знак согласия головой и начала подавать на стол чай. За чаем Сергей и Савва частенько посматривали на Ирину, но говорили о погоде: о том, что где-то в степи буран угнал отару овец и засыпал ее снегом; о том, что Ставрополь весь завален такими заносами, каких ни один старожил не припомнит; о том, что на горе Стрежамент лежат сугробы величиной с двухэтажный дом...

Вскоре позвонил Кондратьев и попросил приехать к нему. Сергей стал одеваться, а Ирина не отходила от него, помогая ему то застегнуть шинель, то завязать

шнур на бурке. Савва, накинув на плечи уже успевшую оттаять бурку, снова нырнул в белое облако и закрыл за собой дверь. Сергей задержался с Ириной. Обнимая ее полные плечи и целуя в горячую щеку, он негромко сказал:

— Главное, Ирина, не волнуйся... Поговори с Натальей Павловной — и она то же скажет.

— Она-то, может быть, и скажет, а откуда ты все это знаешь? — смеясь, спросила Ирина.

— Знаю и я, потому что спокойствие...

— Хорошо, хорошо! — перебила Ирина.— До твоего приезда ничего со мной не случится.

— А если что случится, пусть дадут мне телеграмму. Можно прямо на крайком...

— Езжай, езжай и ничего плохого не думай.

Сани, подымая снежную пыль, подлетели к занесенному сугробами зданию райкома и остановились. Дорофей, с головой укрытый тулупом, что-то бурчал, обращаясь к лошадям, которые поворачивали крупы против ветра и пригибали заснеженные по живот ноги. Савва и Сергей прошли по расчищенной дорожке, как по траншее, и очутились в теплом помещении.

Три печи, обогревавшие все здание, топились из коридора. Возле одной из них, подставив скамейку поближе к горячей печной дверке, грелись Глаша Несмашная и Варвара Сергеевна Аршинцева, одетые по дорожному — в шубах с черными воротниками и в валенках, в огромных вязаных шалях, мягко лежащих у них на плечах. Тут же, о чем-то разговаривая, находилась Наталья Павловна — пришла проводить мужа.

— Привет делегаткам! — весело сказал Сергей, здороваясь с женщинами за руку.— Привет и вам, Наталья Павловна! Пришли нас проводить?

— Мое дело— провожать да встречать,— с грустью в голосе сказала Наталья Павловна.— Самой хотелось бы поехать, а никто меня не избирает.

— В такой холод лучше дома сидеть,— заговорил Савва.— Вот у Варвары Сергеевны тулуп подходящий, в нем можно ехать хоть на Северный полюс.

— В Ставрополе тоже, говорят, не теплее.

— Ну, как там Николай Петрович? — спросил Сергей, обращаясь к Наталье Павловне.— Пора бы уже ехать.

— У него сейчас Алдахин и Стегачев,— ответила Наталья Павловна.— Пойди поторопи.

Сергей не успел отойти от женщин, как из кабинета Кондратьева деловым шагом вышел Алеша, на ходу заглядывая в раскрытую папку, а за ним Алдахин, в галифе и в черной суконной гимнастерке, поверх которой надета меховая безрукавка.

— Ты меня учить еще молодой! Во всякой бумажке прежде всего надо видеть документ! — сердито проговорил Алдахин и, покосившись в сторону Алеши, вошел в соседнюю дверь, снаружи обитую черным коленкором, со стеклянной табличкой: «2-й секретарь РК С. П. Алдахин».

Сергей прошел по коридору и рядом с кабинетом Алдахина увидел на дверях, уже не обитых коленкором, совсем свежую табличку, к которой еще не успел привыкнуть глаз: «Секретарь РК Т. Н. Нецветова». Сергею было приятно сознавать, что эта молодая женщина-агроном избрана секретарем райкома. Ему захотелось войти к ней и поздороваться; он даже приоткрыл дверь,— Татьяны в кабинете не было.

— Она тоже у Николая Петровича,— подсказала Наталья Павловна.

Следом за Сергеем еще раз к Кондратьеву пробежал Алдахин, на бегу раскрывая папку с какими-то бумагами, при этом мясистое лицо его выражало суровую решимость... А через некоторое время в коридор вышли Сергей, Стегачев, Алдахин и Нецветова; следом за ними появился и Кондратьев, в шапке-ушанке, в черной долгополой шубе со сборками на поясе и с буркой, перекинутой на руке. Легко накинув ее на плечи, обратился к Татьяне:

— Татьяна Николаевна, постарайся любыми средствами проехать в Родниковскую сегодня, в крайнем случае — завтра. Поговори сама с Грачевым, и просьбу его насчет тетрадей надо непременно удовлетворить... Ну, женщин я беру себе в машину, а вы, Сергей, поезжайте на санях.

— Посмотри, кто быстрее приедет,— сказал Савва.

— Николенька,— заговорила Наталья Павловна, когда Кондратьев подошел к ней прощаться,— возьми вот этот шарф и завязывай, пожалуйста, шею. И еще я приготовила сверток — немного продуктов. В дороге пригодятся.

— Ты всегда такая, Наташа,— ласково сказал Кондратьев, принимая из рук жены и шарф и сверток.

Когда все вышли на улицу, Наталья Павловна задержала Сергея у самого порога и шепотом сказала:

— Сережа, ты езжай спокойно, вот как сыну тебе скажу: за Ириной я сама присмотрю.

— Спасибо вам, Наталья Павловна,— сказал Сергей и, пожав теплые, маленькие ладони Натальи Павловны, быстрыми шагами вышел.

В коридоре стало пусто, тихо и неуютно. В сильно замерзшее лохматое от налипшего инея окно кто-то пригоршнями бросал жесткий мелкий снег; ветер со свистом гулял по крыше, кусок оторванной водосточной трубы раскачивался и с хриплым звуком ударялся об угол; в печках потрескивали дрова... Наталья Павловна остановилась у окна, как бы прислушиваясь и к ветру и к тому, сколько еще раз захрипит обрубок трубы. «И метет, и холодно, а все ж таки хорошо тем, кто едет на конференцию!» — думала Наталья Павловна, и ее добрые, в мелких морщинках, глаза затуманились.

Домой ей итти не хотелось: в эту минуту она не могла оставаться одна. Постояла еще немного и, как бы убедившись, что кусок трубы прохрипел в последний раз, оторвался и упал в снег, пошла в кабинет Нецветовой.

Татьяна стояла лицом к окну, о чем-то думала, растирая пальцем белый и холодный пушок на стекле. Увидев Наталью Павловну, она оторвалась от мыслей, через силу улыбнулась, а в глазах все еще таилась грусть. Татьяна предложила Наталье Павловне стул и сама села не за стол, а с ней рядом.

— А отчего грустишь? — участливо спросила Наталья Павловна.— Наверно, оттого, что не поехала

с делегацией? Я вот не в твоих летах и не нахожусь, как ты, на партийной работе, а тоже в душе им позавидовала.

— Нет, Наталья Павловна, не оттого невеселая... А отчего — и сама толком не знаю. Может, тут эта вьюга нагоняет тоску?

— А как работа?

— Как? — Татьяна виновато скривила губы, хотела усмехнуться, но не смогла.— Еще привыкаю, осматриваюсь... Сами понимаете...

— Ничего! И привыкнешь и осмотришься, только держись веселее... То, что тебя избрали, хорошо...— Она задумалась, положила свою маленькую, легкую ручку Татьяне на колено.— Мой тебе совет, Танюша: служи народу честно. Теперь ты обязана учить людей, наставлять их на правильный путь, а ты и учи и наставляй, а только и сама учись у них же и у них же бери себе наставление.

— Спасибо, Наталья Павловна, за совет и за добрые слова.

Наталья Павловна задумалась, некоторое время сидела молча, закрыв глаза.

— Слышишь, завывает? И как они на станцию доехали? — Она встала и, беря Татьяну за руку, сказала: — Приходи ко мне ночевать. Ты же с комнатой еще не устроилась, а мне одной скучно. Хотела пойти к Ирине, да боюсь бури. Может, сходим вместе? Ну, придешь?

Татьяна утвердительно кивнула головой,— ей тоже хотелось побыть с Натальей Павловной вдвоем, чтобы поговорить обо всем, что ее так волнует в эти дни.

XVIII

Метель не унималась, ветер гнал и гнал со степи облака снега, и маленькая станция, куда приехала рощенская делегация, была укрыта серым и мрачным покрывалом. Только что Сергей успел купить билеты и Савва тем временем поговорить с Дорофеем, наказав ему заночевать в Рощенской, ни за что не уезжать

сегодня в Усть-Невинскую, как из того же мрачного покрывала, которое со стоном ложилось на строения станции, на рельсы, на столбы, выполз и со скрежетом обледенелых колес остановился поезд, весь так запорошенный снегом, точно его кто-то старательно задрапировал марлей...

Рощенцы вошли во второй вагон, в котором ехала пятигорская делегация. И в коридоре и в купе, куда проводник любезно проводил Глашу и Варвару Сергеевну, было не просто тепло, а жарко.

— Глаша, а тут можно отогреться,— сказала Варвара Сергеевна, разматывая шаль и чувствуя, как и ресницы и брови ее сразу померкли.

Раздевшись, причесав волосы и повязавшись косынками, Варвара Сергеевна и Глаша осмотрелись: верхние полки были заняты,— одна женщина, видимо, спала, повернувшись лицом к стенке и распустив черную, куце подрезанную и плохо завитую косу, а другая, с лицом белым и пышным, приподнялась и, опираясь на локоть, почему-то с любознательной улыбкой посмотрела на своих новых спутниц.

— Вы тоже делегатка? — осведомилась Варвара Сергеевна, ставя на столик корзину с харчами.

— Да, я тоже делегатка,— все с той же любознательной улыбкой ответила женщина, и молодое, свежее ее лицо слегка зарумянилось.

— Учительница будете?

— Нет, я врач.

— Хорошая специальность,— теперь уже заговорила Глаша; ей было приятно и разговаривать и смотреть на эту милую на вид женщину.— А от каких же болезней лечите?

— Моя обязанность, как врача, следить за питанием больных в санатории,— уже без улыбки ответила женщина и, замявшись, добавила: — Я диетврач...

— А вот у нас в станице таких врачей нету...

Варвара Сергеевна, прислушиваясь к разговору, вынимала из корзины и раскладывала на столике то румяного, в меру зажаренного гуся, то круги домашней колбасы, пахнущей свежим салом и чесноком, то нарезанный ломтями пирог с абрикосами, то буханку хлеба.

Затем ласково посмотрела на женщину своими большими и добрыми глазами и сказала:

— Ну, раз вы, извиняюсь, не знаю имени и отчества...

— Антонина Николаевна...

— Так вот,— Антонина Николаевна,— продолжала Варвара Сергеевна уже торжественным голосом,— раз вы имеете специальность по питанию, то мы с Глашей милости просим с нами поужинать... Отведайте, как специалист, нашей дорожной диеты.

— Ну что ж, я вижу — диета у вас первый сорт.

— А вы сперва попробуйте на вкус, а то на глаз можно ошибиться.

— Милости просим, слезайте до нас.

Смущенно поглядывая и на вкусно зажаренного гуся, и на румяные круги колбасы, и на смуглое, даже черное при слабом свете лицо Варвары Сергеевны, Антонина Николаевна еще не решилась ничего сказать, а только улыбалась и думала:

«И какие ж славные женщины сели в наше купе, и как они запросто говорят, да и продукты везут с собой добротные. Нет, не буду я лежать на полке...»

В завывание ветра врезался гудок паровоза, вагон тотчас пошатнулся, загремели, вздрагивая, смерзшиеся буфера, и поезд, окутываясь паром и поскрипывая, как будто поставленный на полозья, тихо отошел от станции. Когда же он, набирая скорость, миновал последние строения и вырвался на простор, когда ветер зашумел о крышу вагона, Сергей, проходя по коридору, решил навестить своих спутниц и осторожно приоткрыл дверь. У столика сидели три женщины и о чем-то оживленно разговаривали.

«Уже нашли собеседницу»,— подумал Сергей и, не желая им мешать, тихонько прикрыл дверь.

Сергей остановился у репродуктора,— птичьим гнездом прилепился он к потолку. По всему вагону разливался сочный и чистый девичий голос; в нем было столько теплоты и хороших, нежных чувств, что Сергей невольно увидел берег Кубани, курчавый лесок, бричку, огненно-красных быков с лысинами и смеющуюся Ирину. Ему казалось, что за окном вагона нет

ни мороза, ни снежной вьюги, а разливается огромное солнце и текут по мягкой от первого дождя, повсюду свежезазеленевшей земле дымчатые облачки сизого марева... «Вот оно какую силу имеет песня: из зимы сразу сделала весну»,— думал Сергей.

— Сережа, отчего так загрустил? — спросил Кондратьев, открывая коробку «Казбека» и угощая Сергея папиросой.

— Слушаю... До чего ж красивый голос!

В коридоре было шумно. В песню девушки и в чистый перестук колес вплетался разноголосый говор пассажиров. Из раскрытых купе тянуло папиросным дымком, долетали то обрывки фраз, то смех, то басовитое гудение. В самом крайнем купе было особенно тесно и шумно — там сражались шахматисты, и какой-то делегат, как бы желая сообщить нечто особенное, выкрикивал на весь вагон:

— Не торопись! Ходи пешкой!

— Сергей Тимофеевич,— сказал Кондратьев и прислушался, взглянув на репродуктор, откуда теперь уже ревом ревел сочный бас,— хочу поведать тебе одну новость.

— Какая ж это новость?

— Она еще не настоящая, а будущая.— Кондратьев снова прислушался, как бы наслаждаясь громовым голосом.— Может, Сережа, случиться так, что я не вернусь в Рощенскую.

— Да ты что, Николай Петрович? — Сергей рассмеялся.— Почему же не вернешься?

— Третьего дня я говорил по телефону с Бойченко.

Кондратьев помолчал, как бы раздумывая, говорить ли Сергею всю правду или кое-что утаить; медленно очистил ногтем золу на папиросе, затем подул и на папиросу и на ноготь.

— Видишь ли, Сережа, есть намерение повысить меня в чине... Едем же мы на конференцию, а ты знаешь, что конференция — это такая властная хозяйка, что она может с нами делать решительно все...

— Понимаю,— перебил Сергей, жадно раскуривая папиросу,— тебя заберут в крайком?

— Возможно,— и Кондратьев, разведя руками, виновато усмехнулся, как бы говоря: «Ну, Сережа, что я могу поделать! Возьмут да заберут...»

— А как же... мы?

Перед словом «мы» Сергей запнулся,— на уме у него уже вертелась другая фраза, и с губ его чуть было не сорвалось: «Что ж ты делаешь? А как же я?»

— Николай Петрович,— заговорил он, заметно волнуясь,— если это случится и ты уедешь, то как же тогда все наше... у нас... ты сам знаешь... такие планы...— и тут он заговорил о планах района с таким жаром, точно Кондратьев все это должен был услышать впервые: говорил о преобразовании природы, об электрификации, а сам почему-то снова думал о себе, о том, как же он будет работать без Кондратьева: ему хотелось убедить себя в том, что такой человек, как Кондратьев, никогда не уедет из Рощенского района, даже если будет решение конференции.

— А как же мы? — переспросил Кондратьев.— Понимаю: тебя беспокоит судьба районного плана. Хорошее, прямо надо сказать, похвальное беспокойство. Но по-твоему получается так: не будет в Рощенской Кондратьева — и весь план полетит в тартарары. Нет, Сергей, в жизни все это не так. Кто составлял наш план и кто его утверждал? Сами люди, живущие в Рощенской, Усть-Невинской, Родниковской, Белой Мечети. Но они же никуда не уезжают. Им принадлежит план, и будет ли в районе Кондратьев с Тутариновым или кто другой,— а народ свой план выполнит непременно... Это первое. Второе — и в партии, и в государстве изо дня в день идет накопление духовных сил, растут новые, способные люди, которые и приходят к управлению государством.— Кондратьев, потирая седой висок, усмехнулся.— Ты замечал работу обыкновенного триера? В ковш, как ты знаешь, засыпают всякое зерно, а пройдет оно сквозь триер — и сразу видно: какое пустушка, какое захвачено зноем, а какое крупное и полновесное... Вот так, Сережа, и в жизни... Легковесные людишки на практическом деле быстро распознаются, и их уносит даже слабым ветерком... Правда, есть случаи, когда где-нибудь в уголочке, куда не проникает ветерок, за-

сиживается такая пустушка,— но это дело случая... Люди же волевые, инициативные, честные идут своей прямой дорогой, и если бы этого не было, то был бы застой,— а это зло такое, что с ним бороться не легко... Я все это к тому говорю, что придет время, и ты уедешь из Рощенской, и найдутся те, кто будет жалеть,— а жалеть-то как раз и не надо. Не жалеть нужно, а радоваться.— Он обнял Сергея и, сжимая его плечи своей костлявой, сильной рукой, со смехом сказал: — Ну, ну, не вешай головы, тебе это не к лицу!

Из купе вышел Савва и, покачиваясь по коридору, на ходу крикнул:

— Да чего ж вы не идете? Я уже все приготовил, аппетит во-всю разгорелся, а вы все стоите!

После ужина Савва взобрался на полку, разделся по-домашнему и, укрывшись с головой, затянул писклявого храпака,— беднягу укачало, как ребенка в люльке. Кондратьев снял через голову гимнастерку, причесал седой и жесткий чуб и тоже прилег; пододвинул поближе настольную лампу, надел очки и развернул газету.

Сергей, докуривая папиросу, присел тут же и только хотел было возобновить прерванный разговор, как в купе вошел четвертый пассажир,— все это время он был где-то у соседей. Это был мужчина пожилой, коренастый, надежно сложенный; лицо у него широкое, глаза большие, светлые; носил он светлорыжую бороду, без усов, ловко со всех сторон подрезанную и подбритую; одет в добротный военный костюм, на широких плечах красиво лежали погоны полковника.

— Вы уже на боковую? — спросил он звучным тенором.— А я все спорил, и вы думаете, о чем? О личной физкультуре! Я преклоняюсь не вообще перед физкультурой, а перед личной физкультурой, а он мне всякую чепуху городит.— Полковник присел, погладил бороду. — Посудите сами. В этом вагоне едут большинство руководящие работники. Посудите сами. Они массовое физкультурное движение развивают, они «за» стадион и «за» волейбольную площадку, а вот личной физкультуры боятся, как огня! А почему боятся? Нет силы воли, не могут заставить себя ежедневно из года

в год заниматься физкультурой.— Тут полковник легко и приятно рассмеялся, смеялась и его рыжеватая борода.— Я уже более двадцати лет занимаюсь утренней зарядкой, и спросите меня; знаю ли я, что такое болезнь? Нет, клянусь совестью, не знаю! Войну прошел — даже гриппом не болел... А вот мои руки! — и он сунул Сергею зачерствелую, в мозолях, ладонь.— Железная ладонь! Каждое утро час на зарядку — мой закон. К сожалению, некоторые наши ответственные работники не придерживаются этого закона, они даже боятся пешком пройти, на службу непременно ездят на машине. Вот что меня оскорбляет до глубины души!.. Ведь ежедневное физическое упражнение придает телу бодрость, наполняет твои мускулы здоровьем...

— А как вы думаете, полковник,— заговорил Кондратьев, снимая очки,— нужна ли кое-кому из нас, будем говорить — большинству из нас, умственная зарядка, и зарядка ежедневная, непрерывная,— это тоже, как известно, придает и бодрости и уверенности...

— Согласен, но здоровье...— оживился полковник, подсаживаясь к Кондратьеву и, видимо, чуя начало нового спора.— Вы секретарь сельского райкома? Отлично! А я простой военный инженер, и я прошу вас меня выслушать...

«...Придет время, и ты уедешь из Рощенской... а жалеть-то как раз и не надо»,— думал Сергей.

Ему было грустно, хотелось остаться одному со своими мыслями, и он не стал выслушивать просьбу полковника, накинул на плечи шинель и вышел.

XIX

Тихим морозным утром поезд выполз на пригорок и, наконец, остановился у белого здания,— это был Ставрополь. Рощенцы вышли из вагона. Светило солнце, только что вставшее над заснеженным городом: повсюду лежали свежие, слегка прижатые морозом сугробы, и солнце, искрясь и сияя, слепило глаза.

Делегаты уезжали в город. От вокзала, ставшего в это утро необыкновенно шумным и людным, отхо-

дили то красные, с тупыми носами автобусы, выбрасывая вбок густые черные клочья дыма, то запорошенные снегом, то гордые своим видом «победы», а то вихрились и санки-бегунки,— на гриве у лошади вспыхивала сизая бахрома инея.

А Ставрополь хотя и лежал попрежнему на пологой хребтине, весь вставая над степью, хотя все так же разбегались от центра к полю его широченные, с достатка скроенные улицы и проспекты, хотя, как и прежде, к небу тянулись высоченные тополя,— а вот узнать город было невозможно. Летом всем своим видом он напоминал сказочную птицу, парящую над полями, и к этому все привыкли: теперь же он походил на косматого белого верблюда, который шел-шел, а потом прилег отдохнуть на скрещении степных дорог, да так и остался лежать...

Весь Ставрополь, от окраинных садков до Комсомольской горки, завален снегом — и каким снегом! Чистым, пушистым, с какой-то небесной синевой! Такого здесь еще не было! Казалось, что зима, гуляя по Ставрополю, старательно завалила всю степь, замела и закидала все ложбины и балки, так замела и закидала, что練 бугрестые поля сделались ровными; потом оглянулась, посмотрела на Ставрополь, а он (ах ты, горе!) лишь чуть припудрен снежком, все так же возвышается, открытый всем ветрам, и улицы его, обсаженные деревьями, видны из конца в конец! Посмотрела зима, обозлилась и стала валить на город снег не порошей, а комьями,— точно какие-то великаны лопатами сбрасывали его с неба; видимо, хотелось зиме укрыть все строения, улицы, бульвары, сады и сказать: «А посмотрите — только что был город, и уже его нету, лежит среди степи один белый бугор...» А город жил и не сдавался,—белая шуба только еще больше его разогрела: проспекты стали хотя и тесные, но еще более людные; тротуары поднялись на аршин, и по ним шли и шли горожане; по улицам для машин образовались узкие проезды в виде рвов — надежное укрытие; идет груженая пятитонка — и ту почти не видно! Сады замело,— в какой-либо ложбине из снега выглядывают только верхушки яблонь и груш; на крышах толстые

одеяла с клочьями ваты — тяжесть такая, что кое-где трещат стропила и гнется кровельное железо.

Смотришь на эту преображенную степную столицу, видишь под снегом ее знакомые очертания и диву даешься: да ты ли это, наш Ставрополь-Кавказский?! А может, это уже и не ты? А может, тебя подменили другим городом, северным? А может быть, чья-то невидимая рука взяла тебя, со всеми твоими проспектами и бульварами, с садами и со степными далями, перенесла да и поставила где-то вблизи Архангельска, накинула на тебя эту белую мохнатую шубу и сказала: «Хватит, погрелся под южным солнцем, понежился в сочной зелени — пора и честь знать!»

Нет, это не так. Даже в чужом и непривычном наряде Ставрополь оставался самим собой, и вид его все так же напоминал укрытую дымкой широкую степь, синь манящих далей, простор и простор необозримый. Не знаю, по причине ли приезда делегатов,—гости, люди шумные и веселые, расхаживали повсюду, оттого ли, что все кругом было белым-бело, или же всему виной явилось солнце, которое уже высоко поднялось в чистом небе и гуляло себе там по-весеннему весело,— словом, что бы там ни было, а только город в этот день выглядел еще красивее, чем в любую февральскую оттепель; все в нем блестело, искрилось, сияло... Например, открытая лестница театра была еще на рассвете старательно расчищена и подметена, и тонкий слой не снега, а мельчайшей изморози, въелся в гранитные плиты, напоминая собой роскошный шелк, щедро раскинутый перед входом дорогих гостей.

По этому блестящему шелку, поскрипывая заснеженными сапогами, валенками, кавказскими бурками, подымались делегаты. Шли они неторопливо: кто походкой вялой, кто шагом размеренным, с достоинством поднимая голову, повязанную то шалью или платком, то башлыком...

Варвара Сергеевна и Глаша, отбившись от своей делегации, тоже неторопливо и с видом важным входили по белой лестнице в гостеприимно раскрытые двери театра. Они разделись, тоже не торопясь, а затем, никуда не спеша, порядочное время простояли у зеркала:

осмотрелись, оправили юбки, кофточки, поудобнее раскинули пуховые (из козьего пуха) шали на плечах; белые косынки повязали так, что причесанные волосы каемками темнели повыше лба — особенно у Глаши эта каемка, немного светлая, с золотистым оттенком, красиво выглядывала из-под косынки...

Когда же с туалетом было покончено, они предъявили строгому чернолицему мужчине свои делегатские документы, поднялись еще по одной лестнице и вошли в длинное, в виде узкой улочки, фойе. Глаша уже как-то раз летом приезжала в Ставрополь и была на спектакле,— она-то знала, что во время антрактов здесь прохаживаются люди, гуляют. Теперь же здесь повсюду выстроились стенды, а на них чего только и не было; оттого и фойе, формой своей похожее на букву «Т», скорее всего напоминало залы выставки,— богатство степного края было у всех на виду.

— А тут красиво! — взволнованным шепотом проговорила Варвара Сергеевна.— Глаша, а ты не знаешь, зачем все так аккуратно расставлено?

— Знаю,— с достоинством отвечала Глаша.— Сегодня сюда съехались со всего края коммунисты, и не все, а самые передовые. Год они безустали работали, трудились, будем говорить правду — здоровья своего не жалели, сказать, как ты или пятый-десятый. Только по специальностям эти коммунисты разные: ты зерновичка, а там со степей прибыл чабан, или еще какой животновод, или директор МТС, или председатель исполкома, как наш Савва, или председатель колхоза, вроде меня... И вот теперь всем нам предстоит заслушать и хорошенько обсудить отчет товарища Бойченко. Будет он, конечно, говорить о всяких наших недостатках, покритикует всякие отрасли, но сперва доложит о наших достижениях,— и вот к этим его словам наглядность!

— А-а, наглядность...— задумчиво молвила Варвара Сергеевна.— Давай и мы хорошенько все осмотрим... Меня вот те кучерявые колосики к себе привлекают. Это же не колосики, а чудо!

— Не чудо, Варюша, а ветвистая пшеница. Я читала — сильно урожайная, но родит она еще не везде.

— Это почему же так?
— Ученые, должно быть, еще чего-то недодумали.
— У нас бы уродила!.. Дай-ка поближе присмотрюсь...

Варвару Сергеевну как магнитом потянуло к ветвистым колосьям; взяв Глашу под руку и ступая своим широким, решительным шагом, она ни за что бы не взглянула ни на один стенд, даже на стенд искусных виноделов, возле которых толпилась порядочная кучка делегатов,— там, просвеченные снизу, искрились разных цветов бутылки, сложенные высоким курганом, и тут же из бочонка в стакан текло и не проливалось розовое вино. Женщины хотели пройти мимо виноделов, как тут им путь преградили Герои Социалистического Труда. Они выстроились вдоль всей стены, и пройти, не взглянув на их бронзово-темные, опаленные зноем лица, было просто невозможно. И если бы на портретах были лица незнакомые (мало ли теперь на свете Героев), то наши зерновички только бы мельком, так, из любопытства, заглянули и прошли бы дальше; но среди Героев, первым справа, стоял мужчина, с куцей бородкой и сощуренными глазами,— портрет был до того знакомый, что женщины в эту минуту забыли о ветвистой пшенице, невольно остановились и уже дальше итти не могли: на них смотрел и усмехался, как живой,— кто бы, вы думаете? — Стефан Петрович Рагулин! Старик был нарисован кистью сочной и с любовью; по всему было видно, что художник хотел показать не только приметную рагулинскую бородку или рубцы морщин на худощавом жилистом лице, но самый характер этого человека, особенно тонко выраженный в заметном прищуре маленьких, хитроватых глаз. Смотришь на эти глаза, а они искрятся и с усмешкой говорят: «Э-э, нет, нет, меня не проведешь. Я уже все вижу...»
— Глаша! Гляди, кто на нас смотрит!
— Известно — Рагулин.
— И скажи на милость,— как живой!
— Человек приметный: всему району покажи — знают.
— И хитринка в лице так и сидит!

— Куда же ее денешь! От природы.

— Да, Стефан Петрович почетное место занял.

Только что женщины отошли от Героев и хотели было направиться все туда же, к ветвистой пшенице, как их внимание привлекли овцеводы: до чего ж таки красиво была заснята овцеводческая ферма, со всеми ее кашеварами, выпасами, собаками, вагончиками и чабанами. Смотришь на фотографию, и кажется тебе, будто проходишь по степи и видишь, как разлилось по необозримому простору серо-бурое море шерсти,— отара идет попасом, как туча, гонимая ветром, а чабан, в окружении сытых, скучающих собак, взошел на курган и задумчиво смотрит куда-то вдаль. Или ты уже видишь походную электростанцию, и от нее на электрических шнурах тянутся десятки ножниц,— невдалеке рядком лежат овцы, ножницы в умелых руках подрезают толстый слой мягкой и тяжелой шерсти, и со спины овцы спадает на землю желтовато-белая снизу шуба... А оторвешься от фотографии — и тут же перед тобой кусочки той же шубы; шерсть связана красивыми пучочками, внутри она такая прозрачно-желтая, что кажется, будто каждый волосок пропитан топленым жиром...

— Такое богатство и у нас имеется,— сказала Варвара Сергеевна,— поспешим, Глаша, к тем курчавым колосьям.

И опять на пути наших делегаток совсем неожиданно повстречалась преграда. На этот раз это был стол с ящичками, в которых лежал первосортный чернозем. По этому чернозему чья-то умная и старательная рука разложила то желуди, по пять штук в кучке, то скользкие крохотные семена клена, то рядочки пшеничных зерен; тут же желтели листочки, соломинки, стебельки — издали игрушечная лесная полоса. Над столом, зазывно красуясь, вставали буквы: «Полям Ставрополя — зеленые заслоны!» Посмотреть эти зеленые заслоны, так искусно изображенные на столе, собралось уже человек двадцать. Мужчина, в рубашке, подпоясанной широким ремнем, в пиджаке и в сапогах, краснощекий и с шишковатым носом, что-то рассказывал, то поднимая, то опуская тонкую палочку.

— Лектор,— шепнула Глаша на ухо своей подруге.— Послушаем...

Разумеется, ни стол с ящиками, ни желуди, ни красная надпись не смогли бы надолго удержать здесь Варвару Сергеевну и Глашу; именно этот краснощекий с некрасивым носом мужчина и заставил их опять на некоторое время забыть ветвистую пшеницу и постоять у стола.

— Перед вами,— звонким голосом говорил краснощекий мужчина,— макет посева лесных полос гнездовым способом, по методу нашего уважаемого академика Лысенко... Прошу сюда обратить ваше внимание. Вы видите наглядную схему размещения в одной ленте гнезд дуба, клена или других древесных пород, а также рядов желтой акации и в смеси с другими кустарниками.

— Глаша, а мы так не сажали?

— Тише, слушай!

— Гнездовой способ посева лесных полос по методу академика Лысенко,— продолжал мужчина, сердито тронув пальцем шишковатый нос,— заключается в следующем. Лесные полосы закладываются не путем подеревных посадок, как это было принято до сих пор, а путем высева семян главных лесных пород (дуба, на песках — сосны) небольшими гнездами (кучками) непосредственно в будущую лесную полосу. Обратите внимание на макет. Тут наглядно видно, что семена сопутствующих пород также высеваются гнездами, а кустарников — рядами, с одиночным стоянием. А вот и прямая хозяйственная выгода от такого посева. Для того чтобы защищать древесные всходы от дикой степной травянистой растительности и иссушающих сильных ветров, в первые годы жизни деревьев мы производим — вот здесь показано — посевы различных сельскохозяйственных культур. И колхозу выгода, и лесной полосе от этого хорошо! — заключил мужчина, потирая кулаком покрасневший нос.

— А мы у себя что делали? — опять шепотом спросила Варвара Сергеевна.— И где ж наши головы были? Мы же прямо ветки сажали, а те ветки могут летом пересохнуть — и пропало наше старание.

— Ну чего ты уже споришь? Слушай, самое интересное!

— Гнездовой способ посева леса,— продолжал мужчина, уже спокойно поглаживая нос,— имеет и еще одну большую выгоду. В течение четырех лет жизни леса мы выращиваем на полосе разные культуры и таким образом сохраняем влагу. А в засушливых условиях Ставрополья при выращивании леса крайне важно в первые десять лет жизни деревьев создать возможно большие запасы влаги в почве, необходимо, чтобы в первые годы жизни деревьев почва промачивалась на все большую и большую глубину. Только в этих условиях деревья, а особенно дуб, могут развить далеко идущую корневую систему и будут долговечными: не будет случаев так называемого «критического возраста» леса, когда лесопосадки со второго и третьего десятилетия своей жизни начинают суховершинить и усыхать. Для того чтобы этого не случилось, надо в первые годы жизни дать растению влагу, и влагу эту как раз и дают посевы сельхозкультур...

— Эх, беда! — заговорила Варвара Сергеевна.— Как жаль, что нету зараз тут Сергея Тимофеевича! Пусть бы послушал! Перед этим столом и перед этими золотыми словами нам всем краснеть, и еще как краснеть!.. Пойдем отыщем Сергея Тимофеевича.

— Варюша, а курчавая пшеница?

— Мы еще ее посмотрим, а зараз пойдем искать Сергея Тимофеевича,— стояла на своем Варвара Сергеевна.— Ведь это же наука! И как все ловко и просто! И где же Сергей Тимофеевич?

Варвара Сергеевна и Глаша остановились в сторонке, глазами отыскивая Сергея в гудевшей толпе. Мимо них прохаживались делегаты; по всему неширокому, но длинному фойе виднелись то косынки или женские шляпы, то чубатые или лысеющие головы; кто был одет в гимнастерку и галифе, а на ногах снежно-белые бурки; кто в отлично сшитом, впервые надетом костюме; кто в военном кителе с погонами, кое-где красочно рисовались генеральские лампасы; редко-редко у кого на груди не блестят ордена, медали, а то и Золотые Звезды. По веселым

лицам, по радостному блеску глаз и по оживленному говору, сливавшемуся в один общий гул, было видно, что тут сошлись старые, добрые друзья,— им приятно было до начала заседания и поговорить и погулять вместе.

XX

Конференция открылась в двенадцать часов дня и сразу же приняла строго деловой характер. Сергею казалось, что те, кто сюда съехались уже заранее, видимо еще в дороге, и тут, когда прохаживались по фойе, уговорились напрасно не терять ни минуты времени и заниматься только делом. Именно с этой целью, как думал Сергей, и был избран президиум, куда вошли люди авторитетные и всеми уважаемые,— в их числе были Сергей и Кондратьев; именно с этой целью (а также еще и для удобства) впереди президиума,— только не на сцене, а в зале, в центре главного прохода,— была поставлена трибуна, с микрофоном, с двумя настольными лампами по бокам, со столиком, возле которого, красуясь модными прическами, попеременно усаживались стенографистки; по этой же причине был детально расписан и утвержден порядок работы, с точным указанием, сколько минут можно говорить с трибуны, когда будут объявляться перерывы короткие и когда будут объявляться перерывы длинные — на обед; словом, тут каждая минута была на строгом учете.

Председательствовал Николай Николаевич, в черном костюме, в очках с тонким позолоченным ободком, глубоко сидящих на его хрящеватом переносье. Он стоял навытяжку и смотрел в зал то строгими, то ласковыми глазами, и все, кто встречался с ним взглядом, думали, что лучшего председателя и желать не надо. В эту минуту смуглое его лицо отливало матовой бледностью; он заметно волновался,— это было видно по тому, как он в правой руке сжимал карандаш, а левой то и дело поправлял очки... Но вот волнению пришел конец,— все, что требовалось, было сделано, все уже обговорено и утверждено,— Николай Николаевич, по-

стукивая легонько карандашом о графин, предоставил слово для доклада Андрею Петровичу Бойченко; сам же сел, облегченно вздохнул, снял очки и начал не спеша протирать стекла платком и при этом усталыми, немного грустными глазами смотрел в зал, как бы говоря: «Ну, вот, дорогие товарищи, дело, которое вы мне поручили, я, кажется, начал неплохо, ход заседанию дал верный и теперь могу спокойно заняться стеклышками...»

Наклоняя свою крупную, слегка побелевшую голову к пухлому, лежащему в раскрытой папке докладу, Андрей Петрович, волнуясь и часто вытирая платком лоб, шею, затылок, говорил тем уверенным, спокойным и негромким голосом, каким обычно говорят ораторы, давно и в деталях знающие свой доклад. Всей своей грузной фигурой, седой головой он напоминал академика, читающего на кафедре лекцию. Слушая его, делегаты как бы зрительно видели всем им хорошо знакомую жизнь края за два минувших года, видели в этой жизни и себя и какую-то частицу своего труда. Желая как можно полнее показать все Ставрополье — край хлеба, хлопка и шерсти, докладчик обращался к самым отдаленным уголкам, точно приглашая делегатов мысленно оставить на какое-то время зал и побывать на пастбищах, в кошарах, на хлопчатниках, в полеводческих станах, называл фамилии знатных людей — и тех, кто сидел перед ним, и тех, кого здесь не было, но с кем пришлось в эти годы работать; подробно говорил о том, что уже сделано и что еще предстояло сделать...

Уже в середине доклада со всего зала к Николаю Николаевичу начали слетаться записочки: делегаты просили записать для выступления. Сергей сидел рядом с Николаем Николаевичем, видел, как тот записывал фамилии,— список удлинялся и удлинялся,— а все же не решался подать свою записку: взойти на трибуну ему хотелось, в голове строилась речь, вливались готовые фразы, но было как-то непривычно и боязно.

Вслед за докладом, после небольшого перерыва, начались прения. На трибуну уже взошел Кондратьев —

по счету шестой. Он говорил о том, какое первостепенное значение приобретает сейчас политическая работа в колхозах, а Бойченко, опершись локтем о стол и склонив на ладонь голову, смотрел в зал; внимательный его взгляд как бы говорил: «Я начал, а вы меня дополните, поправьте, покритикуйте, подскажите...»

— Теперь все дороги ведут в коммунизм,— сказал Кондратьев, слегка подымая руку,— и наша первейшая задача состоит в том, чтобы по этим дорогам шли люди, благородные душой, чистые совестью, люди волевые, смелые, умеющие мечту свою претворить в действительность...

Его речь была насыщена фактами, взятыми из жизни Рощенского района, особенно много он говорил о технической учебе колхозников. Затем, неожиданно для Сергея, Кондратьев перешел к примерам, взятым в других районах. Сергей взглянул на Бойченко,— тот, не меняя позы, попрежнему смотрел в зал, и глаза его говорили: «Да, да, об этом я не успел сказать, но вопрос очень существенный...»

— Великая сталинская наука,— продолжал Кондратьев,— научила наше крестьянство жить и работать коллективно, с обилием разнородных машин. На примере многих районов видно, какой мощной силой входит электричество в жизнь колхозов, и тут на очереди стоит задача: дать каждому колхознику минимум технических знаний. А как у нас обстоит дело с овладением техникой? Гидростанции растут, как грибы после майских дождей, а электриков, хороших специалистов-эксплоатационников очень мало. А почему их мало? Мы их не готовим, не обучаем, да и сами мы еще не прониклись глубоким уважением к технике, к электричеству, которое уже стало неотъемлемой частью всего сельскохозяйственного производства.

Сергей слушал, низко склонив к столу голову, вспоминая свой разговор с Кондратьевым в вагоне. Он впервые в жизни был участником такого крупного партийного собрания, и ему приятно было и слушать речи ораторов и сознавать, как мудро растит и воспитывает свои кадры партия...

«За эти дни и я и все, кто находится в этом зале,—

думал Сергей, накручивая на палец кончик чуба,— жизнь познаем глубже, новых сил наберемся, а вернемся в район — работать будем лучше...»

— Партийный руководитель,— уже спокойным голосом говорил Кондратьев,— если он хочет быть не просто руководителем, а боевым вожаком народа, обязан во всем — и в росте техники, и в преобразовании природы, и в характерах и поступках людей — видеть родимые черты коммунизма, все то новое, что рождено нашим трудом и нашими золотыми временами. Поймите, товарищи делегаты,— за все новое нам надо драться и драться упорно, чтобы это новое не умирало, а утверждалось, росло и непременно побеждало!

Провожаемый аплодисментами, Кондратьев уступил место на трибуне управляющему какого-то треста, уселся к столу, вытер платочком шершавые, пересохшие губы и, наклоняясь к Сергею, тихонько сказал:

— Выступать будешь?

Сергей лишь утвердительно кивнул головой и подсунул под руку Николаю Николаевичу давно заготовленную записку.

XXI

На вторые сутки продолжалось обсуждение доклада. Делегаты во-время уселись на привычные, уже обсиженные кресла. Президиум тоже был в сборе. Снова поднялся Николай Николаевич, и на трибуне один за другим стали появляться ораторы. Конференция в этот день напоминала собой хорошо слаженную на походе колонну людей, когда в пути они уже втянулись, научились итти строем, в ногу, выработали широкий шаг и размеренную, твердую поступь.

Сергей положил перед собой блокнот в красном коленкоровом переплете, специально изготовленный для делегатов. Он любил слушать, записывая. Поэтому на листе появились фамилии выступавших, а ниже — совершенно произвольные заметки, записи каких-либо свежих слов или ярких фраз. Так, ниже фамилии управляющего трестом значилось всего три слова: «Мужчина грузный и грозный». И далее слова самого

директора: «Они сработались в своем безделье и оба превратились в деляг», «И тут имеет место недопустимая затяжка». Несколько раз подчеркнув слово «затяжка», Сергей дописал: «Затяжка имеет место,— на каком это языке?»

Следующим выступал прокурор степного района, в новенькой прокурорской форме, внешне похожий на генерал-директора железной дороги. Говорил он долго и с трудом уложился в регламент. Рядом с его фамилией на блокноте у Сергея остались такие фразы: «Волокита — самое пагубное дело. К сожалению, у нас часто заволокичиваются важные дела...»

Прокурора сменила молодая женщина,— белокурые завитые волосы полушалком спадали на плечи. Она взошла на трибуну осторожно, точно боялась оступиться, зато говорила горячо, волнуясь и глотая слова, и это волнение так охватило все ее стройное молодое тело, что правая нога у нее, в тонком чулке и в красивой туфле, все время мелко-мелко вздрагивала. «Бедняжка, как она переживает»,— записал Сергей и, вслушиваясь в звонкий голос, сделал еще две записи: «Он был у него как под крылышком, а выдвинулся своим подхалимством», «Там, где нет критики, там место всегда гнилое и воздух с душком».

С трибуны молодая женщина сходила смело, даже подпрыгнула на ступеньках, точно от радости готова была сорваться на бег. И вот не спеша, важно поднялся на трибуну Андрей Федорович Кривцов— председатель Марьяновского райисполкома, мужчина свежий, с чисто выбритыми, блестящими щеками. Своего соседа Сергей слушал особенно внимательно. Когда Кривцов, надувая мягкие щеки, заговорил об электроэнергии, получаемой из Усть-Невинской гэс, Сергей скривил в усмешке губы и записал: «Ловок, ловок! Тепловой резерв его беспокоит, а сам, вижу я, мало беспокоился об этом «тепловом резерве». Кривцов, как бы чуя за спиной взгляд Сергея, говорил мало и несвязно, и когда проходил по залу, Сергей начертил жирную линию-стрелку к его фамилии и записал: «Эх, сосед, сосед, как же тебе не стыдно... Одно я теперь вижу: какие у тебя дела, такие и речи...»

Еще выступал Чебцов — председатель колхоза, юркий, худощавый мужчина, с маленькими, хитрыми глазенками. Он жаловался на то, что на молочной ферме нет налыгачей. «Нашел о чем сказать на конференции,— записал Сергей.— Хорошие животноводы уже лет десять не держат коров на налыгачах... Отстал, отстал, товарищ председатель...» А Чебцов поглядывал назад, на Бойченко, и просил помочь достать налыгачи. В зале шумел смех. Бойченко даже не улыбнулся и все так же задумчиво-строго смотрел в зал...

Из всей нескладной речи Чебцова Сергей записал только две фразы: «Ему хорошо опираться на высокий авторитет», «А все ж таки он ходит шатко, как на ходулях».

Еще рядом с двумя фамилиями появились записи: «Если хорошенько присмотреться, то это же не член партии, а элемент с партийным билетом», «Нам надо шире открывать...» — Сергей не дописал,— Николай Николаевич тихонько толкнул его рукой и, поднявшись, сказал:

— Слово имеет товарищ Тутаринов — председатель Рощенского райисполкома.

XXII

По всему залу слегка прошумели аплодисменты. Сергей, желая скрыть волнение, оправив под поясом гимнастерку, торопливо спускался по ковровым ступенькам и прижимал ладонью к груди Золотую Звезду.

Трибуна оказалась не по его росту, и Сергей, сутулясь и опираясь ладонями о деревянные карнизы, какую-то минуту стоял молча и осматривал зал, чувствуя мелкую дрожь в локтях. Он еще не сказал ни слова, а сидящая у столика стенографистка с замысловатой золотисто-рыжего цвета прической, что-то торопливо записывала. Сергей взглянул на ее тонкие пальцы, на острое жало карандаша, потерял нить мыслей и не знал, с чего ему начать свою речь.

«Вот беда, я еще молчу, а она уже что-то записывает»,— мелькнуло в голове, и локоть руки, стоявший

на упоре, задрожал еще сильнее... Тут, к счастью, у столика произошла смена, и вторая стенографистка, приготовив карандаши и тетрадь, с чуть заметной улыбкой взглянула на Сергея,— обычно так смотрят на выдающихся светил вокального искусства пианисты-аккомпаниаторы, как бы говоря этим взглядом: «Ну, успокоился? Можно начинать?»

Сергей увидел эту ободряющую улыбку и сказал:

— Дорогие товарищи! С этой трибуны многие ораторы уже говорили об итогах, о достижениях и о планах на будущее. Позвольте же мне последовать этому примеру и вначале сказать, чего достигли колхозники Рощенского района и чего им еще недостает.— Он быстрым взглядом посмотрел на листок со своими записями и, как бы уловив там нужные слова, смело продолжал: — После войны Рощенская стала районом сплошной электрификации. Усть-Невинская гэс делает свое доброе дело! Даровая кубанская энергия вошла и в быт колхозников и в производство шести крупнейших казачьих станиц,— факт даже сам по себе весьма красноречивый. Механизация животноводческого хозяйства, механических и плотницких мастерских, кузниц, молотильных и зерноочистительных агрегатов и, наконец, самая последняя новинка на колхозных полях: советские красавцы электротракторы — это, товарищи, уже не мечта наших людей, а реальная жизнь. И самое примечательное в этой жизни то, что она не принесла с собой ни покоя, ни душевного благополучия: напротив, облегчая физический труд сотен и тысяч простых советских людей, сама жизнь заставила нас, руководителей, работать с удвоенной силой, заставила нас смелее решать сложные вопросы и энергичнее поворачиваться. И еще: с пуском Усть-Невинской гэс внутри района возникли такие сложные задачи, о которых ранее мы не имели никакого представления, и главная из них состоит в том, чтобы приобщать колхозное крестьянство к новейшей электрической технике.— Сергей снова взглянул на листок с записями и, опять, видимо, пополнив свой словесный запас нужными фразами, лихо тряхнул чубом.— И еще возникла задача, она состоит в том, чтобы техническое

перевооружение сельского хозяйства вести не в одном Рощенском районе, а вместе с нашими соседями, о чем я подробно остановлюсь чуть-чуть попозже...

В зале заметное оживление.

— А почему попозже?

— Давай сейчас!

— Какие это соседи? Называй имена!

— Кривцов! Это, кажется, о тебе речь!

— Можно говорить и сейчас.— Опираясь руками о трибуну и еще больше сутулясь, Сергей посмотрел на свою памятку и, видимо, на этот раз ничего интересного в ней не увидел, свернул листок и сердито смял его в кулаке.— До меня на этой трибуне многие ораторы, и в том числе Андрей Федорович Кривцов, утверждали, что к светлому будущему — к коммунистическому обществу — мы идем широким фронтом. Не спорю, фронт у нас действительно широкий, но вот стройности, боевой подтянутости в этом широком фронте пока еще нету: одни рвутся вперед, смело ищут неизведанные дороги, а другие плетутся сзади, выискивают пути полегче да поудобнее, числятся отстающими и к этой позорной кличке привыкли. Почему-то рядом с передовым колхозом спокойно уживается колхоз отстающий, рядом с передовой машинно-тракторной станцией находится станция отстающая, рядом с передовым районом безнаказанно соседствует район отстающий, хотя бы тот же Марьяновский. Откуда у нас берутся эти отстающие? Да и что это за непрошенные «гости» в нашем светлом доме?

— Это не новость!

— Сергей Тимофеевич! Факты, факты!

— Хорошо, не будем терять времени и перейдем на факты.— В шестом ряду Сергей увидел багрово-сизое, надутое лицо Кривцова и, невольно улыбаясь, подумал: «Хоть злись, хоть не злись, а о тебе я все одно скажу».— Возьмем факты самые свежие. Вы слышали речь коммуниста Чебцова. Он рощенский, сосед, так сказать, с нашей восточной границы. Я бывал в том колхозе, знаю и Чебцова и то хозяйство, которым он руководит... Техника там не в почете. А о чем же нам говорил Чебцов с этой высокой трибуны? О налыгачах

для молочной фермы. Нечего сказать, нашел товарищ животрепещущую проблему! Да разве на двадцать первом году колхозного строя о налыгачах нам надо печалиться? А Чебцов поглядывал на Андрея Петровича и слезно просил: помогите ему, бедняге, раздобыть налыгачи! В зале стоял смех. Да, такие речи ничего, кроме горькой усмешки, и не могут вызвать. Если судить по этой речи — перед делегатами выступал не боевой председатель колхоза, а человек, который отстал от нашего времени по меньшей мере лет на двадцать. Разве налыгачи нынче должны тревожить покой председателя колхоза? По соседству с Чебцовым, через речку, в колхозе «Светлый путь»,— председатель которого, товарищ Несмашная, является тоже делегаткой конференции,— молочная ферма полностью механизирована, там даже корма подвозятся к кормушкам на подвесной дороге. Так почему бы и Чебцову не потребовать с этой трибуны, чтобы ему помогли приобрести не налыгачи, а автодоилку, автопоилки? Почему Чебцов не выступил здесь горячим поборником механизации животноводческого хозяйства?

— У нас нет электричества,— послышался слабый, с хрипотой, голос Чебцова.

— А почему же его нет?

— Покамест еще не успели приобрести.

— Да вы и не думали поспешать.— В зале ветерком прошумело оживление. Сергей видел улыбающиеся лица делегатов и продолжал:— Нет, тут причина не в отсутствии электричества, а в том, что не лежит у Чебцова душа к технике: хлопотно с ней, вот он всю жизнь и будет болеть о налыгачах. Оно спокойнее, и вот почему. Приведу только один пример. Доярки из фермы Чебцова перешли речонку вброд и побывали на ферме колхоза «Светлый путь», а когда вернулись домой, то устроили своему председателю скандал. Женщины попались горячие, ну и досталось Чебцову... И вот как-то встретил меня Чебцов и говорит: «Ты наш депутат, мы тебя избрали и уважаем, и все новшества, которые вводятся у вас в районе, тоже дело стоящее, а только, Сергей Тимофеевич, прошу тебя — не допускайте в свои колхозы наших колхозников».— «Это почему же

их нельзя допускать?» — спросил я. «Да, видишь ли, какое дело: побывают они, допустим, на молочной ферме «Светлого пути», и тогда беда — нравственностью портятся. Спокойствия от них нету...» Чебцову хочется отгородить своих людей от соседей, и это ему очень выгодно. А рощенцам невыгодно. Невыгодно и то, что наши соседи с севера, марьяновцы, не идут с нами в ногу. Кривцов как-то мне говорил: «Зачем в Усть-Невинской МТС появились электротракторы, да еще и пять штук? Они же всю энергию сожрут». Видите, о чем печаль-забота. В своем районе нет и киловатта энергии, а электромоторы ему не по душе. С этой трибуны Кривцов ни словом не обмолвился о соревновании марьяновцев с рощенцами, но зато со спокойной совестью называл свой район отстающим, называл так, как будто в этом есть какая-то заслуга. И еще говорил о «тепловом резерве»,— какие красные слова научился произносить! А о каком же «тепловом резерве» шла речь — умолчал. О том, который дает в Марьяновскую Усть-Невинская гэс. Так почему бы Кривцову не подумать о своем «тепловом резерве». Разве станица Марьяновская стоит не на берегу Кубани? Так за чем же остановка? Оказывается, за маленьким: у руководителя советской власти нет инициативы...

Снова послышались реплики:

— Зато у Кривцова есть «царица полей»!

— Была, да вся вышла.

— На одной «царице» теперь далеко не уедешь.

— А кому какое дело до чужого района?

— Какое дело до чужого района? Да разве же он чужой? — Сергей развел руками и задержал взгляд на Кривцове,— тот сидел, горбясь, низко опустив голову. «Не смотрит. Или стыдно, или понял свою ошибку»,— подумал Сергей и обратился к делегатам:— Нет, товарищи, марьяновцы нам не чужие, поэтому и хочется к планам электрификации рощенцев пристегнуть не только наших ближних соседей, но и еще десятка два районов, а потом бы и весь край: хочется, чтобы всюду — и у Чебцова, и у Кривцова — инициатива била ключом и чтобы нам сказали соседи,

те же марьяновцы: «А ну, рощенцы, то вы были впереди, а теперь посторонитесь и догоняйте нас!»

Сергей не спеша поднимался по ковровым ступенькам, глаза его горели живым блеском,— шум рукоплесканий сопровождал его до стола... И когда сел и стал причесывать пальцами растрепавшиеся волосы, Николай Николаевич поднялся, подождал, пока в зале наступила тишина, и объявил перерыв.

На следующий день конференция уже подходила к концу. Вечером было принято решение по отчетному докладу и началось обсуждение кандидатов в будущий состав краевого комитета. Обсуждение длилось долго и проходило весьма оживленно. А поздно ночью председатель счетной комиссии, мужчина широкоплечий, грузный, с черными, сурово нависшими бровями, взошел на трибуну и объявил результаты тайного голосования,— в числе избранных товарищей были Кондратьев и Тутаринов.

XXIII

Утро в этот день выдалось морозное, ясное. Солнце, встав над заснеженным городом, заливало слепящим светом улицы, крыши домов, билось, пламенея, в окна. В небольшом зале с высокими белыми стенами было в этот час необыкновенно светло,— лучи солнца просачивались сквозь шелковые шторы и мягко падали на столы, стоявшие буквой «П». Здесь открылось заседание первого пленума,— решались организационные вопросы, и для Сергея уже не явилось неожиданностью то, что Кондратьев был избран секретарем и членом бюро краевого комитета.

В коридоре Кондратьев взял Сергея под руку, отвел в сторону, и, поглаживая седой висок и улыбаясь так, как будто ничего не случилось, сказал:

— Сережа, на наше счастье погодка установилась, можно ехать машиной. Как ты думаешь?

— Я-то поеду на машине.

— А почему «я поеду»?

— Да ты же теперь здесь...

— Нет, поедем вместе, всей делегацией.

— Выезжать сегодня? — спросил Сергей.

— Да. Я только на минутку зайду к Андрею Петровичу. Подожди меня здесь.

Поджидая Кондратьева, Сергей уселся на диване, выкурил папиросу, закрыл глаза и так, сидя, хотел вздремнуть, но не смог. В это время, дробно стуча каблуками, к нему быстрыми шагами подошла девушка-секретарь Оля, та самая Оля, с которой он познакомился в приемной Николая Николаевича еще в первый свой приезд в Ставрополь. Счастливо блестя глазами, Оля еще на ходу подарила Сергею очаровательную улыбку и, робея, как-то боязливо протянула ему телеграмму. Сергей развернул влажный, сильно пропитанный клеем лист, читал, перечитывал и не верил тому, что там было написано. Телеграмма гласила: *«Сергей Тимофеевич радуйся Иринушка родила двух мальчиков здоровье хорошее сердечно поздравляю Наталья Кондратьева»*.

— Сергей Тимофеевич,— волнуясь, заговорила Оля, улыбаясь так виновато, точно причиной всему была не Ирина, а она сама,— поздравляю и я вас с рождением сыновей, от всего сердца! Вот у вас какое счастье!

— Спасибо, Оля... И я просто... Как-то все это...

Сергей говорил бессвязно, видно было, что мысли его путаются: он все еще перечитывал телеграмму,— строки сливались, и на их месте, как на фотопластинке, появилось смеющееся лицо Ирины.

— Вот какая неожиданность,— Сергей посмотрел на девушку озорными глазами.— Оля! Дай я хоть тебя поцелую! — Он поцеловал девушку в щеку, от чего лицо ее раскраснелось и к глазам подступили слезы.— А здорово, Оля! Два сына! Это так, как в народе говорится: не было ни гроша, да вдруг алтын! Два мальчика,— как-то даже непривычно!

— Ничего, постепенно обвыкните,— дружески говорила Оля.

— Да, конечно... Я не о том.

Постояв еще немного, Оля ушла в самом превосходном настроении,— она бы еще задержалась, но ее настойчиво звали к себе телефонные звонки.

Оставим и мы Сергея, хотя бы на короткое время, не будем ему мешать наслаждаться такой неожиданной радостью и переступим порог того кабинета, куда недавно вошел Кондратьев. Солнце и здесь заливало светом широкие окна,— скользкий, только что натертый паркет был исписан яркими бликами. Тишина. Глухо бьют часы. Андрей Петрович Бойченко и Николай Петрович Кондратьев сидят на кожаном диване и разговаривают вполголоса.

— Николай Петрович, надо нам именно теперь всерьез подумать о твоем преемнике.

— Да, этот вопрос откладывать нельзя.

— Кого бы ты рекомендовал?

— А может, Андрей Петрович, у тебя уже есть кто-нибудь на примете?

— Ну, есть у меня на примете или нету, а первое слово все же за тобой.

— Да это так.

Они помолчали, глаза их встретились, и по взгляду можно было видеть: Бойченко знал, кого нужно было рекомендовать секретарем Рощенского райкома, у него уже был на примете такой товарищ, но фамилию его называть он не хотел, желая знать мнение Кондратьева. Кондратьев же смотрел на Бойченко и думал: «Я-то знаю, кого нужно рекомендовать, и такая кандидатура у меня есть, но мне все же неудобно говорить первому».

— Ну, так что ты, Николай Петрович, скажешь?

— Значит, первое слово за мной? Тогда я хотел бы знать: желательно из рощенцев?

— Да, желательно.

— Можно рекомендовать одну кандидатуру,— протяжным голосом проговорил Кондратьев и, поглаживая пальцем висок, задумался.— Только я не знаю...

— Как фамилия? Кто такой?

— Ты его знаешь: Тутаринов.— Кондратьев, глядя на Бойченко, скупо улыбнулся.

— Та-ак. Тутаринов... А как ты думаешь,устоит? Не согнется?

Теперь и Бойченко улыбнулся, и эта его улыбка как бы говорила: «А ты, оказывается, молодцом, умеешь читать мои мысли».

— Думаю, и устоит и не согнется.— Кондратьев помолчал, как бы о чем-то вспоминая.— Правда, молод еще, но...

— Что «но»? — перебил Бойченко.— Мы же с тобой тоже когда-то были молодыми.

— Вот об этом я и хотел сказать.

— Молодой, верно,— проговорил Бойченко.— Но работать будет не один, а с активом, да и мы поможем... Тутаринова надо растить, и лучше всего его растить на трудной работе.

— Речь его внимательно слушал?

— Мысли высказаны хорошие. Надо будет помочь рощенцам пристегнуть и марьяновцев и кое-какие другие районы.

— И начинать это нужно с самых ближних соседей.

— Ты ему кое-что подскажи, посоветуй, он поймет с полуслова,— наказывал Бойченко.— В самом районе придется сделать небольшую перестановку. На место Тутаринова я думаю можно рекомендовать Савву Остроухова,— растущий работник. Вторым там Алдахин?

— А что?

— Боюсь, не сработаются. Уж очень разные характеры.— Бойченко посмотрел на блестящие окна, подумал.— А что, если бы вторым сделать Нецветову?.. Ну, это мы решим потом, на бюро.

— Андрей Петрович,— Кондратьев встал, подтянул на гимнастерке пояс.— Может, мы сейчас, до бюро, и поговорим с Тутариновым?

— А где он?

— Тут, меня поджидает.

— Зови.

Сергей вошел четким, почти строевым шагом, браво подымая чубатую голову; так он бывало появлялся перед генералом после удачной танковой атаки, горячий, взволнованный. Разумеется, в этот день никакой танковой атаки не было, и причиной его душевной взволнованности, мы уже знаем, явилась телеграмма

Натальи Павловны. Сжимая в кулаке липкий, пахнущий клеем листок, Сергей не мог сдержать улыбку, и губы его дрожали. Это заметил Бойченко и подумал: «О, настроение у него всегда превосходное! Похвально!» Он измерил Сергея взглядом, как бы желая сравнить, что изменилось в этом молодом человеке за три года, и, видимо, нашел изрядную перемену. Предложил сесть к столу. Кондратьев молча стоял в сторонке, заложив руки за спину.

Разговор начался с того, что Бойченко одобрительно отозвался о выступлении Сергея на конференции.

— Весь край знает твои намерения,— а намерения эти хорошие,— так что у тебя теперь, как говорят, и карты в руках: на рощенцев будем равнять весь край.

Затем он начал подробно расспрашивать о том, как идет техническая учеба, не было ли в эту метель случаев срыва занятий. Сергей и слушал, и что-то несвязно отвечал, и с трудом сдерживал улыбку, но смысл сказанного улавливал плохо,— в голове его гуляли иные мысли, и отбиться от них не было никаких сил.

«Вот так Ирина! Два сына! А как же их назовем? Пусть один будет Тимофеем, а другой — Ильей. Илья Тутаринов,— красиво! Тимофей Тутаринов,— тоже подходяще. Илья Сергеевич... Тимофей Сергеевич,— звучно?..»

— Андрей Петрович, погодите... что-то я плохо соображаю,— сказал Сергей, вставая и виновато глядя то на Бойченко, то на Кондратьева.— И ты, Николай Петрович, послушай, какая новость... Вот, читайте! У меня два сына!

Минут через десять, когда и телеграмма два или три раза была прочитана вслух, и теплые слова поздравления были сказаны, все трое сидели у стола. Говорил Бойченко, по-отцовски ласково поглядывая на Сергея:

— Новость ты нам сообщил весьма важную... Мы вот с Николаем Петровичем хотя уже и давно не испытывали такого приятного чувства, а и нам было радостно читать телеграмму Натальи Павловны.

После этих слов он взглянул на Сергея строго, как

бы говоря этим взглядом, что тут уже начинаются деловые речи.

— У нас, Сергей Тимофеевич, тоже есть для тебя очень важная новость, послушай. Мы тут посоветовались и решили рекомендовать пленуму Рощенского райкома избрать тебя первым секретарем. Занимай пост Кондратьева — и в добрый час... Погоди, погоди, потом скажешь... Принимай эстафету и неси ее с честью. Знаю, работа эта не легкая, тут потребуется много сил и бессонных ночей, а главное,— умения... но «какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?» Знаешь эти стихи?

— Андрей Петрович, стихи-то я знаю,— заговорил Сергей хриплым, прерывающимся голосом, и тут мысль об Ирине, о сыновьях куда-то исчезла.— Но стихи стихами, а заменить Николая Петровича я не смогу... Рано мне еще, ведь я же себя знаю.

— Положим, не только ты себя знаешь,— Бойченко покосился в сторону Кондратьева.— И тебя кое-кто знает.

— Поможем, Сергей,— сказал Кондратьев и так посмотрел на Сергея, что тот по взгляду понял: отказываться нельзя.— Пойми, в районе у тебя есть надежные помощники — колхозный актив, и мы же тут, не за горами... Да и речь твою на конференции надо приложить к жизни,— а кто без тебя это сделает?

Сергей сидел с низко опущенной головой; жесткие его волосы, растрепавшись, падали на лоб.

— Ну что ж,— сказал он после короткого раздумья,— если поможете и если то, о чем я говорил... Короче сказать — согласен!

Он поднял голову, поправил рукой чуб и смело посмотрел на Бойченко, карие его глаза светились горячим блеском.

XXIV

В тот же день рощенцы выехали домой на двух легковых машинах, с трудом пробрались по еще не наезженной, в снежных завалах, дороге и в станицу попали только поздно вечером. Глаша Несмашная и Варвара

Сергеевна пошли ночевать к знакомым, а Савву Остроухова Сергей пригласил к себе. Кондратьев, уже попрощавшись с ними и отворив калитку, на минуту задержался и сказал:

— Сергей, поговори с Саввой Нестеровичем о нашем предложении... А завтра вдвоем приходите в райком.

На пороге Савву и Сергея встретила Марфа Игнатьевна,— глаза ее смотрели тепло и ласково, и вся она, счастливая и помолодевшая, была так обрадована и взволнована, что и радость ее и волнение сразу же передались и Сергею.

— Ой, Сережа,— певуче заговорила она, беря из рук Саввы шапку,— какие славные мальчишечки! И оба, веришь, в тебя, ну, чистая копия!

— Разве так, сразу, и можно определить сходство?

— Да уже все видно... Веришь, на личиках так и написано!

— Верь, Сережа,— Савва снимал шубу,— я это хорошо знаю.

— Ну, а как ее здоровье?

— Уже оправилась...

— И долго ей там еще быть?

— Дней десять, не более,— ответил за Марфу Игнатьевну Савва, уже расчесывая перед зеркалом сильно помятый чуб.— По этим вопросам ты теперь консультируйся у меня.

— Марфа Игнатьевна, вы нам чайку, да побыстрее... И покормите, озябли мы и проголодались.

Марфа Игнатьевна поставила на плитку чайник и начала готовить ужин, а Сергей и Савва прошли в соседнюю, жарко натопленную комнату и уселись на диван.

— Да, Сергей,— мечтательно сказал Савва, глядя на детскую коляску, стоящую пока еще без дела за дверью,— теперь тебе потребуется две колясочки, и вообще все детское умножай на два.

— Нашел о чем беспокоиться!

— Да это я в шутку... А о чем тебя просил Николай Петрович?

— О чем? Ты же знаешь, что Николай Петрович уезжает от нас.— Сергей тяжело вздохнул, потер ладонью лицо, как бы снимая с него усталость.— Бойченко со мной беседовал, часа два просидели у него в кабинете. Могу с тобой поделиться: есть такое мнение, чтобы я заменил Николая Петровича.

— Да ну?! — воскликнул Савва.— Так вот оно какая новость! Событие важное!

— Но это еще не все,— Сергей ласково смотрел на Савву.— Меня же Николай Петрович просил поговорить с тобой... Придется, Савва Нестерович, становиться на мое место...

— Да ты что?! — Савва тяжело поднялся, подошел к детской коляске, покачал ее и отошел.— Да, это событие еще важнее...

— По-моему, пора тебе, Савва, покидать Усть-Невинскую...

— Не знаю... Об этом я как-то и не думал.

— Подумай, время еще есть.

— Как-никак, в Усть-Невинской у меня...

Савва умолк на полуслове,— помешала Марфа Игнатьевна. Она несла нарезанное на тарелке сало, чайник, посуду...

Ужинали и пили чай молча, каждый о чем-то своем думая. Возобновлять прерванный разговор не хотелось,— по взглядам, по улыбкам на опаленных морозом лицах они и без слов понимали друг друга.

Молчание затянулось, и Савва, прихлебывая чай, начал почему-то расхваливать своего кучера, который должен утром приехать за ним на санях. Сергей утвердительно кивал головой,— видимо, соглашался, что Дорофей и в самом деле кучер незаменимый, затем заговорил об Ирине, о том, как на рассвете пойдет ее проведать. И только когда они улеглись,— один на диване, где проворные руки Марфы Игнатьевны соорудили постель, а другой на кровати,— Савва тяжело вздохнул и сказал:

— Эх, пропала ночка... Нагнал мне думок!

— Ничего, впереди ночей еще много.

Сергей потеплее укрылся одеялом и мысленно уже был возле Ирины, и ему не верилось, что вернется она

в дом не одна, как бывало прежде возвращалась с дежурства.

Утром, а затем и последующие дни, полные неотложных забот и хлопот, были отмечены весьма важным событием в жизни района. По белым, углаженным санями дорогам начали съезжаться в Рощенскую члены райкома и депутаты райсовета. Состоялся пленум, и на нем было принято решение: ввиду перехода на работу в крайком, освободить Николая Петровича Кондратьева от обязанностей первого секретаря райкома и на этот пост избрать Сергея Тимофеевича Тутаринова. На второй день и в том же зале заседаний открылась сессия районного совета, и председателем исполкома был утвержден депутат Остроухов Савва Нестерович.

Вскоре уехал в Ставрополь Кондратьев с Натальей Павловной,— вещи, погруженные на полуторку, были отправлены часом раньше. Возле знакомого домика со стеклянной верандой и с палисадником, заваленным снегом, собралась порядочная толпа жителей Рощенской; среди них были Сергей, Савва, Татьяна Нецветова, Алдахин, Стегачев, худощавый, затянутый ремнями райвоенком Соловьев, одутловатый, плечистый, с пышными смолисто-черными усами начальник милиции Кокарев, краснощекий, пышущий здоровьем заведующий райфинотделом Столбовой, директор банка — чернолицый Калугин, начальник земельного отдела Андрей Саввич Полищук.

— Друзья мои! — сказал Кондратьев и по-отцовски строго посмотрел на знакомые лица.— На прощание хочу дать вам товарищеский совет: смелее и дружнее беритесь за дело,— весна не за горами, а работы у вас еще непочатый край. Постараюсь в скором времени приехать к вам в гости,— вот тогда будет время и поговорить и посоветоваться... Желаю успеха!

Наталья Павловна, в ватном пальто и в теплой серой шали стояла рядом с Кондратьевым — верный и неразлучный его друг жизни. Она вытирала платочком помокревшие глаза и смотрела на людей тем горячим, полным душевной ласки взглядом, каким смотрят матери на своих взрослых детей в минуту разлуки. Она

только что побывала у Ирины (Ирине тоже хотелось пойти на проводы, но Сергей, ревниво поглядывая на спавших в кроватке детей, отсоветовал).

Когда говорил Кондратьев, у Натальи Павловны еще больше затуманились слезой глаза,— видно было, что и у нее таились в груди теплые слова, но высказать их она не могла; не в силах сдерживать свои чувства, прижалась к Татьяне, но и ей ничего не сказала, а только поцеловала в щеку и, прижимая платок к губам и уже ни на кого не глядя, села в машину. Кондратьев, подобрав полы бурки, поудобнее уселся рядом с шофером, подмигнул Сергею и закрыл дверку.

Певуче загудел мотор, из-под зубчатых колес белыми струйками вырвался сухой, спрессованный снег. «Победа» выскочила на площадь и скоро скрылась в переулке.

XXV

Незаметно прошел апрель с высоким небом и светлыми далями по утрам. Белым-белым шелком пятнались сады, в пойме реки на огородных плантациях извилистыми стежками блестели ручейки, горы и леса потемнели. Шумела, полнясь водой и набирая скорость, Кубань,— наперегонки бежали по ней вспененные гребешки, плавали в затишье гусыни и утки со своими ранними выводками. По степи, вместе со стеклянно-жаркими лучами солнца, разливалось лирическое песнопение жаворонков,— этим весенним напевам не было ни начала, ни конца. Весь день над сочной зеленью, над свежим бархатом только что забороненной, посеянной земли, колыхалось и текло-текло дымчатое марево, и все — курган ли, тракторы ли с сеялками, бригадные ли строения — утопали в нем и издали казались шаткими и расплывчато-высокими. На взгорье серыми комочками влипли в траву овцы; нежились на солнце, соскучившись по теплу, стада; коровы, линяя, теряли свое зимнее одеяние, а грачи, скворцы и всякая степная мелкая птица, пользуясь случаем, уносили рыжеватые комочки шерсти себе на гнезда...

Словом, пришло время, и по всему верховью Кубани царствовала весна, внешне обычная и давно всем знакомая. Однако, если присмотреться, то можно было заметить в эту весну кое-что и необычное и незнакомое. Ну, хотя бы та же высоковольтная электролиния, которая четкой стройкой прошивала степь от Усть-Невинской до Яман-Джалги. Или давножданные гости на полях — электропахари. В эту весну, как только снег сошел с поля, «СТЗ-НАТИ», оставляя рубчатый след на еще сырой земле, потянули в степь пять тупоносых, с длинными хоботами электрических тракторов; за ними на резиновом ходу катились пять зеленых, под цвет травы, вагончиков. За Усть-Невинской вереница машин, провожаемая гурьбой детворы, свернула с дороги, направилась к столбам и остановилась как раз под тремя белыми блестящими на солнце проводами. «СТЗ-НАТИ», сделав свое дело, ушли обратно в станицу, как бы говоря: «Ну, дорогие собратья, просьбу вашу мы исполнили, отбуксировали вас на место, а теперь как хотите». Не успели тягачи-тракторы скрыться за бугром, как оставшиеся возле зеленых вагончиков электрики начали спешно устанавливать свое хозяйство: забили глубоко в землю железные клинья с заземленными проводами, подняли железные мачты с узлами белых изоляторов и с рогульками на концах. Эти рогульки, напоминая собой растопыренные пальцы, схватились за алюминиевые провода и тотчас к ним прилипли. И тогда хоботастые, с тупыми мордами тракторы, те, что еще недавно тащились на прицепе и без посторонней помощи не могли сделать и шагу, вдруг ожили, зашумели моторами, весело перекликались сигналами и, позвякивая гусеницами, как шпорами, выехали на загон, распуская черные змееподобные кабели. Плугатари, усевшись на удобные сиденья, уловили взгляд рулевых, опустили корпуса плугов, и новые колхозные пахари с маркой «Свердловский завод ЭТ-5» без шума поползли от столбов в обе стороны, делая по просторному полю широкий след первой борозды.

Эти сельскохозяйственные новинки были пока только на полях Усть-Невинской и Родниковской. Две

машины с походными, зеленой окраски, трансформаторными будками достались тракторному отряду Григория Мостового, а три — Ивана Шацкого. Оба бригадира со своими рулевыми побывали зимой в Воронцово-Александровской школе механизаторов, успешно окончили кратковременные курсы-переподготовку и вернулись в станицу не просто трактористами, а трактористами-электриками.

Уже месяц ползали по полю тупоносые машины, и в обе стороны от столбовой дороги черными крыльями росла и ширилась вспаханная земля. За это время электротракторы попробовали свои силы не только на пятикорпусных плугах, но и на сцепе дисковых сеялок, а усть-невинские и родниковские механизаторы успели свои теоретические познания проверить, как они сами говорили, «на борозде».

Не было такого дня, чтобы к зеленым вагончикам, прицепившимся к алюминиевым проводам, не приезжал то директор станции Чурилов (где бы он ни раскатывался на своем «газике», а к электрикам завернет непременно), то прилетал на мотоцикле старший механик Иван Иванович Томашанин. Встречая Ивана Шацкого или Григория Мостового, механик усмехался и спрашивал:

— Ну, попривыкли?

— Тут и привыкать нечего.

— А как движется новейшая техника?

— Помаленьку сосем энергию.

— Главное — у нас тут тишина. Даже не похоже на пахоту.

— Кому как,— с улыбкой на скуластом лице ответил механик,— а врожденного тракториста, как, допустим, меня, такая тишина в тоску вгонит.— Переступая тяжелой ногой через мотоцикл и усаживаясь в седло, добавил: — А вот не могу понять, почему сюда меня как магнитом тянет.

К Ивану Шацкому приехали на «москвиче» Стефан Петрович Рагулин и Прохор Афанасьевич Ненашев. Пробыли они тут полдня, ко всему присматривались, расспрашивали о том, что за сила таится в этих зеленых вагончиках: важно всходили по лесенке на трак-

тор, усаживались рядом с рулевым, задумчиво, с трудно скрываемой улыбкой смотрели на протянутый вперед хобот, куда легко всасывалась упругая кишка.

— Вот оно, Прохор Афанасьевич, какое дело,— рассудительно заговорил Рагулин, когда «москвич» уже петлял по проселочным дорогам.— Сидел я на мягкой подушке рядом с трактористом, поглядывал, прислушивался и думал — знаешь о чем?

— А о чем? — участливо спросил Прохор.— Наверное, о том, чтобы и второй наш клин пахать электричеством?

— Нет, не о пахоте я думал.— Рагулин помолчал, оглянулся, как бы желая увидеть где-то оставшиеся сзади тракторы.— Сбылась, Прохор, наша думка... А почему она сбылась? Потому, что все нам теперь подвластно. Мы прорыли канал, отвели воду, построили станцию, а в Свердловске тем временем рабочие изготовили для нас эти машины... Подумать только, какое удобство хлеборобу. Ни тебе бензину, ни воды, а работа идет тихо и складно! Спасибо рабочему классу...

— А меня радует другое,— чистосердечно признался Прохор.— Вот теперь наглядно видать силу Усть-Невинской гэс, и эта сила с каждым днем все более и более возвышается над нашей землей.

В середине ясного дня к Григорию Мостовому шумной гурьбой направились родниковские школьники — девочки и мальчики средних классов. Всю дорогу они торопились, заметно волновались и с тревогой поглядывали то на Ольгу Ивановну, учительницу физики, как бы прося ее ускорить шаг, то на изломанные в мареве столбы, маячившие вдали. Когда же совсем близко показались вагончики и ползущие на канатах, как на привязи, тракторы, детскому терпению пришел конец: наполняя степь звонкими голосами, школьники пустились бежать, и только Ольга Ивановна все так же продолжала итти тихим, спокойным шагом,— на ее усталом лице с мелкими оборками морщин у больших светлых глаз теплилась добрая, материнская улыбка.

Гости оказались не только шумными, но и не в меру любознательными: все им хотелось и узнать, и увидеть,

и руками потрогать. По просьбе Ольги Ивановны Григорий даже остановил одну из машин, и дети в ту же минуту облепили ее кольцом, взобрались в кабину, вскарабкались на лесенку, гусеницы.

— А можно заглянуть вовнутрь?

— Как она там раскрывается?

— О, какая здесь красота!

— А мотор — как кадушка!

— И лежит удобно.

— А почему два мотора?

— Тот совсем еще маленький.

— Дядя Гриша, а этот моторчик тоже действует?

— А катушка? Зачем она?

— А какая длина кабеля?

— Как же он сам наматывается?

— Какая мощность мотора?

— А где включается ток?

Вопросов было так много, что Григорий, отвечая на них, видя горячие, возбужденные детские глазенки, невольно и сам волновался.

Когда же трактор, хвостом распуская упругий шланг и издавая протяжный звук, похожий на вздохи, легко потащил пятикорпусный плуг со звеном железной бороны, школьники еще долго стояли у свежей борозды, провожая машину задумчиво-ласковым взглядом.

— Дети,— строго сказала Ольга Ивановна,— а теперь пойдемте к вагончику и там продолжим наш урок показательной физики.

По ее просьбе Григорий распахнул широкие двери вагончика, и детские глаза снова заблестели горячей любознательностью.

— Перед вами обычный трансформатор,— сказала Ольга Ивановна,— только специально приспособленный для полевых условий. Обратимся к этим измерительным приборам, они вам уже знакомы.

«Да, уж кому-кому, а им все это знакомо с детства»,— подумал Григорий, прислушиваясь к мягкому голосу Ольги Ивановны.

Затем он отошел в сторонку, прилег на теплую, просившую плуга землю, пощипывал пальцами молодень-

кую, тянувшуюся к солнцу травку, а возле гостеприимно раскрытых дверей уже начался оживленный и несколько необычный урок физики.

XXVI

После того, как любознательность школьников была удовлетворена, все они уже посмотрели и, распрощавшись с Григорием, ушли в станицу, на двух «победах» приехали Николай Петрович Кондратьев и Сергей Тутаринов. На лицах у них темной бронзой лежал свежий весенний загар; светлая окраска машин, укрытая слоем пыли, сделалась серой,— по всему было видно, что в этот день они побывали на многих степных дорогах и проселках. Трактор осматривали на ходу, вымеряли глубину борозды, поглядывали то на водителя, сидевшего в уютной кабине, то на непрерывно удлинявшийся хвост кабеля; смолисто-черный, он ложился на еще влажную пахоту и был почти невидим. До половины загона гости шагали рядом с зубчаткой, зеркалом блестевшей дорожки гусениц, как бы прислушиваясь к тихой, еще незнакомой в этих краях песне мотора. Григорий, сопровождая гостей, отставал шага на два и выбегал вперед, по молчаливо-строгим взглядам видел, что их интересует совсем не то, о чем его недавно расспрашивали школьники.

Вскоре Кондратьев остановился, проводил взглядом удалявшийся трактор, взял на ладонь рассыпчатый комочек чернозема и, рассматривая мельчайшие прожилки прелых корешков, подозвал к себе Григория.

— Ну, Григорий, как тракторы? — спросил он, трогая ногтем желтоватый корешок.— Доволен?

— По совести говоря — машины прекрасные. Сделаны они на славу, работай и радуйся.

— А простои бывают? — Кондратьев растер комочек земли и строго посмотрел на Григория.

— Иногда стоим.

— Что ж так? Возможно, Усть-Невинская гэс неисправно подает энергию? Так ты пожалуйся Тутаринову...

Сергей молчал, в разговор не вмешивался, и глаза его смеялись.

— На гэс мы не жалуемся.

— А в чем же дело? — Кондратьев пересыпал с ладони на ладонь размятый чернозем.— Чего голову опускаешь?

— Есть, Николай Петрович, одна небольшая загвоздка,— из-за нее-то иногда и простаиваем.

— Какая ж именно?

Григорий наступил ногой на упругий кабель и, вдавливая его в землю, еще ниже склонил голову.

— Вот оно — наше горе,— сказал он, не подымая глаз и не выпуская из-под ноги вздрагивающий кабель.— Сделан он как-то непрочно. Работа у него, сами видите, трудная — то сматывается, то разматывается, скручивается... и горит.

— В Свердловск, на завод писали?

— Была у нас такая думка.— Григорий еще сильней вдавил ногой кабель в мягкую пахоту.

— Думать — мало.

— Да как-то, Николай Петрович, неудобно, обидятся на заводе.— Теперь Григорий смело посмотрел Кондратьеву в лицо.— Подумают — мы не смогли...

— Ничего не подумают. Ведь это же на заводе впервые сделано.— Кондратьев рассыпал до крайности размельченную в ладонях землю, вытер о траву руки.— Еще и благодарить будут. Только напишите им подробно да кое-что из вашей практики подскажите.

— Хорошо, мы это сделаем,— пообещал Григорий, нагибаясь и беря в руки испачканный землей кабель.— Подсказать мы сумеем.

Прошло еще часа полтора, и обе «победы», мягко покачиваясь и подымая куцые хвосты пыли, умчались по проселку к Кубани. Переехали реку на пароме, выскочили на пригорок и остановились в зеленом мелком кустарнике. Здесь Кондратьев и Сергей должны были расстаться, ибо в этом месте дорога раздваивалась,— одна тянулась на Ставрополь, серым шарфом перекинувшись через гору Стрежамент, а другая, изгибаясь по бугру, уходила на Рощенскую. Поэтому Кондратьев и Сергей вышли из машин, но, видимо, так

сразу расставаться им не хотелось, и они немного прошли по взгорью с отлогим спуском к реке и уселись на пригорке,— тень от них легла на густую и влажную траву. «Как дотянется тень до этого куста, так и разъедемся»,— подумал Кондратьев, доставая папиросы.

С минуту сидели молча, закуривали. Отсюда хорошо была видна просторная равнина за Кубанью, надвое, как стрелой, разрезанная столбами электролинии: в мареве жаркого дня колыхались трансформаторные вагончики, и тут же черными жуками ползали два трактора, от них в обе стороны черными полотнищами размахнулась пахота, убегая далеко-далеко к горизонту.

— Как твои сыновья?

— Растут,— с улыбкой ответил Сергей.— Но до чего ж шумные ребята...

Вблизи блестела и манила к себе прохладой река в начавшемся весеннем разливе; кое-где курчаво зеленели островки; с той стороны спускались к водопою коровы,— глинистая пыль розовым дымком вставала над стадом.

— Не знаю, Николай Петрович, как тебе, а мне уж очень нравятся эти места,— мечтательно заговорил Сергей, провожая глазами парящего высоко над рекой орла.— Смотришь и на эту гордую птицу, и на эти синие зубцы гор с черной каемкой леса внизу, и на это стадо, и на стремительный бег реки, и на весь простор, что встает перед глазами,— а в груди, веришь, разливается такой хороший-хороший холодок!

— Да, что и говорить, вид прекрасный,— Кондратьев вырвал пучок травы и смахнул им пыль с ботинок,— и мне приятно любоваться пейзажем, а только в эту минуту меня волнуют иные чувства.

— Какие же? — спросил Сергей, любуясь полетом орла.— Скажи, если не секрет.

— Сказать хочется, а только трудно все это передать словами,— Кондратьев смотрел себе под ноги: в густой поросли травы, цепляясь черными липкими лапками за стебли, падал и снова подымался жук в серой броне.— Вот сидят на этом кубанском взгорье два партийных работника: один уже прошел порядочный кусок

жизни, голова его седая, взгляд строже, суровее; другой еще молод, идет он той же дорогой, но сделал еще пока только первые километры...

— Это что-то философское?

— Нет, простое раздумье.— Кондратьев помолчал, помог жучку перебраться через сухую, опутанную травой веточку, облегченно вздохнул.— И хочется старшему, седому, знать: не труден ли младшему путь и есть ли у него нужная сноровка, есть ли сила, воля, умение?..— Кондратьев, наблюдая, как жучок свалился с веточки и стал цепляться лапками за шаткий лист, скупо усмехнулся.— А проще сказать — хочется знать: как тебе, Сережа, работается?.. Прошло три месяца, как ты стоишь во главе района, а нам в суматохе всяких дел как-то и не пришлось поговорить по душам.

— Что ж, Николай Петрович, дела помаленьку идут,— ответил Сергей, не понимая, почему именно об этом заговорил Кондратьев. «Ох, ты же хитрый,— с улыбкой подумал Сергей,— давно я тебя изучил: сам второй день по району ездит, все осмотрел, с людьми поговорил, все разузнал, а теперь еще и спрашивает!» — Весенне-полевые работы, сам мог убедиться, проходят неплохо, марьяновцев мы обогнали по ранним колосовым, думаю, что обгоним и по пропашным...

— Не то, Сережа, не то,— перебил Кондратьев, при этом изучающе-ласково поглядывая на Сергея, как бы говоря: «Зачем же ты сворачиваешь на сев и на пахоту, когда я хочу поговорить совсем о другом!» — В нынешних условиях, когда по степи гуляют эти электрические пахари, в срок вспахать и посеять, конечно, тоже честь, но только не велика. С такой техникой и марьяновцев обогнать не трудно, но меня беспокоит другое. Запомни, Сергей Тимофеевич: знамением нашего времени, его осязательными приметами является строительство коммунизма: строят его массы людей, и люди эти очень разные, со своими особенными характерами, с различными привычками, с неодинаковым культурным развитием. Отсюда важнейшая задача: необходимо суметь всю нашу жизнь направлять так, чтобы с ростом и обновлением экономики росло и об-

новлялось сознание людей, и тут партийный руководитель района должен стоять, как говорится, на высоте положения... Вот о чем я и хотел поговорить.

— Николай Петрович, я понимаю,— Сергей сурово смотрел на свою растянувшуюся на траве тень.— Отвечу на твой вопрос,— другому постеснялся бы сказать, а тебе сознаюсь: да, не легко мне на этой новой должности. И вот ты говоришь: знание времени, осязаемые приметы,— хорошие слова, и я их понимаю не только разумом, но даже чувствую сердцем, а вот ухватиться за главное и взять разгон — не умею, хочу, а еще не могу... Помнишь, на конференции секретарь Труновского райкома вносил предложение, чтобы крайком показал примерного секретаря райкома, такого, знаешь, во всех отношениях образцового товарища, чтоб можно было взять его за пример и поучиться у него работать. Теперь мне кажется, что он был прав.

— А мне думается — не прав,— с хитроватой улыбкой на бронзово-темном лице ответил Кондратьев.— Почему? Да потому, что можно обойтись и без образцового секретаря, ибо не в нем главная суть. Партийный руководитель, тебе это известно, имеет дело с народом, его повседневная работа — сугубо творческая, и тут трудно, даже не то, чтобы трудно, а просто невозможно, заранее придумать и утвердить какие-то рецепты и готовые образцы.— Кондратьев задумался, с минуту смотрел на подходивший к электролинии трактор и, как бы подождав, пока он, перекинув через себя кабель, проедет столбы, продолжал: — Мне припоминается письмо Льва Толстого,— я уже позабыл, к какому именно литератору оно было адресовано... Да, так Лев Толстой говорил, как важно для творческого работника, если у него изо дня в день под ногами вырастают подмостки, помогающие ему подниматься все выше и выше. Вот и нам, партийным работникам, людям тоже творческого труда, очень нужны такие подмостки, и у нас они должны вырастать под ногами, и не только у руководителей малых и больших, а у всего народа. Взойдет человек на такие новые подмостки,— и глаза его дальше видят, и взор его светлее, и на-

строение у него прекрасное... Ведь верно же, Сергей Тимофеевич?

— Подмостки? Взор светлее и настроение прекрасное? — не отвечая, переспросил Сергей, думая о чем-то своем и видя по ту сторону реки пасущихся у берега коров.— Я, конечно, догадываюсь, о чем ты говоришь, а все же — как понимать эти слова не вообще, а конкретно?

— Возьми для конкретного и весьма наглядного примера хотя бы покойного Хохлакова.— Кондратьев умолк и, снова выждав, пока второй трактор повернул свой черный хобот и проехал электролинию, продолжал:— За последние годы под этим человеком не только не вырастали новые подмостки, но и те, которые были, рушились и уходили из-под ног — и в этом его несчастье. А взгляни на другого старика — на Стефана Петровича Рагулина — или на такого молодца, как Прохор Ненашев,— Кондратьев протянул руку и указал пальцем, точно перед ним и в самом деле стояли Рагулин с Ненашевым.— А присмотрись к твоим сверстникам, к той же Нецветовой или к Глаше Несмашной, к тому же Косте Панкратову или Савве Остроухову, и ты увидишь, как эти товарищи в упорном труде поднимаются с одних подмостков на другие, более высокие,— хорошо идут! — воскликнул Кондратьев, скупо улыбаясь и радуясь тому, что тень еще не подошла к кусту.— Если же говорить обобщенно — нам нужен неуклонный рост коммунистического сознания у наших людей.

— Николай Петрович, а что же необходимо делать, чтобы в районе все так хорошо шли, как те же Рагулин, Нецветова, Прохор?

— Вопрос законный.— Кондратьев сорвал сочный стебелек пырея.

— А как его решить? Подскажи, посоветуй.

— Да совет-то тут простой.— Кондратьев с хрустом перекусил стебелек пырея еще молодыми острыми зубами.— Нужна, Сережа, постоянная политическая учеба, но не зубрежка и не такая учеба, когда какой-нибудь местный «деятель» застрянет на четвертой главе истории партии и сидит на ней лет пять. Нет,

нужна учеба с огоньком, такая, чтобы она ежедневно и ежечасно духовно обновляла людей и претворялась на практическом деле, помогала бы лучше жить и работать.

— И все?

— Достаточно и этого, но не все.— Кондратьев покусывал стебелек, хитро усмехался.— В партии у нас имеется еще одно весьма важное оружие, и оно, это важное оружие, особенно необходимо нашим руководящим кадрам — и тебе, и Алдахину, и Никите Мальцеву, и Стегачеву, и тем, кто стоит ступенькой ниже... А! По веселому твоему лицу вижу — догадываешься. Да, да, я имею в виду именно критику и самокритику, да такую, чтобы она била с низов, как бьет ключевая вода, да чтобы не давала спокойно спать.

— Да я и так плохо сплю,— смеясь, сказал Сергей.

— Я имею в виду не эту бессонницу,— тоже с улыбкой ответил Кондратьев и, рассматривая искусанный стебелек, задумчиво сказал: — Самая большая опасность для любого руководителя — если он оторвался от народа, зазнался, признал себя непогрешимым. Вот тут даже у самого в общем неплохого работника начинают подгнивать и расползаться подмостки. На ногах такой «непогрешимый» герой стоит шатко, непрочно, а в голове у него ни одной живой и ясной мысли. Я тебе как-то уже говорил и еще скажу: бойся этого сам и заставляй бояться других. Подумай, Сережа: что значит для дела зазнаться и признать себя непогрешимым? Это значит — повернуться спиной к тем, кому ты подчинен во всем; это значит — поставить крест над всеми нашими достижениями и пустить по ветру все то, чего достиг народ своим упорным и самоотверженным трудом. Так может поступить только невежда, бездельник, человек недалекий и бесхозяйственный. Партия же наша отличается, как тебе известно, совсем иными качествами, и для того, чтобы в самом зародыше умертвить зазнайство и не дать себе и другим почить на лаврах, нам, говоря словами нашего учителя, самокритика нужна, как воздух, как вода.— Кондратьев задумался, как бы собираясь с мыслями.— Пойми, Сергей Тимофеевич, никто нам не поможет вскрыть и уничтожить

наши болячки, сами мы призваны видеть и исправлять свои ошибки и промахи. И тут надо постоянно держать открытым клапан критики и самокритики, — это тоже слова не мои, а товарища Сталина. Будет у нас открытым этот самый клапан — будут под нашими ногами непрерывно вырастать подмостки, будем мы дальше видеть, будет у нас и светлее взгляд и яснее мысль, будут расти люди, и дела наши пойдут еще быстрее.

— Понимаю, и очень хорошо понимаю, — Сергей задумчивыми глазами следил за полетом орла: вот он что-то высмотрел, сложил упругие крылья, резко спустился над рекой и уселся на зеленом островке. — А скажи: что в работе секретаря райкома основное и важное и что второстепенное?

— Основное и важное? — переспросил Кондратьев, приглаживая пальцем белый висок. — По-моему, все главное и все важное.

— Скажем, идет заседание бюро, решаются десятки вопросов...

— А что ж? Разумеется, надо уметь провести и заседание бюро или собрание, уметь поговорить с людьми, уметь выслушать... Да, уметь выслушать и понять то, о чем тебе говорят... Но важнее всего, как я понимаю, овладеть всеми формами руководства, быть своеобразным дирижером, чтобы от твоего чуткого уха не укрылась даже малейшая звуковая фальшь. Мудрое сталинское учение гласит: чтобы руководить — надо предвидеть, — а это под силу только тем, кто умеет критически осмысливать пройденное, сделанное; кто умеет строжайше проверить исполнение своих решений, их правильность или ошибочность с точки зрения живой практической работы; кто умеет изо дня в день контролировать и себя и других; кто умеет трезво взвешивать свои и чужие плюсы и минусы. — Кондратьев легонько похлопал Сергея по коленке, отцовски-сердечно улыбнулся. — Ты припомнил просьбу труновского делегата. Этот товарищ хотел пойти по самому легкому пути: подайте ему готового образцового секретаря райкома, он приедет к нему, снимет с него мерку и будет шить по ней свой партий-

ный пиджак, будет не руководить, а копировать. Не советую тебе пользоваться такой меркой, ибо путь этот легкий, но неправильный, потому что самое легкое нельзя расценивать как самое хорошее...

— Николай Петрович, — волнуясь, заговорил Сергей, — а подражать лучшему, учиться у других не грешно же!

— Даже похвально, — согласился Кондратьев, закусив губу и подумав. — И подражай, и учись, но не копируй... А самое главное, что я тебе посоветую, как твой старший товарищ, — читай и перечитывай томики Сталина. Лучшего пособия для подражания, для учебы, никому и желать не надо. В них, в этих томиках, хранятся советы и указания на всякий случай жизни, надо только умело ими пользоваться...

Спустя некоторое время они расстались. Ощущая на пальцах крепкое пожатие жесткой и хорошо знакомой руки, Сергей не мог сойти с места и еще долго стоял на развилке дорог, взволнованно глядя в ту сторону, куда уехал Кондратьев.

— Да, томики Сталина... знамение нашего времени... Хорошо!

Голос его был тихий и ласковый... В эту минуту мысли его работали напряженно, ему казалось, что он взошел на некую возвышенность и увидел перед собой необозримый простор в манящих, ярких красках ранней весны.

Конец

г. Пятигорск
1949—1950

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая

Книга вторая

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
16	13 св.	припишите?	припишете?
401	6 сн.	обзавестить	обзавестись
478	14 „	же	уже
„	9 „	Григорьевич	Игнатьевич
497	6 „	Ставрополя	Ставрополья
518	3 св.	Утром	Утро
528	9 „	знание	знамение

С. Бабаевский

Редактор *Б. Соловьев*

Художник *И. Николаевцев*
Художеств. редактор *И. Царевич*
Техн. редактор *С. Симоноз*
Корректор *М. Покровская*

А-01646. Подписано к печати 15/V 1951 г. Бум. лист. 8,41 = печ. лист. 27,57. Авт. лист. 25,31. Уч.-изд. лист. 25,60. Формат бум. 84×108[1]/32. Заказ 1384. Тираж 150 000 экз. Цена 10 р.

Набрано и сматрицировано в I Образцовой типографии имени А. А. Жданова Главполиграфиздата при Совете Министров СССР.

Отпечатано с готовых матриц во 2-й типографии „Печатный Двор“ имени А. М. Горького Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.

10 р.